90 коп.

23-1-14

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1989. № 3. 1—208

1989 3 Октябрь

ISSN 0132-0637



3

1989



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1989

МАРТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Игорь ВОЛГИН

Родиться в России

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННИКИ: ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

От автора

Рекомендуя английским читателям письма Кромвеля, опубликованные историком Карлейлем, Честертон писал: «Только, прежде чем их читать, заклейте поаккуратней все, что писал Карлейль. Вычеркните из каждой книги всю критику, все комментарии. Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые о мертвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди».

Признаться, нам по душе такой радикальный подход. Помимо прочего, он прост и демократичен. Сладость познания не отравляет посредник, который, по сути, есть не что иное, как кувшин: согласно восточной мудрости вода, пройдя через несколько сосудов, загрязняется.

Мы даже подозреваем, что, с вожделением поглощая иные жизнеописания, иные читатели испытывают тайную потребность «напрямую» войти в соприкосновение с тем историческим миром, который является причиной и целью биографического рассказа.

Для жаждущего любое даяние — благо. Но ни с чем не сравнима радость — припасть к источнику.

Эту потребность в свое время осознал В. В. Вересаев, создав документальные повествования («Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни»), которые захватывают тем сильнее, чем глубже иллюзия авторского невмешательства. Будучи воскресителем времени, вырванного им из неполного бытия (ибо единичный, прозябающий на отшибе исторический факт бесконечно одинок), автор делает вид, что безучастно присутствует на очной ставке свидетелей. На самом деле именно он задает наводящие вопросы.

Вересаевский Пушкин выступает прежде всего в качестве частного человека. Подобный ракурс сказался в самом названии (писатель — «в жизни»): оно подразумевает полемику с академическим литературоведением. Автор посягнул на традицию, предпочитавшую рассматривать писателя в рамках «истории литературы». И сделал это, нимало не унизив героя.

Однако чем больше эмпирических знаний, тем заметнее отсутствие целостных постижений. Становится очевидным, что нельзя разъять художника (тем более такого, как Достоевский: впервые произносимое имя для защиты от сглаза уместнее придержать в скобках) на «писателя» и «человека» и что понятием «жизнь» обнимаются все без исключения ее ипостаси.

Достоевский оставил нам лучшее, что имел: им сотворенный мир. Неужели нам мало этого бессмертного дара? Для чего сквозь разделившее нас пространство тщимся мы различить смертный человеческий лик?

Если творец «Преступления и наказания» обладает «самой замечательной биографией, вероятно, во всей мировой литературе»[1] (спорить с подобным

[1] Гроссман Л. П. Достоевский на жизненном пути, вып. 1. М., 1928, с. 5.

утверждением не приходится), то одно это обстоятельство оправдывает наш — как сугубо «ученый», так и заботливо от него отмежеванный «обывательский» интерес (неясно, правда, кто размечал межу).

Но дело еще и в том, что Достоевский — это мы.

Нам — как роду человеческому — необходимо знать: не посрамил ли нашего имени один из нас — тот, кому было много дано и кто, по общему мнению, составляет соль земли. Сохранил ли он лицо — в радости и в печали, в сиянии славы и под ударами рока, в минуту общественных ликований и в годину гражданских смут? Мы желаем понять — как одолевал он сопротивление жизни и истории, чтобы совпасть с ними в их вечном созидательном деле.

Сказано: познай самого себя. Не потому ли нам так важен Достоевский: не только история текстов, но больше — история души.

Действующие лица этой книги (или, если угодно, пьесы: документ стоит репризы!) пребывают внутри исторического времени и неотделимы от него. В поисках героя приходилось порой заглядывать туда, куда еще не ступала нога достоевсковеда.

Как обозначить жанр? Этот нескромный вопрос вызывает у нас робкую краску стыда. Документальный роман? Роман в документах? Кто возьмет на себя смелость окрестить нашего монстра? Недаром в последнее время проза претерпела мутации, которые не снились и многострадальной мухе дрозофиле. Бесчисленные романы-эпопеи, романы-исследования, романы-хроники и романы-эссе вызвали, наконец, защитную агонию жанра: на свет явились романы-завещания, романы-анекдоты и романы-музеи (кажется, даже романы-саркофаги). Так что в неотдаленном будущем автор, рискнувший вернуться к старой романной традиции, вынужден будет обозначить свое детище как «роман-роман».

Надеемся, определение, на котором мы остановились после долгих раздумий («жизнь в документах»), избавит нас от литературной ответственности в случае провала, равно как той же цели послужит следующее признание.

Один остроумный критик говаривал в эпоху застоя: «Слова — ваши, порядок слов — мой». Приступая к трудам, мы наивно полагали, что сам выбор документов и их композиция есть проявление целенаправленной авторской воли. Как жестоко мы заблуждались! Возвращаясь поутру к письменному столу (после краткого, но укрепляющего сна), мы с горестью обнаруживали, что расположенные нами в строгом порядке источники за ночь покинули свои позиции и предались беззаконным забавам. Некоторые из них, весьма именитые, стушевывались и теряли всю свою важность; другие, прежде неведомые, подбочась, выступали вперед. Все они вели себя по меньшей мере двусмысленно. Они аукались, перемигивались, перестукивались и подавали друг другу условные знаки; они налаживали любовные связи и вступали в смертельную вражду; они заключали наступательные и оборонительные союзы. Они шли на беспринципные компромиссы и строили ковы. Они даже плели заговоры против изумленного подобной наглостью автора, который, вслушиваясь в растущее многоголосие, с трудом начинал понимать: главное в его деле не количество информации, а объем музыкальных тем.

Ученые друзья настоятельно рекомендовали нам снять библиографические ссылки или хотя бы не указывать номера страниц. Они исходили из того, что отдельные склонные к легкой поживе диссертанты, прельстясь благородной доступностью собранных нами фактов, будут заимствовать готовые цитаты, не утруждая себя самостоятельными разысканиями. Мы, однако, с негодованием отвергли столь низкое подозрение! Во-первых, точная библиографическая привязка есть одно из условий культурного существования текста и порой даже как бы входит в его духовный состав. А во-вторых, что же дурного, если твой труд растаскивают на цитаты — как, скажем, «Горе от ума»...

Пусть не смущает читателя неодинаковое написание в документах некоторых слов и выражений (таких, например, как «бог», «государь» и т. п.). Строчная или прописная буквы отнюдь не являются следствием наших идейных симпатий и антипатий, а лишь бережно воспроизводят орфографию публикаций, которая, как известно, зависела не только от грамматических факторов.

Хотя в журнальном варианте книги неизбежны крупные сокращения (порой — целых сюжетов и глав), нашим идеалом остается максимальная полнота. Читатель не должен пасть жертвой авторских предпочтений! Он вовсе не обязан разделять точку зрения автора. Имея перед собой подлинные свидетельства, он, читатель, волен предложить собственную версию: жанр подвигает к сотворчеству.

Если мы и не призываем читателя немедленно внять совету Честертона (относительно «заклейки» авторского текста), то единственно потому, что не хотели бы лишать себя удовольствия основательно и по-доброму с этим читателем поспорить. То есть осуществить именно ту возможность, от которой автор «настоящих» романов великодушно отказывается: растворив жемчуг исторического факта в вине своего красноречия, он приглашает благодарного читателя залпом осушить этот волшебный напиток.

Страшась литературного одиночества, мы уже теперь озаботились тем, чтобы обзавестись компаньоном: ссылка на авторитеты еще никому не вредила. Так возник тот, кто был почтительно наречен Чуаствительным Биографом (далее краткости ради иногда именуемым Ч. Б.). Легко догадаться, что указанный персонаж — лицо в высшей степени собирательное. За подлинность приводимых цитат мы, однако, ручаемся головой.

Остается последнее. Возможна ли вообще б и о г р а ф и я — человека, страны, эпохи? Может быть, прошлое невосстановимо, и, вызывая оттуда духов (чтобы, как водится, вопросить их о будущем), мы только обманываем самих себя?

Как замечает (в предисловии к «Братьям Карамазовым») наш герой: «Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения».

Он, разумеется, шутит.

Глава I. *Родословное древо*

В 1829 году Пушкин начал «Роман в письмах»; сочинение осталось незаконченным. Герой пишет приятелю: «...Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат... Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!»

Для самого Пушкина родовые предания — дело нешуточное. «Любовь к отеческим гробам» — не просто семейное чувство, это еще и черта исторического сознания и важнейший признак культуры. Пушкин хорошо знал свою родословную, гордился ею и тесно сопрягал свое собственное существование с долгой, уходящей к истокам национальной жизни цепью родственников и предтечей.

Толстой, Лермонтов, Тургенев, в меньшей степени — Гоголь прекрасно помнили своих ближайших и отдаленнейших предков. И хотя в отличие от Пушкина им редко доводилось прибегать к генеалогическим аргументам, они тем не менее не только ощущали за собой авторитет глубоко укорененной культурной традиции, но и — над собой — надежную сень старого родового древа.

У Достоевского — все иначе.

Его имя было внесено в московские дворянские книги лишь после того, как его отец в ы с л у ж и л себе потомственное дворянство. Следовательно, с формальной точки зрения Федор Достоевский должен был числить себя членом привилегированного сословия только во втором поколении. С другой стороны, у него имелись некоторые основания полагать, что он принадлежит к достаточно старому, хотя и незнатному дворянскому роду. Эти предположения

нельзя было подтвердить какими-либо документами (которые он, к слову, никогда и не пытался отыскать): они основывались на устном предании и на тех указаниях, которые заинтересованное лицо могло почерпнуть из доступных ему источников.

Сам Достоевский ничего не говорит о своих предках.

Его родословная столь же неопределенна, как и «предыстория» многих его героев: намеки, догадки и вероятия играют здесь не меньшую роль, чем твердо установленные факты. Достоевский не мог не чувствовать двусмысленности своего социального происхождения: дворянин без солидного генеалогического «стажа» и в то же время — отпрыск упоминаемого в источниках, относящихся к XVI столетию, рода. Не потому ли на каторге, лишенный дворянства, он в своих спорах с поляками будет яростно настаивать на своей принадлежности к сословию — как бы подвергая сомнению по высочайшей воле совершившийся акт? Разумеется, в глазах того, кто получил дворянское достоинство *не из* царских рук, а опирается на древнее родовое право, акт этот не мог иметь никакой моральной и юридической силы.

Редко сходящиеся в своих биографических показаниях Андрей Михайлович (брат) и Любовь Федоровна (дочь) согласно повествуют о литовском происхождении предков. Это справедливо скорее в территориальном, нежели в этническом смысле, ибо боярин Данило Иванович Иртищ (гипотетический предок Достоевского), по-видимому, ведет свое происхождение от великорусского рода Ртищевых.

Так утверждает Н. П. Чулков — едва ли не единственный, кто всерьез озаботился изучением дальней родословной героя. Чулков полагал, что первым звеном в этой генеалогической цепи был Аслан-Челеби-мурза, выехавший в 1389 году из Золотой Орды, крещенный великим князем московским Дмитрием Донским и женившийся на дочери княжеского стольника. (Достоевский в рассуждении о предках, павших, как мечталось бы, на Куликовом поле, вряд ли предполагал, что в *его* случае предки могли пасть как с той, так и с другой стороны.) От этого брака и пошел род Ртищевых, одна из ветвей которого через столетие с небольшим обретает имя Достоевских.

На гербе Ртищевых (к грядущему огорчению блюстителей геральдической чистоты) располагались Луна (полумесяц) и шестиугольная Звезда, что, очевидно, намекало на не вполне православное происхождение владельцев. Впрочем, во избежание двойных толкований намек был уточнен внятным изображением пары вооруженных татар.

В начале XVI века один из Ртищевых обнаруживается под Пинском. 6 октября 1506 года князь Пинский Федор Иванович Ярославич (чей отец бежал в Литву из Московии еще в 1456 году — при Василии Темном) жалует своему боярину «вечно и непорушно» несколько дворов в селе Достоев. В этом названии легко прочитываются корни таких слов, как «достоинство» и «достоянье»: как кому угодно [1].

Отсюда пошел род Достоевских.

В 1521 году, умирая, князь Пинский завещал свой удел польскому королю. С тех пор на протяжении более двух с половиной веков (до второго раздела Польши в 1793 г.) земли эти входят в состав не очень стабильного, часто меняющего свои очертания польско-литовского государства. Представители рода занимают выборные должности в Пинске и его окрестностях, а один из них — Петр Достоевский — даже становится членом главного трибунала Великого княжества Литовского. Очевидно, не лишено справедливости мнение, что, оказавшись в зоне напряженного противоборства православного и католического вероисповеданий, род испытывает значительное воздействие польской культуры: некоторые из Достоевских переходят в «латинскую» веру. Характерно при

[1] Значения слова «достой»: «приличие, приличность, соразмерность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему». (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. М., 1880, т. 1, с. 479.)

этом, что большинство представителей рода — независимо от веры — подписываются по-русски.

В 1570-х годах в Пинском повете (уезде) проживает Федор Достоевский — «уполномоченный приятель» (так именуют его документы) [1] отъехавшего в Литву опального князя Андрея Курбского. Те, кто склонен к поискам литературных предтечей в десятом поколении, должны бы насторожиться. Но, увы, нет ни малейших намеков на то, что «уполномоченный приятель», деятельно посредничавший в судебных тяжбах между Курбским и его новой, «зарубежной» супругой, имел хоть какое-то касательство к не менее захватывающему диалогу — своего патрона с Иваном Васильевичем Грозным...

Блуждая в генеалогических потемках, нетрудно и заблудиться. Так, автор Легенды о великом инквизиторе полагал, что его предок Стефан (Степан) — родоначальник православной ветви Достоевских. Ему, сокрушителю «католической идеи», льстило это родство. Любовь Федоровна гордо именует вышеуказанного Стефана монахом и архиепископом: он не был ни тем и ни другим. Как выясняется, «земянин минский» — правоверный католик, и в 1624 году он (или его тезка) [2], вернувшись из турецкого плена, повесил серебряные цепи перед образом «Матки Боски» во Львове.

(Его дальний потомок, разумеется, не соблюдал этот католический обычай — вешать перед иконой-целительницей изображения исцеленных членов и символы перенесенных страданий. Иначе, вернувшись с каторги, он нашелся бы отблагодарить провидение материально — отливкой, скажем, пары серебряных кандалов.)

Очевидно, тому же Стефану Достоевскому, помимо турецкого плена, выпало пережить и другую драму. Его дочь — Марына Стефановна — была обвинена в убийстве своего мужа (которое совершилось при помощи наемного убийцы, по-видимому, любовника Марыны — Яна Тура), в подделке завещания покойного и в покушении на убийство пасынка. После долгого судебного разбирательства Марыне, равно как и ее сообщнику, вынесли смертный приговор. Пока главный королевский трибунал утверждал решение первой инстанции, эта, по тонкому замечанию биографа, «леди Макбет Пинского повета» успела вторично выйти замуж (вопреки нашим романтическим ожиданиям — вовсе не за Яна Тура) — и ее новый супруг просил короля о милосердии. Король отсрочил казнь на двенадцать недель.

В семейной хронике Достоевских встречаются, как видим, шекспировские характеры и сюжеты.

В начале XVII века Достоевские появляются на Волыни. Сведения о них содержатся в «Актах, относящихся к истории Южной и Западной России»: ничем, кроме острого генеалогического любопытства, нельзя объяснить наличие этого сугубо специального издания в библиотеке Достоевского.

Любовь Федоровна полагает, что один из ее католических предков, перекочевавших на Украину, переменил религию, дабы жениться на православной. Это выглядит возвышенно. Не совсем ясно, правда, почему веру не переменила избранница.

Во всяком случае, в волынской ветви рода появляются лица духовного звания — в том числе иеромонах Киево-Печерской лавры Акиндий Достоевский.

О чем же свидетельствуют все эти, как выражались в старину, «родословные разведки»? Нет ни малейшего смысла подражать известному спору семи греческих городов. Гомер принадлежит всей Элладе. Точно так же Достоевский, в жилах которого наверняка смешались три братские крови — русская, украинская, белорусская (а, может быть, еще — польская и литовская),— всецело принадлежит российской культуре XIX столетия. Сколь бы тщательно ни

[1] Это польский юридический термин. Ч. Б. (Чувствительный Биограф), называя Федора Достоевского «приятелем и *уполномоченным*», очевидно, запамятовал, что второе определение *в качестве существительного* стало употребляться сравнительно недавно.

[2] Имя Стефана Достоевского упоминается в документах с 1577 по 1624 год, и в принципе оно могло принадлежать разным лицам.

вычерчивать генеалогические таблицы, они не прояснят ни тайну личности, ни тайну творчества. Природа предпочитает свою игру. Она простодушно раскладывает пасьянс, верует в удачу, в случай, в слепую и нечаянную тасовку, в лотерею.

Бог весть, кому повезет.

В 1933 году в Москве вышло капитальное исследование М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского». Автор проанализировал медико-биологические данные, относящиеся к 370 представителям рода — как по восходящей, так и по нисходящим линиям,— и с замечательной обстоятельностью зафиксировал все патологические отклонения: шизоидные и эпилептоидные проявления личности, чудачества и странности поведения, те или иные аномалии. Волоцкой указал также на музыкальную, литературную, художественную и научную одаренность многих из Достоевских. И что же? Этот чрезвычайно ценный как для науки, так и для любопытствующих читателей материал ровно ничего не добавил в плане «вычисления» самого Достоевского. Приходится примириться с тем, что простая комбинация биологических и социальных факторов не в состоянии породить гения: он все еще относится к области непредсказуемых явлений.

Отец Достоевского, Михаил Андреевич, родился в год Великой французской революции. В России близилось к концу царствование Екатерины Великой. Куда как легче указать на эти исторические обстоятельства, нежели остановиться на событиях жизни семейственной. Там, где столпившиеся экскурсанты готовы почтительно лицезреть поясные изображения суровых, но добродетельных предков, сиротствуют одни лишь золоченые рамы...

Известно, впрочем, что дед Достоевского, Андрей Михайлович (чье отчество приводится обычно со знаком вопроса), был протоиереем города Брацлава Подольской губернии: об этом еще придется сказать несколько слов. Что же касается супруги Андрея Михайловича, то, несмотря на уверения их внука (тоже Андрея Михайловича), что его бабка была «женщиной не только умною, но и влиятельною в своем крае», он не может назвать ни ее имени, ни «девической фамилии»...

Достоевский никогда не видел своих — по отцу — деда и бабку и, очевидно, не знал (как не знаем этого мы) даты и места их рождения и смерти. Он не мог ощущать себя необходимым звеном в родовой цепи: «с тыла» его прикрывал только отец. Немудрено, что за отсутствием достоверно установленных предков на помощь призывается мифический «архиепископ Стефан»...

Отец Достоевского, Михаил Андреевич, обучается наукам в Каменец-Подольской духовной семинарии. Но благополучно наступивший XIX век вновь спутывает карты.

Михаил Достоевский одним ударом обрубает нить, связующую его с отчим домом и через него — с более отдаленными поколениями. В 1809 году, в возрасте 20 лет (а вовсе не в 15, как утверждает его склонная к преувеличениям внучка) он покидает Западную Малороссию, оставив родителей, брата и шестерых сестер, и «удаляется» в первопрестольную, дабы поступить в Московское отделение Императорской Медико-хирургической академии. Шаг весьма решительный: о подоплеке мы можем только догадываться.

Схема, выступающая из семейных преданий, примерно такова. Жестокосердый отец, желающий, чтобы сын со временем унаследовал его священнический сан, а потому противящийся сыновним намерениям, и, натурально, сердобольная мать, тайно поддерживающая сына («с согласия и благословения матери»). Замечательно, что эта оппозиция (оба родителя — с соответствующими знаками) легко воспроизводится в следующем поколении. И так же, как и его отец, Достоевский резко «меняет судьбу»: вспомним его неожиданный и, с точки зрения родственников, ничем не оправданный поворот от налаженной, дающей обеспечение службы к гадательной литературной карьере.

Между тем говорить о «ломоносовском» шаге юного Михаила Андреевича, по-видимому, не приходится. Ибо, во-первых, переход семинаристов с духовного на медицинское поприще был делом вполне обыкновенным, а во-вторых, все эти перемещения совершались все-таки внутри достаточно однородной социальной среды.

Поразительно другое: почему после переселения в Москву Михаил Андреевич не поддерживает никаких контактов с родственниками и спохватывается, когда уже поздно? Бог с ним, с отцом — но мать, брат, сестры: чем виноваты они? Сколь бы ни были для него тягостны (положим) воспоминания об отчем доме, трудно объяснить такую поистине нечеловеческую холодность. (Может быть, Л. Гроссман, говоря о «мефистофельски» очерченных бровях[1] на единственном дошедшем до нас портрете Михаила Андреевича, имел в виду именно это обстоятельство?)

И еще: та самозабвенная погруженность в домашнюю семейную жизнь, которая отличала отца Достоевского в зрелые годы,— не была ли она оборотной стороной его гордого отъединения от собственного прошлого, отчаянной попыткой воздвигнуть родовой очаг на голом месте? Во всяком случае, сын унаследовал эту черту, и в его позднем восклицании: «А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..» — можно уловить не одну лишь ностальгическую печаль по «семейству русскому и благочестивому». Нет ли здесь еще и тайного оправдания отца — того, кто, не будучи примерным сыном, сумел исполнить хотя бы родительский долг?

«Отец, скажи: куда ты дел отца своего и матерь свою?» — не этот ли т р у б н ы й в о п л ь, исторгаемый хором невинных детей, мнился Михаилу Андреевичу в часы его возможных бессонниц?

Видимо, не случайно третий, появившийся в 1825 году, ребенок нарекается А н д р е е м: то ли в память, то ли н а в с я к и й с л у ч а й — в зыбкой уже надежде на встречу.

Искал ли, однако, этой встречи сам виновник разлуки? Или он давно уже свыкся со своим удобным сиротством?

Но тут взыскательный читатель (а именно такой читатель неотступно маячит перед нашим мысленным взором) может задать еще один — на первый взгляд дикий и ни с чем не сообразный вопрос: «А существует ли уверенность в том, что Достоевский — действительно Достоевский?»

Не склонные к подобного рода шуткам, мы — лишь в силу нашего врожденного уважения к читателю-другу — попытаемся (по возможности кратко) воспроизвести ход его недремлющей мысли.

Итак, соображение первое.

Как явствует из его послужного списка, Михаил Андреевич Достоевский оказался в Москве не позднее осени 1809 года. Когда, однако, он вышел из дома? Этого мы не знаем. Так что сведения Любови Федоровны о 15-летнем, по собственной надобности путешествующем отроке, возможно, не столь фантастичны.

Но главное, конечно, не в этом.

Откуда вообще известно, что семинарист, покинувший Подольскую губернию, и человек, который явился в Москву для поступления в Медико-хирургическую академию, что эти люди — одно и то же лицо?

Это известно только из единственного источника: из уверений самого Михаила Андреевича Достоевского. Никакими, как сейчас сказали бы, независимыми наблюдателями факт этот не подтверждается.

Здесь мы вынуждены прервать уважаемого коллегу и заметить, что его утверждения не вполне справедливы. Ибо он упускает из вида, что в 1879 году у автора «Братьев Карамазовых» неожиданно объявилась родня — дочь одной из сестер его отца. В послании, содержащем, как водится, просьбу о денеж-

[1] Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л., 1924, с. 25.

ной помощи, новоявленная кузина сообщала знаменитому романисту (то бишь двоюродному брату) об уходе из дома его отца (хотя, по ее убеждению, он направился вовсе не в Москву, а в Петербург). Таким образом, Н. Е. Глембоцкая (такова фамилия затерявшейся на просторах Подолии бедной родственницы) со слов своей матери, родной сестры отца Достоевского, подтвердила факт семидесятилетней давности.

«Что же из этого следует? — вежливо усмехнется нимало не убежденный нами читатель.— Из этого следует только то, что сын священника Достоевского действительно покинул родные пенаты и направился на север (не буду уточнять, куда именно, хотя мог бы кое-что извлечь из этих забавных географических разночтений). Но вопрос заключается в ином: добрался ли отважный беглец до того места, куда он шел?»

На что, собственно, намекает наш подозрительный друг? Тайный поклонник детективного жанра, он, очевидно, старается уверить нас в том, что, выйдя из отчего дома, юный Михаил Достоевский Москвы все-таки не достиг. Куда же он тогда подевался? Уклоняясь от прямого ответа, нам толкуют что-то не вполне вразумительное. Возможно, мол, неопытный странник занемог и умер в дороге; допустимо даже, что он был убит; не исключено на худой конец, что он задумал скрыться за рубеж (благо до него — рукой подать). И Некто, настоящего имени которого мы не знаем, овладев документами скитальца (Алеко — живому или мертвому — паспорт вроде бы ни к чему), явился под чужим именем в Москву и устроил там свою карьеру [1].

Вольно мечтательному (и, в сущности, ни за что не отвечающему) читателю резвиться в его читательском далеке: там можно пестовать любые гипотезы. Но надо понять и автора. У него (автора), однажды уже имевшего неосторожность покуситься на тайну смерти Достоевского, нет ни малейшей охоты ввязываться в новую увлекательную дискуссию — относительно неясностей его происхождения. И все же — ради охранения истины — надлежит беспристрастно рассмотреть все возникающие резоны.

Итак, соображение второе (принадлежащее, как помним, все тому же добровольному разыскателю).

Андрей Михайлович и Любовь Федоровна — оба с примечательной оговоркой «кажется» — повествуют о том, как их отец и дед пытался найти потерянных родственников и даже — увы, безрезультатно — взывал к оным с газетных страниц. («Было бы весьма любопытно,— с нехорошей улыбкой добавляет наш оппонент,— эти воззвания обнаружить».)

Допустим (продолжает он далее), что подольские родственники Достоевского не читали газет. Но неужели их не читали в губернии и никто на родине, куда Михаил Андреевич прямо адресовался, не был в состоянии указать местному уроженцу, что сталось с его уважаемыми и влиятельными «в своем крае» родителями и какова судьба шести его сестер и брата Льва, который, по утверждению все той же Глембоцкой, исполнял пастырскую должность в одном из местных селений и носил фамилию Достоевский?

«Почему,— патетически восклицает оратор,— наши достоевсковеды, как видно, более всего озабоченные неблагозвучием собственного имени (что и понятно — при благозвучии имени собственного!), никогда не пытались объяснить столь вопиющие факты или хотя бы задуматься над ними?» И, высказав это неуместное обвинение, как бы успокаивается и переходит к дальнейшим пунктам:

[1] В русской мемуаристике описан подобный случай. В провинциальной семинарии был разоблачен преподаватель: он жил и занимался учительской деятельностью под чужим, незаконно присвоенным именем. Исключенный в свое время из бурсы с волчьим билетом, этот отважный самозванец воспользовался аттестатом своего товарища, умершего у него на руках от чахотки. Уехав в дальний город, он прекрасно там устроился и даже подумывал о женитьбе. (См.: Ист. вестник, 1892, № 1, с. 93—95). Бескорыстно сообщаем эту поучительную историю вдумчивому читателю.— Прим. автора.

поверим Любови Федоровне, что угрызения совести действительно мучили ее деда. Однако все сведения о его попытках связаться с родными восходят к нему самому и не имеют пока никаких документальных подтверждений;

та же Любовь Федоровна, чисто по-женски противореча себе самой, замечает, что Михаил Андреевич «никогда не говорил о своей семье и не отвечал, когда его спрашивали об его происхождении». Подобная генеалогическая скрытность — отличительный признак более поздней эпохи. Правда, Любовь Федоровна вспоминает о деде с чужих слов. Но вот ближайший свидетель, Андрей Михайлович, спешит довести до нашего сведения, что его отец на вопросы, почему он не хлопочет о доказательствах своего дворянского происхождения, «с улыбкой» ссылался на басню Крылова «Гуси».

Конечно, предки Михаила Андреевича не спасали Рим. Но его скромность в настоящем случае чрезмерна. Особенно если вспомнить, какие титанические усилия прилагал этот добропорядочный pater familias [1] (под личиной которого, по сути, скрывался отцеотступник и нераскаянный блудный сын!), чтобы приобщить себя и своих детей к благородному российскому дворянству. Поиски документов (не столь обременительные) сильно упростили бы его задачу.

Родственники, жившие в Брацлаве и его окрестностях — причем не только Достоевские, но и неизвестная нам по фамилии «влиятельная» родня Михаила Андреевича со стороны матери,— все они не могли исчезнуть бесследно, раствориться, кануть в Лету. В иерархическом государстве человек не иголка.

Создается впечатление, что преуспевший московский доктор сознательно избегал каких-либо контактов с потенциальными родственниками. Все его разговоры на эту тему (если таковые действительно имели место) могли преследовать вполне понятную цель: пристойно выглядеть в глазах собственной семьи.

Такова примерно логика нашего обладающего криминалистическими досугами оппонента (и друга). Но, не довольствуясь вышеизложенным, он выкладывает еще один козырь — на сей раз сугубо медицинского свойства.

«Глумясь и хихикая», наш друг (и оппонент) указывает на родословные таблицы в уже упоминавшейся книге М. В. Волоцкого: у почтенного автора якобы не сходятся концы с концами! И в доказательство своих слов предлагает взглянуть на собственные расчеты.

Придется привести эти сомнительные математические выкладки.

Из 140 прямых потомков Михаила Андреевича Достоевского лишь 27 (т. е. менее $^1/_5$) не имеют каких-либо патологических отклонений. У 47 потомков (примерно $^1/_3$) — по одной аномалии, у остальных же (т. е. примерно у $^1/_2$) — их целые джентльменские наборы (шизофрения, эпилепсия, алкоголизм, склонность к самоубийству и т. д. и т. п.). Значителен в этой группе процент лиц научно и художественно одаренных.

Затем наш оппонент (и, с позволения сказать, друг) обращается к той ветви Достоевских, которые остались на Украине (группа эта состоит, правда, всего из 20 человек). Он отмечает, что статистика здесь совершенно иная. «Подольские» Достоевские — практически здоровые люди, без каких-либо отклонений в ту или иную сторону (болезненные проявления здесь так же редки, как и признаки одаренности).

Но из сравнения этих двух таблиц явствует, что те наследственные признаки, которые обильно присутствуют у потомков Михаила Андреевича, начисто отсутствуют у его родственников, оставшихся на юге. Контраст столь разителен, что такой убежденный сторонник генетики, как Волоцкой, должен был бы насторожиться [2].

[1] Отец семейства (лат.) — Одна из слабостей нашего оппонента — к месту и не к месту демонстрировать свою — впрочем, довольно поверхностную — эрудицию. (Прим. автора.)

[2] Исследователь, судя по всему, и был несколько обескуражен: иначе как объяснить тот факт, что в схеме, изображающей подольскую ветвь Достоевских, два лица (в том числе сам родоначальник — Андрей «Михайлович») помечены значком «эпилептоидные признаки», хотя в комментирующем эту таблицу тексте имеются прямые указания на отсутствие подобных аномалий. Здесь, очевидно, мы имеем дело со случаем, когда болезни внука автоматически (ретроспективно) переносятся на деда. (Прим. взыскательного читателя.)

Ибо данные Волоцкого (к сожалению, не осознанные им самим) определенно свидетельствуют о разном генетическом фонде Михаила Андреевича Достоевского (или того, кто назвался этим именем) и Достоевских, оставшихся на Украине.

«Любопытно,— не без ехидства заключает наш друг-читатель,— о чем мог бы поведать перед смертью отец Достоевского, умри он не в чистом поле от рук неразумных убийц, а, как и подобает доброму христианину, дома, в окружении любящих детей (тут уместен Некрасов: «время вам, детушки милые, узнать мой великий секрет»), и прими у него подоспевший батюшка не глухую (то есть бессловесную), а обычную исповедь?»

Простим читателю-дилетанту его неуклюжую иронию: не компенсирует ли она академическую застенчивость, понятную при отсутствии ученых степеней и званий? Откровенно говоря, наш неофит даже мил нам своей пусть наивной, но, хотелось бы верить, искренней ревностью к общему делу. В иную минуту и у нас, признаться, мелькало: здесь что-то нечисто!

И впрямь: какая могущественная сила могла побудить незрелого еще отрока, возросшего, надо думать, в строгой патриархальности нравов, расстаться с родительским домом и — без денег, без связей, без отцовского благословения — рвануться из глухого провинциального угла в самое сердце империи? В расчете на что?.. на кого?.. Какая капитальнейшая причина понудила беглеца молчать все эти годы? «Или на вас тяготит преступление...» (но — какое?) Или? И почему не искали чадо отец и мать? Ведь, судя по письму Глембоцкой, подольские родственники были в общем осведомлены об удачной служебной карьере Михаила Андреевича, но почему-то тоже не спешили подать о себе весть.

(Кстати: Глембоцкая ничего не говорит о семейном скандале. Из ее письма можно заключить, что Михаил Андреевич покинул родные пенаты самым миролюбивым образом. Известна ли ей подлинная причина ухода? И если известна, то почему она деликатно обходит эту тему?)

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, надо для начала ясно представить себе, откуда явился Михаил Андреевич и что происходило на его экзотической родине. Ирония судьбы такова, что, зная имена предков Достоевского, живших в XVI и XVII веках, мы не имеем ни малейшего понятия о его ближайших (по времени) родственниках: век XVIII представляет собой в этом отношении сплошной провал...

Возможно — хотя бы частично — заполнить этот биографический вакуум?

Мы начали с Брацлава и его окрестностей.

С первых же шагов начались трудности библиографического порядка. Выяснилось, что в каталогах отечественных библиотек (даже самых фундаментальных) практически отсутствует литература на польском и иных языках, касающаяся данного региона. Если в конце XVIII столетия православный Синод вывез из Западной Малороссии и, по сути дела, изъял из употребления архивы, связанные с деятельностью униатской церкви, то уже в недавнее время — по причинам, как можно догадаться, сугубо светским — оказались недоступными и многие печатные материалы, причем самого широкого диапазона. Сложная историческая судьба земель, где обитали ближайшие предки Достоевского, не могла не сказаться и на степени неизученности вопроса: белые пятна стали еще белее.

Куда девалась фамилия, сумевшая в предыдущие два столетия оставить по себе хоть какую-то память?

В «Польском гербовнике» А. Бонецкого удалось обнаружить: 1715 год — первое упоминание брацлавских Достоевских. Хотя по-прежнему не вполне ясно, когда и при каких обстоятельствах представители рода переместились в Подолию, смущавший историков генеалогический перерыв примерно в четыре поколения (между волынской и подольской ветвями) начал вроде бы сокращаться.

Но далее документы безмолвствовали. Вернее, их не было вовсе. Равно как не было никаких указаний, где, собственно, их искать.

Одну зацепку, правда, стоило взять в расчет.

Если дед Достоевского был священником, то, может быть, какие-то упоминания о нем затеряны в источниках, связанных с церковной жизнью? А также — с той вековой распрей, которая некогда сотрясала земли к западу от Днепра.

Русская церковь серьезно относилась к своей истории. Подольская епархия в этом смысле не была исключением. Она издавала собственные «Труды...»; немалая информация о прошлом края (причем не только религиозном) накапливалась и в «Подольских епархиальных ведомостях».

Эти источники, в которых отразилась по преимуществу церковно-официальная точка зрения на исторические события, оказались гораздо доступнее. Для их поиска не пришлось совершать паломничества ни в Киев, ни в Житомир, ни даже в Винницу: тома из библиотеки Святейшего синода и некоторых монастырских собраний нашлись и в Москве.

Оставалось вооружиться терпением и верой.

Усердная ловля да вознаградит ловца! И дрогнет удилище, и среди серебристой мелочи, как тяжелая рыбина, забьется имя:

ЯН ДОСТОЕВСКИЙ

В 1786 году[1] Брацлавская униатская консистория слушает скучное дело: об имущественных претензиях семьи почившего пароха (приходского священника) к его преемнику. Среди лиц, предъявивших семье покойного встречный иск, упоминается парох Ян (или Иван) Достоевский, Животовской протопопии, деревни Скала.

Иван Достоевский женат на дочери Романа Скочинского, брацлавского оффициала и пароха села Очеретны (эти сведения тоже «вычисляются» из документов). Оффициал — довольно высокая должность в церковной иерархии: первое начальственное лицо после епископа, замещавшее его в случае отсутствия или кончины. Таким образом, благодаря своему тестю Иван Достоевский — священник не вполне рядовой.

Более о Яне (Иване) не известно ничего. Приходится только гадать — прямой ли он предок Достоевского или какой-нибудь дальний родственник. Зато, исходя из еще одной судебной тяжбы, смело можно судить о характере этого достойного пастыря, который плечом к плечу с двумя гостевавшими у него иереями вступился за сокрушаемого казацким старшиною церковного дьячка. Бог пособил своим — архистратиги одолели обидчика, который успел-таки нанести телесное повреждение отцу Ивану (Яну) и разодрать юбку на его жене (дочке оффициала!). Но тут на крик (как элегически замечено в документе, «ночной порой раздавшийся далеко») явились из соседней корчмы разгоряченные вином поселяне («кануниые люди») с кольями — и, кто знает, не пресекся бы на этом род Достоевских, если б не экстренное вмешательство светских властей.

(Судьба изыщет способ осуществить угрозу. Через полвека с небольшим отец Достоевского будет зверски убит крестьянами: начальство не успеет вмешаться.)

...Как одиноко Ивану Достоевскому на просторах огромного века: нет у него ни детей, ни братьев...

Случаются ли в описях описки?

---

[1] В источнике указано: «Среда 1788 г.», но это, без сомнения, опечатка. Судебные записи велись в строго хронологическом порядке, и интересующий нас текст располагается среди материалов февраля — марта 1786 года. Кроме того, само судопроизводство начато 22 апреля 1779 года.

15 июля 1775 года представляется по начальству «Опись протопопии Животовской приходов и церквей». Среди прочего значится: была некогда в местечке Животове соборная Николаевская церковь (православная), а при ней протопоп Федор Достоянский; в 1740 году церковь сия «отнята... на унию и ныне (то есть в 1775 году.— **И. В.**)» находится при храме униатский священник Корнилий Шпановский.

Вскоре, однако, Корнилий Шпановский умирает; его место занимает парох Павел Зражевский. Возникшие в этой связи имущественные споры тщательно зафиксированы в актах Брацлавской униатской духовной консистории.

Не будем утомлять читателя выписками из долгих и запутаннейших судебных дел. Скажем лишь, что наследники Шпановского предъявляют иск его преемнику — за постройки, которыми тот пользуется безвозмездно. Далее происходит следующее. Истцы почему-то отказываются от своих претензий в пользу — тут по всем литературным канонам полагается пауза — в пользу нашего старого знакомца, Яна (или, если угодно, Ивана) Достоевского.

Естественно предположить: «Достоянский» и Достоевский — люди друг другу не посторонние. Ибо второй выступает в качестве юридического наследника первого. Какова же степень их родства?

Федор «Достоянский» был рукоположен в сан преосвященным Варлаамом. Варлаам Ванатович — киевский православный митрополит в 1722—1730 гг. Следовательно, теоретически Иван Достоевский может приходиться Федору «Достоянскому» (Достоевскому, если исправить ошибку или опечатку) сыном. Принадлежность отца к православию, а сына к унии не должна нас смущать: подобные переходы, как мы еще убедимся, дело в ту пору обыкновенное.

Дополнительным аргументом в пользу родственной близости является близость топографическая. Церковь св. Михаила в селе Скале, где служит Иван Достоевский, относится все к той же Животовской протопопии (или деканату), во главе которой еще недавно стоял отец Федор: все рядом, в пределах одного пронизанного семейными связями ареала.

Сомнителен, правда, возраст подозреваемых. По нашим (сугубо приблизительным) подсчетам, к моменту рождения Яна (Ивана) Федору должен был идти шестой десяток. (Хотя у его знаменитого тезки (и пра(пра)внука?) дети рождались именно в этом возрасте.) Во всяком случае, схема Федор (отец) — Иван (сын) должна рассматриваться исключительно как рабочая: возможно, здесь пропущено одно поколение или не учтены «боковые» варианты родства.

Федор — ? — Иван — ? — не так уж далеко до звена, ради которого разматывается вся цепь.

...Нелюдимо мертвое бумажное море! Горько пускаться в него без надежды на встречу.

Предчувствия, томившие нас, имели свои причины.

По закоренелой российской привычке мы уповали на бюрократию (правда, в данном случае, не столько отечественную, сколько польскую). Ибо если дед Достоевского действительно принадлежал к духовному званию, то хотя бы тень этой принадлежности рано или поздно должна была промелькнуть во входящих и исходящих бумагах.

Именно так и случилось.

В 1781 году коронный подкоморий граф Викентий Потоцкий обращается к киевскому униатскому митрополиту с просьбой. Могущественный магнат просит утвердить в селе Войтовке, где местный пастырь отпал от унии, нового священнослужителя Андрея Достоевского, «о котором ему сообщает его собственный уряд (община прихожан.— **И. В.**) как о человеке, способном к исполнению священнических обязанностей».

Это первое (и пока единственное) упоминание деда Достоевского в документах его эпохи.

«Презента» (рекомендательное письмо) Викентия Потоцкого наводит на размышления. Во-первых, Андрей Достоевский не именуется там духовным лицом: он лишь представляется к посвящению. Во-вторых, его рекомендует высокородный аристократ, представитель знаменитой фамилии, которая пользуется в крае почти неограниченным влиянием. (Впрочем, в данном случае Потоцкий лишь осуществляет jus praesentae — право рекомендации, которым обладал всякий помещик, в чьих владениях находился церковный приход.) В-третьих, кандидатура предполагаемого священника, по-видимому, известна местным прихожанам («уряду») или хотя бы части их. В-четвертых, Андрей Достоевский должен иметь не менее тридцати лет от роду и состоять в браке (непременное условие для кандидатов).

И, наконец, учитывая, что «презента» землевладельца (тем более такого, как Потоцкий) являлась для всецело зависимых от панства униатских архиепископов по сути дела приказом, вряд ли можно сомневаться в том, что просьба была уважена.

По времени вступления на приход Андрей Достоевский может приходиться братом (скорее всего — младшим) Достоевскому Яну. Но не исключено, что Ян (Иван) — его отец.

Чем занимался Андрей (Михайлович?[1] Федорович? Иванович?) до своего рукоположения? На каком языке изъяснялись в его семье? По каким причинам предпочел он духовную карьеру?

С известной долей вероятия можно ответить, пожалуй, только на второй вопрос. В 1790 году Почаевская лавра (остававшаяся твердыней униатства на протяжении 118 лет, до 1831 г.) издала сборник «благоговейных, покаянных и умилительных песен» — «Богогласник»[2]. Там среди прочего напечатаны 40 стихотворных строк — «Песнь покаянная». Об авторе песни сказано: «Творец Достоевский по краегранению». И, действительно, акростих (начальные буквы первой строки каждой строфы) дают нам эту фамилию.

Хотя имени нет, в семье Достоевских автором считали Андрея. Текст написан на густо уснащенном церковнославянизмами русском языке: надо полагать, он был для песнопевца родным.

Что касается ответов на прочие вопросы, то с ними придется повременить. Скорее всего дед Достоевского проделал обычный путь. Переход мелких шляхтичей на духовное поприще случался в этих краях сплошь и рядом: порою священство было единственным средством социального выживания. Небогатое шляхетство и местное униатское духовенство — это, в общем, одно и то же сословие: сыновья и дочери живущих почти как крестьяне обедневших дворян и униатских попов постоянно женятся и выходят замуж друг за друга.

Еще проще сделаться духовным лицом сыну или брату священника.

Вспомним: и Федор «Достоянский», и Иван Достоевский отправляли духовную службу именно в этих местах. Для оставшегося без священника уряда они не чужие, а свои. Естественно желание приискать нового пастыря из числа уже знакомых: так — надежнее.

Пребывая на границах Польши, России, Австрии, Турции, поневоле возжаждешь некоторого покоя.

Край пестр, многонационален и религиозно напряжен.

Местное малороссийское население в основном исповедует унию. Сохранив-

[1] Традиционное именование Андрея Достоевского «Михайловичем» базируется, очевидно, на том соображении, что его сын (отец писателя) носил имя Михаил — якобы в честь деда. Но таковым могло быть и имя деда по материнской линии. Среди Достоевских XVIII века мы не встречаем пока ни одного Михаила. По нашим подсчетам, родовые (чаще всего повторяющиеся) имена Достоевских — Лев (5: может быть, потому, что имя основателя рода Аслан-Челеби-мурзы переводится как «лев»), Андрей (3), Иван (5), Федор (4).

[2] «Издание Киево-Почаевской лавры» — сказано в одном популярном издании (Пономарева Г. Б. Музей-квартира Ф. М. Достоевского. М., 1987, с. 27); между тем, таковой в природе не существует. Может быть, автор имеет в виду лавру Киево-Печерскую? Но этот древний центр православия, в свою очередь, не имеет никакого отношения к униатскому «Богогласнику».

шееся кое-где православие преследуемо и гонимо. Высшая польская знать и бо̀льшая часть чиновников — «чистые» католики.

В официальных документах униаты именуются «побожными», православные — «благочестивыми».

Униатство — по преимуществу религия «хлопов», детище того вероисповедного компромисса, который был достигнут в 1596 году на Брестском соборе. Во исполнение Брестской унии местная православная церковь признала главенство римского папы (пункт самый капитальный) и католический символ веры. При том она сохранила православную обрядность и церковнославянский язык для своих богослужений.

Этот религиозный дуализм стал источником постоянных раздоров.

За шесть веков, протекших со дня крещения Киевской Руси, «греческий закон» был вполне усвоен теми, кто населял эти обширные пространства. Не все могли безболезненно воспринять прививку «стыдливого католицизма». Формально исповедуя унию, упрямые малороссийские крестьяне временами сильно косились на левый берег Днепра.

Немудрено, что при первом же появлении русских войск (1772 год: первый раздел Польши и русско-турецкая война) в крае начинается религиозное брожение.

Ареной главнейших событий становится село Войтовка.

В Войтовке проживает священник Василий Мокрицкий. Он не только сам переходит в православие, но и старается обратить всю округу. Паства его растет с каждым днем — и только уход «москалей» отдаляет час его торжества. Усилия правительства восстановить унию наталкиваются на глухое сопротивление прихожан: только присылка жолнеров (солдат) заставляет вероотступников изменить точку зрения.

Василий Мокрицкий яко первейший искуситель изгоняется из родного села. История его скитаний — это отдельная повесть, местами напоминающая житие. Отец Василий становится мучеником за веру и как бы национальным героем Войтовки, куда он периодически возвращается тайно. Несмотря на оскорбления и побои, наносимые его ненавистниками и религиозными конкурентами, он продолжает свое подвижническое служение. Удостоенный сана брацлавского православного протоиерея, отец Василий, как некий грозный судия, ведет подробнейший счет обидам, которые чинятся его единоверцам: реестры аккуратно посылаются в Киев.

Войтовка становится знаменитой на всю епархию. И, если бы Андрей Достоевский действительно был направлен в этот очаг религиозного сепаратизма, подобное событие было бы немедленно замечено всеми.

Между тем в источниках, связанных с Войтовкой (да и во всех иных) имя это больше не упоминается: там фигурируют совсем другие лица.

3 февраля 1780 года бывший униатский священник Василий Захарьевич обращается к духовному начальству с прошением о своем присоединении к унии, от коей он был в свое время отвращен злоумышлением протопопа Василия Мокрицкого. 23 апреля консистория удовлетворяет желание раскаявшегося иерея, а 6 мая он получает назначение... в село Войтовку.

Сравним даты: «презента» Потоцкого относительно назначения в Войтовку Андрея Достоевского помечена 1781 годом.

Неужели Захарьевич, лишь год назад возвращенный на войтовский приход, в третий раз надумал переменить свои заветные убеждения?

Захарьевич оставался тверд. И никаких следов Андрея Достоевского в Войтовке, как сказано, не обнаруживается.

(Захватывающий поединок между застенчивым (положим) отцом Андреем и неистовым отцом Василием (не Захарьевичем, разумеется, а Мокрицким!) отменяется по техническим причинам. «Какой сюжет погибает!» — сказал бы Ч. Б.)

Пора, однако, признаться: поддавшись источниковедческому гипнозу, мы бодро шествовали по ложному пути. Но не поворачивать же обратно! Пусть послужит некоторым утешением мысль, что, оступившись публично, сумеешь предостеречь иных: тех, кто последует дальше...

Можно ли не доверять подлинному, опубликованному в солидных епархиальных «Трудах...» документу? Тем более что церковной историей края занимались весьма почтенные люди: как высшие иерархи, так и приходское священство. Они не скрывали своих идейных симпатий, что не мешало им в их разысканиях быть добросовестными и даже дотошными.

И тем не менее. Кто виноват, что в епархии наличествовало как минимум шесть Войтовок? Иные из них принадлежали Потоцким, в иных — сбегали священники: исторические ситуации, увы, повторимы. При таком количестве совпадений даже всезнающим отцам пресвитерам нетрудно было заблудиться...

...Ничего не оставалось, как обложиться старыми картами и, сверяясь с ними, вновь изучить обширную церковную переписку.

(Какие имена и названия замелькают, выныривая из тьмы и как бы намекая на будущие метаморфозы: Маниловка, Шидловка и даже — сущая мистика! — Петра̀шевка... А тайные хронологические подсказки! В конце ноября 1821 года, спустя четыре недели после рождения в Москве Федора Достоевского, жена армейского капитана и дочь брацлавского капитан-исправника госпожа Некрасова (в девичестве Закревская), выехав из Немирова, почувствует себя дурно: роды начнутся прямо в карете. Ребенка назовут Николаем — в честь Николая Мирликийского, покровителя путешествующих...

Закревские и Достоевские жительствуют бок о бок. Дед Некрасова по матери — А. С. Закревский — служил секретарем в брацлавском городском магистрате: он и Андрей Достоевский вполне могли быть знакомы. Некрасов родился именно там, где по всем расчетам надлежало родиться его московскому одногодку. Вряд ли, однако, оба классика подозревали о том, что у них общая малая (или, если угодно, историческая) прародина. Иной, обладай он досугом, не только б компетентно доказал, что предки писателей дружили домами, но и задался б вопросом: не родственники ли?

Мы полагаем, что это уж слишком. Так можно дойти и до вовсе беспардонных намеков. Пушкин заезжал в Брацлав зимой 1820/21 года: любители детективного литературоведения, прикинув сроки, начнут, пожалуй, загибать пальцы...)

Удалось выяснить следующее.

«Презента» Викентия Потоцкого с упоминанием Андрея Достоевского опубликована в связке документов, относящихся к селу Войтовка Чечельницкого (позднее — Ольгопольского) уезда. Это именно то самое село, где вел свою неутихающую борьбу Василий Мокрицкий. Но в Чечельницком уезде нет Немировского ключа (ключ — поместье из нескольких сел и деревень), а он то как раз и указан в «презенте» Потоцкого.

Кому же в конце концов надлежало верить — графу Потоцкому или публикаторам его «презенты»? Был срочно необходим ключ — как в прямом, так и в географическом смысле.

Немировский ключ оказался в Брацлавском уезде: искать следовало именно там. Но в Немировском ключе не оказалось села Войтовки!

«В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам...»

В польской транскрипции «Войтовка» выглядит так: Woitowcy. С равным успехом это может переводиться как Войтовая и Войтовцы. Переводчики «презенты» предпочли вариант: отсюда началась путаница. В Войтовке, где уже сидели два отца Василия, Мокрицкий и Захарьевич, вдруг очутился еще один, никогда не бывший там персонаж.

Между тем у Потоцкого речь идет о селе Немировского ключа под названием Войтовцы: именно туда направляется Андрей Достоевский.

Все вышесказанное полностью подтвердилось, когда обнаружился еще один документ. 4 декабря 1780 года «побожные войтовецкие жители... от лица всей громады» доводят до сведения Брацлавской консистории, что они единодушно осуждают своего бывшего приходского священника Василия Шаржинского и вместо него, «отдавшегося во власть заграничного переяславского пастыря», просят дать им нового, более лояльного духовника. (Интересно, что имя Андрея Достоевского здесь еще не фигурирует.)

Войтовка — Войтовая — Войтовцы...

И вновь обиняком, ненароком, сквозь шум времени пробивается робкая тема... Задолго до появления самого героя его история начинает д в о и т ь с я, как бы предвещая грядущие обольщения и подмены.

Итак, Войтовцы...

...Теперь самое время снова обратиться к Н. Е. Глембоцкой. Вернее — к ее родственному письму, в котором подольская кузина сообщала Достоевскому, что его дядя (родной брат его отца) по имени Лев был священником в селе Войтовцы.

Естественно предположить, что сын Андрея Достоевского, Лев Андреевич, согласно практике и обычаю, унаследовал приход своего родителя. К сожалению, Глембоцкая не указывает годы его служения [1].

На письме Глембоцкой имеется почтовый штемпель — «Жабокрич». Это тут же, неподалеку от Брацлава. Федор, Иван, Андрей, Лев Достоевские вышли из этих мест. Вернее, так и н е вышли из них: один лишь отец героя вырвался из родового гнезда.

(Очень любопытно, отозвался ли Достоевский на вызов Глембоцкой и если отозвался, то как? Ее послание должно было глубоко потрясти адресата: впервые приоткрывалась завеса тайны, восстанавливалась, казалось бы, навеки утраченная родовая связь...)

Но вернемся к деду Андрею. Каких успехов добился он в Войтовцах, на новом для себя поприще? Увы, сведений нет. Как бы, однако, ни сложилась его судьба, вскоре он должен был стать перед ответственным выбором.

В 1793 году по второму разделу Польши Брацлавское воеводство отходит к России. Это приметное для местных уроженцев событие, натурально, сопровождается возвращением униатского духовенства и трех миллионов униатов-мирян в лоно отеческой веры.

1 января 1796 года вновь назначенный епископ брацлавский и подольский Иоанникий торжественно рапортует Святейшему синоду, что во вверенной ему епархии все 1090 церквей «к православию окончательно перечислены».

Что сталось с брацлавским (униатским?) протоиереем п о с л е 1793 года? Но прежде: откуда вообще известно, что Андрей Достоевский исправлял именно эту должность?

О том поведала та же Н. Е. Глембоцкая. Это — единственное свидетельство: неведомо, как самим Достоевским, но н а у к о й оно было принято безоговорочно.

Между тем ни в одном из известных источников указанный факт не нашел пока документального подтверждения.

Глембоцкая ничего не сообщает Достоевскому о религиозной принадлежности их деда. Поэтому в поисках «брацлавского протоиерея» придется рассмотреть все возможные варианты.

С 1772 по 1796 год брацлавским униатским протоиереем был Ян Розворович. Из числа православного духовенства этот сан, как уже говорилось, принадлежал сидевшему в своей Войтовке Василию Мокрицкому. Разумеется, после 1793 года отец Василий воспрял и начал распоряжаться по всей епархии (в частности, ведал расстановкой новых церковных кадров). Гонимый, как это

[1] Во всяком случае, Лев Достоевский не мог оставаться в Войтовцах позднее 1830 года, когда, как удалось установить, его сменяет священник с гоголевской (правда, слегка полонизированной) фамилией — Маниловский.

часто бывает, превратился в гонителя и, очевидно, несколько переусердствовал в этом деле, ибо в 1795 году был возвращен в Войтовку (отправлен в своего рода почетную ссылку?), а главой брацлавского духовного правления стал протоиерей Иоанн Чемена [1].

(Андрей Достоевский и Василий Мокрицкий все-таки встретятся — причем в знаменательный для обоих момент. Как явствует из послужного списка отца Василия, именно он обращал в православную веру церковные приходы Немировского ключа.)

Ни в числе «побожных», ни в числе «благочестивых» протоиереев Андрей Достоевский не наблюдается.

Но, может быть, дед Достоевского был обыкновенным приходским священником и почтительная внучка (Глембоцкая) просто повысила его в чине — подобно тому как правнучка (Любовь Федоровна) поступила с а р х и е п и с к о п о м Стефаном?

И потом: не упорствовал ли дедушка в прежней вере?

По присоединении Подолии и Брацлавщины к России там оставалось 38 униатских приходов. (Были еще священники без паствы: их Екатерина II утешила скромным пенсионом. Лишь после польского восстания 1831 года в крае закрыли последнюю униатскую церковь.) Ни в списках упорствующих, ни в списках тех, которые п о с л е 1796 года постепенно переходили в православие, имени Достоевского нет.

Еще удивительнее, что нет его и среди православной братии. Если, конечно, снова не задаться вопросом о возможных описках и опечатках.

В 12-м выпуске «Подольских епархиальных ведомостей» за 1873 год священник П. Троицкий публикует «Роспись» благочиннических округов (десятоначальств) Брацлавского уезда за 1796—1797 гг. То ли авторы «Росписи» плохо знали грамоте, то ли переписчик оказался не в меру рассеян, то ли вообще виноват с т р е л о ч н и к (то бишь типографский наборщик), но местечко Вышковцы значится в документе как В а с ы ш к о в ц ы, Воловодовка — как В о л о д о в к а и т. д. и т. п. (Фамилии, надо сказать, порою тоже искажаются до неузнаваемости: так, в никому не известном Ж о х а н е в и ч е нам очень трудно было признать нашего доброго знакомого Василия Захарьевича.) Мудрено ли, что имя одного из отцов благочинных — Андрей Д о с т о м с к и й — вызвало у нас такие же ассоциации, как в свое время — Д о с т о я н с к и й?

Андрей «Достомский» ведает вторым благочинническим округом — впоследствии объединенным с третьим и переименованным в пятый, куда входят Войтовцы: священствует ли там еще Андрей Достоевский? Не будет большой дерзостью предположить, что это одно и то же лицо.

Глембоцкая именует своего деда протоиереем. Ее ошибка вполне объяснима.

Дело в том, что до присоединения края к России протоиереи возглавляли церковные округа. После 1793 года д о л ж н о с т ь протоиерея была упразднена: осталось почетное звание, даваемое за церковные заслуги. Протоиереем мог также именоваться главный священник храма. «Управленческие» функции, которыми некогда обладали протоиереи, перешли к благочинным, ставшим во главе благочиннических округов.

Глембоцкая — вдова сельского дьякона, а не церковный историк: за давностью она не обязана знать все эти тонкости. Кроме того, она не предполагала, что будущие биографы Достоевского поверят ей на слово.

Итак, благочинный: можно сказать, почти что — протоиерей. Но тут следы, как нарочно, обрываются — именно в тот момент, когда они едва не привели нас к еще не разгаданной драме.

С таким трудом опознанный дедушка исчезает вновь: не хотелось бы верить, что — навсегда.

Но какое, собственно, отношение имеют все эти перипетии к истории

[1] Эти и некоторые дальнейшие сведения извлечены из церковных источников. Ссылки, ввиду их многочисленности, мы опускаем.

главного героя? Ведь он, судя по всему, обладал куда меньшей информацией о своих предках, нежели та, какой ныне обладаем мы. Что ему — Гекуба?

Однако как знать... (Вот именно: как знать.) Голос крови порой заглушает голос рассудка; дремлющее родовое сознание может явить себя вдруг и в высоком, и в низком обличье...

Достоевский был исторически «молодым» гражданином России. Только одно поколение отделяло его от предков, живших иа территории соседнего государства, в перекрестье иаречий и вер. Болезненно обостренное отношение к Польше, вдохновенная защита вселенской миссии православия, глубокое недоверие к иамерениям римской курии (особенно к ее мировой якобы идее — светского владычества папы) — все это, помимо всего прочего, могло быть еще и следствием «отказа от наследства» — тем более мучительного, чем глубже переплелись старые и новые корни...

Что мог почерпнуть Достоевский из семейных преданий? Знал ли он хоть что-то о жизни деда?

...Нет оснований думать, что в 1793 году Андрей Достоевский противился воле большинства (тем более если вспомнить, что один из его родственников — Федор — был православный протопоп). Недаром сын Мишенька обучается в православной школе...

Так отпадает самая естественная догадка: религиозная драма. Ибо что может быть неодолимей отцовского проклятия, отлучения от веры, изгнания? Но вера-то, выходит, была одна. Вряд ли отец (он же — отец благочинный) оставался тайным адептом отринутой унии. И хотя сын, по-видимому, скрывал (или, во всяком случае, ие афишировал) не вполне православное прошлое своего родителя (его собственные дети, судя по всему, ничего об этом ие знали), у него не было оснований отрекаться от родства. Так что же?

Увы, мы не можем пока ответить на этот вопрос. В поисках ответа мы прошли путь, полный ловушек, ошибок и заблуждений. Это цена познания. Утешимся тем, что ближайшая предыстория героя обрела хоть какую-то определенность...

Судьба Михаила Андреевича обоими своими концами упирается в тайну ухода. Он покидает жизнь, как некогда — дом: при обстоятельствах очень туманных. Исток и устье погружены во тьму. Но тьма окутывает и часть основного русла. Ни одна из подробностей московской — добрачной — жизни не достигает потомков: словно предвидится, что им милее анкета...

И все же: каково было в Москве ему — одному? Никто не приглядывался к молодости скитальца: что он? как он? ие в тягость ли иоша? Биографам его геиального сына было ие до отца: нет очевидцев, и затерялись следы...

Да будут благословенны историки медицины! В роскошных томах, иные из которых одним только весом и объемом уже подвигают читателя к заботе о своей физической форме, найдется кое-что для души...

Михаил Достоевский поступил в Медико-хирургическую академию (она располагалась в здании нынешнего Архитектурного института), как помним, в 1809 году: следовательно, он принадлежал к первому московскому выпуску. Строго ли соблюдался устав академии? Один из его пунктов гласит: воспитанники духовных училищ принимаются не иначе как по направлению Святейшего синода. И — не позднее августа. Дата зачисления Михаила Андреевича — 14 октября. Отсюда с большой дозой вероятия можно заключить, что он не был послан в Москву семинарией, а явился по собственной воле.

В 1808—1809 гг. в Медико-хирургическую академию (в обе столицы) из подольской семинарии было направлено 15 воспитанников. Когда хотя бы один из них попал в Московское отделение, Михаилу Достоевскому трудно было бы выдавать себя не за того, кем он являлся на самом деле (Надеемся, автор последней гипотезы не воспламенится мыслью о сговоре.)

Вольноопределяющиеся обладали тем преимуществом, что у них спрашивали только свидетельство о гражданском состоянии. Мог ли предъявить абитуриент требуемую бумагу? Если целы архивы...

...Скуден быт казеннокоштных студентов, несладко подгоняемое Бонапартом ученье (несмотря на передышку Тильзита, война на пороге). Все это, правда, скрашивается скромными московскими удовольствиями. Воспоминания о тайных пирушках, равно как и о не одобряемых начальством свиданиях с юными мастерицами Кузнецкого моста, должны были — по прошествии почти трех десятилетий — поддерживать в Михаиле Андреевиче отеческую тревогу относительно нравственности отданных в петербургское учение сыновей. Сам ои, будучи студентом, не получал помощи ниоткуда, и понятно, что, продержавшись молодость иа жидких казеиных харчах, должен был с особой подозрительностью отнестись к сыновьей блажи — рассуждениям «любезного друга Фединьки» о необходимости иметь свой чай...

Впрочем, к этому глобальному сюжету мы еще обратимся.

В 1812-м Михаилу Достоевскому 23 года. (Если только ие больше — см. главу «Михайловский замок».) Студенты академии, куда принимались юноши от 16 до 24, весьма вольно обращались с исходными данными.

...Комета, каждую ночь встающая над горизонтом, предвещает, что ей положено предвещать.

С началом нашествия академия разворачивает офицерский госпиталь — в Лефортове, в Головинском дворце (он, заметим, там и поиыне). Врачебная практика третьего курса была, надо думать, ошеломляющей и обильной. Особенно когда в Москву хлынул поток раиеных с Бородинского поля: число пациентов возросло до восьми тысяч.

1 сентября, накануне вступления французов в первопрестольную, Михаил Достоевский следует за отступающей армией. Тысячи раненых спешно грузятся на подводы и баржи. Покинутая жителями и войском Москва остается позади; багровое небо смыкается над живыми и мертвыми...

Михаилу Достоевскому довелось иаблюдать войну с оборотной, изнаночной ее стороны — глазами тылового хирурга. Доблести полководцев, горечь поражений и отрада побед — все измерялось для него количеством отрезаниых рук и ног. Он видел страдание и, очевидно, знал ему цену. Был ли осознан сыном этот наследственный опыт?

...Им выдадут врачебные аттестаты лишь через год: их получат не мальчики, но мужи. В том же 1813-м петербургское отделеиие академии пожалует серебряную медаль подающему надежды студенту Василию Петрашевскому. Спустя тридцать шесть лет сыновья обоих выпускников станут рядом на эшафоте.

(В 1824-м, в Петербурге, диплом академии получит Александр Бланк — родной дед братьев Ульяновых: на эшафот поднимется старший внук.)

Тяга отцов к врачеваиию сказывается в потомках.

Михаил Достоевский прочно обосновался в Москве (давно, давно пора подать весть неутешным родителям!). Сначала молодой лекарь служит в Бородинском пехотиом полку (бывшем Московском гарнизонном: полк «по оставлению французами Москвы вступил в нее и принялся за очистку разрушенной и полусожженной столицы» [1]). Армия побывала в Париже; ои так и не покидал Москвы. Жизнь его по-прежнему протекает под пустыиными сводами военных госпиталей. Что светит ему впереди?

Тридцать лет — возраст для брака приличный. Но своего угла как не было, так и нет. Наконец добрый доктор Маслович вводит его в одни семейственный дом: да не забудется благодетель!

Неизвестно, как протекал роман, важно, что он протек. Год 1820-й:

[1] См.: Горский М. Т. Памятка 68-го лейб-пехотиого Бородинского Императора Александра III полка. Замостье, 1910, с. 1—2.

14 января молодые идут к венцу. В октябре появляется первенец — Мишенька, брат героя.

Ждать остается совсем недолго.

Имя собственное

Н. П. Чулков. Справка о происхождении Достоевских

Родоначальником Достоевских является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич — так пишется его фамильное прозвище в разных документах), боярин Пинского князя Федора Ивановича Ярославича. Отец этого князя Иван Васильевич бежал в Литву в княжение Василия Темного в 1456 г. Боярин князя Федора Ивановича Иртищ, или Ртищевич, вряд ли был местного, т. е. белорусского происхождения. Напротив, целый ряд исторических документов и фактов наводят на мысль о происхождении Иртищевича от великорусского рода Ртищевых. (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930, с. 409.)

Н. Н. Кашкин

Происхождение Ртищевых следующее. Около 1389 года выехал из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому <...> Аслан-Челеби-мурза с 30 татарами своего знамени и принял православие, причем наречен был именем Прокопия. (Родословные разведки, т. 1. Спб., 1912, с. 284—285.)

К. М. Бороздин

Великий князь сам был его восприемником, пожаловал ему город Кременецк и выдал за него Марию, дочь своего ближнего человека Зотика Житова. (Опыт исторического родословия Арсеньевых. Спб., 1841, с. 5—6).

Достоевский. Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1880

Если б умер кто <из предков> на Куликовом поле, право, было бы приятно. (Полн. собр. соч., Л., 1971—1988, т. XXVI, с. 209.)

Родословие Ртищевых

У сего Прокопия был сын Лев по прозванию Широкой Рот, коего потомки Ртищевы Российскому Престолу служили Стольниками и в иных чинах, и жалованы были от Государей поместьями. (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, ч. 3. Спб., б/г. л. 23.)

М. В. Волоцкой

<...> 1506 г., когда Иртищевичи (Иртищи) получили часть села Достоева, можно считать исходной датой возникновения фамилии Достоевских. (Хроника рода Достоевского. М., 1933, с. 25.)

Л. Ф. Достоевская

<...> невдалеке от Пинска до настоящего времени существует местность под названием Достоево — бывшее имение семьи Достоевских. Это была некогда самая дикая местность Литвы, почти сплошь покрытая дремучими лесами; необозримые пинские болота тянулись здесь бесконечно. (Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.-Пг., 1922, с. 9.)

Г. Крашевский. Пинск и его окрестности

Кругом <...> леса мрачные, сосновые, сосны уродливые, горбатые, изувеченные; дорога устлана древесными корнями; инде стоит на распутии белый деревянный крест, ветхая, подпертая церковка <...>. (Сын отечества, 1837, ч. 187, с. 200.)

Л. Ф. Достоевская

<...> я слышала часто, как мой отец и мои дяди говорили: «Мы, Достоевские, литовцы, но не поляки. Литва совершенно иная страна, нежели Польша». (Достоевский в изображении дочери, с. 10.)

А. М. Достоевский

Фамилия Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий, по крайней мере в родословной книге кн. Долгорукова дворянская фамилия эта отнесена к существовавшим ранее 1600 года литовским фамилиям <...>. (Воспоминания, с. 16.)

Фамилии, существовавшие в Польше и Литве прежде 1600 года

Достоевские. (Долгоруков П. В. Российская родословная книга, ч. 1. Спб., 1854, с. 34.)

Н. П. Чулков. Справка о происхождении Достоевских

Данило Иванович имел двух сыновей, Ивана и Семена Даниловичей, земян пинских [1]. Семен встречается еще со старым фамильным прозвищем Артищевич, а Иван — уже с новым, по имению, Достоевский. <...> сын Ивана Даниловича, Федор Иванович Достоевский, связал свою судьбу с знаменитым московским эмигрантом князем А. М. Курбским, с которым и поселился на Волыни. <...> Потомство Федора Ивановича утвердилось на Волыни, и надо полагать, что ближайшие предки писателя Федора Михайловича Достоевского, православные и жившие в Подолии, по соседству с Волынью, принадлежат именно к этой ветви.

[1] Земянин — землевладелец шляхетского происхождения (польск.).

(В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 409—410.)

Л. Ф. Достоевская

Я полагаю, что один из моих литовских предков, перекочевавших в Украину, переменил религию для того, чтобы жениться на православной украинке, и стал священником. (Достоевский в изображении дочери, с. 10.)

XVIII век: пропавшие звенья

Из «Описи протопопии Животовской [1] приходов и церквей». 15 июля 1775

Города Животова протопопская соборная церковь святителя Христова Николая издревле была православная, и при этой церкви протопоп был Федор Достоянский, рукоположен в священника православным преосвященным Варлаамом Ванатовичем, митрополитом киевским <1722—1730>, отнята ж вышепрописанная церковь на унию 1740 г. июня 24, и ныне при оной церкви находится униятский поп Кориилий Шпановский. (Киевские епарх. ведомости, 1892, № 16, с. 591.)

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. Между 18 февраля и 1 марта 1786 г.[2]

<...> шляхетная Анастасия <...> добровольно сознала, что она, имея претензию за понесенные расходы на своего покойного зятя <...> Яна Шпаковского, против парохов Очеретинского Василия Островского и Скальского Ивана Достоевского <...> требующих вознаграждения за оставшиеся постройки после смерти Животовского декана и пароха, Корнелия Шпановского, от заступившего его место Зражевского, решила сквитовать свои претензии за пять червоных злотых <...>. (Труды Подольского епарх. историко-статистического комитета. Каменец-Подольск, 1876—1901, вып. 3, с. 270.)

«Городской священник С.»

Было время, когда <...> домы и домостроительства, устрояемые самими священнослужителями на церковной земле, составляли их неотъемлемую собственность и в случае смерти их доставляли бесспорный приют осиротелым семействам. (Подольские епарх. ведомости, 1863, № 10, с. 416.)

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. 21 сентября 1780

Побожный Михаил Ныпопчук и другие прихожане Скальской церкви жалуются на парохов — Скальского Яна Достоевского и Чернявского Иосифа Хоптаровского, что они в день чуда св. Михаила, когда был праздник в с. Скале (храмовый день), завели или, лучше, затянули Михаила Ныпопчука в плебанию (священнический дом), немилосердно побили, вырвали волосы и, сваливши на землю, топтали ногами и глаза поподбивали; а когда за побитого вступились Антон Главенко, Гнат Пономаренко и Максим Ярмолюк, то и их о<тцы> ответчики толкали и били по лицу <...>.

Ответчики рассказывали дело так: Михаил Ныпопчук, козацкий десятник, проходя возле школы (дьячковского дома), побил и окровавил дьячка Мойсея, мстя ему за то, что он занял место его брата Ивана. Дьяк Мойсей, вырвавшись из рук врага, забежал в плебанию, а Михаил с братьями — за ним, желая продолжить драку. Когда Скальский парох <Ян Достоевский> спросил Михаила, зачем он пришел, то Михаил хотел ударить его по голове, но так как парох закрылся рукой, то не попал по голове, а по руке, оставив на ней синяк; потом парох <Достоевский>, желая отвести Михаила в избу, чтобы наказать его за избиение дьяка, схватил его за платье, но Михаил, будучи сильнее противника, вытащил его на улицу. На шум выбежали из плебанской избы парохи, бывшие в гостях: Чернявский Иосиф Хоптаровский и Очеретинский Василий Островский [3], и завели Михаила в избу для наказания; тогда он Хоптаровского ударил по лицу и сорвал с него воротничок, а жену Достоевского толкнул и разорвал на ней юбку. На крик Михаила, ночной порой раздавшийся далеко, прибежали канунные <съехавшиеся на праздник> люди, пьянствовавшие в корчме; они ворвались в плебанию с кольями, взломавши двое дверей и разбивши печь другьями. Больше еще сделали бы пакостей, если бы местный губернатор <управляющий имением> не разогнал их палкою. (Труды Подольского епарх. комитета, вып. 3, с. 310—311.)

И. Е. Шиповнч

Пьянство было самым крупным недостатком подольского духовенства XVIII века. Почти пятая часть судебных дел, хранящихся в комитетском архиве, касается проступков духовенства, совершенных в пьяном виде. <...> Вторым недостатком, тоже часто встречавшимся тогда в жизни подольского духовенства, была какая-то особенная буйность характера. <...> Бывали и такие случаи, когда исправнейший во всех отношениях священник, когда ему приходилось иметь

[1] До конца XVIII в. в составе Брацлавской епархии.— И. В.
[2] В тексте ошибочно: «1768».— И. В.
[3] За ним был замужем сестра жены Ивана Достоевского; Василий Островский унаследовал приход тестя, брацлавского официала Романа Скочинского.— И. В.

с кем-нибудь столкновение, горячился и <...> пускал в ход палку, кулаки и т. д. (Труды Подольского епарх. комитета, вып. 4, с. 41—42.)

А. М. Достоевский

<...> однофамильцев же у нас не имелось и не имеется. (Воспоминания, с. 16.)

Кем был Андрей Достоевский? (В поисках деда)

А. М. Достоевский

Из некоторых бумаг покойного отца, случайно перешедших ко мне, видно, что отец моего отца, то есть мой дед Андрей, по батюшке, кажется, Михайлович, был священник. (Воспоминания, с. 17.)

Из формулярного списка М. А. Достоевского, 20 апреля 1828

<...> происходит из духовного звания <...>. (Лит. мысль, вып. 1. М.— Пг. 1923, с. 208.)

Л. Ф. Достоевская

Я не имею никакого представления о том, чем был мой прадед Андрей <...>. (Достоевский в воспоминаниях дочери, с. 10.)

Из актов Брацлавской униатской духовной консистории. 4 декабря 1780

Побожные Войтовецкие жители Иван Белоус и ктитор <церковный староста> Яцко Орел от лица всей громады заносят жалобу в актовые книги Брацлавской консистории следующего содержания: Найпревелебнейший[1] вельможный наш пастырю! Мы — убогая громада села Войтовец, Немировского ключа, с глубокой нашей покорностию обращаемся к твоей отеческой защите и жалуемся на нашего пароха Василия Шаржинского, что он без нашего ведома, помимо присяги своему, а вместе и нашему пастырю, отдался во власть заграничного переяславского пастыря, неизвестного нам, нашим отцам и дедам; несмотря на наши советы и требования, он не только не обратился в лоно католической веры, но даже, изменивши заграничному переяславскому владыке, подчинился какому-то странствующему по чужим краям, неутвержденному никакою духовною властию, молдавскому или греческому епископу, а потому мы, опасаясь за наше спасение, просим, чтобы Шаржинский, как вероотступник, был устранен от прихода и церкви и чтобы вместо него нам был дан другой униатский священник. (Труды Подольского епарх. комитета, вып. 3, с. 146.)

Презента коронного подкомория Викентия Потоцкого униатскому митрополиту киевскому Иассону Смогоржевскому. 1781. Немиров

<...> в его, Потоцкого, имении браславского воеводства, винницкого повета[2], немировского ключа, с. Войтовке <Войтовцах>, священник отступил от унии и ушел из прихода. На место последнего Потоцкий представляет к посвящению Андрея Достоевского, о котором ему сообщил его собственный уряд <сельский сход>, как о человеке, способном к исполнению священнических обязанностей, и которому он обещает беспрепятственное пользование землями и льготами, дарованными прежней зрекцией[3]. (Труды Подольского епарх. комитета, вып. 4, с. 198.)

В. О. Корниевский

Войтовцы с.— находится на границе Киевской губ., в степной местности, и расположено при речке Собке по возвышенным склонам; от уездного города <Брацлава> на расстоянии 35 верст. <...> Нынешний храм — деревянный, на каменном фундаменте, трехкупольный, в честь Успения Пресв. Богородицы, с отдельною деревянною колокольнею. Этот храм построен в 1750 г. старанием прихожан <...>. Из священников самым полезным для прихода и церкви был Георгий Маниловский 1830—1857 гг. (Труды Подольского епарх. комитета, вып. 9, с. 195—196.)

А. М. Достоевский

Из разговоров отца с матерью я усвоил себе то, что у отца моего в Каменец-Подольской губернии, кроме родителей его, остался брат, очень слабого здоровья, и несколько сестер <...>. (Воспоминания, с. 17.)

Н. Е. Глембоцкая — Достоевскому. 25 ноября 1879. Жабокрич

<...> у деда Вашего было 6 дочерей: Анна, Фотина, Констанция, Фекла, Мария и Лукерья — моя мать, и два сына: Лев и Михаил — Ваш отец. (Хроника рода Достоевского, с. 44.)

А. М. Достоевский

Про мать же свою мой отец, сколько я могу упомнить, отзывался с особенным уважением, представляя ее женщиной не только умною, но и влиятельною в своем крае по своему родству; девической фамилии ее, впрочем, я не знаю. (Воспоминания, с. 17.)

---

[1] Велебный — обращение к лицу духовного звания. Сельский сход пишет киевскому униатскому митрополиту, ведавшему в то время назначением священников в Брацлавскую епархию.— **И. В.**

[2] Впоследствии Брацлавский уезд (в тексте ошибочно: «Ольгопольский»).— **И. В.**

[3] Эрекция — дарственная запись землевладельца — основателя церкви, закрепляющая за священником пахотные земли, сенокосы и другие угодья.

Итак, с 1781 года семья Андрея Достоевского проживает в селе Войтовцы. Видимо, там и родился отец писателя.— **И. В.**

Подданные императрицы

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Они указывают на Польшу? Но Россия, защищаясь, взяла Польшу. Если б не взяла она Польшу, то Польша б взяла родовое наше. (ПСС, XXIV, с. 120).

Грамота православного архиепископа минского, изяславского и брацлавского Виктора к униатам его епархий. 22 апреля 1794

Возникните, чада Церкви, насладитеся свободой православного исповедания. Им воодушевлены были предки ваши и сами из вас многие. Гонение исчезло, престали обуревания. (Киевские епарх. ведомости, 1894, № 12, с. 334.)

Священник Г. Григоренко

В 1793 г., по присоединении сего края к Российской державе, собранное по Высочайшему повелению Императрицы Екатерины II с окрестностей духовенство и дворянство 8 апреля выполнили присягу в Брацлавском соборе на верность Русскому Престолу. (Город Брацлав и его храмы. Каменец-Подольск, 1896, с. 8—9.)

С. С. Л-ский

В 1794 г. <брацлавский протопоп В. Мокрицкий> воссоединил с православием все церкви и каплицы <домовые церкви, часовни>, священников и народ в поветах городецком, немировском, чернобыльском, браиловском и брацлавском <...>. (Подольские епарх. ведомости, 1885, № 29—30, с. 641—642.)

М. О. Коялович

В течение полутора года, в 1794 и в начале 1795 года, присоединилось к православию больше трех миллионов униатов — без волнений, без пролития крови. Это — беспримерное явление в истории! <...> Народная русская сила воскресла здесь вдруг, сбросила с себя с поразительною легкостью не только государственное, но и духовное польское иго. (Чтения по истории Западной России. Спб., 1884, с. 306—307.)

Достоевский. Братья Карамазовы

— За Польшу, панове, ура! — прокричал Митя, подняв стакан.

Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана.

— Теперь за Россию, панове, и побратаемся! <...>

Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил:

— За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!

— Ото бардзо пенкне! (Вот так хорошо!) — крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы.

Н. Е. Глембоцкая — Достоевскому. 25 ноября 1879. Жабокрич

Я дочь Евфимия Лимановского, посватавшего одну из шести дочерей деда Вашего протоиерея города Брацлава Подольской губернии Андрея Достоевского. (Хроника рода Достоевского, с. 44.)

Расписание благочиннических округов. 1796—1797

Десятоначальник Андрей Достомский <...>.

(Подольские епарх. ведомости, 1873; № 12, с. 422.)

Отец под знаком вопроса

Послужной список М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

Из подольской семинарии <...>. (В кн.: Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, с. 124.)

Л. Ф. Достоевская

Мой дед Миха<и>л Андреевич был очень своеобразным человеком. Пятнадцати лет от роду он вступил в смертельную вражду со своим отцом и братьями и ушел из родительского дома (Достоевский в изображении дочери, с. 10.)

Н. Е. Глембоцкая — Достоевскому. 25 ноября 1879. Жабокрич

Отец же Ваш, Михаил Андреевич Достоевский, при жизни еще отца уехал в Петербург и, как говорила моя мать (Ваша тетя), служил там доктором. (Хроника рода Достоевского, с. 44.)

А. М. Достоевский

Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, а мой отец, пошел по его же стопам, т. е. сделался священником, и так как отец мой не чувствовал к этой профессии призвания, то он, с согласия и благословения матери своей, удалился из отческого дома в Москву, где и поступил в Московскую Медико-Хирургическую Академию студентом. (Воспоминания, с. 17.)

Л. Ф. Достоевская

Быть может, мой прадед Андрей желал, чтобы его сын избрал духовную карьеру, в то время как молодой человек чувствовал влечение к изучению медицины. Когда он убедился, что отец не даст ему средств для учения, мой дед Михаил поки-

нул родительский дом. Удивительна энергия этого пятнадцатилетнего мальчика, который без денег и без протекции отправляется в незнакомый город, которому удается получить высшее образование, добиться довольно хорошего положения в Москве, поставить на ноги семь душ своей семьи, снабдить приданым своих трех дочерей и дать очень тщательное воспитание своим четырем сыновьям. Мой дед имел право гордиться собой и ставить себя в пример детям. (Достоевский в изображении дочери, с. 11.)

А. М. Достоевский

Из разговоров отца с матерью я усвоил <...> что после окончания курса наук и, вообще, сделавшись уже человеком и общественным деятелем, отец мой неоднократно писал на родину и вызывал оставшихся родных на отклик, и даже, как помнится, прибегал к печатным о себе объявлениям, но никаких известий не получал от своих родных. (Воспоминания, с. 17.)

Л. Ф. Достоевская

<...> пятидесяти лет от роду, у моего деда, кажется, появились угрызения совести по поводу того, что он покинул родительский дом. Он напечатал в газетах объявление, в котором просил отца и братьев дать ему сведения о себе. Никто не ответил на это объявление. Вероятно, его родители уже умерли — Достоевские не достигают глубокой старости. (Достоевский в изображении дочери, с. 10.)

А. М. Достоевский

<...> к сожалению, я очень мало знаю подробностей о своих родителях. Вероятно, это произошло потому, что не только я остался слишком юн после их смерти, но и старшие мои братья и сестры тоже не могли быть допущены к серьезным разговорам с родителями о их прошедшем.— Впрочем, это относится только до сведений об отце <...>. (Воспоминания, с. 16.)

Л. Ф. Достоевская

Он <М. А. Достоевский> никогда не говорил о своей семье и не отвечал, когда его спрашивали об его происхождении. (Достоевский в изображении дочери, с. 10.)

А. М. Достоевский

<...> вследствие того, что отец мой, оставив родину, скрылся из дома своих родителей, не имев при себе всех документов о своем происхождении, или по другим каким причинам, он, дослужившись до чина коллежского ассесора и получив орден (что давало тогда право на потомственное дворянство), зачислил себя и всех сыновей к дворянству Московской губернии и записан в 3 часть родословной книги. (Воспоминания, с. 17—18.)

Из Жалованной грамоты Екатерины II на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства. 21 апреля 1787

1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное. (Рус. архив, 1885, № 5, с. 158.)

А. М. Достоевский

Помню то, что когда ему <М. А. Достоевскому> говорили, зачем он не хлопотал о доказательствах своего древнего дворянского происхождения, то он с улыбкой отвечал, что не принадлежит к породе Гусей (басня Крылова «Гуси» тогда была в большой моде). Но собственно-то он не хлопотал оттого, что это стоило бы больших денег. (Воспоминания, с. 18.)

И. А. Крылов. Гуси. 1811

«А вы хотите быть за что отличены?» —
Спросил прохожий их. «Да наши предки...» — «Знаю
И все читал; но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?»
«Да наши предки Рим спасли!»
«Все так, да вы что сделали такое?»
«Мы? Ничего!» — «Так что ж и доброго в вас есть?»
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».

А. М. Достоевский

Отец мой, Михаил Андреевич Достоевский, окончив свою общественную деятельность, был коллежский советник и кавалер трех орденов. Он был уроженец Каменец-Подольской губернии. (Воспоминания, с. 16.)

Медицинский студент. (Первое дополнение к формулярному списку)

Из послужного списка М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

<...> в число казенных воспитанников по медицинской части Императорской Медико-Хирургической Академии в московское отделение поступил 1809 Октября 14 (В семье и усадьбе, с. 124—125.)

М. Г. Соколов

Казеннокоштных студентов было около 200. Все они ходили в одну столовую и в одну спальню, но жили кружками: так поляки, малороссы и рязанцы составляли отдельные группы, которые чурались других, а иногда относились к ним более или менее враждебно.

<...> малороссы и поляки группировались по своей национальности; они, говоря на родном языке, имели общий характер; первые <малороссы> сдержаны, сосредоточены, несловоохотливы, недоверчивы к товарищам <...>. Малороссы впоследствии, на 3-м и 4-м курсах, отчасти сливались с товарищами из великоруссов <...>. В этих кружках были свои развлечения, которые состояли в том, что собирались в одну камеру и пели хором, а некоторые играли на гитаре, скрипке и кларнете. (Былое врачебной России. Спб., 1890, кн. 1, с. 37—38.)

Н. П. Ивановский

<...> здания были плохо приспособлены, тесны и ветхи. Выражаясь словами вице-президента, доносившего о необходимости перестроек, здание <Московского> Отделения, как «дом частного лица[1], строенный по образцу его жизни и вкуса», не могло быть удобным для высшего учебного заведения. В лекционных залах и некоторых жилых комнатах сгнившие потолки угрожали падением. (История Императорской Военно-Медицинской (бывшей Медико-Хирургической) Академии за сто лет. Спб., 1898, 1-я пагин., с. 337.)

Из «Путеводителя по Москве». 1824

Сие обширное 3-ярусное здание возвеличивается прекрасным входом, к нему принадлежат многие ближние строения. (Цит. по кн.: Прейсман А. Б. Московская медико-хирургическая академия. Ист. очерк. М., 1961, с. 16.)

Из донесения о состоянии Академии. Начало XIX века

В коридорах и сенях возле кадок с квасом и водой для питья воспитанникам тут же поставлены медные котлы для испражнения мочи. (Московская медико-хирургическая академия, с. 18.)

Н. П. Ивановский

Пища выдавалась в достаточном количестве, но была очень однообразна. Завтрак состоял из фунта ситного хлеба и стакана сбития; на обед полагались щи, каша и кусок жареного мяса, на Рождество угощали гусем, на масляной — ватрушками. На ужин давали щи и кашу. (История Академии, 1-я пагин., с. 226.)

М. Г. Соколов

<...> огромное большинство казеннокоштных студентов были бедняки, не получавшие никогда от родных ни копейки. Тем не менее деньги водились у большинства, если не всегда, то хоть по временам. Главным источником дохода у некоторых студентов были уроки в частных домах — приготовление детей к поступлению в учебные заведения. Плата была самая ничтожная <...>. Меньшими источниками дохода служили писанные профессорские лекции, которые продавались своекоштным. Они ценились не дешево; далее, продажа наградных книг, получаемых при переходе из одного курса в другой; наконец, в крайности <...> закладывали какую-нибудь книгу на толкучке, где были благодетели — мелкие торговцы, снабжавшие по знакомству двугривенным или полтинником. (Былое врачебной России, кн. 1, с. 36—37).

Н. П. Ивановский

Воспитанники Академии, выходившие из среды общества, не отличавшегося особенной мягкостью нравов и культурностью, естественно, проявляли многие непривлекательные черты характера этого общества — грубость, наклонность к насилиям, к пьянству. Особенно этим отличались семинаристы, в школьной жизни которых было немного условий, содействующих смягчению нравов. (История Академии, 1-я пагин., с. 142—143).

М. Г. Соколов

При всей строгости надзора со стороны субинспекторов, студенты иногда покучивали в своих камерах. Бывало, соберется компания любителей выпивки в большой камере, сделает складчину, пошлет за полуштофом водки и начнет распивать по маленьким стаканчикам, распевая песни, поигрывая на гитаре или скрипке. <...> Если начальство, в виде субинспектора, накрывало пирующих, виновных по голове не гладило. Но это случалось необыкновенно редко, так как кутить обыкновенно собирались в дальнюю от входа камеру, и как только появится субинспектор в первой камере, товарищи сейчас дадут знать в камеру пирующих, и до прихода начальства все запрещенное будет убрано и в камере окажется порядок. <...>

Студенты, жившие в камерах с окнами на Рождественскую улицу, ежедневно находились под соблазном модисток, разгуливающих парами по тротуару возле окон. <...> большой флигель <Академии> занимал угол Рождественской и Кузнецкого моста, где во время, мною описываемое, помещались модные магазины с мастерскими, наполненными ученицами и мастерицами. Здесь обуча-

[1] Бывшая усадьба графа И. Л. Воронцова (ныне Архитектурный институт).— И. В.

лись шитью и кройке крепостные, отданные на время помещиками. Днем все они были заняты работой, но в сумерки и вечером смелые из них выскакивали, бывало, из воротной калитки и отправлялись на прогулку по тротуарам Кузнецкого и Рождественской. Тут и завязывались первые знакомства и впоследствии интимные отношения. (Былое врачебной России, кн. 1, с. 35—36).

Из устава Медико-хирургической академии. 1809

§ 119. Учащиеся в 1 и 2 классе именуются учениками, а поступившим в 3 и 4 классы присваивается название и право студентов; им даются от Академии шпаги. (История Академии, 2-я пагин., с. 50.)

Из послужного списка М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

<...> студентом 3-го класса удостоен ...... 1811 Ноября 4
студентом 4-го класса произведен .... 1812 Июля 15
(В семье и усадьбе, с. 124—125.)

«По надобности во врачах...» *(Второе дополнение к формулярному списку)*

Л. Н. Толстой. Война и мир

15-го числа <июля 1812 г.>, утром <...> у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.

Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. <...>

Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. <...> он выходил, сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой — голова[1], с худым, узкобородым, желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил:

— И жизнь и имущество возьми, ваше величество!

Из записок Ф. В. Растопчина

<...> во 2-й галерее, где собрались купцы, я был поражен тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. <...> негодование прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующие ударяли себя по голове, рвали на себе волосы, ломали руки; видно было, как слезы ярости текли по этим лицам <...>.

Городской голова, имевший всего 100.000 капитала, первый подписался на 50.000 руб., причем перекрестился и сказал: «получил я их (деньги) от Бога, а отдаю родине». (Рус. старина, 1889, № 12, с. 674, 676.)

Из «Ведомости пожертвованиям духовенства в войну 1812 и 1813 гг.»

Подольское и брацлавское духовенство 1.165 р. 49 к. <сер.>
4.509 р. 59 к. <асс.>
(Записки Имп. Академии наук, т. 43. Спб., 1882, с. 422.)

Из послужного списка М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

По надобности во врачах во время последней против Французов войны командирован Г-м Вице-Президентом Академии в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых.... 1812 Августа 15 (В семье и усадьбе, с. 124—125.)

10-я растопчинская афишка. 30 августа 1812

Сюда раненых привезено; они лежат в Головинском дворце, я их осмотрел, напоил, накормил и спать положил. Вить они за вас дрались, не оставьте их <...>. Вы и колодников кормите, а ето Государевы верные слуги и наши друзья — как им не помочь! (Сочинения Растопчина (графа Федора Васильевича). Спб., 1855, с. 177.)

Из записок Ф. В. Растопчина. <31 августа 1812>

Я проехал две улицы, и на протяжении ½ лье мне пришлось пробираться промеж двух рядов повозок, переполненных ранеными, а еще огромная толпа таковых же шла пешком, направляясь к главному госпиталю. (Рус. старина, 1889, № 12, с. 714.)

Из «Списка временным в Москве госпиталям с показанием числа находившегося в оных больных» на 1 сентября 1812

В Головинских казармах до 8 000
(Записки Имп. Академии наук, т. 43, с. 136.)

Ф. В. Растопчин — жене, 1 сентября 1812. Москва

Бросают 22 000 раненых, а еще питают надежду после этого сражаться и царствовать! (Рус. архив, 1901, кн. 2, с. 462.)

Управляющий медицинской частью армии Я. Виллие — графу А. А. Аракчееву. 12 сентября 1812. Красная Пахра

<...> в 9 часов вечера 1-го сентября дано внезапно приказание о выводе больных и раненых из Москвы, коих большая часть взяла направление к Владимиру и Рязани, куда для пользования их отправлен мною г. лейб-медик Лодер с 50-ю врачами. (Записки Имп. Академии наук, т. 43, с. 134.)

[1] Московский городской голова А. А. Куманин, родственник Достоевского (свекор родной сестры его матери) — *И. В.*

Из записок Ф. В. Растопчина

Более 20 000 чел. успело поместиться на подводы <...>.

Этот караван, беспримерный в истории чрезвычайных событий, прибыл в Коломну на четвертые сутки. Больных переместили на суда и спустили по Оке <...>. (Рус. старина, 1889, № 12, с. 718—719.)

Из дневника декабриста П. С. Пущина. 2 сентября 1812

Во время похода я увидел брата Николая. Рана была не опасная; он отправлялся в Касимов. (Дневник Павла Пущина. Л., 1987, с. 62.)

Из послужного списка М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

Потом в Касимовский военно-временный госпиталь, откуда получил похвальный аттестат 1812 Сент<ября> 1. (В семье и усадьбе, с. 124—125.)

Император Александр I — Ф. В. Растопчину. 14 ноября 1812. Петербург

<...> там, где проходила ретирующаяся неприятельская армия, осталось от оной множество трупов как убитыми, так и от усталости, голода и стужи погибшими. Вследствие чего во избежание, что бы от сих мертвых тел не последовало при наступлении весны заразительных болезней, повелеваю вам ныне же принять поспешнейшие и самые деятельные меры, чтобы трупы всякого рода, как человеческие, так и скотские, кои могут быть отысканы или на поверхности земли, или в земле, но зарытые не глубоко, были неотлагательно преданы сожжению. Особенному попечению вашему поручаю принять всевозможные бдительнейшие осторожности, чтобы при сближении весны не возникло какой-либо заразы в воздухе. (Записки Имп. Академии наук, т. 43, с. 337.)

Московская дворянка М. А. Волкова — своей подруге В. И. Ланской. 25 ноября 1812. Тамбов

Не только город <Москва>, но и окрестности усеяны трупами, заражающими воздух. Представь, что будет весной, когда растает снег. За пятнадцать верст от Москвы уже становится тяжело дышать: колодцы, овраги и рвы вокруг Кремля — все заполнено мертвыми телами; их даже трудно отыскивать, и потому меры, принимаемые против зла, недостаточны. (Вестник Европы, 1874, № 8, с. 613.)

Ф. В. Растопчин — императору Александру I. 20 декабря 1812. Москва

На Бородинском поле кончается сожжение лошадиных трупов. Через несколько времени я сам туда поеду, чтобы собственными глазами посмотреть, точно ли выполнены мои приказания относительно больных <...>. (Рус. архив, 1909, № 1, с. 51.)

М. А. Волкова — В. И. Ланской. 24 декабря 1812. Тамбов

Пленные, рассеянные по всей России, заносят всюду заразу, потому что сами они почти что чумные. Прислуга наша, приехавшая из Высокого, рассказывает, что по большой дороге во многих деревнях есть дома, в которые никто не смеет входить; находящиеся в них умирают или оживают, будучи оставлены на произвол судьбы. (Вестник Европы, 1874, № 8, с. 620.)

Из послужного списка М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

После командирован им же Вице-Президентом <Академии>, Московской губернии в Верейский уезд, прекращения свирепствовавшей там повальной болезни и за что имеет тоже похвальный аттестат ....
(В семье и усадьбе, с. 124—125.)

Ф. В. Растопчин — министру полиции А. Д. Балашеву. 11 января 1812

<...> по уездам болезни от принятых мер и деятельности употребленных чиновников и врачей очевидно уменьшаются и к весне, вероятно, прекратятся. (Записки Имп. Академии наук, т. 43, с. 446.)

Из послужного списка М. А. Достоевского. Ноябрь 1828

В Бородинский пехотный полк поступил .... 1813 Сент<ября> 1 <...>

Из оного полка переведен в Московский Военный госпиталь ординатором за усердную службу помещен на оклад Старшего лекаря 2-го класса, с жалованием по 600 рублей в год .... 1819 Мая 7
Уволен из военной службы .... 1820 Декабря 16
(В семье и усадьбе, с. 124—125.)

«Венчается раба Божия...»

Достоевский

Я происходил из семейства русского и благочестивого. (Дневник писателя, 1873.)

А. М. Достоевский

Моя мать — Марья Федоровна, урожденная Нечаева. Родители ее были купеческого звания. Отец ее Федор Тимофеевич Нечаев, которого я еще помню в своем детстве как дорогого и любимого баловника-дедушку, до 1812 года, т. е. до Отечественной войны, был очень богатый человек и считался, т. е. имел тогдашнее звание именитого гражданина. Во время войны он потерял все свое состояние, но однако не сделался банкротом, а уплатил все свои долги до копейки.

Помню как сквозь сон рассказы моей матери, как она, бывши девочкой 12 лет, в сопровождении своего отца и всего его семейства, выбрались из Москвы только за несколько дней до занятия ее французами; как отец ее, собравши, сколько мог, свои деньги, которые, как у коммерческого человека, находились в различных оборотах, вез их при себе; что все эти капиталы были в бумажных деньгах (ассигнациях); что, проезжая вброд через какую-то речку, карета их чуть не утонула со всеми пассажирами и лошадьми и что они все спаслись каким-то чудом, выпрыгнувши или быв вытащенными из экипажа посторонними людьми; что вследствие того, что карета долгое время оставалась в воде, все ассигнации до того промокли, что оказались вовсе потерянными; что, приехав на место, они долгое время старались сколь возможно отделять ассигнации друг от друга и просушивать их на подушках, но что из этого ничего не вышло. Таким образом, весь наличный капитал деда был тоже потерян. (Воспоминания, с. 18.)

А. С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург. 1835

Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками <...>.

А. М. Достоевский

Григорий Павлович Маслович <...> по словам маменьки, был, так сказать, сватом моего отца. Служа с отцом вместе в Московском военном госпитале и узнав его за доброго и хорошего человека, Григорий Павлович познакомил его с домом моего деда Федора Тимофеевича Нечаева, с которым по жене своей Настасье Андреевне был в родстве. Следовательно, Григорий Павлович был, так сказать, поводом и причиною первого знакомства моего отца и матери. (Воспоминания, с. 39.)

Г. А. Федоров (по архивным материалам)

14 января 1820 г. в церкви Московского военного госпиталя старший лекарь М. А. Достоевский венчался с М. Ф. Нечаевой. (Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974—1988, вып. 2, с. 66.)

Глава 2. *Больница для бедных*

18 мая 1836 года, сетуя на свою журнальную участь, Пушкин писал жене: «...черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать!»

Замечено столь же в шутку, сколь и всерьез. Выбор сделан, и от этого — страшно, и от этого — «весело», и об этом — в том же году, в неотправленном письме к Чаадаеву: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю...»

К Достоевскому приложимы оба полюса пушкинской мысли.

Он мог бы родиться где угодно, но он не мог не родиться в России. Дух веет где хочет: однако как снайперски выбраны время и место!

Он родился в больнице для бедных. Впрочем, не по скудости средств, а по нахождению новой службы отца: таковым переменам пособили, надо думать, родственники жены.

Мать Достоевского, Мария Федоровна, еще в меньшей степени, чем Михаил Андреевич, имела необходимость заботиться о своей родословной. Сидельцы в лавках, купцы разной степени достоинства — вот родня ее со стороны отца, Федора Тимофеевича Нечаева. Люди, не чуждые просвещения: от корректора Московской синодальной типографии до ученого медика, профессора Московского университета — со стороны матери (Котельницкой). Таков круг, принявший в себя безродного, но достигшего известного положения зятя.

В Достоевском как бы слились все эти линии: западнорусская — стародворянская, украинская — духовная и, наконец, московская — купеческая и интеллигентская.

По-гречески «Феодор» означает «дар божий»: соблазнительно предположить, что те, кто нарек так сына штаб-лекаря, вкладывали в это имя некий пророческий смысл. Дело, однако, обстояло гораздо проще: Крестным отцом младенца стал его дед — «московский купец» Федор Тимофеевич Нечаев: ему-то, полагаем, и было оказано уважение.

Но тут возникает некий тайный звук — те странные ауканья, переклички и совпадения, которые, как мы еще не раз убедимся, будут сопровождать жизнь главного героя.

Его дед по матери происходил из посадских города Боровска Калужской губернии: он переселился в Москву в 1790 году. Но, как явствует из документов, выехавший из Золотой Орды родоначальник Ртищевых (род отца) еще на рубеже XIV—XV вв. появляется в Боровском княжестве и получает там «в кормление» часть княжеского удела. Далекий потомок рода, веками обитавшего в Белоруссии и на Украине, неожиданно оказывается в Москве, чтобы здесь соединиться наконец с дочерью своего — в историческом, разумеется, смысле — боровского «земляка».

Федора Достоевского крестят в больничной церкви Петра и Павла. Через двадцать семь лет, обретаясь в Петропавловской крепости, он, возможно, вспомнит это название.

Его крестная — Александра Федоровна Куманина, старшая сестра его матери. Тетка замужем за богатым московским негоциантом — купцом первой гильдии и благотворителем. Куманины — единственное прибежище, тыл — та «палочка-выручалочка», к которой в разное время будут обращаться все без исключения Достоевские. После смерти родителей Достоевского бездетные Куманины выдадут замуж трех его сестер (положив каждой по 25 тысяч рублей приданого); будут материально поддерживать всех четырех братьев; в 1864 году теткины капиталы ненадолго вдохнут жизнь в обреченную «Эпоху».

Тетка умрет в 1871 году; спор о ее наследстве будет тянуться долго. Во время одного из таких родственных объяснений у Достоевского хлынет горлом кровь: через два дня его не станет.

Александра Федоровна Куманина склонялась над его крестильной купелью; тень ее витала над его смертным ложем.

Но до такой развязки времени более чем достаточно. Пока же спорить не о чем, ибо далеко не все потенциальные наследники имеются в наличии. Два брата-погодка, Михаил (1820) и Федор (1821), так и пойдут по жизни — рядом. Остальные дети числом пять (еще одна девочка умрет во младенчестве) появятся позже и не удостоятся столь тесного дружества.

Достоевские жительствуют на Божедомке. Название связано с расположенным поблизости погостом, где некогда находили успокоение бродяги, нищие, самоубийцы, воры. Тут же погребали неопознанные трупы: имя ведал только Господь.

Божедомка — дом Божий: в нем найдется место для всех. Хранители этого смиренного кладбища звались божедомами и по совместительству выполняли функции педагогов — их попечению вверяли детей-подкидышей. Надо ли говорить, что в Москве не нашлось лучшего места и для призрения умалишенных: дом скорби как бы завершал картину.

В эпоху, на которую приходится детство нашего героя, ничего этого уже нет. И все-таки — есть: тени прошлого действуют тем обольстительнее, чем меньше у них возможности воплотиться.

Призраки бок о бок с живыми населяют среду обитания, которая значительно умягчена буколической прелестью Марьиной рощи (этого, как выразился бы Ч. Б., излюбленного места отдыха москвичей: и впрямь, гуляния в роще славились повышенным градусом народного удальства).

Московской больнице для бедных надлежало вписаться как в природу, так и в историю.

Собственно, сама больница «отпочковалась» от любимого Москвою Воспитательного дома, чьих умноженных доброхотными даяниями капиталов с лихвой хватило на новое обзаведение. Первая ласточка бесплатной медицины, она бесстрашно впорхнет в эпоху, когда указанное благо сделается всеобщим. Недаром в двадцатые годы нынешнего столетия учреждение наречется «Больницей социальных болезней им. Ф. М. Достоевского».

Семейство штаб-лекаря жительствует в левом флигеле больницы. Впрочем, сын Федор родился в правом (затем семья переезжает). Эта непредусмотренная деталь (хотя, если вдуматься, вполне законная в таком двоящемся сюжете) внесет позднее известную путаницу в топографические расчеты достоевсковедов. Ибо все здесь зависит от точки зрения.

Итак, левый флигель, если встать лицом к фасаду.

Повернуться к фасаду именно лицом совершенно необходимо: он того заслуживает. Надо думать, больничный ампир производил сильное впечатление на тех, кто искал тут облегчения, а может, и пропитания. Зодчий Иван Жилярди (отец Д. Жилярди), воздвигший эту торжественную юдоль слез, не зря получил за труды 1000 рублей наградных и золотую табакерку. Дорическая колоннада парила над деревянным предместьем, как бы приобщая души малосостоятельных пациентов к гармоническому миру высокой классики.

Исцеляемыми были бедные люди: они станут и героями его первого романа.

Как выяснилось сравнительно недавно, у московской лечебницы имелся зримый прообраз. Ее главное здание — точное повторение другой больницы для бедных, воздвигнутой почти одновременно на Литейном проспекте в Петербурге (то-то должен был изумиться Достоевский, узрев в пору своей петербургской юности этого архитектурного двойника). Оба проекта принадлежали Джакомо Кваренги, одному из создателей Зимнего дворца: Жилярди строил по его чертежам. (Правда, больничные флигели, в которых жили врачи, он возводил уже по собственному разумению.)

Жилище царей и пристанище «беспомощных страдальцев» проектировал один и тот же зодчий: так компенсировалась социальная несправедливость.

Московская клиника открылась 1 июня 1806 года: основана она была рачением императрицы Марии Федоровны, посвятившей после убиения ее мужа, императора Павла Петровича, остаток дней делам богоугодным.

Мать Достоевского — полная тезка вдовствующей императрицы.

Оборвем, однако, этот нечаянно вырвавшийся павловский мотив: здесь ему еще не место.

Вслушаемся лучше опять в затихающие раскаты «грозы двенадцатого года»: их эхом озвучено детство нашего героя.

Нашествие — воспоминание почти семейственное.

Дело даже не в том, что дедушка Федор Тимофеевич, спасаясь от супостата, утопил в реке все свои сбережения. Имя его будет внесено на скрижали за заслуги иного рода. Прочие родственники тоже причастны к судьбам города и отечества.

Как сказано, тетка Достоевского (сестра его матери) замужем за А. А. Куманиным. Отец ее мужа — лицо значительное: он — московский городской голова 1812 года. «С худым, узкобородым, желтым лицом» — так аттестует его Л. Толстой в своей всеохватной эпопее. (Конечно, автор «Войны и мира» не подозревал, что он изобразил родственника Достоевского, вопрос — заметил ли это сам Достоевский.)

Толстой помещает купца Куманина рядом с государем; у предводителя торговой буржуазии столицы недаром «стояли слезы». Не пожалев на ополчение кровные 50 тысяч (половину состояния), он — уже от лица сословия — посулил Александру еще полмиллиона. Нужды нет, что не соберут и второй части — во исполнение обета купец третьей гильдии Федор Нечаев оторвет от своего обреченного воде капитала тысячу еще не подмоченных рублей. Имена обоих жертвователей навеки высекут на мраморных досках храма Христа Спасителя: их ли вина, что сам храм оказался не вечен...[1].

Старший сын Куманина (брат дяди Достоевского) тоже станет городским головою. В 1826 году он торжественно встретит в Кремле идущего короноваться Николая[1] (несколькими днями ранее свершится казнь пятерых). Очевидно, тогда же — летом или осенью 1826 года — молодой царь вместе с императрицей-матерью посетит патронируемое ею заведение. В принципе Федя Достоевский имел шанс (вымытые до блеска окна, толпа нарядных детей) впервые лично лицезреть своего государя.

---

[1] Сообщая, что «по воле миллионов трудящихся нашей страны мрачный притон самодержавия исчезнет с лица Москвы», автор выпущенной в связи с этим исчезновением брошюры уличал строителей храма в пропаганде культа милитаризма: «Все надписи (на мраморных плитах.— И. В.) имели ярко выраженное классово-агитационное содержание... В самом выигрышном освещении были показаны «подвиги» представителей эксплуататорских классов...» (Кандидов Б. П. Кого спасал храм христа-спасителя. М.-Л., 1931, с. 29—30, 71.)

Вернемся, однако, в Москву, где мальчика еще нет: сотрясаются только стены, в которых он будет обретаться.

Согласно высочайшей воле, персонал больницы для бедных должен был при занятии Москвы неприятелем оставаться на месте. Рескрипт об этом помечен 9 августа 1812 года: следует изумиться дате. Русские войска еще сражаются под Смоленском; до Бородинского боя — более двух недель. Ни светлейший князь Кутузов, ни хозяин Москвы граф Растопчин, казалось, не помышляют об ужасном исходе. Меж тем предусмотрительная, как все вдовы, Мария Федоровна шлет из Петербурга инструкции, которые, не принадлежи они такому значительному лицу, легко могли бы быть сочтены пораженческими.

Впрочем, больница не была ни разграблена, ни сожжена.

В соответствии с уставом, в заведение принимались «всякой нации бедный и неимущий». Никто, однако, не предполагал, что этот пункт будет истолкован столь натурально. «Бедных и неимущих» решительно потеснили воины «всякой нации» (тоже, правда, увечные и больные). Оставшимся на месте врачам было предложено заниматься обычным делом. Французский генерал Нарбонн пообещал даже выхлопотать у Наполеона жалованье русскому персоналу. Но, как с удовлетворением замечает историк больницы, никто не принял «такого оскорбительного для народной гордости предложения»[2].

...В романе «Идиот» генерал Иволгин рассказывает, как по вшествии Наполеона в Москву он, будучи ребенком, сподобился видеть великого человека и даже угодил к нему в камер-пажи. Разумеется, генерал врет как сивый мерин. Но любопытен сюжет. Достоевского занимает не только «наполеоновская идея» (так трагически высвеченная судьбой Раскольникова), но и сам Бонапарт. Рассказ генерала замечателен: император французов, требующий от десятилетнего отрока рекомендаций относительно того, как ему удержаться в России («Улепетывайте-ка... восвояси!» — советует юный патриот), и поверяющий своему едва ли не единственному другу самые сокровенные думы — все это чрезвычайно забавно. Но как знать, не припомнились ли автору его собственные детские грезы?

...В горестную пору 35-дневного пребывания неприятеля в Москве, среди воцарившихся хаоса и безначалия, больнице удалось сохранить подобие некоторого порядка. В ее ограде укрывались озаряемые огнем пожаров московские жители. Порою в больничные окна залетали шальные пули. Но на фоне общих народных бедствий потеря двадцати восьми казенных байковых одеял (в коих главный врач аккуратнейшим образом отчитается вдовствующей императрице) — эта жертва могла представляться не столь суровой...

Высочайшая попечительница московской больницы для бедных переживет не только мужа, но и своего царственного старшего сына. Александр Павлович скончается в Таганроге, и у четырехлетнего Феди вряд ли станет досуга заметить его кончину, а также все, что за ней воспоследует.

Он появится на свет за четыре года до 14 декабря и умрет за месяц до 1 марта.

Эти две даты не менее важны, чем дни рождения и смерти.

Конечно, гром пушек на Сенатской (тогда еще — Петровской) площади не коснется его младенческого слуха (как, впрочем, не коснется его мертвого слуха эхо от бомбы Гриневицкого). Он не будет, как старший его девятью годами Герцен, давать клятву верности и отмщения. С первыми сведениями о том, что совершилось тогда в Петербурге, он столкнется значительно позже, да и воспри-

---

[1] См.: Федоров Г. А. Из разысканий о московской родне Достоевского.— Мат. и иссл., вып. 2, с. 67—69.

[2] Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. М., 1880, с. 43.

мет их, очевидно, совсем по-другому. Но детство его пройдет в Москве — городе, опаленном великим пожаром двенадцатого года; в Москве, притихшей после декабря, но время от времени обнаруживающей либеральный дух то делом братьев Критских, то громкими университетскими историями, то возмутительными стихами Полежаева.

В Москве бывают Пушкин и Гоголь; в московских гостиных витийствуют будущие славянофилы; в Москве Герцен и Огарев уже принялись исполнять обеты, данные на Воробьевых горах.

Казалось бы, эта Москва бесконечно далека от того патриархального, медленного, замкнутого в самом себе мира, в котором пребывает семья Достоевских. В том мире свои понятия о жизни, свои радости и свои заботы. Но не следует переоценивать степень этой уединенности. Двоюродный дедушка, Василий Михайлович Котельницкий, худо-бедно учит в университете медицинских студентов и в качестве декана нередко защищает их от гнева начальства. (Узнает ли когда-нибудь Достоевский, что дедушка спас от изгнания из alma mater в числе прочих обитателей 11-го нумера и студента Виссариона Белинского? А сам Белинский — догадывался ли он о родстве?) Глава семейства, надев черный фрак с белым галстуком, отправляется к своей клиентуре, которая, очевидно, не столь бедна, как его обычная публика.

Образованный слой в Москве, как и везде, достаточно тонок. И хотя новоиспеченный коллежский асессор и штаб-лекарь Михаил Андреевич Достоевский вряд ли имеет шанс встретить в обществе (где он, впрочем, и не бывает), скажем, Петра Яковлевича Чаадаева, он, может быть, слышал о нем от своего сослуживца доктора А. А. Альфонского, некогда пользовавшего этого мнительного пациента от его многочисленных недугов. К тому же не вполне ладящий с отеческой верой Чаадаев проживает в приходе священника Симеона Лебедева: батюшка не только свой человек в семействе Достоевских, но еще и обучает старших братьев закону божьему в пансионе Чермака [1].

Кстати, о Чаадаеве.

Его история (публикация «Философического письма» в «Телескопе», запрещение журнала и официальное объявление автора сумасшедшим) наделала в Москве много шуму поздней осенью 1836 года. Достоевскому — 15 лет: самый подходящий возраст для приятия подобного рода впечатлений. Мальчик вырос на Карамзине: Чаадаев, пренебрежительно отозвавшись о русской истории, дерзко покусился на мнения знаменитого историографа.

Старшие братья регулярно читают журналы — во всяком случае, есть указание на популярную «Библиотеку для чтения». Это счастливое изобретение барона Брамбеуса обладает колоссальным запасом полезной информации. Информация, как известно, возбуждает вопросы.

Братья живо интересуются литературой и по мере сил следят за новинками. Чаадаевское письмо было первостепенной новостью. Допустим, Федор и Михаил по молодости лет не заглядывают в ученый, но, признаться, довольно-таки скучный «Телескоп». Но неужто не ведают они о постигшей его участи? Трудно предположить, чтобы до старших учеников пансиона Чермака, где обучаются дети из самых различных московских семейств, не дошли толки об этом скандальном происшествии.

Нелишне вспомнить не только историю, но и географию. Пансион Чермака помещался на Новой Басманной. Здесь же, неподалеку, в доме генеральши Левашовой безотлучно жительствует и сам автор «Философического письма». Возможно, братья Достоевские, направляясь с Божедомки к Чермаку, проезжали мимо окон «басманного философа», и старый флигель, который, по словам Жуковского, держался не на столбах, а духом единым, притягивал их взоры.

Разумеется, всему вышесказанному приличествует сослагательное наклонение. У нас вовсе нет намерения настаивать на хотя и возможных, но не под-

[1] См.: Федоров Г. А. Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг.— Мат. и иссл., вып. 1, с. 250.

твержденных документально сюжетах. Речь о другом. О том, что все это происходит в одном городе, в одной — правда, весьма разнородной — культурной среде. Здесь читаются, в общем, одни и те же (не столь многочисленные) журналы; здесь слухами восполняется отсутствие политических известий; здесь новости быстро переносятся из дома в дом.

(Хотя, с другой стороны, если верить Андрею Михайловичу, о смерти Пушкина братья узнали только через месяц после самого события. Но зимой 1837 года все отодвинуто предсмертной болезнью матери: ни о чем другом в доме не говорят, и все внешние контакты сведены до минимума.)

Но мы забежали вперед. Вернемся туда, где лица детей еще исполнены невинности; где кормилицы при свете сальных огарков плетут свои страшные сказки; где папенька, склоняясь над скорбными листами, скрипит своим труженическим пером. Где, сотворив молитву, рано ложатся спать; где рано встают; где течение дня подчинено строгому, никогда не меняющемуся распорядку и где сами дни удивительно похожи один на другой.

И вот — просвет: в церкви (которая почему-то — очевидно, в силу похожести русских писательских детств — именуется деревенской) вспыхивает луч, а в нем парит голубок. И вновь плотно смыкаются дни — и все так же потрескивают сальные свечи, и на закоптелых обоях покачиваются огромные тени, и уже не разберешь, то ли это маменька тихо плачет о чем-то своем, то ли мемуарист смахивает украдкой старческую слезу...

Но что же Федя?

Следует заметить, что в этом мире Федя хотя и присутствует, но держит себя в высшей степени скромно. И, как справедливо замечает Чувствительный Биограф, «никаких признаков гениальности явно не обнаруживает». (Очевидно, подразумевается, что эти признаки присутствуют тайно.) Да и немудрено: ребенок еще мал, не шибко грамотен; что же касается устных высказываний, то они, видимо, не поражают окружающих и потому, слава богу, не переходят в потомство.

Сам Достоевский упоминает о своем детстве с глубоким чувством, но — сдержанно. Детские впечатления — его золотой запас: он пускается в ход только в решительных случаях.

(Так, воспоминания о мужике Марее или о няне Алене Фроловне выкладываются как козырная карта, когда надо обосновать важнейшие моменты идеологии. Но в принципе эти воспоминания выходят за рамки семейного сюжета и, как у Пушкина, который вообще почти не упоминает о родителях, но — по контрасту — возвышает иное («Ах! умолчу ль о мамушке моей...»), они обозначают точки соприкосновения с народной жизнью.)

Автор «Подростка» не оставил такой обширной автобиографической прозы, как Толстой: у него нет своих «Детства» и «Отрочества». Почти вся информация об этой поре (то есть о времени до 16 лет) исходит от одного (единственного) наблюдателя: это младший брат Андрей Михайлович.

Андрей Михайлович писал свои мемуары на склоне дней. Он был архитектором, и, возможно, это сказалось на его стиле. Добросовестной обстоятельности его ретроспекций не вредит отсутствие литературного блеска, который, восполняя пробелы памяти, способен порой увлечь этот деликатный жанр в область чистого вдохновения.

Как любил выражаться его старший брат, Андрей Михайлович предпочитает «оставаться при факте». И правильно делает, ибо в противном случае он уподобился бы романистам, щедро тратящим свое дарование на художественное воспроизведение тех подробностей, которые у него, Андрея Михайловича, присутствуют, так сказать, в своем девственном виде.

Несуетный воспоминатель тщательно воссоздает расположение комнат в более чем скромной казенной квартире штаб-лекаря (квартире в подобных случаях и надлежит быть скромной: заметим, однако, что, несмотря на успешное

продвижение Михаила Андреевича по службе и постоянно растущие размеры семейства, жилищные условия не улучшаются); он помнит цвет стен и обивку мебели; он скрупулезен во всем, что касается внешней обстановки, реалий и хронологии. Круг чтения старших детей, их учеба, семейные радости и семейные горести — ничто не ускользает от его ясного и доброжелательного взора.

Но повторим вопрос: что же Федя?

Приходится с огорчением признать, что душевная жизнь отрока да, пожалуй, и юноши — до 17—18 лет, когда появляются письма (детской эпистолярией, лишенной всяких индивидуальных признаков, можно в данном случае пренебречь),— эта жизнь остается для нас совершенно непроницаемой.

Существующие пробелы лишь поощрят воображение позднейших писателей. Так, Ч. Б. со свойственным ему лиризмом повествует о том, как некоторые детские впечатления впервые пробудили в подростке «мечтания о подвиге «во имя женщины»... а чуть позднее и ночные, уже не детские, но еще не взрослые, пугающие и радующие мальчика первые укусы страстей начинающего сознавать себя, мужающего тела».

О «страстях тела» компетентно говорят и другие осведомленные наблюдатели. В сравнении с ними Андрей Михайлович выглядит слабовато: он не сообщает таких интересных подробностей. Правда, и по его мысли старший брат должен предстать живым, горячим ребенком, который вдобавок «довольно резок на слова». Но где они, примеры этой неординарности, где поступки, обличающие характер и заставляющие распознать если не «признаки гениальности» (оставим ее в покое), то хотя бы черты сильной и незаурядной натуры?

«Эй, Федя, уймись,— доносится до нас предостерегающий голос отца,— ...быть тебе под красной шапкой!» — и пророческое видение гасиет, почти не задерживаясь в памяти, ибо кто же в детстве не был не только мил, но и резов и кому не делались очень похожие увещевания?

А вот сцена, словно нарочно предназначенная для школьных хрестоматий. Юный Федя спешит на выручку бедной крестьянке («она на барском поле жала») и доставляет ей жбан воды, дабы она смогла напоить плачущее дитя («и младенчик,— удовлетворенно домысливает Чувствительный Биограф,— напившись, перестал орать, уснул, так трогательно раскинув ручонки»). Со своей стороны, простодушный Андрей Михайлович не усматривает в происшествии каких-то особых знамений: он лишь кратко сообщает, что крестьяне очень любили их, барских детей, особенно Федю. Но вспомним, что невзыскательные деревенские жители весьма тепло относились и к маленькому Илье Ильичу Обломову, хотя он вряд ли был способен на подобные подвиги.

Чтобы торжественно аттестовать героя, фактов, действительно, маловато. И уж совсем неведомо (Андрей Михайлович в отличие от будущих литературоведов не оставляет на сей счет никаких указаний), посещают ли Федю вольнолюбивые сны и что он думает относительно общего блага.

Впрочем, Андрея Михайловича можно извинить. Он на несколько лет моложе старших братьев, а в столь нежном возрасте подобная разница весьма ощутима. Михаил и Федор почти неразлучны, у них своя компания, свой комплот, они составляют свою, обособленную от прочих братьев и сестер ячейку внутри семьи. У них общие для них двоих интересы, общие секреты — и в эту отвоеванную у взрослых область не допускается третий.

Остается только гадать, что мог бы поведать о брате не переживший его Михаил Михайлович.

Однако не будем ломиться во внутренний мир ребенка (особенно — т а к о г о ребенка): всегда есть опасность привнести в него наш собственный застарелый опыт.

Ограничимся взглядом извне.

Вот круг первый: маленькая, полутемная детская; топка печей зимой; раскрытые окна летом; сыновняя почтительность, с помощью ветки обороняющая от мух соснувшего отца; общие трапезы в одно и то же время; зубрежка латинских вокабул; умеренность расходов и удовольствий. К последним безусловно относится посещение балаганов и — в меньшей степени — чинные, под попечительным родительским оком прогулки в Марьиной роще: они носят скорее ритуальный характер. Зато можно всласть набегаться в обширном больничном саду, нарушая при этом строжайший запрет не общаться с больными (то есть с теми, в коих, если верить августейшей основательнице больницы, «соединено убожество с изнеможением и невинностью») — запрет, преследующий более социальные, нежели гигиенические цели. (Заметим, что согласно уставу больницы в нее не принимались больные «прилипчивыми болезнями», беременные женщины и «неизлечимоувечные», «поелику для сих немощных установлены особые учреждения»[1].)

Но кто этот бледный юноша, поспешающий по Божедомке и направляющийся, судя по всему, к воротам женского Александровского института? Уж не влюблен ли он?

«Что ваше сердце?..— вопрошает писатель Лажечников начинающего литератора Виссариона Белинского.— Летает ли в Б о ж и й д о м?»[2].

Намек, разумеется, внятен адресату. В 1834 году его сердце регулярно «летает» туда, в Александровский институт: там исправляет должность классной дамы Марья Васильевна Орлова. Много воды утечет, прежде чем — уже в Петербурге — совершится наконец законный брак...

Ах, как заманчиво вообразить 23-летнего Белинского, меряющего шагами аллеи Марьиной рощи! Кого задевали складки его плаща? Скользил ли его отрешенный взгляд по лицу 13-летнего отрока, чье сочинение так изумит его спустя десятилетие? Угадывал ли Достоевский свою судьбу? Да и встречались ли они вообще — не узнанные друг другом?

Не будем гадать. Все равно в нашем оркестре уже возникла эта скромная тема: еще нескоро сделается она ведущей...

Круг второй, тесно связанный с первым и в то же время разительно на него непохожий. Это — «прекрасное и высокое», все, что обретается в области духа и заставляет сердце замирать от сладких и неясных предчувствий.

Закон божий — «нулевой цикл», ликбез, с которого начинается образование ребенка; единственная наука, общая для детей всех сословий и состояний. Библейские предания — школьная азбука XIX столетия. Но из всех историй Ветхого завета более всего поразит воображение Иов — книга великого страдания и великой скорби.

Если добавить к этому запойное чтение уже упомянутого Карамзина, повествования о русских древностях Лажечникова и Загоскина, а также скупую пушкинскую прозу, можно заключить, что мальчик воспитывался на порядочной литературе.

И, наконец, круг третий.

В формулярном списке Михаила Андреевича, помеченном 1828 годом, четыре графы, долженствующие содержать сведения о родовом или благоприобретенном имуществе, остались незаполненными. Это соответствовало истинному положению дел: бывший семинарист все еще пребывал за пределами землевладельческого сословия. Но обретенные пятнадцатилетней службой чин коллежского асессора и Анна третьей степени знаменовали желанный поворот в его судьбе. Его общественное положение упрочивалось. Вместе со своими потомками он вступал в ряды благородного российского дворянства. И, следовательно, получал право владеть землей и иметь крепостных.

Этой возможностью Достоевские не преминули воспользоваться.

В Каширском уезде Тульской губернии, в 150 километрах от Москвы, недалеко от города Зарайска летом 1831 года приобретается именьице — 11 кре-

[1] Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных, с. 5.
[2] В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 174.

стьянских дворов, составлявших часть деревни Даровое: 76 душ мужского и женского пола. (Даровое, вопреки своему названию, обошлось в 29 тысяч ассигнациями: почти десять годовых окладов жалованья[1].) Через год прикупается Чермошна (Чермашня — аукнется в его последнем романе: туда уезжает брат Иван, чтобы попустить совершиться отцеубийству) — 8 дворов и 67 крепостных душ. Всей земли, из коей немалая часть пустоши,— не более 500 десятин.

Шаг, призванный обеспечить материальное благополучие семьи, едва ли не повел к разорению и стоил жизни владельцу.

(А ведь были, были дурные предвестия! Папенька, впервые за долгие годы рискнувший оставить семейство и отправиться для осмотра имения (в молодости, помнится, он был куда как легок на подъем!), забывает подорожную: неожиданное его возвращение повергает в ужас домашних. Подорожная нашлась: но мы-то знаем, чем кончится эта дорога...)

Тютчевское «Эти бедные селенья...» имеет как бы прямое касательство к вновь обретенным владениям Достоевских. Причем — не только к крестьянским жилищам, но, пожалуй, и к самой барской усадьбе, если только таковой можно именовать «маленький, плетневый, связанный глиною на манер южных построек флигелек из трех небольших комнаток», о котором не без нежности повествует Андрей Михайлович. Доходы, получаемые с мужиков, не превышали расходов по ведению хозяйства, оказавшегося в не столь искусных помещичьих руках.

Весной 1832 года «вотчина» сгорает: десятилетний Федя хорошо запомнит событие. Не этот ли ущерб, смягченный впоследствии благодарной памятью сердца (поступок няни Алены Фроловны, предложившей господам свои сбережения, вырастает почти до национального символа!), не это ли дуновение рока явилось ранним предупреждением о ждущих его впереди вещественных потерях и катастрофах?

Но как бы то ни было, приобретение Дарового, помимо благополучного заземления тянущейся от древнего Достоева цепи, имело одну неоспоримую выгоду. Дети получили возможность проводить летние месяцы в деревне.

Летнее пребывание в Даровом даровало (здесь тавтология не кажется неуместной) еще и другие преимущества. Мальчики впервые оказались на воле. Отец приезжал редко, а мать, судя по всему, не очень ужесточала домашний режим. По сравнению с размеренной, до мелочей регламентированной жизнью на Божедомке деревня должна была представляться царством чистой свободы. И свобода эта осуществлялась в крайних, хотя и невинных формах.

Едва ли Федя Достоевский мог быть знаком с сочинениями Жан-Жака Руссо (а положительнее говоря — никак не мог). И все же его деревенские забавы находятся в известной связи с мечтаниями этого славного философа — о естественном, резвящемся на лоне природы хорошем человеке.

В 1835 году, пока будущий автор Пушкинской речи предается своим ребячьим проказам, Пушкин пишет стихотворение «Не дай мне бог сойти с ума...»:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

Это воображаемая — и даже в воображении обреченная на неуспех! — попытка вырваться на волю (если уж не в «обитель дальнюю», то хотя бы так), вернуться к первородному «докультурному» состоянию. Разумеется, Пушкин читал философов французского Просвещения. Да если б и не читал, его тоска по цельному, не обремененному грузом социальных условностей и привычек человеку (хотя бы и добывшему свободу ценой безумия) имеет мало общего с воинственным пылом играющих «в диких» помещичьих детей. Тайное сродство все

[1] Согласно существовавшему тогда положению, больничный лекарь через каждые пять лет получал прибавку, равную 1/5 жалованья, так что через 20 лет службы оклад удваивался. Не забудем и о частной практике. Кроме того, в приобретении имения, возможно, помогли и Куманины: это тем вероятнее, что покупка была оформлена на имя Марии Федоровны.

же можно уловить: «игровое» воспоминание о детстве человечества и детская игра, как бы воплощающая это воспоминание «на практике».

«Безумие» — в эстетическом плане — оказывается выше рассудочности.

Но если все-таки руссоистский оттенок летних игрищ в Даровом подлежит серьезному сомнению, вряд ли оно уместно в отношении других литературных источников, которые, несомненно, были в поле зрения любознательного подростка.

За несколько месяцев до смерти, отвечая на вопрос одного из своих корреспондентов, что бы он порекомендовал для чтения его подрастающей дочери, Достоевский сошлется на собственный опыт. Он говорит, что, будучи двенадцатилетним мальчиком, в деревне «прочел всего Вальтер-Скотта». Он полагает, что именно этот писатель развил в нем «фантазию и впечатлительность», которые были направлены им, читателем, в хорошую, а отнюдь не в дурную сторону.

«Фантазию и впечатлительность» развивал, очевидно, не только Вальтер Скотт. Ибо раздевание донага, расписывание тела красками «на манер татуировки» и т. д. и т. п.— все это предполагает основательное знакомство с Фенимором Купером и Даниелем Дефо.

«Конечно, брат Федор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племен»,— заключает Андрей Михайлович, и это едва ли не единственный случай, когда мы наблюдаем брата Федора в качестве заводилы.

Другая проделка — имитация крестного хода (повлекшая справедливый гнев маменьки) свидетельствует не столько о наследственных склонностях внуков деда-священника, сколько о том же стремлении ориентироваться на известные (в культурологическом плане — прямо противоположные предыдущим) образцы. Причем — коль без этого не обойтись — и здесь, и там можно усмотреть момент карнавализации.

Две стихии формируют душу: впечатления жизни действительной и те, которые воображение черпает от другого воображения, превращая чужое в свое. Границы между «жизнью» и «литературой» становятся все неощутимей: блаженный возраст, когда гордые герои Вальтер Скотта — такая же собственность, как и пашущий в чистом поле мужик Марей...

Редкий из биографов Достоевского откажет читателю в удовольствии лишний раз выслушать эту трогательную историю. Примеры лингвистической наивности хрестоматийного мужика, приводимые Андреем Михайловичем, ничуть не умаляют этот величественный образ. Тем паче, что он обычно трактуется в плане философическом. Последуем этой доброй традиции.

Крепостной крестьянин, касающийся своими заскорузлыми пальцами «вспрыгивавших» губ ребенка, конечно, мало напоминает шестикрылого серафима, который производит известную операцию с грешным языком. Однако сам этот жест — прикосновение запачканных в земле рук к органу речи — тоже может быть истолкован в высоком символическом смысле.

«— Ну, я пойду,— сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь...»

Его избавитель смотрит ему вслед — и этот охраняющий его взгляд он хотел бы чувствовать на себе всю жизнь. Впрочем, кому в детстве не мерещились волки — и справедливо ли упрекать мужика Марея, что позднее он не смог уберечь рассказчика от наваждений совсем иного порядка? [1]

Но от наваждений не убереглись и биографы. Собственно, уже в первом по времени жизнеописании Достоевского (1883), составленном О. Ф. Миллером и Н. Н. Страховым, наличествуют все элементы той биографической схемы, которая надолго утвердится в литературе. Незыблема периодизация, несменяемы персонажи, неизменны выражения лиц. Между тем любой биографический сюжет можно «размотать» вглубь. И это порой существенно меняет общую картину.

[1] Кстати: когда произошла эта судьбоносная встреча? Достоевский говорит, что ему в то время было 9 лет. Но первое лето, проведенное семьей в деревне, приходится на 1832 год. Следовательно, возраст напуганного «волком» ребенка — никак не менее 10 лет.

Тот же мужик Марей, который в «официальной» биографии занимает традиционно почетное место, выступая как своего рода Фрол Силин — добродетельный селянин, в черновых записях самого Достоевского далеко не столь благостен. Вот «прорывается в нем татарин», и он — задолго до сна Раскольникова — начинает «хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам» Это — тоже впечатление того самого детства, на которое мы взираем умиротворенным взором Андрея Михайловича...

Нет, как ни толкуйте, а есть все-таки разница между ребенком гениальным и ребенком обыкновенным — скажем это, рискуя навлечь на себя гнев уравнительной педагогики. Гениальный ребенок в отличие от вундеркинда, тешащего родительскую гордость ранними успехами, все больше помалкивает. Он лишь чувствует, видит и запоминает не так, как все.

Там, где у Андрея Михайловича — ребячий рай, игра «в диких», рыбалка, походы в лес за грибами, там у его старшего брата — иссеченная крестьянская лошадь и бьющий ее по глазам добрый мужик Марей...

«...Теленок, которого зарезали...» — это тоже воспоминание детства:

Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника...

Руссоистская, пейзанская идиллия оборачивается для него тем, о чем век спустя будет сказано: «природы вековечная давильня» и что ранее не вызывало у него, городского ребенка, особых раздумий.

Над садом
шел смутный шорох тысячи смертей,
Природа, обернувшаяся адом,
свои дела вершила без затей.

С детством связаны не только очищающие и возвышающие душу картины. Там, в детстве, зияет нечто такое, о чем Достоевский «впрямую» не обмолвится никогда. Но э т о окажет могущественное влияние на всю его творческую судьбу: как бумеранг, вновь и вновь будет возвращаться к нему эта тема.

В итоге зловещая тень падет на него самого. Страхов, Толстой, Тургенев, Григорович и множество других достойных и уважаемых лиц будут осведомлены (с той или иной степенью вероятия) об ужасном поступке, которым якобы «похвалялся» защитник униженных и оскорбленных. Стыдливо ликующая молва обвинит его в растлении малолетней. Деяние Николая Ставрогина, остававшееся для широкой публики неизвестным (этот эпизод Достоевского вынудят исключить из «Бесов»), будет вменено автору.

Русским писателям не привыкать к оговорам. Но подобной мерзости, кажется, не удостаивался еще никто из них.

...Если наше повествование продлится, мы остановимся на этом сюжете. На том, как нелепый слух, выпорхнувший из петербургских гостиных, сделался со временем поистине м и р о в о й с п л е т н е й. Как попал он в анналы и оброс примечаниями [1]. Но все это начнется в семидесятые годы. Мы же пока не выбрались из тридцатых.

И потому в ответ на привычный вопрос: «А была ли девочка?» — остается лишь скорбно наклонить голову.

Девочка б ы л а: о ней, по свидетельству З. А. Трубецкой, поведал однажды сам автор «Преступления и наказания».

З. А. Трубецкая — внучка Анны Павловны Философовой, чье «умное сердце» высоко чтил Достоевский. Женщина независимых мнений, подвижница и филантропка, Анна Павловна собирала у себя избранный круг. В свои последние годы Достоевский любил бывать в ее доме. Именно здесь сын Философовой (родной дядя З. А. Трубецкой) услышал поразивший его рассказ.

Девятилетнюю девочку, «дочь кучера или повара», подругу детских лет рассказчика, изнасиловал какой-то пьяный негодяй, и она, истекая кровью, умерла на руках Достоевского-старшего. Детское потрясение обернется взрослым кошмаром: как выяснится, неотвязным.

[1] Убедительное опровержение этого биографического мифа см. в кн.: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978. Глава «Факты против легенды», с. 75—109.

(Чувствительный Биограф тоже не игнорирует тему. Одобрительно отмечает он дружбу скрытно тяготеющего к социальным низам ребенка с представительницей утесненных сословий. «Впрочем, только ли дружба?» — интригующе вопрошает Ч. Б. (предпочтительнее, конечно, «детская влюбленность»). И, по обыкновению, лепит образ: «Хрупкая, словно светящаяся изнутри, она дарила ему счастье открывания красоты в ее скромных, неброских проявлениях...» (О, целомудренный слог Ч. Б.!) «Попробуй, какие к л е й к и е л и с т о ч к и!» — восклицает героиня: наконец-то мы знаем, откуда в «Карамазовых» взялся этот мотив.)

«...Самое ужасное преступление... самый страшный грех...» — скажет Достоевский гостям Философовой. «Если соблазните единого от малых сих» — по памяти цитирует Ставрогин. Дополним цитату: «...И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской» (Матф., XVIII, 5—6). Тем, на ком лежит каинова печать такого злодейства, остается лишь истребить себя.

Но, несмотря на уверения позднейших знатоков, что «д и т я, с о з р е в ш е е д л я с м е р т и, н е м о г л о н е с о з р е т ь д л я л ю б в и» [1], истребляет себя и жертва: так множится зло.

Слова, процитированные в предыдущем абзаце, взяты нами из книжки, вышедшей в 1922 году. Тогда, при вскрытии ящика с рукописями Достоевского в Центрархиве, была обнаружена так называемая «Исповедь Ставрогина» (глава «У Тихона»). Обнародование «Исповеди» произвело, если верить автору книжки, чрезвычайное воздействие на привыкших ко всяческим ужасам москвичей.

Литературовед Н. Л. Бродский сделал доклад о новонайденной рукописи; актер Художественного театра Л. М. Леонидов постарался донести текст. Автор книжки (он же — очевидец) изображает дело так:

«Жутью насыщено все вступительное слово докладчика — истерический, из шкуры вылезающий кошмар.

Жутью веет от заметно настраивающегося ему в тон лица Леонидова. Жутью проникла и вся аудитория...»

В результате после «исполнения» текста в Доме печати «подавленная впечатлениями публика единогласно отказалась от «диспута» и прений».

Ю. Александрович от «диспута» не отказался.

Автор «Матрешкиной проблемы» (довольно влиятельный в свое время историк литературы и критик) расценивает «Исповедь Ставрогина» как слегка законспирированную оду к радости — гимн желанию, «идущему навстречу другому желанию». «Мы не знаем,— с чувством восклицает ученый,— зачем пошла она (Матреша.— **И. В.**) в темный чулан,— плакать или доступными ей средствами утолить возникшую жгучую похоть».

И впрямь загадка остается неразрешенной. Зато нам не забывают сообщить, что Достоевский — «специалист по садизму, и нравственному, и половому, и умственному. По извращению».

(Представляем, как взвился бы Ч. Б.: в его палитре присутствуют исключительно светлые краски. Но отчего-то не хочется присоединяться ни к одной из сторон. Чудится какая-то меж ними стачка, какая-то близость душ...)

В гостиных, как известно, говорят о погоде. Что до нас, мы бы вообще предпочли не касаться интимных сторон жизни — не только художника, но и его героев. И вовсе не по несвойственному нам пуританству, а потому, что любые изыскания в этой области неубедительны и малопродуктивны. Живет, как хочет, не только дух... Но дело в том, что в литературном море, бушующем вокруг на-

[1] Александрович Ю. Матрешкина проблема. Исповедь Ставрогина Ф. М. Достоевского и проблема женской души. М., 1922, с. 31.

шего героя, особенно высока волна этого специфического интереса — волна, которая «у них» захлестывает даже опытных пловцов, а «у нас» — с шипением разбивается о дамбы, как бы намеренно воздвигнутые для того, чтобы привлечь еще большее внимание к изгоняемой «стихии». О мировая пошлость, кто, как не ты, соединяет волну и камень в их дружественном противоборстве!...

Итак, «стихия прорвалась и буйствует» [1]. Оставим в покое Матрешу: какая уж там стихия... Но и мотивы Ставрогина не имеют ничего общего с теми, которые ему великодушно приписывают. Ибо его «поступок с отроковицей» — такое же теоретическое преступление, как и убиение Раскольниковым старухи-процентщицы. Оба эти убийства однотипны. И для Родиона Романовича, и для Николая Всеволодовича главное — «преступить черту».

Казалось бы, невероятно, но в «Исповеди» нет ни одной чувственной детали! «Белобрысая и весноватая» Матреша не вызывает у профессионального сладострастника Ставрогина ни малейших эмоций. Его действия продиктованы отнюдь не всепоглощающей страстью (он не похож на набоковского Гумберта Гумберта («Лолита») — как бы нас ни пытались в этом уверить), а холодным и дерзким расчетом. «Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел),— признается Ставрогин,— но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости».

«...Но тут,— сказано в черновиках к «Бесам»,— я вдруг спросил себя: могу ли остановиться, и тотчас ответил, что могу». «Эта фраза,— комментирует Ю. Александрович,— зачеркнута, из чего ясно желание автора показать, что остановиться Ставрогин не мог» [2]. Да, фраза снята, но в окончательном тексте осталось: «Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь, как монах, несмотря на звериное сладострастье... Я всегда господин себе, когда захочу».

Ставрогин не останавливается потому, что он проводит моральный эксперимент. «Стихия» здесь ни при чем. Это вожделение более страшного свойства: искушение духа, а не плоти...

Пьяный насильник-зверь— призрак далекого детства — обращается в насильника «чистого» и духовно утонченного. «Звериное», очеловеченное таким манером, делается еще «звериное»: примеры известны...

История, поведанная З. А. Трубецкой (и лишь недавно обнародованная), приоткрывает бездну: первую, куда заглянул наш герой. Сделать это было тем страшнее, что возраст наблюдателя не превышал, очевидно, возраста жертвы.

Впрочем, вопрос о дате не обсуждался. Отважимся ее назвать: 7 июня 1831 года.

Следует привести аргументы.

Если сравнить «видение» Свидригайлова (девочка в гробу) и два описания в «Бесах» — того, как Ставрогин совершил свое преступление и как повесилась оскорбленная им жертва, то можно убедиться, что во всех трех случаях изображен один и тот же день.

Сравним детали:

«Преступление и наказание»:	«Бесы»:
день «светлый»	«солнце ужасно ярко светило»
«теплый, почти жаркий»	«Воздух был тепл, было даже жарко».
«окна были отворены»	«Все окна были отворены».
	«Окна были отперты».

И даже обилие цветов в сне Свидригайлова рифмуется с «на окнах стояло много гераней» в «Исповеди Ставрогина».

Случайны ли эти совпадения? Или все три картины имеют в своей основе один источник, один зрительный и психологический образ?

«Все произошло в июне»,— говорит Ставрогин. В «Преступлении и наказании» сказано: «праздничный день, Троицын день».

Достоевский был очень внимателен к датам.

Троицын день (50-й после Пасхи) празднуется как в мае, так и в июне.

[1] Кашина-Евреинова А. Подполье гения. (Сексуальные источники творчества Достоевского). Пг., 1923, с. 50.
[2] Александрович Ю. Указ. соч., с. 16.

В 1821—1831 гг. Троицын день приходился на июнь в 1823 (Феде — 1 год), 1826 (4 года), 1829 (7 лет) и, наконец, 1831 (9 лет). 7 и 9 лет — возраст наиболее «подходящий». Но 2 июня 1829 года дата менее вероятная: судя по рассказу Достоевского, вряд ли девочка была старше или моложе его. Скорее они ровесники: в 1831 году обоим по девять лет. Конечно, нельзя полностью исключить и более поздний срок (скажем, 10 июня 1834 г.). Однако начиная с 1832 года семья проводит лето в деревне, и потому роль свидетеля отпадает.

Но резонно задать вопрос: почему именно летом и именно в Троицын день? Событие могло совершиться когда угодно, а указание на летний месяц в обоих романах — непредумышленно и случайно.

Повторяем: Достоевский был внимателен к датам. А также — к реалиям. Свои детские впечатления он, как правило, передает очень точно.

Кроме того, имеется ряд косвенных доказательств.

Откуда в чинном больничном саду вдруг оказались пьяные? Почему за врачом посылают именно Федю?

В Троицын день подгулявший преступник сумел бы без особых трудностей проникнуть за госпитальную ограду. (Им, кстати, мог оказаться и кто-то из «своих» — например, больничный служитель и даже — сколь это ни печально — решивший отдохнуть пациент.) По той же причине (лето! воскресенье! праздник!) отсутствовали и многие врачи. И появление в саду маленького Феди как бы давало знать, что семья доктора Достоевского на месте. Мальчик посылается за отцом.

И еще одно свидетельство, которое в сопоставлении с данным эпизодом обретает совершенно особый смысл.

«Феодор Михайлович,— говорит Анна Григорьевна,— чувствовал себя истинно несчастным, когда в праздники вечером встречал на улице много пьяных». Конечно, подобная реакция зависит от разных причин. Но не было ли среди них одной, о которой сдержанная мемуаристка предпочитает умалчивать?

Давно отмечена повторяемость у Достоевского схожих сюжетов и лиц. Нередко в их основе — сильное первоначальное впечатление.

В воображении растлителя (Свидригайлова) возникает усыпанный цветами гроб, в котором покоится девочка с распущенными светлыми волосами. «...Венок из роз обвивал ее голову»,— говорит автор. «В белом венчике из роз» — если перефразировать Достоевского строкою Блока. Сближение не из самых удачных. Вспомним, однако, бред занемогшей Матреши — «Бога убила». Вспомним цитату, пришедшую на память Ставрогину. По слову того же Евангелия от Матфея (XII, 31—32), ни в сем веке, ни в будущем не прощается лишь один грех — хула на духа святого. И не потому ли в салоне Анны Павловны Философовой как вина, которой нет искупления, называется именно эта — попрание и осквернение духа?

Желая (или стараясь уверить себя, что желает) искупить прошлое, Ставрогин приходит к старцу. У одного русского писателя есть книга, где другой великий грешник, жено- и детоубийца, тоже приходит к святому схимнику и просит молиться о нем. Схимник отказывает просителю.

Это — «Страшная месть» Гоголя. Известно, что названная повесть сильно повлияла на раннего Достоевского: следы этого воздействия легко различимы в «Хозяйке».

Но — «Бесы»?

В «Страшной мести» главному герою приданы черты антихриста. Гоголевский колдун — «чистое», беспримесное воплощение зла. Со Ставрогиным дело обстоит сложнее. И тем не менее не только сумма им содеянного, но и особый характер деяний позволяет предположить возможность такого сближения.

Ставрогин — от греческого «ставрос», «крест». Он несет его на свою Голгофу, ибо у антихриста она тоже есть: не жертва за других, но — самоказнь.

И тут — еще одно совпадение, исполненное глубочайшего смысла.

И у Гоголя, и у Достоевского зло не в состоянии перенести только одной вещи — явной или тайной над собой насмешки.

Конь, на котором пытается спастись колдун, вдруг поворачивает морду и смеется во тьме двумя рядами белых зубов («лицо коня»!): «Дыбом поднялись волоса на голове колдуна».

У героев Достоевского волосы тоже поднимаются дыбом.

«Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать...»

Раскольников бросился бежать — ничего иного не остается, ибо это — приговор. Поступки Свидригайлова, Ставрогина, Раскольникова не только ужасны; где-то в своей онтологической глубине они еще и *смешны*. «Преступившие черту» готовы выдержать многое, но *это* (и только *это*!) для них — непереносимо.

«И сатана, привстав, с веселием на лике...» Злодеи по-сатанински хохочут над миром, но кто-то — «в другой комнате» — смеется и над ними самими — *невидимым миру* смехом.

Свидригайлову снится «кошемар во всю ночь»: он подбирает промокшего, голодного ребенка, и ребенок этот засыпает у него в комнате. Однако сновидец уже не может совершать добрые поступки — даже во сне! И сон демонстрирует ему эту невозможность с убийственной силой. Ресницы спящей блаженным сном девочки «как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски подмигивающий глазок... Но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, явный смех... «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов...»

Этот ужас — едва ли не мистического свойства: смех, исходящий из самых глубин несмешного — неестественный, безобразный, развратный смех пятилетнего ребенка (словно нечистая сила глумится над нечистой силой!) — этот смех иррационален и грозит «страшной местью».

Добро, если б над Свидригайловым смеялась покойница. Мертвые старухи, смеющиеся над Германном («Пиковая дама») и Раскольниковым, «действуют» по-своему логично — даже в пугающем алогизме сна. Девочка, смеющаяся над Свидригайловым, и конь, смеющийся над колдуном,— оборотни. Их смех ничем «не оправдан», он свидетельствует об обреченности сознания стихии подсознательного, о торжестве «сюра», когда предметам присваиваются несвойственные им функции и качества. Так в «Мастере и Маргарите» Булгакова нас не очень-то пугают проделки «штатных» служителей Сатаны, но мы вместе с Римским невольно вздрагиваем, заметив, что *обычный* театральный администратор не отбрасывает тени.

Видение Свидригайлова «страшнее» сна Раскольникова, ибо его искупительная жертва не принимается, как не принимается и покаяние Ставрогина.

...Колдуну в «Страшной мести» мерещится, что все вокруг «смеются над ним»,— и он убивает насмешников. «Отец, ты смеешься надо мною!» — говорит он святому схимнику — и старца постигает та же участь.

(Буквы в книге, которую читает схимник (разумеется, Библия), наливаются кровью. Вспомним: «...Ни в сем веке, ни в будущем».)

...Дочитав исповедь Ставрогина, Тихон робко замечает:

«— А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно,— ответил Ставрогин.

— Немного бы в слоге...»

Слог — это человек, и слог выдает человека. Когда Тихон осторожно намекает Ставрогину, что тот не выдержит замысленного им подвига (обнародования исповеди), Ставрогин вначале не понимает:

«— Что не выдержу? Не вынесу <со смирением> их ненависти?..

— Не одной лишь ненависти.

— Чего еще?

— Их смеху,— как бы через силу и полушепотом вырвалось у Тихона».

И когда исповедующийся вопрошает старца, есть ли в его, Ставрогина, грехе нечто такое, что могло бы развеселить исповедника, Тихон отвечает словами, немыслимыми для духовного лица, тем более — его ранга и положения: «Кто знает, может, и есть? О, может, и есть!»

Что же смешного содержит в себе исповедь Ставрогина? Надругательство над малолетней — не самый веселый сюжет. Но старец указывает Ставрогину уязвимейшее место его псевдопокаяния — антиэстетизм поступка. «Убьет некрасивость,— прошептал Тихон, опуская глаза».

Тихон «опускает глаза» как бы от имени мира, не только ужасающегося преступлению, но и сознающего всю ничтожность преступника, весь его скрытый комизм.

В «Страшной мести» колдун в конце концов умирает от настигшего его смеха жертвы.

В отличие от колдуна Ставрогин не убивает «своего» схимника, хотя при других обстоятельствах он, кажется, был бы не прочь это сделать. «Проклятый психолог! — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи».

«А, проклятая!» — восклицает в ужасе Свидригайлов. Раскольников — в не меньшем ужасе — бежит прочь. Все они понимают, что *открыты*,— и смех, раздающийся им вослед, и есть самое ужасное (и позорное) для них наказание.

Но жертвам от этого не легче.

Дух попран — и ни Варенька в «Бедных людях», ни Настасья Филипповна в «Идиоте», ни Грушенька в «Братьях Карамазовых» — никто из них не может простить своих соблазнителей и обидчиков. При всем разнообразии женских характеров и судеб, явленных Достоевским, этот «исходный импульс» никогда не оборачивается счастливым финалом. «Американский» вариант у Достоевского не проходит: предполагаемый брак камелии с князем («Идиот») не состоится. Да и соединение Вареньки Доброселовой с господином Быковым не предвещает ей особой радости. У «девочек» Достоевского нет будущего: в лучшем случае — содержанка, в худшем — панель и смерть.

Девочка в гробу — не единственный мертвый ребенок у Достоевского. В «гробике» изображается маленький безымянный сосед Макара Девушкина, о смерти которого тот с горечью сообщает Вареньке. «В голубом, убранном белым рюшем гробе» лежит Илюшечка Снегирев.

При этом обращает внимание одна деталь.

И в «Преступлении и наказании», где перед нами девочка-покойница «со сложенными и прижатыми на груди, *точно выточенными из мрамора руками*», и в «Братьях Карамазовых», где про Илюшечку сказано: «Особенно хороши были *руки*, сложенные накрест, *точно вырезанные из мрамора*» — и там и здесь опять дан один и тот же зрительный образ [1].

Присутствовал ли Достоевский на отпевании своей подруги (очевидно — в той самой церкви, где крестили его самого)? Но главное даже не в этом. Главное в том, что гибель девятилетней соседки — первая смерть, виденная им вблизи [2].

На его руках умрут многие из дорогих ему людей: мать, первая жена Мария Дмитриевна, брат Михаил Михайлович, трехмесячная дочь Соня, малолетний сын Алеша. На его глазах будет кончаться каторжанин в острожной больнице. Он сам заглянет в лицо смерти (вернее, она — ему) — там, на Семеновском плацу. Но уход ровесницы — первое из доказательств, что этот мир не вечен.

---

[1] Кстати, девочка в гробу из «Преступления и наказания» вовсе не походит на утопленницу, в чем, казалось бы, старается нас уверить автор. О ее пребывании в воде свидетельствуют только ее мокрые волосы. Между тем смерть от утопления, как и всякая смерть от асфиксии (недостатка воздуха), сопровождается приливом крови к голове. У утопленников и удавленников — искаженные черты, распухшие синие лица. «Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора...» — говорит Достоевский.

[2] Если не считать прожившей всего несколько дней сестры Любочки (1928): смерть *незнакомого* младенца вряд ли была для Феди особенно приметной.

Мертвым мальчикам Достоевского тоже по девять лет. Он назначает покойникам собственный возраст: тот, в котором он пребывал тогда.

Для ребенка, родившегося и выросшего в больнице, смерть — предмет совершенно обыденный, можно сказать — домашний. Морг и церковные отпевания входят в круг его интересов. Но то — «чужие» покойники, «они» — другие. Оказавшаяся в гробу сверстница, соседка, подруга — это совсем иное: легко вообразить себя на ее месте.

Высокая тайна смерти сталкивается с другой, низкой — той, которую от него упорно скрывают. Но ведь мальчик живет среди людей. Недомолвки родителей, пересуды прислуги, возможные откровения товарищей «из простых» — все это не проходит даром. На «лике мира сего» проступают отвратительные черты...

Два человека, близко знавших Достоевского, не сговариваясь, утверждают, что первопричиной, «которая ведет к нервным болезням, а следовательно, и к падучей», было «нечто страшное, незабываемое, мучащее», случившееся с ним в детстве. Некоторые исследователи считают, что эти глухие намеки имеют отношение к убийству отца. Но Михаил Андреевич погиб, когда его второму сыну было почти 18 лет, а С. Д. Яновский и А. С. Суворин определенно говорят: «в детстве». Летом 1832 года он уже подвержен галлюцинациям (вспомним: «Волк бежит!»).

«...Отнять веру в красоту любви... страшное преступление»,— так предварит Достоевский свой рассказ в салоне А. П. Философовой. Но не была ли отнята «вера» и у него самого? Не этим ли в конце концов объясняется тот факт, что, лишь достигнув возраста Христа, наш герой пережил первый в жизни любовный роман?

«Мое первое личное оскорбление...» — запишет он через много лет.

Конечно, в биографии Достоевского это только эпизод, как будто бы не имеющий прямого касательства к герою. Но — и одна из переломных точек духовной судьбы; не менее значимая, чем встреча с мужиком Мареем.

В десять лет он видел добро и зло.

Дважды к Мареевой улыбке прилагается один и тот же эпитет: «материнская». В этом, очевидно, неслучайном, определении можно усмотреть признание духовного родства. Что, в свою очередь, не отменяет вопроса о родстве более прозаическом: мы имеем в виду отца и мать.

О родителях Достоевский говорит глухо и непространно.

Все воспоминатели сходятся на том, что он с благоговением отзывался о матери и избегал касаться отца. Подразумеваются разговоры. Что же до его собственных письменных свидетельств, кажется странным, что отца и мать он упоминает, как правило, вместе («родители») и за одним-двумя исключениями предпочитает не давать им каких-либо характеристик.

Остановимся на исключениях.

В письме к Михаилу Михайловичу от 31 октября 1838 г., сообщив о том, что присланное братом стихотворение «Видение матери» «выжало несколько слез из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний», Достоевский продолжает: «...Я не понимаю, в какой странный абрис облек ты душу покойницы. Этот замогильный характер не выполнен. Но зато стихи хороши, хотя в одном месте есть промах».

Эти тонкие филологические соображения могли бы изумить своей надмирной холодностью, если бы не был известен текст: сочинение Михаила Михайловича не отличается большими поэтическими достоинствами. Однако не только поэтому его корреспондент столь сдержан: он говорит о литературе, в силу душевного целомудрия избегая касаться остального...

«Ежели будет у тебя дочка, то назови Марией»,— напишет он брату в 1843 году.

Мария Федоровна была моложе Пушкина на один год и пережила его на один месяц. Его гибель, совпавшая с их семейным несчастьем, тоже воспринималась как личное горе («братья чуть с ума не сходили»).

Смерть матери означала конец семьи: у отца не было ни сил, ни душевных возможностей соединить вместе семерых детей в возрасте от двух до 17-ти лет. Да и собственная его жизнь, по существу, завершилась.

В том же самом письме, где обсуждаются стихи о покойной матери, содержится единственная у Достоевского и хоть сколько-нибудь подробная характеристика Михаила Андреевича (который в это время был еще жив): «Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить.— А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье».

Под «светом» здесь, конечно, разумеется не светское или полусветское общество, которое Михаил Андреевич действительно не знал, а общество вообще: человеческое общежитие, люди, мир — свет. «Папенька» отстал, он не искушен в жизни (если иметь в виду ее сокровенный, лишь избранными постигаемый смысл) — то есть как раз в том, в чем литературно образованные братья мнили себя истинными знатоками. И нотка некоторого превосходства, которое позволяет себе 17-летний сын (за день до написания письма ему стукнуло именно столько), вполне уживается с искренней жалостью по отношению к «бедному отцу».

Из того, что Достоевский любил мать, не обязательно следует, что к отцу он испытывал прямо противоположные чувства: версия, на которой с профессиональным удовлетворением настаивают фрейдисты. Так, проф. И. Нейфельд, указывая на «волкофобию» юного Достоевского («Мужик Марей»!), приходит к такому умозаключению: в деревне «мальчику не приходилось разделять материнскую нежность с другим конкурентом, которого он боялся; это подтверждает наше предположение, что боязливый крик «волк идет!» был, в сущности, страхом перед отцом, который может прийти и нарушить эту идиллию летней жизни» [1]. У молодого Достоевского обнаруживают страстное, хотя и подсознательное желание скорейшей смерти одного из родителей в целях беспрепятственного овладения другим («эдипов комплекс»), а также — тяжкие угрызения совести, когда эта заветная мечта наконец-то осуществилась —

«в части,— как сказано у одного автора,— касавшейся отца».

(С этой точки зрения «Братья Карамазовы» трактуются как акт компенсации — запоздалого искупления легкомысленных детских грез.)

С отцом действительно не было душевной близости. Но отсутствие таковой еще не предполагает наличия уголовных намерений. Тем более рискованно приписывать Достоевскому подобные чувствования после кончины матери: ведь не спешил же он в самом деле — пусть даже бессознательно — остаться круглым сиротой. Не говоря уже о том (следует извиниться за столь интересные доводы), что гипотетическая смерть Михаила Андреевича не слишком улучшала материальное положение сына.

Позднейшие умолчания об отце могут быть связаны с трагическими обстоятельствами его кончины: об этом еще будет сказано ниже.

Для иллюстрации домашних антагонизмов ссылаются на свидетельства Андрея Михайловича — о том, как отец самолично преподавал старшим братьям латынь и как те страшились вспышек его гнева. Но ученический страх перед главой семейства вовсе не обязательно должен перерастать во взрослую непри-

[1] Нейфельд И. Достоевский. Психоаналитический этюд. Под ред. проф. З. Фрейда. Л., 1925, с. 20.

язнь. Тем более что отцовский авторитет держался исключительно на моральных основаниях: детей никогда не пороли и не ставили в угол.

(Запомним: ни в отчем доме, ни в Инженерном училище Достоевский ни разу не вкусил прелестей розги. Что же касается каторги, то об этом тоже речь впереди.)

Наиболее резкие характеристики Михаила Андреевича восходят к дочери Достоевского, Любови Федоровне, которая родилась через сорок лет после кончины своего деда. Будучи женщиной нервной и вообще довольно болезненной, она имела склонность приписывать свои недуги исключительно наследственным факторам: мрачный характер пращура служил ей некоторым оправданием.

В двадцатые годы текущего века племянник Достоевского Андрей Андреевич (сын Андрея Михайловича) сообщал М. Волоцкому: «В неправильной характеристике нашего деда, Михаила Андреевича, Любовь Федоровна, может быть, и не так повинна. Эта неправда про него пошла с нелегкой, в данном случае, руки покойного проф. Ореста Федоровича Миллера. С его слов, в течение многих лет разные исследователи без всяких других оснований увеличивали его недобрую славу, и она росла, как лавина, превратив его в какое-то исчадие человеческого рода» [1].

Однако первый биограф Достоевского О. Ф. Миллер нарочно ничего не придумывал. Его сведения восходят к семейному кругу самого Достоевского. Когда Андрей Андреевич раздражительно замечает о «каких-то преданиях, неизвестно откуда идущих» [2], он упускает из виду, что сами эти предания, если даже и допустить их принадлежность к биографическому фольклору, возросли на семейной почве.

К счастью, существует первоисточник, которому хотелось бы отдать предпочтение: переписка самих родителей.

Вера Степановна Нечаева в своих превосходных работах подробно прокомментировала эту семейную эпистолярию [3]. Соглашаясь с многими из ее оценок, позволим некоторые параллельные отступления.

Какое чувство преобладает в письмах Михаила Андреевича? Это — ощущение враждебности окружающего его пространства. Ощущение, что им хотят пренебречь или его обмануть: от императора Николая Павловича, обошедшего его наградой, до прачки Василисы, подозреваемой в краже белья и присвоении сломанной серебряной ложки. Мало, крепостной человек Григорий обвинен в беззаконном распитии двух бутылок отправленной из Дарового наливки. Тень подозрения падает и на самою Марию Федоровну — на сей раз в преступлении гораздо более капитальном: сокрытии имевшей место супружеской неверности.

Очередная беременность Марии Федоровны (по собственному ее выражению, «седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей»), сопровождаемая изжогой, вызывает у супруга-медика сильные нравственные сомнения, которые он и выразит с максимальной деликатностью: «ты в прежних беременностях никогда оной (то есть изжоги.— **И. В.**) не имела». Конечно, это невинное замечание не вызвало бы столь бурной реакции, если бы предварительно не случилось описанного Андреем Михайловичем эпизода с «истерическим плачем».

Михаил Андреевич не только постоянно угнетен жизненным неблагополучием — безденежьем, неурожаем, плохой погодой, нерадением прислуги и, наконец, расстроенным здоровьем (болезненные припадки, хандра, трясение рук и головные боли), не только постоянно страдает от всех этих напастей, но, кажется, и не очень-то желает выходить из подобных хронических обстоятельств. Он не устает на них жаловаться, но они — его естественная среда, они оправдывают его неистребимую мнительность, хотя, быть может, именно ею нередко и вызываются.

Порою кажется, что сам жалобщик находит в постигающих его бедах известное моральное удовлетворение.

---

[1] Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. М., 1933, с. 52.
[2] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930, с. 6.
[3] См.: Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939; Ранний Достоевский 1821—1849. М., 1979.

Здесь самое время потолковать о наследственности, некоторые делают это с особенным удовольствием. Не будем умножать их число. И не потому, что те или иные черты Михаила Андреевича не отразились на душевной структуре его тоже в высшей степени мнительного и подверженного тяжелым настроениям сына. Но дело в том, что сама эта душевная организация была иной: *там* господствовал иной дух, иные понятия, иная нравственная культура. Конечно, наследственность не исчезла (да и куда ей деваться?). Хотя сын и обладал качествами, как будто не совпадавшими с отцовскими,— такими, как щедрость, широта, исключительная отзывчивость на чужую боль,— несмотря на это, по ряду психических признаков он действительно напоминает отца. Однако отдельные наследственные свойства не оказались механически пересаженными на новую, равнодушно приемлющую их почву: они подверглись очень мощной личностной трансформации.

Было бы рискованно утверждать, что Достоевский сделался жертвой генетического детерминизма: его личность победила «биологию» или по меньшей мере не позволила ей диктовать свои условия.

Но вернемся к Достоевскому-старшему.

Не существует серьезных доказательств, позволяющих винить Михаила Андреевича (во всяком случае, при жизни его жены) в хроническом алкоголизме, болезненной скупости или непомерном сластолюбии, то есть как раз в том, что, по мнению Любови Федоровны, свидетельствует о сходстве ее деда с Федором Павловичем Карамазовым. И без этого сходства он был весьма далек от идеала.

Почитая своим сыновним долгом преследовать неблагоприятные отзывы о родителе, Андрей Михайлович пишет: «Нет, отец наш ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким *букой*. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым» [1].

И опять-таки нет оснований не доверять столь авторитетному свидетельству, хотя свидетель — в данном случае лицо заинтересованное. И снова изображение двоится, одни образы наплывают на другие — то проглянет насупленный лик отца с «мефистофельскими бровями», то его же расплывающееся в радушной («а подчас и веселой») улыбке лицо.

Кстати, о веселье.

В одном из писем к супруге Михаил Андреевич подробнейшим образом описывает, как он тренировал («трессировал») няньку Алену Фроловну: была надежда, что «сорокаведерная бочка» победит в соревнованиях по обжорству. Няньке для возбуждения аппетита пускалась кровь, ей давалась глауберова соль, постное масло пополам с вином и многие другие неслабые средства. Возможно, эта «дикая бурсацкая затея» (как справедливо именует ее позднейший комментатор) имела в глазах Михаила Андреевича важное ученое оправдание.

Кто действительно обладал неистощимым оптимизмом, так это маменька. Свойственная ей «веселость природного характера» нередко (хотя и не всегда) умягчала ипохондрический нрав ее супруга. Письма Марии Федоровны, свободно соединяющие в себе высокий литературный «штиль» и живую пластику разговорной речи (что выгодно контрастирует с вязким семинарским слогом ее корреспондента), являют натуру искреннюю и жизнелюбивую. Ответное письмо мужу относительно его вздорных и неосновательных предположений исполнено оскорбленного чувства. Но при этом оно еще деликатно, оно щадит адресата, оно написано искусным пером.

«Кто прочтет письма маменьки,— замечает Андрей Михайлович,— тот, конечно, скажет, что эта личность была незаурядная... Этак писать и нынешней высокообразованной светской даме не стыдно, а матушка моя была личность, получившая домашнее образование... в одном из скромных патриархальных московских купеческих семейств» [2].

Действительно, послания Марии Федоровны обнаруживают не одну только искренность чувств. Уроки русской сентиментальной прозы не прошли для нее

---

[1] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 93—94.
[2] Там же, с. 94.

даром: «...Наконец мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце». Или: «...Клянусь тебе, друг мой, самим богом, небом и землею, детьми моими и всем моим щастием и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему перед святым алтарем в день нашего брака».

Так, пожалуй, могла бы писать и бедная Лиза.

Через много лет в романе «Идиот» Достоевский в сугубо ироническом плане обыграет некогда избранную им для материнского надгробия надпись — «Покойся, милый прах, до радостного утра». Этой эпитафией ерник и шут Лебедев почтит свою якобы отстреленную в 1812 году и погребенную на Ваганьковском кладбище ногу (по коей он ежегодно совершает церковные панихиды). Подобный поворот отнюдь не свидетельствует о кощунственных наклонностях автора «Идиота». Карамзинская строка понадобилась исключительно для целей литературных. В этом смысле воскрешение старой надгробной надписи есть еще и средство самопародии: усмешка над своим тогдашним жизне- (и смерте-) ощущением.

(На надгробии М. Ф. Достоевской, кроме того, значилось: «Под сим камнем погребено тело Надворной Советницы...» и т. д. Но надворным советником М. А. Достоевский сделался только по получении отставки в 1837 году, то есть уже после смерти супруги. Такое посмертное повышение ее в чине заставляет вспомнить притчу о том, как некто, гуляя по кладбищу, наткнулся на памятник: «Здесь покоится титулярный советник, представленный в коллежские асессоры...» и т. д.).

Но вернемся к переписке. Отдадим должное той эпистолярной свободе, с которой ее участники переходят от «низкой» житейской прозы (когда, скажем, горячо дебатируется вопрос, почему корова «не стельна») к предметам более возвышенного толка — например, к области супружеских чувств [1].

Едва ли можно судить о стилистике семейных отношений Достоевских на основании одних только эпистолярных источников. «Чувствительная» часть писем — как бы очищенная, идеальная модель действительности. Оба корреспондента даже в конфликтной ситуации ни на минуту не забывают о существующей литературной норме. Они блюдут выработанный предыдущим столетием эпистолярный этикет.

Стоит, пожалуй, вспомнить написанные в те же 30-е годы изумительные по своему слогу и духу послания Пушкина к Наталье Николаевне. Конечно, о прямом сравнении не может быть и речи: несоизмеримы масштаб личности, воспитание, уровень культуры. Пушкин сам создает норму. Его письма поражают богатством эпистолярных интонаций — от назидательно-нежных до грубовато-фамильярных. Но главное, что Пушкин абсолютно свободен в проявлении собственной индивидуальности. То есть как раз в том, в чем родители Достоевского чувствуют себя несколько скованными и зависимыми от существующих литературных образцов.

Вместе с тем наложение разнородных стилей придает семейной переписке Достоевских неизъяснимую прелесть. Этот домашний диалог, в котором ревность, любовь, забота, подозрение и обида принуждены украшаться цветами условного красноречия и где обилие мелких и мельчайших подробностей теперь, по прошествии полутора веков, наводит на мысль о некоторой насмешливости бытия,— эта проза истинно поэтична.

Итак, в какой же нравственной атмосфере возрос будущий разрушитель семейного романа?

Трудно отдать безоговорочное предпочтение одной из биографических версий. Сгущение мрачных красок в семейно-исторических экскурсах Любови Фе-

[1] Заметим, что не только для «частного», но и для официального языка эпохи характерно сочетание сугубой откровенности и сентиментальной иносказательности. Так, Мариинская больница без обиняков именуется больницей для бедных, а, скажем, служащие в ней сиделки (рекрутируемые главным образом из Вдовьего дома) получают — согласно штатному расписанию! — элегическое обозначение «сердобольные вдовы».

доровны (рассчитанных к тому же на уже приуготованного к «русским ужасам» западного читателя [1]) вызывает понятный скептицизм. Но, очевидно, и полнокровное перо Андрея Михайловича, как любил выражаться его старший брат, стушевывает отдельные детали.

Что же несомненно?

Несомненно, что мать и отец Достоевского искренне любили друг друга. Несомненно, что они были людьми порядочными. Бесспорно также и то, что интересы семьи составляли для них смысл жизни и что они чрезвычайно серьезно подходили к своим родительским обязанностям — делали все, чтобы дать детям наилучшее, с их точки зрения, воспитание и образование.

Много лет спустя Достоевский писал младшему брату, что их родители были одержимы идеей «стремления в лучшие люди» и следовали ей, «несмотря на все уклонения».

Может быть, именно это стремление он и имел в виду, когда незадолго до смерти высказал тому же корреспонденту следующую рискованную (и как бы рассчитанную на потенциальные возражения) мысль: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!..»

Заметим, однако, что, горячо расхваливая идею, Достоевский ничего не говорит о способах ее осуществления. А глухое упоминание «уклонений» заставляет внимательнее взглянуть на принятую Михаилом Андреевичем систему воспитания.

Всем в жизни обязанный самому себе, многое перенесший, Достоевский-старший не желал, чтобы его детям пришлось пройти сквозь те же мытарства. Покинув родительский кров наперекор отчей воле, он, очевидно, опасался повторения этого «сценария» во втором поколении. Он хотел, чтобы его собственные дети не только безоговорочно признавали его родительский авторитет, но и полагали последний тем краеугольным камнем, на котором зиждется вся иерархия — государство, религия, общество, начальство,— весь мировой порядок. Его сыновья должны были естественно и, главное, безболезненно вписаться в существующие социальные координаты, использовав для этого наработанный еще в детстве капитал.

У Михаила Андреевича не было ни застарелой родовой спеси, ни ранней демократической гордости. Он целиком и полностью принадлежал государству; сама его служба находилась под прямой опекой царского дома [2]. Он жил в эпоху, когда наивысшего своего расцвета достигла система регламентаций: главное было — не нарушать приличия.

Именно таковым нарушением могли выглядеть в его глазах прискорбные события 1825 года и другие отступления от заведенного порядка вещей. Бывший военный лекарь отлично понимал, что залогом жизненного успеха является дисциплина и что уважение к главе семейства есть первая ступень законопослушания. Его сыновья должны были выдержать социальную конкуренцию и выйти в люди. Весь педагогический процесс был подчинен этой великой цели.

У Достоевского имелись основания говорить о «безотрадной обстановке» своего детства. Но не забудем и его слов о высшей идее, которой были одержимы родители. Суровость воспитания позволила не только легче пережить переход из-под родительского крова в закрытое военно-учебное заведение. Именно в семье были заложены те понятия, которые, надо полагать, не остались для него бесполезными: добра и зла, благородства и чести, порядочности и долга. Жесткость требований, предъявляемых к детям, не помешала бурному развитию воображения, а прикосновение к источникам культуры дало первотолчок тому духовному движению, которое уже не могло остановиться никогда.

Может быть, счастье Михаила Андреевича, что он не дожил до того дня, когда его второй сын, взойдя на эшафот, продемонстрирует непредсказуемые эффекты отцовской педагогики: он не перенес бы подобного удара.

[1] Воспоминания Любови Федоровны были написаны в начале двадцатых годов на французском языке. Существующий русский перевод (неполный) сделан с немецкого издания.

[2] После смерти в 1828 году императрицы Марии Федоровны больница перешла в ведение IV Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (учрежденного тогда же — вслед за III-м!) и получила название Мариинской. Больница находилась под покровительством Николая I и его супруги.

Что мог думать сын — об отце?

На процессе Мити Карамазова не чуждый новейших веяний адвокат Фетюкович обращается к заполнившей судебную залу публике со следующими прочувствованными словами: «...пусть сын станет перед отцом своим и осмысленно спросит его самого: «Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя!» — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, то вот и настоящая нормальная семья... В противном случае, если не докажет отец,— конец тотчас же этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим».

Тончайшая авторская ирония пронизывает эту чужую прямую речь.

Ибо отцов не выбирают.

В 1857 году в письме к Врангелю, касаясь его недоразумений с отцом, Достоевский скажет, что «знал в жизни... точно такие же отношения». И добавляет: «Его тоже нужно щадить...»

Последняя фраза звучит как рефрен той, давней: «Мне жаль бедного отца!» Именно к этому слову — жалость (жаление, со-жаление) обращается Достоевский, говоря об отце,— к слову, которое в русском просторечье имеет еще один смысл...

В детстве у него как будто не было оснований посягать на отцовский авторитет. Но в 15—16 лет он мог ощущать некий душевный разлад: внушаемые ему с детства представления колебались под напором «высокого и прекрасного». «Домашние» и «мировые» идеалы вступали в извечное противоборство.

Как уловить момент, когда главные его интересы (или, как сейчас сказали бы,— приоритеты) выделяются из семейного круга? Когда перешел он этот рубеж, когда захватил его собственный личный Sturm und Drang [1]?

Источники хранят на сей счет абсолютное молчание.

В конце жизни он вспоминал, что это началось «еще с 16-ти, может быть, лет», а еще точнее, «когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду». Детство кончилось: он впервые задумался о будущем, о призвании, о том, зачем явился он на этот свет. «...В душе моей был своего рода огонь, в который я и верил, а там, что из этого выйдет, меня не очень заботило...»

Еще совсем недавно мы наблюдали ребенка — живого, отзывчивого на все впечатления бытия, самозабвенно предающегося игре в Робинзона. Теперь в пансионе Чермака «это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом». Он берет под защиту своего младшего товарища (Каченовский моложе Достоевского на пять лет); в нем самом не осталось ничего от былого инфантилизма. Недавнего предводителя «диких», его не занимают ныне шумные игры: он предпочитает более умеренные удовольствия.

Очевидно, именно в эти годы у Достоевского вырабатывается та глубокая внутренняя сосредоточенность и самоуглубленность, которая со стороны могла представляться замкнутостью или даже нелюдимостью.

Смерть матери, гибель Пушкина, близкое уже расставание с домом — все эти события обрушиваются на него в первые месяцы 1837 года. У него вдруг пропадает голос — и нет рядом мужика Марея, который бы смог коснуться его онемелых губ.

(Что означает это изъятие дара речи: не весть ли о том, что служение начинается с поста?)

Он едет в Петербург — поступать в Инженерное училище — в самый разгар захватившей его духовной работы. Ему еще нет 16-ти; он читает Жорж Санд и грезит Италией; он полон надежд и смутных предчувствий.

По дороге он наблюдает сцену: фельдъегерь лупит по шее мужика-возницу. Впечатление глубоко врежется в сердце и отзовется через много лет: пока же он сочиняет «роман из венецианской жизни».

[1] буря и натиск (нем.)

Между тем возок подкатывает к столице — и в белесом тумане уже различим шпиль Петропавловской крепости.

Первые радости

Брюсов календарь. 1709—1715

1821 <...> рождение великого принца <...>.

Отроча рождшися между 14 днем октоврия и 14 ноемврия <...> будет <...> человек скораго тела <...>. широкий велиний лоб. <...> непригож образ чист и горд. <...> есть же он лутчий между братиями своими <...> Болезни инемощь тела его есть <...> стенание главы <...>, смерть его <...> приключится <...> кровлением <...>. вслужбе Божии умрет и погребен будет. (Первобытный Брюсов календарь. Факсимильное издание. Харьков, 1875, с. 10 (1-я пагин.), 9 (2-я пагин.).)

Из Метрических книг Московской духовной консистории за 1821 год

<...> тысяча восемьсот двадцать первого года, октября 30-го дня, родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского,— сын Федор. (В кн.: Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М., 1935, с. 23.)

Достоевский

Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. (Дневник писателя, 1873.)

Из подготовительных материалов к роману «Подросток». 22 марта 1875

<...> мечты детства (читал Карамзина, образы Сергия, Тихона [1]). (ПСС, XVI, с. 329.)

А. Г. Достоевская

<...> воспоминание от 2-х-летнего возраста сохранилось у Ф<едора> М<ихайловича> о том, как мать причащала его в их деревенской церкви, и голубок пролетел через церковь из одного окна в другое. (В кн.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. М.-Пг., 1922, с. 66.)

О. Ф. Миллер

Едва ли не самым ранним воспоминанием Ф. М. было, как однажды няня привела его, лет около трех, при гостях в гостиную, заставила стать на колени перед образами и, как это всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву: «Все упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим» Гостям это очень понравилось, и они говорили, лаская его: «ах, какой умный мальчик!» Воспоминание это врезалось в его память, молитву же ту он твердил всю жизнь и ею же напутствовал ко сну своих собственных детей. (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Спб., 1883, с. 5—6.)

Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1876

Я бы удивился, если б в Евангелии была пропущена встреча Христа с детьми и благословение детей. (ПСС, XXII, с. 156.)

А. М. Достоевский

<...> отец наш, уже семейный человек, имевший в то время 4—5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую, собственно, из двух чистых комнат, кроме передней и кухни. При входе из холодных сеней, как обыкновенно бывает, помещалась передняя в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней отделялось помощью дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал — довольно поместительная комната о двух окнах на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира! (Воспоминания, с. 22.)

Из росписи жалованья штата Мариинской больницы

<С 1 января 1815 г.>

<...> лекарей 600 <руб.> <...>

<С 12 января 1833 г.>

Лекарей старших 1200 <руб.>

(Московская Мариинская больница для бедных. М., 1906, с. 131—132.)

[1] Сергия Радонежского и Тихона Задонского.— И. В.

А. М. Достоевский

Обмеблировка была тоже очень простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами), хотя в карты у нас в доме никогда не игрывали. Помню, что такое беззаконие у нас случилось на моей памяти раза два, в дни именин моего отца. Далее помещался обеденный стол на средине залы и дюжины полторы стульев березового дерева под светлою политурою и с мягкими подушками из зеленого сафьяна <...>. В гостиной помещался диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер и книжный шкаф. В спальне же размещались кровати родителей, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки. (Воспоминания, с. 23.)

А. М. Достоевский (в передаче О. Ф. Миллера)

В праздничные дни, в особенности в Святки, в той же гостиной иногда играли, при участии родителей, в карты — в короли, причем брат Федор, по юркости своего характера, всегда уловчался сделать какой-нибудь обман, в чем и бывал не раз уличаем. (Биография, с. 9.)

Обстоятельства места

Из послужного списка М. А. Достоевского. 1832

По высочайшему Ее Императорского Величества в Бозе почивающей Императрицы Марии Феодоровны соизволению определен Московского Воспитательного дома в больницу для бедных (что ныне Мариинская) на вакансию лекаря, при отделении приходящих больных женского пола .... 1821 г. марта 24

(В семье и усадьбе, с. 126.)

Докладная записка вдовствующей императрицы Марии Федоровны Александру I. 31 января 1803

По истине и сущей справедливости первыми предметами благотворения Воспитательного Дома, после несчастнорожденных младенцев, должны быть те, в которых соединено убожество с изнеможением и невинностью. Таковые суть: страждущие болезнями и ранами, день от дня более вкореняющимися от единого недостатка во врачебных способах, или овдовевшие, с многочисленным семейством и без достаточного при старости своей пропитания, остальные свои дни в горести, слезах и забвении проводящие. (Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. М., 1880, с. 3.)

<Аноним>

Если ж когда-либо найдется между нами тот жестокий, неблагодарный, который осмелится забыть, чем была для Россиян МАРИЯ: то <...> беспомощные страдальцы, изнуренные тягостнейшими болезнями, от коих не надеялись избавления— в благотворной деснице Ея обретшие покой, отраду и исцеление <...> благодарственными кликами своими заглушат дерзновеннаго <...>. (Жизнь в Бозе почиющей Государыни Императрицы Марии Феодоровны. М., 1829, ч. 1, с. 3.)

Из проекта учреждения больницы для бедных. 1803

Всякого состояния, пола и возраста и всякой нации бедный и неимущий, будучи болен, может явиться или кем привезен быть в оную больницу и в оную принят будет. (Ист. записка, с. 155.)

<Аноним>

В бытность свою в древней Русской Столице, сама общая Матерь всех сирот и вдов, Императрица МАРИЯ ФЕОДОРОВНА неоднократно посещала сию больницу и присутствием Своим у одра больных приносила им отраду и новое существование. (Жизнь Марии Феодоровны, ч. 2, с. 43.)

Посещения <Мариинской> больницы Высочайшими Особами

В <...> 1826 <...> Императрица Мария Феодоровна.
<...> Император Николай Павлович.

(Московская Мариинская больница для бедных, с. 95.)

В. А. Жуковский. У гроба Государыни Императрицы Марии Феодоровны в ночь накануне Ее погребения. 12 ноября 1828

Благодарим! Благодарим
Тебя за жизнь Твою меж нами!
За трон Твой, Царскими делами
И сердцем благостным Твоим
Украшенный, превознесенный! <...>
За благодать, с какою Ты
Спешила в душный мрак больницы,
В приют страдающей вдовицы
И к колыбели сироты!..

(Жизнь Марии Феодоровны, ч. 2, с. 7.)

Из истории больницы

В память Августейшей Основательницы (указом от 28-го ноября <1828 г.>) больницам для бедных в обеих столицах повелено присвоить название «Мариинских», вследствие чего на фронтоне московской больницы была сделана итальян-

цем Кампиони новая надпись из медных вызолоченных букв, стоившая 400 руб. (Московская Мариинская больница для бедных, с. 37.)

Труды и дни

А. М. Достоевский

Вставали утром рано, часов в шесть. В восьмом часу отец выходил в больницу, или в Палату, как у нас говорилось. В это время шла уборка комнат, топка печей по зимам и проч. В девять часов утра отец, возвратившись из больницы, ехал сейчас же в объезд своих довольно многочисленных городских пациентов, или, как у нас говорилось, «на практику». В его отсутствие мы, дети, занимались уроками. В более же позднее время два старшие брата бывали в пансионе. Возвращался отец часов около 12-ти, а в первом часу дня мы всегда обедали. <...>

В четыре часа дня пили вечерний чай, после которого отец вторично шел в Палату к больным.— Вечера проводились в гостиной, освещенной двумя сальными свечами. Стеариновых свечей тогда еще не было и в помине; восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их, а у кого они и были, то освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и других гарных масел тогда не было еще и в помине. <...> В 9 часов вечера, не раньше — не позже, накрывался обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образами, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну.— Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. (Воспоминания, с. 45—47.)

В. М. Каченовский

<...> мы, дети, спешили в тенистый сад Больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих. Как теперь помню в числе их двух белокурых мальчиков; один из них был немного старше меня, другой — лет на пять. Для игры они выбирали себе более подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня, ребенка. Эти дети были Федор и Михаил Достоевские... (Моск. ведомости, 1881, 31 января.)

О. Ф. Миллер

Если <...> никто не ходил к ним из сверстников, то это, вероятно, происходило от строгой разборчивости и мнительности родителей, особенно отца, в таком деле, как выбор приятелей. Сам Ф. М. рассказывал, что он постоянно стремился иметь их, но это ему не давалось вследствие крайней его обидчивости. (Биография, с. 25.)

Л. Ф. Достоевская

Позже, когда мой отец приезжал из Петербурга в Москву, он виделся только с родней. У него там не было ни одного друга детства, ни одного старого отцовского приятеля, которых он мог бы навестить. (Dostoïewsky A. Vie de Dostoïewsky par sa fille. P., 1926, p. 29).

А. М. Достоевский

В больнице, кроме нас, было много жильцов, т. е. докторов и прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не было <...>. А потому мы поневоле должны были довольствоваться только играми между собою, которые и были очень однообразны. (Воспоминания, с. 49—50.)

А. М. Достоевский (в передаче О. Ф. Миллера)

В больничном саду прогуливались также и больные, или в суконных верблюжьего цвета халатах, или в летних тиковых, смотря по погоде, но всегда в белых как снег колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или туфлях без задков. Брат Федор очень любил, как-нибудь украдкою, вступать в разговоры с этими больными, в особенности ежели попадались мальчики; но это строго преследовалось и отец был весьма недоволен, ежели до него доходили об этом слухи. (Биография, с. 12.)

А. И. Савельев

Сострадание к бедным и беззащитным людям у Ф<едора> М<ихайловича> могло в нем родиться с летами очень рано, по крайней мере, в детстве, когда он жил в доме своего отца, в Москве, который был доктором в больнице для бедных, при церкви Петра и Павла. Там ежедневно Федор Михайлович мог видеть перед окнами отца, во дворе и на лестнице бедных и нищих и голытьбу, которые сбирались к больнице, сидели и лежали, ожидая помощи. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 16.)

<Аноним>

По уединенному своему местоположению, она <Мариинская больница> со всех сторон окружена чистым воздухом. При ней обширный и прекрасный сад: прогуливаясь в нем, выздоравливающие укрепляют силы свои и наслаждаются видом пленительной зелени и зрелищем ясного неба. (Жизнь Марии Феодоровны, ч. 2, с. 42.)

«Если б исчезла земля...» (Круг чтения)

О. Ф. Миллер

Федор Михайлович вспоминал также, что держали их строго и рано начинали учить. Его уже четырнадцатилетним сажали за книжку и твердили: «учись!», а на воздухе было так тепло, хорошо, так и манило в большой и тенистый больничный сад! Зато когда отец уезжал на практику, мать отпускала детей на волю. (Биография, с. 6.)

Из записной книжки А. Г. Достоевской

Для Мих<аила> и Федора Мих<айловичей> была темная комната, учились они в зале, где и сидели, уткнувши носы в свои книги. Но только лишь отец уезжал на практику, то бросали книги и шли к матери, которая всегда сидела в гостиной, и там все садились за круглый стол, дети читали что-нибудь вслух, а мать работала. (Лит. газета, 1986, 16 апреля.)

Л. Ф. Достоевская

Моя бабушка Мария обнаруживала живой интерес к чтению ее детей. Она была кроткой, красивой, преданной своему мужу женщиной, всецело посвятившей себя семье. Она была слабого здоровья — многочисленные роды совершенно истощили ее. (Достоевский в изображении дочери, с. 14.)

А. М. Достоевский

Первою книгою для чтения была у всех нас одна. Это Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке <...>. Она называлась собственно: «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета». При ней было несколько довольно плохих литографий: Сотворения мира, Пребывания Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережет его как святыню. (Воспоминания, с. 63.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Если б когда исчезла земля, конечно Библия. Все характеры. Читать детям. (Лит. наследство, т. 83, с. 393.)

А. М. Достоевский

В это время к нам ходили на дом два учителя. Первый — это дьякон, преподававший закон божий. <...> К его приходу в зале всегда раскладывали ломберный стол, и мы, четверо детей, помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. <...> Он имел отличный дар слова <...>. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же приступит к рассказам — о потопе, о приключениях Иосифа. О рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что, бывало, и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. (Воспоминания, с. 64.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Библия принадлежит всем, атеистам и верующим, равно. Это книга человечества. Если когда-нибудь исчезнет род человеческий... (Лит. наследство, т. 83, с. 412.)

Достоевский — А. Г. Достоевской. 10/22 июня 1875. Эмс

Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача <...>. Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем! (ПСС, XXIX, II, с. 43.)

«Мое первое личное оскорбление...»

Достоевский

Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием) проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа <...>. (Дневник писателя, 1876, январь.)

З. А. Трубецкая

Мой дядя Владимир Владимирович <Философов> рассказывал нам следующий эпизод, очевидцем которого он был сам.

На этот раз гостей у Анны Павловны <Философовой> было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе. Горел камин, и свечи люстр освещали красные отливы платьев и камней. Началась беседа. Достоевский как всегда забрался в угол. Я, рассказывал дядя, по молодости лет подумывал, как бы удрать незаметно... Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? Одни сказали: отцеубийство, другие — убийство из-за корысти, третьи — измена любимого человека... Тогда Анна Павловна обратилась к Достоевскому, который молча, хмурый, сидел в углу. Услышав обращенный к нему вопрос, Достоевский помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов, и он заговорил. Я, рассказывает дядя, остался, как прикованный, стоя у двери в кабинет отца, и не шелохнулся в течение всего рассказа Достоевского.

Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!». И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. (Рус. литература, 1973, № 3, с. 117.)

А. Г. Достоевская

Феодор Михайлович чувствовал себя истинно несчастным, когда вечером в праздники встречал на улице много пьяных. Его тяжелое настроение не проходило весь вечер. (Семинарий, с. 63.)

З. А. Трубецкая

Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание его преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах»... (Рус. литература, 1973, № 3, с. 117.)

Достоевский. Бесы. Глава «У Тихона»

<Тихон:>

— <...> более великого и более страшного преступления, чем поступок ваш с отроковицей, разумеется, нет и не может быть. (ПСС, XI, с. 25.)

З. А. Трубецкая

Этот рассказ я неоднократно слышала от своего дяди и помню, как он был страшно возмущен, когда прочел печально известное письмо Страхова к Л. Толстому, в котором Страхов приписал преступление Ставрогина самому Достоевскому. Дядя снова вспомнил рассказ Достоевского в салоне Анны Павловны и сказал, что это чудовищная клевета, что этого не могло быть даже и в мыслях Достоевского, ибо мысль еще грешнее действия! (Рус. литература, 1973, № 3, с. 117.)

Достоевский. Бесы. Глава «У Тихона»

— Кстати, Христос ведь не простит,— спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии,— ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих» — помните? По Евангелию, больше преступления нет и не может <быть>. (ПСС, XI, с. 28.)

С. В. Ковалевская

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный <...>. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды он просыпается поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. <...>

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. <...>

Начинает ему казаться, что он должен что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами он изнасиловал десятилетнюю девочку.

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил:

— Федор Михайлович! Помилосердствуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом. (Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 76—77.)

Достоевский. Бесы. Глава «У Тихона». <Исповедь Ставрогина>

Полагаю, что всё случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. (ПСС, XI, с. 16.)

А. С. Суворин

Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. (Новое время, 1881, 1 февраля.)

С. Д. Яновский — А. Г. Достоевской. Не ранее 1881

Федора Михайловича именно в детстве постигло то мрачное и тяжелое, что никогда не проходит безнаказанно и в летах зрелого возраста и что кладет в че-

ловеке складку того характера, которая ведет к нервным болезням, а следовательно, и к падучей, и к той угрюмости, скрытности и подозрительности, на которую обыкновенно указывают как на борьбу с нуждой, хотя таковой, по крайней мере, в ужасающей степени и нет. (Гроссман Л. П. Достоевский на жизненном пути, вып. 1. М., 1928, с. 25.)

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию». 1866

Бульвар. Девочка.

Мое первое личное оскорбление, лошадь, фельдъегерь.

Изнасилованное дитя. (ПСС, VII, с. 138.)

Федина роща

Из Жалованной грамоты Екатерины II на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства. 21 апреля 1787

26. Благородным подтверждается право покупать деревни. (Рус. архив, 1885, № 5, с. 160.)

А. М. Достоевский

Название деревеньки, которую приобрели наши родители, было сельцо Даровое. (Воспоминание, с. 53.)

А. Дроздов. Усадьба Достоевского

<...> на девятой версте езды, в серебряной шапке тополей <...> откроется вам смиренная усадебка, островок памяти о Достоевском, среди моря русских просторов.

Деревенька крохотная — двадцать дворов, двадцать соломенных крыш, забурелых от солнца и ливней. (Известия, 1924, 4 ноября.)

А. М. Достоевский

Местность в нашей деревне была очень приятная и живописная. Маленький плетневый, связанный глиною на манер южных построек, флигелек для нашего приезда состоял из трех небольших комнаток и был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к березовому леску, очень густому и с довольно мрачною и дикою местностью, изрытою оврагами. Лесок этот назывался «Брыково». <...> Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединою рощею. (Воспоминания, с. 54—55.)

А. Дроздов. Усадьба Достоевского

Но мало что сберег этот уголок: наследниками писателя уничтожена «Федина роща», свидетельница его детских игр; погиб мазанковый домик <...>. (Известия, 1924, 4 ноября.)

В. С. Нечаева. Поездка в Даровое

<...> только три вещи сохранились от того времени: диван, овальный стол перед ним и темный почти черный книжный шкаф с стеклянной дверцей. (Новый мир, 1926, № 3, с. 130.)

Достоевский

И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. (Дневник писателя, 1876, февраль.)

Из записной книжки А. Г. Достоевской

Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал: есть ли лес. На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы и небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения. <...>

Не любил дуба, а любил лиственный лес, не расчищенный, а скорее запущенный, разросшийся. (Жизнь и труды, с. 318.)

А. М. Достоевский (в передаче О. Ф. Миллера)

Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые всегда охотно с ним говорили; но верхом удовольствия его было исполнить какое-либо поручение, или сделать одолжение, и быть чем-нибудь полезным. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать вместе с маленьким ребенком в люльке, пролила нечаянно жбанчик воды, и бедного ребенка нечем было напоить. Брат сейчас же взял жбанчик, сбегал в деревню (версты $1^1/_2$) за водою и принес к радости матери полный жбан воды. Он сам знал, что его любили. (Биография, с. 15.)

Достоевский

<...> хочу сделать, пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтораста верст в сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества,— деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц. Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но всё никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями. (Дневник писателя, 1877, июль — август.)

А. Г. Достоевская

<...> в свой приезд муж мой посетил самые различные места в парке и окрестностях, дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком (версты две от усадьбы) в любимую им в детстве рощу «Чермашню», именем которой он потом назвал рощу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Федор Михайлович и в избы мужиков, из которых многих он помнил. Старики и старухи и сверстники, помнившие его с детства, радостно его приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем. (Воспоминания. М., 1971, с. 313.)

В. С. Нечаева. Поездка в Даровое

Федора Михайловича в деревне не помнят. Его единственный приезд в Даровое, после проведенного там детства, в 1877 году, в памяти крестьян не сохранился <...>. (Новый мир, 1926, № 3, с. 131.)

«Волк бежит!»

Достоевский

<...> мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду <...>. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. <...> Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. <...>

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»...— пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть!— бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо, боясь и тревожась за меня.

— Ишь, ведь испужался, ай-ай! — качал он головой.— Полно, родный. Ишь, малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись.— Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай,— улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой.— Господи, да что ж это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет, и что мне крик: «Волк бежит» — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюсинации прошли.) (Дневник писателя, 1875, февраль.)

А. М. Достоевский

Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в которой пробивалась уже седина. (Воспоминания, с. 58—59.)

Достоевский

Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. (Дневник писателя, 1876, февраль.)

А. М. Достоевский

При воспоминании о Марее мне всегда припоминается одно происшествие, явно рисующее, до какой степени детски-наивны были тогда крестьяне в нашей местности. Они, не стесняясь, называли вещи своими названиями, хотя таковые всеми другими почитаются неприличными и невежливыми. Раз как-то на ярмарке в Зарайске <...> маменьке очень понравилась одна корова своею красивостью, но, к несчастью, у нее был короткий хвост; долго маменька смотрела на нее, Марей же не обращал на нее никакого внимания, верно зная, что она негодная. На выраженное желание маменьки купить эту корову Марей ответил: «Что вы, матушка, Марья Федоровна, какая это корова... она для нас не подойдет! Что это за корова, ей и мух от... отогнать нечем!». (Воспоминания, с. 59.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Марей. Он любит свою кобыленку и зовет ее кормилицей. Если же есть в

нем минуты нетерпения и прорывается в нем татарин и начнет он хлестать свою завязшую в грязи с возом кормилицу кнутом по глазам, то <...> тут: воспитание, привычки, воспоминания, зелено вино <...>. (Лит. наследство, т. 83, с. 416.)

Достоевский. Преступление и наказание

<...> маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка.

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию»

Воспоминания мельком из того, что он видел в детстве: лошадь, которую били в детстве, теленок, которого зарезали <...>. (ПСС, VII, с. 77.)

Достоевский

Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. (Дневник писателя, 1877, июль — август.)

П. П. Семенов-Тян-Шанский

<...> всего менее я могу согласиться с мнением биографов, что Ф. М. Достоевский был «истерически нервным сыном города». <...>

Стоит вспомнить показания Андрея Михайловича Достоевского о детстве его брата, слышанное нами сознание самого Ф. М. Достоевского о том, что деревня оставила на всю его жизнь неизгладимые впечатления, и его собственные рассказы о крестьянине Марее и страстные сообщения на вечерах Петрашевского о том, что делают помещики со своими крестьянами, его идеалистическое отношение к освобождению крестьян с землею и, наконец, его глубокую веру в русский народ, разумея под таковым сельское население — крестьян, чтобы убедиться в том, что Ф. М. Достоевский был сыном деревни, а не города. (Детство и юность. Пг., 1917, с. 202.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

И как этот мужик Марей трепал меня по щеке и гладил по головке. Я это забыл, т. е. не забыл, а только в каторге припомнил.

Эти воспоминания дали мне возможность пережить в каторге. (Лит. наследство, т. 83, с. 401).

Старосветские помещики

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 9 июля 1833. Москва

Здесь, в Москве, льют беспрестанные дожди; ежели и у вас такие же, то беда да и только, ваза[1] пропадет, сено у тебя в Даровой хотя и скошено, но наверное говорю, что сгниет, а все оттого, что меня не послушались и не сложили в ригу. По приезде нашел, что нанятая моя услуга расстроилась, прачка без меня взявши у няньки денег, пропадала целую неделю, а кухарка на другой же день сказалась больною, все время лежит и просит, чтобы ее отпустить; беда мне да и только <...>. Письма твоего ожидаю с нетерпением. <...> Целую тебя до засосу. Детей наших за меня поцелуй, скажи от меня старшим, чтобы учились и не огорчали тебя; посылаю вам всем, милые моему сердцу, любовь мою и благословение. (В семье и усадьбе, с. 76—78.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 6 августа 1833. Москва

За вареньице и наливочку благодарю тебя, несравненная моя, медок с чайком кушай, друг мой, и поблагодари за меня старосту. Прощай, душа моя, голубице моя, радость моя, жизненочек мой, целую тебя до упаду. Детей за меня поцелуй. Кажется, писать нечего, исполни только то, что в прошедших письмах было писано. Прощай, единственный друг мой, и помни навсегда, что я всегда есмь твой до гроба

М. Достоевский
(В семье и усадьбе, с. 80—81)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 23 августа 1833. Москва

Благодарю тебя, мой дружочек, за изготовленной тобою для меня гостинец, я прочее все получил сполна, выключая двух бутылочек наливки, которые, по словам Григория, разбились; ты пишешь, что незасмоленные с сургучем на пробках в двух бутылках, а он мне доставил пять, из коих на троих есть сургуч по краям, а две просто завязаны; то я, друг мой, сомневаюсь, сами ли оне разбились или же их сперва опорожнили, а после разбили, и толку не мог добиться. И тебе взамен сего посылаю полфунтика чайку и маленькую головку сахарцу, да еще фунтов 10 песочку сахарного и еще Верочке башмаченки, поцелуй ее за меня и скажи, что башмачки папа ей посылает <...>. Я отчасти покоен нащет Чермошенского скотника, а Харлашка, слышу, бездельник ленив. Надобно за ним смотреть строже, а ежели нужно будет, то и посечь. <...> Прощай, дружочек мой, ангел мой, жизнь моя, сокровище мое, родная моя. Препоручаю тебя господу богу, а сам останусь весь живьем твой

М. Достоевский

Приписка на полях.

Любезнейшая Маминька!

Мы уже приехали к папиньке, любезнейшая маминька, в добром здоровьи. Папинька и Николинька также находятся в добром здоровьи. Дай бог, чтобы и вы были здоровы. Приезжайте к нам, любезнейшая маминька, остальной хлеб, я думаю, не долго убрать и гречиху, я думаю, вы уже по немногу убираете. Прощайте, любезная маминька, с почтением целую ваши ручки и пребуду ваш покорный сын

Федор Достоевский
(В семье и усадьбе, с. 81—83.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 13 мая 1835. Москва

Очень рад, милый друг мой, что ты прислала Дарию и с оною гостинца, яичек и маслица. Благодарю тебя, дражайшая, за твою обо мне печность. Сорочки три готовых и две не шитых получил. (В семье и усадьбе, с. 93.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 23 мая 1835. Москва

Еще тебе скажу, что ты напрасно зделала, что прислала нешитые рубашки: они останутся нешитыми до твоего приезда, все отговариваются недосугом. (В семье и усадьбе, с. 98).

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 29 мая 1835. Даровое

Очень рада друг мой что в доме у тебя стало потише; не заботься голубчик мой о недошитых сорочках они дошьются и после <...>. (В семье и усадьбе, с. 103).

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 23 мая 1835. Москва

Новостей у нас нет никаких, император уехал. Он у нас был чрезвычайно доволен, императрица также[1], Рихтеру 2-й степени Станислава со звездою, а нам, разумеется, ничего, оттого я тебе и не писал ничего, в протчем, это так всегда водилось и будет водиться, овцы пасутся, а пастух доит молоко, стрижет шерсть и получает барыш. (В семье и усадьбе, с. 98.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 16 мая 1835. Москва.

Во-первых, скажу тебе, что у нас в доме все покуда спокойно, хотя Василиса в некоторых случаях оказалась подозрительною, но я смотрю теперь за нею в оба глаза. <...>

Напиши, дружочек, сколько у тебя в чулане полштофов и бутылок с наливкою. (В семье и усадьбе, с. 94—95.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 19 мая 1835. Москва

Приписка на полях. Я не хотел огорчать неисправностию моей прачки, но сегодня отпросилась со двора и на силу пришла в 11-ть часов и то слышу пьяна, и на руку не чиста, ничего нельзя поверить, ибо во многих случаях ежели не уличена, то в большей части очень подозрительна. Напиши — не осталось ли твоих платьев, манишек, чепчиков или чего сему подобного равно что у нас в чулане вспомни и напиши подробно, ибо я боюсь, чтоб она не обокрала. (В семье и усадьбе, с. 96.)

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 24 мая 1835. Даровое

Василиска наша со всех сторон показала себя скверною женщиною. Ах друг мой как ето неприятно и сколько ты терпишь; слышу даже что она белится и румянится друг мой прошу тебя запрети ей ето с строгостию она и тебя страмит етим; а лучше всего подумай, как бы тебе ее сбыть с рук. (В семье и усадьбе, с. 99—100.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 30 мая 1835. Москва

Нащет Василиски скажу тебе, что получивши реэстр я обрадовался и сей час хотел было ее расчесть и пашпорт в руки, но прочитавши его стал в тупик; ты пишешь, что у меня в расходе ложек столовых 6 а у меня налице только 5. Пишешь еще, что в шифоньерке осталась сломанная ложка, а ее я не отыскал, то прошу тебя подумай хорошо неошиблась ли ты, ибо скажу тебе, что у меня с самого твоего отъезда было только 5 ложек, нащет же сломанной припомни хорошенько, не положила ли ты ее где небудь в другом месте, ибо ключи беспрестанно со мною <...>. (В семье и усадьбе, с. 105.)

---

[1] «Ваза — сорт озимой ржи, который был распространен в средней полосе России». (Прим. В. С. Нечаевой).

[1] Ни в одном известном источнике не зафиксировано посещение Мариинской больницы членами царской семьи в 1835 году. Может быть, говоря «у нас», Михаил Андреевич имеет в виду — «в Москве»? — И. В.

Достоевский. Из подготовительных материалов к «Житию великого грешника». 1870

Анна и Василиса бежали. Продали Василису. (ПСС, IX, с. 127—128.)

А. М. Достоевский

Кухарка Анна. <...> была крепостною с давних пор, то есть еще до покупки деревни <...>. Прачка Василиса. <...> была крепостная, но впоследствии скрылась, или проще говоря — сбежала. Этот побег был чувствителен для родителей моих не столько в материальном отношении, сколько в нравственном, потому что бросал тень на худое житье у нас крепостным людям, между тем как жизнь у нас для них была очень хороша. (Воспоминания, с. 29.)

Vox populi [1]

Даниил Макаров и Андрей Саввушкин, крестьяне с. Дарового. Записано В. С. Нечаевой 8 июля 1925

Барин был строгий, неладный господин, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил, бил ее. Крестьян порол ни за что. Бывало гуляет по саду, а там за дорогой мужик пашет, не видит барина, и шапку не снимет. А барин велит позвать да всыпать ему штук 20—30, а потом посылает,— «иди, работай». (Новый мир, 1926, № 3, с. 132.)

М. М. Достоевский— сестре Варваре. 1 сентября 1839. Ревель

Музыка была любимым наслаждением покойного папеньки! (Хроника рода Достоевского, с. 50.)

Даровская крестьянка Авдотья Спиридоновна. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

<...> старый-то Махал Андреевич хочет мужиков наших наказать, а она, светушка <Мария Федоровна>, плачет-убивается, Христом-богом молит — не трожь. Он ее, Махал Андреевич, в гандерепке за то запирал — не мешай моей воле! Вот ведь барыня какая была сердешная <...>, за то ей господь сынка такого послал — Федора. Сказывают,— в славе он гремит. (Красная Нива, 1926, № 16, с. 18.)

Данил Макаров. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

Говорили — будто сын барина, Федор-то Михайлович, большим человеком стал. Не верю я, как хотите, этому. Не может, гражданин, быть, чтоб у этакого отца такой сын был. Не верю. (Красная Нива, 1926, № 16, с. 18.)

Pater familias

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 23 мая 1835. Москва

Пишешь между протчим, что в Чермашне корова отелилась неблагополучно, а не упоминаешь от чего это, ежели виновата скотница, то ты очень худо поступила, что только слегка побранила и не наказала для пример протчим. (В семье и усадьбе, с. 101.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 19 мая 1835. Москва

Скажу тебе еще за новость, что корова наша не стельна и в пятницу потребовала быка, ушла в стадо в Мариину рощу, то я и приказал ее спровадить к быку, после обеда сам пошел туда и сам был очивидцом, что она настоящим образом принимала. Теперь суди, когда она будет с теленком, за то бык тирольский отличнейший, только боюсь, чтоб она не осталась ялова, ибо и с прежним быком она по-видимому обходилась, как следует, и теперь оказалось попустому. Теперь, друг мой, не знаю, когда будут детские экзамены, и ничего тебе решительного не могу сказать, когда я могу быть у тебя. (В семье и усадьбе, с. 96.)

Федор и Андрей Достоевские — М. Ф. Достоевской. 26 мая 1835. Москва

Любезнейшая Маминька!

Очень радуюсь, что вы по всеблагому промыслу создателя находитесь в хорошем здоровии. Сии два дня, т. е. Троицын и Духов, мы проводим дома у папиньки. <...> Экзамен наш будет по прошлогоднему в конце Июня и по сему мы лишаемся надежды вскоре вас увидеть. <...> Прощайте, любезная маминька, более писать нечего; остаюсь покорный сын ваш

Федор Достоевский и Андрей Достоевский
(В семье и усадьбе, с. 102.)

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 29 мая 1835. Даровое

<...> более у нас новостей никаких нет, выключая того, что мне бог дал крестьянина и крестьянку у Никиты родился сын Егор, а у Федота дочь Лукерья. Свинушка опоросила к твоему приезду пятерых поросяточек; утки выводятся понемножку, а гусям вовсе воду нет в ету переменною погоду беспрестанно гусенят убывает так жаль что мочи нет <...>. (В семье и усадьбе, с. 103.)

[1] Глас народный (лат.).

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 24 мая 1835. Даровое

Удивительно для меня что бы ето значило что коровка наша нестельна и жаль ежели она останется яловою, у нас и здесь есть такая сколько раз видели ее в етом, а все не стельна. Посмотрим что будет от тирольского. (В семье и усадьбе, с. 99.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 30 мая 1835. Москва

Корова наша кажется останется яловою, представь себе во вторник опять водили куда следует и она гуляла как следует, но по моему замечанию все по пустому. Я еще заплатил 5. р. асс. ибо не хотели пускать Тирольского. (В семье и усадьбе, с. 104—105.)

А. М. Достоевский

<...> родители разговаривали и делали предположения на будущее лето о поездке в деревню, причем, вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, а сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал свое неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач. (Воспоминания, с. 72.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 23 мая 1835. Москва

Пишешь ты, друг мой, что тебя мучает изжога и что избавляешься от оной пряничками; бог знает откуда она у тебя, ты в прежних беременностях никогда оной не имела <...>. (В семье и усадьбе, с. 97.)

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 31 мая 1835. Даровое

В прошедшем письме твоем ты упрекнул меня изжогою, говоря, что в прежних беременностях я ее никогда не имела. Друг мой, соображая все сие, думаю, не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим богом, небом и землею, детьми моими и всем моим щастием и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред святым алтарем в день нашего брака. Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего; довольно ли сей клятвы для тебя, которой я никогда еще не повторяла тебе, во-первых потому, что стыдилась себя унизить клятвою в верности моей на шестнадцатом году нашего союза; во-вторых, что ты по предубеждению своему мало расположен был выслушать, а не только верить клятвам моим; теперь же клянусь тебе, щадя твое драгоценное спокойствие; к тому же и клятва моя, я полагаю, более имеет вероятности, судя по моему положению: ибо которая женщина в беременности своей дерзнет поклясться богом, збираясь ежечасно предстать пред страшный и справедливый суд его <...>. (В семье и усадьбе, с. 106.)

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 8—10 июня 1835. Даровое

<...> друг мой, я может быть раз с 50 перечитала твое письмо, думала и передумывала, что бы такая за отчаянная грусть терзала тебя, которой ты в жизни своей не имел; наконец мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце. <...> Я не сомневаюсь в любви твоей и чту твои чувствования, боготворю ангельские твои правила, но сама, хотя и люблю еще более, люблю без всяких сомнений, с чистою, святою доверенностию, и любви моей не видят не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким под<озрением?> тогда как я дышу моею любовию. Между тем, время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу; веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на провидение, то конец судьбы моей самый был бы плачевной. (В семье и усадьбе, с. 109.)

Михаил, Федор и Андрей Достоевские — М. Ф. Достоевской, 2 июня 1835. Москва

Любезная Маминька!

Душевно радуемся, видя из письма Вашего, что Вы слава богу здоровы. Что же касается до экзамена то он будет на верно 24 Июня, а мы теперь к оному приготавливаемся. Погода у нас вчера и нынче прекрасная; и теперь збираемся с Папинькой гулять. Прощайте Дражайшая Маминька пожелав Вам доброго здравия и расцеловав Ваши ручки честь имеем пребыть дети ваши

Михаил Федор Андрей Достоевские
(В семье и усадьбе, с. 108.)

М. Ф. Достоевская — М. А. Достоевскому. 29 мая 1835. Даровое

Дети нас любят и мы щастливы ими чего же нам больше богатства да составит ли оно наше щастие! Друг мой, умоляю тебя, отбрось все печальные думы бог милосерд не оставит нас своею милостию; поверь мне что когда ты по веселей то и я весела, когда ты грустен то и я плачу тебе моею грустию; полно дружочек мой не тоскуй. (В семье и усадьбе, с. 103.)

А. А. Достоевский — М. В. Волоцкому. 3 августа 1924

Это <М. Ф. Достоевская> была женщина в высшей степени добрая, рели-

гиозная, в то же время хозяйственно-практическая. Не лишена музыкальных способностей (гитара). (Достоевский на жизненном пути. I, с. 20.)

М. А. Достоевский — М. Ф. Достоевской. 23 июня 1835. Москва

Письма на прошедшей почте я к тебе не писал, ибо по прежним двум твоим письмам ты хотела сама приехать, и я тебя все дни ожидал; но последнее письмо твое разрешило загадку; теперь ясно вижу, что переписка твоя, прежде тобою была хорошо обдуманна, скажу тебе откровенно, что я тебя совершенно понимаю, ты переписывалась с тем, что бы довести время до последнего периода и после сказать решительно, что не можешь приехать, а я по своей простоте всему верил и в последние дни все глаза проглядел.— Но бог тебе судья. <...> не сердись на меня за правду, внушенную мне чистою, искренною, постоянною и оскорбленною любовию; обо мне не беспокойся, я здоров и как всегда пекусь о щастии моего семейства о нравственности моих детей и теперь более, чем когда, а равным образом и тружусь о ежедневном для них насущном пропитании. (В семье и усадьбе, с. 110—111.)

М. М. Достоевский — сестре Варваре. 1 сентября 1839. Ревель

Музыка была любимым наслаждением покойного папеньки![1] (Хроника рода Достоевского, с. 50.)

Отцы и дети

Из записной книжки А. Г. Достоевской

Отец был угрюмый, нервный, подозрит<ельный>, ревнивый. (Лит. газета. 1986. 16 апреля.)

Л. Ф. Достоевская

Дочери дворян предназначались для замужества, и их целомудрие ревниво оберегалось. Мой дед Михаил никогда не разрешал дочерям выходить одним и сопровождал их в тех редких случаях, когда они посещали своих соседей по имению. Ревнивая бдительность их отца оскорбляла тонкие чувства моих теток. С возмущением они вспоминали позже, как их отец заглядывал по вечерам под их кровати — не спрятался ли там какой-нибудь возлюбленный. Мои тетки были в то время еще настоящими детьми — чистыми и невинными. (Достоевский в изображении дочери, с. 16.)

Из подготовительных материалов к роману «Подросток». 26 августа 1874

ОН мнителен (отец). Смотрит под постелями, прислушивается ночью. (ПСС XVI, с. 84.)

А. М. Достоевский

Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем, как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а брату Федору почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях, и точно так же и возвращались. (Воспоминания, с. 71.)

Л. Ф. Достоевская

Мой дед боялся грубости московского простонародья и не разрешал детям гулять на улице. <...> Мой отец так плохо знал свой родной город, что ни одного описания Москвы нельзя встретить в его романах. (Vie de Dostoiewsky, p. 29.)

А. М. Достоевский

Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тароваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям, считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню такого случая, и, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге. (Воспоминания, с. 71.)

Л. Ф. Достоевская

Мой дед Михаил был очень честолюбив, когда дело касалось его сыновей, и беспрестанно твердил им, что они должны работать беспрерывно: «Вы бедны,— повторял он постоянно.— Я не могу оставить вам большое состояние, вы можете надеяться лишь на собственные силы, вы должны много работать, быть осмотрительными в своем поведении, взвешивать свои слова и поступки». (Достоевский в изображении дочери, с. 15.)

А. М. Достоевский

Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!» (Воспоминания, с. 71.)

---

[1] Полагаем великодушный читатель простит нам невольный самоповтор или по крайней мере сделает вид, что его не заметил.— И. В.

Литератор И. Г. Прыжов

Отец мой служил в Московской Марьинской больнице вместе с своим добрым приятелем, доктором Достоевским, отцом покойного Ф. М. Достоевского. Последнего я помню немного, когда мне было еще лет шесть-семь. Итак, из Марьинской больницы суждено идти в Сибирь двоим, Достоевскому и мне. Не знаю, есть ли еще такая счастливая больница! (Минувшие годы, 1908, № 2, с. 52.)

Из воспоминаний В. М. Достоевской-Ивановой

Федор Михайлович ребенком был чрезвычайно резв и слыл в семействе «буяном». Он придумывал всевозможные шалости, первый же в них попадался, но, попавшись, никогда не отрекался от них. (Достоевский на жизненном пути, I, с. 27.)

А. Г. Достоевская

Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. (Воспоминания, с. 89.)

Достоевский

С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. (Дневник писателя, 1873.)

С. Д. Яновский

...он <Достоевский> сообщал мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сестрах и о брате Михаиле Михайловиче, об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать <...>. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 799—800.)

Достоевский — А. Е. Врангелю. 9 марта 1857. Семипалатинск

Более всего беспокоят меня за Вас, друг мой, отношения Ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобные неприятности нестерпимы, и тем более нестерпимы, что Вы оба, я знаю это, любите друг друга. Это своего рода бесконечное недоразумение с обеих сторон, которое, чем далее идет, тем более запутывается. <...> Характеры, как у Вашего отца,— странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствительности и великодушия. Не зная его лично, я так заключаю о нем, ибо знал в жизни, два раза, точно такие же отношения, как у Вас с ним. Его тоже нужно щадить <...>. (ПСС, XXVIII, I, с. 270.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 31 октября 1838. Петербург

Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить.— А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье. Но он очень разочарован в нем. Это, кажется, общий удел наш. (ПСС, XXVIII, 1, с. 55.)

А. М. Достоевский

<...> не могу не упомянуть о том мнении, какое брат Федор Михайлович высказал мне о наших родителях. <...> я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: «Да, знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!..» (Воспоминания, с. 94.)

Достоевский

О, если родители добры, если любовь их к детям ревностна и горяча, то дети многое простят им и многое забудут потом не только из комического и безобразного, но даже не осудят их безапелляционно за иные совсем уже дурные дела их; напротив, сердца их непременно найдут смягчающие обстоятельства. (Дневник писателя, 1877, июль — август.)

Достоевский — А. М. Достоевскому. 10 марта 1876. Петербург

<...> идея непременного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основной идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения. (ПСС, XXIX, II, с. 76.)

М. М. Достоевский — сестре Варваре, 1 сентября 1839. Ревель

Музыка была любимым наслаждением покойного папеньки![1] (Хроника рода Достоевского, с. 50.)

Частный пансион

Л. Ф. Достоевская

<...> дети <Достоевских> не знали телесных наказаний. Это и впрямь примечательно, ибо маленьких москвичей в ту эпоху усиленно секли. (Vie de Dostoiewsky, p. 26.)

А. М. Достоевский

<...> гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в гимна-

---

[1] См. примечание на стр. 64.

зию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные пансионы. (Воспоминания, с. 66.)

Из «Наставления содержателям и содержательницам пансионов по части учебной». 1835

<...> частный пансион должен по возможности приближаться к казенным учебным заведениям во внешнем и внутреннем устройстве. (Мат. и иссл., I, с. 243.)

А. М. Достоевский

Братья <...> были отданы к Чермаку на полный пансион и приезжали домой только по субботам к обеду, а в понедельник утром уезжали опять на целую неделю. <...>

Садились обедать, и тут же, не удовлетворивши первому аппетиту, братья начинали рассказывать о всем случившемся в продолжении недели. Во-первых, отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжении недели по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей, про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжается гораздо дольше. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная. Вспоминаю, что отец ни разу не давал наставлений сыновьям при повествованиях о различных шалостях, случившихся в классе; отец только приговаривал: «ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» и т. п., смотря по степени шалости, но ни разу не говорил: «Смотрите, не поступайте-де и вы так!» — Этим давалось, кажется, знать, что отец и ожидать не может от них подобных шалостей. (Воспоминания, с. 66—68.)

Л. Ф. Достоевская

Училище Чермака носило патриархальный характер, и там старались дать иллюзию семейной жизни. Сам Чермак ел за одним столом вместе со своими учениками и обращался с ними ласково, как с собственными сыновьями. Он приглашал в качестве преподавателей лучших московских учителей, и обучение велось там очень серьезно. (Достоевский в изображении дочери, с. 13.)

Донос И. В. Шервуда великому князю Михаилу Павловичу. 20 августа 1843

<...> в то время существовали учебные заведения, как например в Москве Чермака, где юношество просто приготовлялось врагами отечества. (Троцкий И. М. Жизнь Шервуда-Верного. М., 1931, с. 250.)

Достоевский — В. М. Каченовскому. 16 октября 1880. Петербург

Да, наших чермаковцев немного, а я всех помню. <...> Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением. (ПСС, XXX, I, с. 219.)

В. М. Каченовский

Вообще как в разговоре, так и в письмах, он любил употреблять слово «старый товарищ», и был очень сердечен. (Моск. ведомости, 1881, 31 января.)

Достоевский — В. М. Каченовскому. 25 ноября 1880. Петербург

Вам совершенно преданный старый товарищ Ваш Ф. Достоевский
(ПСС, XXX, I, с. 228.)

В. М. Каченовский

В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации, послышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидав меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреации облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме. Он был ко мне очень приветлив и ласков. (Моск. ведомости, 1881, 31 января.)

Из списка учащихся в пансионе Л. И. Чермака. 1837

а. Из дворян <...>
4. Михаил Достоевский
5. Федор Достоевский <...>
28. Владимир Каченовский

(Мат. и иссл., I, с. 253.)

Предметы учения по курсу Гимназическому. 1837

а. Науки	7. География	13. Немецкий
1. Закон божий	8. История	14. Английский
2. Логика	9. Физика	15. Французский
3. Риторика	в. Языки	с. Искусства
4. Арифметика	10. Русский	16. Чистописание
5. Алгебра	11. Греческий	17. Рисование и
6. Геометрия	12. Латинский	18. Танцевание

(Мат. и иссл., I, с. 251.)

В. М. Каченовский

В то время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был сериозный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона <...>. (Моск. ведомости, 1881, 31 января.)

Из подготовительных материалов к «Житию великого грешника». 1870

Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, овладела им еще в детстве.

<...> он кается и мучается совестью в том, что ему так низко хочется быть необыкновенным. Впрочем, он сам не знает, чем он будет.

Чистый идеал свободного человека мелькает перед ним иногда: все это в пансионе. (ПСС, IX, с. 136.)

Осень 1836: «Предположите, что Чаадаев...»

Достоевский — А. Н. Майкову. 25 марта 1870. Дрезден

Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей, на французском языке, брошюру,— очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие Белинский, наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) (ПСС, XXIX, I, с. 118.)

А. И. Герцен. Былое и думы

...Летом 1836 года, я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последний № «Телескопа». <...>

Наконец дошел черед и до письма. Со второй, третьей страницы меня остановил печально-сериозный тон, от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Этак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнию, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее... письмо растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. (Полярная звезда на 1855 год, кн. I, с. 155.)

П. Я. Чаадаев. Философические письма к г-же *. Письмо первое**

<...> мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. <...>

В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне[1]. Вот горестная история нашей юности. (Телескоп, 1836, № 15, с. 280—281, 283.)

А. И. Герцен. Былое и думы

Я раза два останавливался, чтобы отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам... и потом снова читал и читал. <...> Я боялся, не сошел ли я с ума. <...>

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. (Полярная звезда на 1855 год, кн. I, с. 155.)

М. И. Жихарев

Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, с тех пор, как завелась в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное или ученое событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина), не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким шумом. Около месяца среди целой Москвы почти не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю» <...> все соединились в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. (Вестник Европы, 1871, № 9, с. 31.)

Мануфактур-советник и кавалер И. Н. Рыбников «Российское купечество на обеде у императора Николая Павловича (1833). Событие»

<Николай I:>

— Я люблю Москву; она примерная столица, что в ней всегда тихо. Я желал бы, чтобы и все с нее брали пример. (Рус. архив, 1891, кн. 3, с. 566.)

П. Я. Чаадаев

<...> в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию. Повторю еще: мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных

[1] Во французском оригинале: «дух которого позднее унаследовала наша национальная власть».— И. В.

потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разуменья. (Телескоп, 1836, № 15, с. 295.)

Начальник III отделения А. X. Бенкендорф — московскому военному губернатору Д. В. Голицыну. 22 октября 1836. Петербург

<...> жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом, и будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому,— как дошли сюда слухи,— не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтобы были употреблены все средства к восстановлению его здоровья.— Государю Императору угодно, что<б> Ваше Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству.

Резолюция Николая I на проекте письма. Очень хорошо. (В кн.: Лемке М. Н. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Спб., 1908, с. 413—414.)

Из подготовительных материалов к «Житию великого грешника». 1870

Аникита <монах> идет к Чаадаеву усовещевать. Зовет Тихона <Задонского>, тот идет, спорит и потом прощения просит. (ПСС, IX, с. 138.)

Две смерти

А. М. Достоевский

С осени 36-го года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но, видимо, утешал себя надеждою на поддержание сил больной. Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель. <...>

Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И немудрено. Мы готовились ежеминутно потерять мать. Одним словом, в нашем семействе произошел полный переворот, заключенный кончиною маменьки. В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно. Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька перед смертной агонией пришла в совершенную память, потребовала икону спасителя и сперва благословила нас всех, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и мы все рыдали. Вскоре после этого началась агония и маменька впала в беспамятство, а в 7-м часу утра 27 февраля она скончалась на 37-м году своей жизни. (Воспоминания, с. 77—78.)

М. М. Достоевский. Видение матери. 1838

О тень, мне милая! А сколько было слез.
Когда я, горестный, с тобою расставался,
Когда я в божий храм твой гроб отверстый нес
И там в последний раз с тобой, мой друг, прощался!

Когда в могильный ров я бросил горсть земли,
Когда пропели вдруг: «Покойся со святыми» —
И, в землю поклонясь, домой все побрели,
Толкуя кой о чем с домашними своими.

(Лит. наследство, т. 86, с. 326.)

Черновик прошения М. А. Достоевского об отставке. Апрель — май 1837

<...> по крайней слабости зрения и по застарелым ревматическим припадкам, от коих воспоследовало трясение правой руки, я не могу занять предлагаемого мне места <...> выгодного по значительному окладу жалованья <...>. Изложенные припадки особенно зрение мое, от постигшего меня удара смертию жены моей, становиться со дня на день худшим до того, что и с помощью

стекол затрудняюсь в чтении и письме, а следовательно нахожусь в невозможности продолжать впредь с должным рачением службу, по чему донося о сем <...> покорнейше прошу представить по начальству об увольнении меня вовсе от оной. (В семье и усадьбе, с. 114.)

А. М. Достоевский

Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы обозначено было только имя, фамилия, день рождения и смерти, на заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся милый прах до радостного утра»... И эта прекрасная надпись была исполнена. (Воспоминания, с. 80.)

Надпись на памятнике М. Ф. Достоевской

Другу милому, незабвенному, супруге нежной, матери попечительнейшей. Покойся милый прах до радостного утра!

А. Г. Достоевская

В одно ясное утро Федор Михайлович повез меня на <Лазаревское> кладбище, где погребена его мать, Мария Федоровна Достоевская, к памяти которой он всегда относился с сердечною нежностью. (Воспоминания, с. 135.)

Из записной книжки А. Г. Достоевской

Когда был маленький, мать называла его Федюшей. (Лит. газета, 1986, 16 апреля.)

А. М. Достоевский

Не знаю, вследствие каких причин, известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома было причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине. (Воспоминания, с. 78—79.)

Д. В. Григорович

Кончина Пушкина в 1837 г. была чувствительна между нами, я убежден, одному Достоевскому, успевшему еще в пансионе Чермака (в Москве) прочесть его творения <...>. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 22.)

А. М. Достоевский

Конечно, до нас не дошло еще тогда стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, но братья где-то достали другое стихотворение неизвестного мне автора. Они так часто произносили его, что я помню и теперь его наизусть. Вот оно:

Нет поэта, рок свершился,
Опустел родной Парнас!
Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас.
Север, север, где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений?
Где наш Пушкин? — Он исчез!
Да, исчез он, дух могучий,
И земле он изменил!
Он вознесся выше тучей,
Он взлетел туда, где жил!

(Воспоминания, с. 79.)

Достоевский

Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище <...> Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. (Дневник писателя, 1876, январь.)

Сцены на большой дороге

Черновик прошения М. А. Достоевского. Май 1837.

В январе месяце сего года, по начальству осмелился утруждать Ваше Императорское Величество всеподданнейшим прошением моим по многочисленному семейству моему и по бедному состоянию об определении двух старших сыновей моих, Михаила 16 и Федора 15 лет в Главное Инженерное училище, на казенное содержание <...>. (В семье и усадьбе, с. 115.)

Г. И. Тимченко-Рубан

<...> при Николае Павловиче труд инженерных офицеров оплачивался в некоторых случаях роскошно, всегда хорошо и во всяком случае в мере, позволявшей жить безбедно на казенное содержание. (Очерк деятельности великого князя и императора Николая Павловича как руководителя военно-инженерной частью. Спб., 1912, т. I, с. 153.)

А. М. Достоевский

Причина, которая чуть не замедлила поездку отца в Петербург, была болезнь брата Федора. У него, без всякого видимого повода, открылась горловая болезнь и он потерял голос, так что с большим напряжением говорил шепотом и его трудно было расслышать. Болезнь была так упорна, что не поддавалась никакому лечению. <...> мне кажется, что у брата Федора Михайловича остались на всю жизнь следы этой болезни. Кто помнит его голос и манеру говорить, тот согласится, что голос его был не совсем естественный <...>. (Воспоминания, с. 79.)

Достоевский

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. <...>

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире <...>. Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки <...> Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же вскочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. (Дневник писателя, 1876, январь.)

Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». 1876

Фельдъегерь. Это было так давно, что, может быть, мне пропустит цензура. (ПСС, XXII, с. 145.)

Л. Ф. Достоевская

<...> поездки <...> на тройке приводили в восторг моего отца, питавшего в молодости большую любовь к лошадям. (Достоевский в изображении дочери, с. 13.)

М. А. Корф

На одной прогулке, в Павловске <в 1802 г.>, оба Великие Князья <Николай и Михаил Павловичи> и Великая Княжна <Анна Павловна> увидали мальчишку крестьянского, который жестоко обращался с измученной или слабой лошадью и беспощадно ее бил. Они все трое пришли в негодование и грозились пожаловаться тотчас же Императрице <Марии Федоровне>, которая немедленно прикажет выгнать его из Павловска. (Материалы и черты к биографии Императора Николая I. Спб. 1896, с. 40.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Фельдъегерь. Вот бы тут проповедовать гуманность. Главное ведь это не картина, а даже символ. В самом деле: он варвар, что так настегал лошадей, но ведь каждая плеть его была вызвана колотушкой ему же в спину, без колотушек этих он бы не стегал. (Лит. наследство, т. 83, с. 411.)

Н. А. Некрасов. Перед дождем

Над проезжей таратайкой
Спущен верх; перед закрыт.
И «пошел» — привстав с нагайкой —
Ямщику денщик[1] кричит.

(Альманах «Первое апреля». Спб. 1846, с. 18.)

Из подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию». 1866

Мое первое личное оскорбление, лошадь, фельдъегерь. (ПСС, VII, с. 138.)

[1] Имеется в виду жандарм. Эвфемистическая замена была снята лишь в издании 1873 г.— И. В.

(Продолжение следует)

Петр ВЕГИН

Стихи разных лет

* * *

Свобода пришла, но ее
в лицо не узнали,
и все продолжали свое —
мечтали, дурели, дерзали...

Свобода совсем не колосс —
в толпе незаметное,
обиженное до слез
дитя пятилетнее.

Ее надо на руки взять.
Не мешкайте, не робейте —
вы ждали Свободу.
Но ждать
она не умеет, как дети.

Идите с ней — в жизнь и в жилье,—
и в сердце прибавится солнца.
Не удочеряйте ее,
но с ней обретите отцовство!

Свободу легко обрести,
и самое верное средство —
растить ее и довести
от детства до совершенства.

1987

* * *

Когда пройдут тяжелые года
и мы обрящем право быть собою,
в душе твоей тогда взойдет звезда
и темнота изгонится звездою.

Как будет непривычно со звездой
жить каждому,
кто торговал собою...

Душа тогда останется душой,
когда она сроднится со звездою.

И будет страшно вспомнить иногда
как нам жилось,
как одиноко над страною
рубиновая, горькая звезда
плыла, чуть не потопленная тьмою...

1988

* * *

Сколько времени
я ни звука, ни слова!
Даже уже не вою.
И свое горе —
мне, как пьяному море,—
по колено.

Жизнь похожа стала на корабль, что от пробоин
пытается чудом спастись от смертельного крена.
Все равно, что будет, —
безденежье, деньги,
жара, морозы...
Единственное, что не подлежит
понятью «расстаться», —
это дочь моя,
точка-тире моей мерзнущей морзе,
посланной через Время
пославшему меня к черту Пространству.

1988

* * *

Вот и приехал ты в рай коммунальный
примусно-самоварных орбит,
где на продавленной койке двуспальной
никелированно-провинциальной
счастье твое беспробудное спит.

Так для тебя оно и не проснулось.
Детство — пространство без берегов...
На перекрестке Судьба улыбнулась:
«Боже мой, вырос изо всего!»

Из переулков,
лавок сапожных,
из продувных чердаков —
вырос. Церковь — и та тебя тоже
меньше. Бывай здоров!

Гей, Гулливер! Все минувшее — в отруби!
Все перерос, возлюбя...
И только голуби,
голуби,
голуби,
голуби —
выше тебя...

1986

* * *

Те запрещенные поэты,
что исчезали без следа,
те запрещенные поэты —
как затонувшие суда.

Их торпедировало время,
а говорят точнее — культ,
сжимающий самоуверенно
тяжелый, вороненый кольт.

О как старались,
как старались
упрятать в море их навек!
Но водолазы опускались,
но водолазы опускались
и поднимали их наверх!

И вот они вдали скрываются,
опять идут за край земли...
А водолазы опускаются
искать другие корабли...

1962

Метель в воронежском аэропорту

Памяти О. Э. Мандельштама

1

Метель. Воронеж.
Соленый снег.
Кумач полотнищ.
Вчерашний грех.

Три самолета.
Аэродром.
Снег. Непогода.
Застряли. Ждем.

Мороз. Крещенье.
Воронеж. Снег.
Проси прощенья
за старый грех!

Молчишь, мой ворог?
Молчишь — как врешь,
как новый Молох,
все ждешь-пождешь.

И нету радуги
ни над тобой,
ни над Елабугой —
твоей сестрой.

Судьба? Да полно
судьбу винить.
Воронеж. Полночь.
Искусство жить.

Что спорить тупо?
Все не всерьез,
коль смерзлись губы
в такой мороз.

Пока метелится —
живем-молчим.
Вот отогреемся —
поговорим.

2

И только аэродромная бабка
в зеленом капоте и войлочных тапках
на стареньких спицах вязала носки
из этой аэродромной тоски,
из этой метели, из нас, из молчанья,
клозетного чтива, газетного чая,
из глупой мемориальной доски
бессонно кому-то вязала носки.
На облаке белом она восседала,
на спицах заржавленных молча вязала,
и ластился возле старушечьих ног
запутанной жизни мохнатый клубок.

«Кому? — вопрошал я старуху. — Кому?»
Шепнула на ухо:
«Ему...»

3

Я требую ставки, истца, очевидца!
У этого города — рот до ушей,
но он, обеззубев, жует чечевицу
уличных фонарей.

Метель улеглась, и пора объясниться,
товарищ Воронеж, — над головой
карающей оказалось десницей
то, что называлось вчера синевой.

Товарищ Воронеж (...старухины спицы...),
(...живется-молчится...) над головой
(...истца, очевидца...) авиаптица
с зажатою в клюве мертвой петлей —

(...метель улеглась...) как предлог удавиться
н бескомпромиссно (...не жил — а молчал...)
избавить того, кто жевал чечевицу,
от тех, кто по мискам ее разливал...

1970

Арбат, 44

Здесь когда-то жил да был
Николай Глазков —
непричесанный поэт
с тонким голоском.

Внуком Хлебникова слыл,
правда, много пил.
Кто читал его стихи —,
только правду пил.

У него на мир людей
был арбатский взгляд...
Он совсем не виноват
в том, в чем виноват.

Каждый в чем-то виноват.
Виноватых — тьма.
Но невинная страна
не сошла с ума.

Время стригло наголо.
Лют цирюльник был.

Непричесанный поэт
на Арбате жил.

Там не принят, здесь не взят
у редакторов,
он придумал «Самиздат»
для своих стихов.

Коля-Коля, скоморох,
городской шишок...
Непричесанных стихов
наступает срок.

Пусть железный гребешок
над землей кружит,
он Глазкова ни зубцом
больше не страшит...

Перекресток молодой,
где Глазков был молодой.
На Арбате — ни одной
парикмахерской!

1988

После перелома

Я знал его, когда еще он не был памятником.
Была тогда помолодевшая Москва,
как земляничины,
рукою мальчика
(иль маятника)
вдруг высыпанные из туеска.

Он пел про нас.
Его гитару свистнули,
когда он плыл во гробе над Москвой.
Наверно, вор считал —
нельзя, чтоб тризна
была сильнее жизни и немыслимо
молчанье для гитары гулевой.

Все мыслимо...
И с хохмами капустника
трагедию толпа соединит.
И гипсовыми копиями бюстика
торгует у Таганки троглодит.

Как жаден ты, наш век свободомыслия, —
и буревестник ты, и бурелом,
и бюст из гипса —
словно Время в гипсе,
чтобы срастался страшный перелом...

1987

●

Саша СОКОЛОВ

Школа для дураков

ПОВЕСТЬ

*Слабоумному мальчику Вите Пляскину,
моему приятелю и соседу.*

Автор

*Но Савл, он же и Павел, исполнившись
Духа Святого и устремив на него взор,
сказал, о, исполненный всякого коварства
и всякого злодейства, сын диавола, враг
всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?*

Деяния Святых Апостолов, 13, 9—10

*Гнать, держать, бежать, обидеть,
слышать, видеть, и вертеть, и дышать,
и ненавидеть, и зависеть, и терпеть.*

Группа глаголов русского языка,
составляющих известное исключение
из правил; ритмически организована
для удобства запоминания.

То же имя! Тот же облик!

Эдгар По. «Вильям Вильсон»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нимфея

Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно начни словами: там, на пристанционном пруду. На пристанционном? Но это неверно, стилистическая ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд может быть околостанционным. Ну, назови его околостанционным, разве в этом дело? Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. Минутку, а станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, какая была станция, какая платформа: деревянная или бетонированная, какие дома стояли рядом, вероятно, ты запомнил их цвет, или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции? Да, я знаю, вернее, знал некоторых людей, которые жили на станции, и могу кое-что рассказать о них, но не теперь, потом когда-нибудь, а сейчас я опишу станцию. Она обыкновенная: будка стрелочника, кусты, будка для кассы, платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая, часто вылезали гвозди, и босиком там не следовало ходить. Росли вокруг станции деревья: осины, сосны, то есть разные деревья, разные. Обычная станция — сама станция, но вот то, что за станцией, — то представлялось очень хорошим, необыкновенным: пруд, высокая трава, танцплощадка, роща, дом отдыха и другое. На околостанционном пруду купались обычно вечером, после работы, приезжали на электричках и купались. Нет, но сначала расходились, шли по дачам. Устало, отдуваясь, вытирая лица

платками, таща портфели, авоськи, екая селезенкой. Ты не помнишь, что лежало в авоськах? Чай, сахар, масло, колбаса; свежая, бьющая хвостом рыба; макароны, крупа, лук, полуфабрикаты; реже — соль. Шли по дачам, пили чай на верандах, надевали пижамы, гуляли — руки за спину — по садам, заглядывали в пожарные бочки с зацветающей водой, удивлялись множеству лягушек — они прыгали всюду в траве, — играли с детьми и собаками, играли в бадминтон, пили квас из холодильников, смотрели телевизор, говорили с соседями. И если еще не успевало стемнеть, направлялись компаниями на пруд — купаться. А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов и стреженей, ветра и волн, омутов и глубинных трав. А может быть, реки просто не было? Может быть. Но как же она называлась? Река называлась.

К пруду вели, по сути дела, все тропинки и дорожки, все в нашей местности. От самых дальних дач, расположенных у края леса, вели тонкие, слабые, почти ненастоящие тропинки. Они едва светились вечером, мерцая, в то время как тропинки более значительные, протоптанные издавна и навсегда, дорожки настолько убитые, что не могло быть и речи, чтобы на них проросла хоть какая-нибудь трава, — такие дорожки и тропинки светились ясно, бело и ровно. Это на закате, да, естественно, на закате, только сразу после заката, в сумерках. И вот, вливаясь одна в другую, все тропинки вели в сторону пруда. В конце концов за несколько сот метров до берега они соединялись в одну прекрасную дорогу. И эта дорога шла немного покосами, а потом вступала в березовую рощу. Оглянись и признайся: плохо или хорошо было вечером, в сером свете, въезжать в рощу на велосипеде? Хорошо. Потому что велосипед — это всегда хорошо, в любую погоду, в любом возрасте. Взять, к примеру, коллегу Павлова. Он был физиологом, ставил разные опыты с животными и много катался на велосипеде. В одном школьном учебнике — ты, разумеется, помнишь эту книгу — есть специальная глава о Павлове. Сначала идут картинки, где нарисованы собаки с какими-то специальными физиологическими трубочками, вшитыми в горло, и объясняется, что собаки привыкли получать пищу по звонку, а когда Павлов не давал им пищу, а только зря звенел — тогда животные волновались и у них шла слюна — прямо удивительно. У Павлова был велосипед, и академик много ездил на нем. Одна поездка тоже показана в учебнике. Павлов там уже старый, но бодрый. Он едет, наблюдает природу, а звонок на руле — как на опытах, точно такой же. Кроме того, у Павлова была длинная седая борода, как у Михеева, который жил, а возможно, и теперь живет в нашем дачном поселке. Михеев и Павлов — они оба любили велосипед, но разница тут вот в чем: Павлов ездил на велосипеде ради удовольствия, отдыхал, а для Михеева велосипед всегда был работой, такая была у него работа: развозить корреспонденцию на велосипеде. О нем, о почтальоне Михееве, — а может, его фамилия была, есть и будет Медведев? — нужно говорить особо, ему следует уделить несколько особого времени, и кто-нибудь из нас — ты или я — обязательно это сделает. Впрочем, я думаю, ты лучше знаешь почтальона, поскольку жил на даче куда больше моего, хотя, если спросить соседей, они наверняка скажут, будто вопрос очень сложный и что разобраться тут почти невозможно. Мы, скажут соседи, не очень-то следили за вами — то есть за нами, и что это, мол, вообще за вопрос такой странный, зачем вам вдруг понадобилось выяснять какие-то нелепые вещи, не все ли равно, кто сколько жил, просто несерьезно, мол, займитесь-ка лучше делом: у вас в саду май, а деревья, по-видимому, совсем не окопаны, а яблочки, небось, кушать нравится, даже ветрогон Норвегов — заметят — и то с утра в палисаднике копается. Да, копается, ответим мы — кто-нибудь из нас — или мы скажем хором: да, копается. У наставника Норвегова есть на это время, есть желание. К тому же у него — сад, дом, а у нас — у нас-то ничего подобного уже нет — ни времени, ни сада, ни дома. Вы просто забыли, мы вообще давно, лет, наверное, девять не живем здесь, в поселке. Мы ведь продали дачу — взяли и продали. Я подозреваю, что ты, как человек более разговорчивый, общительный, захочешь что-нибудь добавить, пустишься в пересуды, начнешь объяснять, почему продали и почему, с твоей точки зрения, можно было не продавать, и не то что можно, а нужно было не продавать. Но лучше уйдем от них, уедем на первой же электричке, я не желаю слышать их голоса.

Наш отец продал дачу, когда вышел на пенсию, хотя пенсия оказалась такая большая, что дачный почтальон Михеев, который всю жизнь мечтает о хорошем новом велосипеде, но все не может накопить достаточно денег, потому что человек он не то чтобы щедрый, а просто небережливый, значит, Михеев, когда узнал от одного нашего соседа, товарища прокурора, какую пенсию станет получать наш отец, то едва не упал с велосипеда. Почтальон спокойно проезжал вдоль забора, за которым находилась дача соседа, — кстати, ты не помнишь его фамилию? Нет, так сразу не вспомнишь: плохая память на имена, да и что толку помнить все эти имена, фамилии — правда? Конечно, но если бы мы знали фамилию, то было бы удобнее рассказывать. Но можно придумать условную фамилию, они — как ни крути — все условные, даже если настоящие. Но, с другой стороны, если назвать его условной фамилией, подумают, будто мы что-то тут сочиняем, пытаемся кого-то обмануть, ввести в заблуждение, а нам скрывать совершенно нечего, речь идет о человеке-соседе, о соседе, которого все в поселке знают, и знают, что он работает товарищем прокурора, и дача у него обычная, не очень-то шикарная, и зря, пожалуй, болтали, будто дом у него из ворованного кирпича, — как ты считаешь? А? о чем ты? Ты что — не слушаешь меня? Нет, слушаю, просто я сейчас подумал, что в тех склянках было, наверное, пиво. В каких склянках? В тех больших, у соседа в сарае, в них было обыкновенное пиво — как думаешь? Я не знаю, не помню, я давно не думал о том времени. И в тот момент, когда мимо соседского дома проезжал Михеев, хозяин стоял на пороге сарая и рассматривал на свет склянку с пивом. Велосипед Михеева сильно дребезжал, подпрыгивая на выступающих из-под земли сосновых корнях, и сосед не мог не услышать и не узнать михеевского велосипеда. А услышав и узнав, быстро подошел к забору, чтобы спросить, нету ли писем, а вместо этого — неожиданно для самого себя — сообщил почтальону: прокурора-то, — сказал товарищ прокурора, — слышал? на пенсию ушли. Улыбаясь. Сколько дали? — отозвался Михеев, не останавливаясь, но лишь слегка тормозя, — сколько денег? Он оглянулся в движении своем, и сосед увидел, что загорелое лицо почтальона ничего не выражает. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развевалась по ветру: по ветру, рожденному скоростью, по скоростному велосипедному ветру, и соседу, будь он хоть немного поэтом, непременно показалось бы, что лицо Михеева, овеянное всеми дачными сквозняками, как бы само излучает ветер и что Михеев и есть тот самый, кого в поселке знали под именем Насылающий Ветер. Точнее сказать, н е з н а л и. Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вовсе. Но вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застекленных верандах, рассаживались в плетеных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о Насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие — будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но неразвит и необразован, четвертые — что стар и умен. Находились и пятые, заявляющие, что Насылающий молод и дряхл, дурак — но гениален. Говорили, будто он появляется в один из самых солнечных и теплых дней лета, едет на велосипеде, свистит в ореховый свисток и только и делает, что насылает ветер на ту местность, по которой едет. Имелось в виду, что Насылающий насылает ветер только на ту местность, где слишком уж много дач и дачников. Да-да, а там и была как раз такая местность. Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных поселка. А как называлась станция? — я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась.

Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад

и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов... потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени Найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок, обрекая бессоннице желчных станционных старух, безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов, дачных изгоев и неудачников — удильщиков ранней и поздней рыбы, путающихся в пружинистых сплетениях прозрачной лесы, а также пожилых бакенщиков-островитян, чьи лица, качающиеся над медно-гудящими черными водами фарватера, попеременно бледны или алы, и, наконец, служащих лодочных пристаней, кому мерещится звон отвязанной лодочной цепи, плеск весел, шорох паруса, и они, набросив на плечи гоголевские шинели без пуговиц, выходят из сторожек и шагают по береговым фарфоровым пескам, по дюнам, по травянистым откосам; тихие, слабые тени служащих ложатся на камыши, на вереск, а самодельные трубки их светятся подобно кленовым гнилушкам, приманивая удивленных ночных бабочек; но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни капли росы — спи спи пропахшая креозотом ветка утром проснись и цвети потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафорам и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи обнажаясь в зеркальных купе как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все равно отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля и продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет он болен погодите я сама расстегну видите я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны а мне уж все надоело иногда я кажусь себе просто старухой которая всю жизнь идет по раскаленному паровозному шлаку по насыпи она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колеса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный тра та та в чем дело тра та та что тра кто там та где там там там Вета ветла ветлы ветка там за окном в доме том тра та том о ком о чем о Ветке ветлы о ветре тарарам трамваи *трамваи* аи вечер добрый билеты би леты чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто не знает потому что никто не хотел учить нас греческому было непростительной ошибкой с их стороны это из-за них мы не можем перечислить толком ни одного корабля а бегущий Гермес цветку подобен но мы почти не понимаем этого того сего Горн мыс труби головы а барабан естественно бей тра та та вопрос это кондуктор ответ нет констриктор что вы там кричите вам плохо вам показалось мне хорошо это встречный простите теперь я точно знаю что это был встречный а то знаете задремал и слышу вдруг не то поет кто-то не то не та не то не та не то не та нетто брутто Италия итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник архитектор энтомолог *если хочешь увидеть летание четырьмя крыльями ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стрекоз* билет до Милана даже два мне и Михееву Медведеву хочу стрекоз летание в ветлах на реках во рвах некошеных вдоль главного рельсового пути созвездия Веты в гущах вереска где Тинберген сам родом из Голландии женился на коллеге и вскоре им стало ясно что аммофила находит путь домой вовсе не так как филантус а тамбурин конечно же бей кто в тамбуре там та там та там там простая веселая песенка исполняется на тростниковой дудочке на Веточке железной дороги тра та та тра та та вышла кошка за кота за кота Тинбергена приплясывая кошмар ведьма она живет с экскаваторщиком вечно не дает спать в шесть утра поет на кухне готовит ему пищу в котлах горят костры горючие кипят котлы кипучие нужно дать ей какое-то имя если кот Тинберген она

будет ведьма Тинберген пляшет в прихожей с самого утра и не дает спать поет про кота и наверное очень кривляется. А почему — *наверное*? разве ты не видел, как она пляшет? Нет, мне кажется, я вообще не видел ее никогда. Я живу в одной с ней квартире уже много лет, но дело в том, что ведьма Тинберген — это совсем не та старая женщина, которая здесь прописана и которую я вижу по утрам и вечерам на кухне. Та старая женщина — другая, ее фамилия Трахтенберг, Шейна Соломоновна Трахтенберг, еврейка, на пенсии, она одинокая пенсионерка, и всякое утро я говорю ей: доброе утро, а вечером: добрый вечер, она отвечает, она очень полная женщина, у нее рыжие с сединой волосы, кудри, ей лет шестьдесят пять, мы почти не разговариваем с ней, нам просто не о чем разговаривать, но время от времени, примерно раз в два месяца, она просит у меня патефон и прокручивает на нем одну и ту же пластинку. Больше она ничего не слушает, у нее нет больше ни одной пластинки. А что за пластинка? Я сейчас расскажу. Предположим, я возвращаюсь домой. Откуда-то. Должен заметить, я заранее знаю, когда Трахтенберг станет просить патефон, я за несколько дней предвижу, что вот скоро, уже совсем скоро она скажет: слушайте, радость моя, сделайте мне удовольствие, что там у вас с патефоном? Я поднимаюсь по лестнице и чувствую: Трахтенберг уже стоит там, за дверью, в прихожей, ожидая меня. Я смело вхожу. Смело. Я вхожу. Добрый вечер. Смело. Вечер добрый, радость моя, сделайте мне удовольствие. Я достаю патефон со шкафа. Довоенный патефон, купленный тогда-то и там-то. Кем-то. У него красный ящик, он всегда в пыли, потому что я хоть и вытираю пыль в комнате, как учила меня наша добрая терпеливая мать, до патефона руки никогда не доходят. Сам я давно не завожу его. Во-первых, у меня нет пластинок, а во-вторых, патефон не работает, испорчен, пружина давно лопнула, и диск не вращается, поверь мне, Шейна Соломоновна, — говорю я, — патефон не работает, вы же знаете. Неважно, — отвечает Трахтенберг, — мне только одну пластиночку. Ах, только одну, — говорю я. Дадада, — улыбается Шейна, зубы у нее в основном золотые, носит очки в черепаховой оправе, лицо пудрит, — одну пластиночку. Она берет патефон, уносит к себе в комнату и запирается на задвижку. А минут через десять я слышу голос Якова Эммануиловича. Но ты не сказал, кто это — Яков Эммануилович. А разве ты не помнишь его? Он был ее муж, он умер, когда нам с тобой было лет десять и мы жили с родителями в той комнате, где теперь живу один я, или живешь один ты, короче — кто-то из нас. А все же — кто именно? Какая разница! Я рассказываю тебе такую интересную историю, а ты опять начинаешь приставать ко мне, я ведь не пристаю к тебе, по-моему, мы раз и навсегда договорились, что между нами нет никакой разницы, или ты снова хочешь *туда*? Извини, впредь я постараюсь не причинять тебе неприятностей, понимаешь, у меня не все хорошо с памятью. А думаешь, у меня хорошо? Ну извини, пожалуйста, извини, я не хотел огорчать тебя. Так вот, Яков умер от лекарства, он чем-то отравился. Шейна очень мучила его, требовала каких-то денег, она полагала, что муж скрывает от нее несколько тысяч, а он был обыкновенный аптекарь, провизор, и я уверен, что у него не было ни гроша. Я думаю, Шейна просто издевалась над ним, требуя денег. Она была моложе Якова лет на пятнадцать и, как говорили во дворе на скамейках, изменяла ему с управляющим домами Сорокиным, у которого была одна рука и который потом, год спустя после смерти Якова, повесился в пустом гараже. За неделю до этого он продал немецкую трофейную машину, которую привез из Германии. Если помнишь, на скамейках любили поговорить о том, зачем Сорокину машина, он все равно не может водить, не станет же он шофера нанимать. А потом все выяснилось. Когда Яков уезжал в командировку или по суткам дежурил в аптеке, Сорокин уводил Шейну в гараж, и там, в машине, она и изменяла Якову. Вот благо-то, говорили на скамейках, вот благо-то — собственная машина, мол, даже и ездить, оказывается, не обязательно на ней: явился в гараж, заперся изнутри, фары включил, сиденья откинул — и, пожалуйста, развлекайся на здоровье. Ну и Сорокин, говорили во дворе, даром что безрукий. Опиши наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья липы, стояли два или три гаража, а за гаражами — горы битого кирпича и вообще всякого

мусора. Но главное — там валялись старые газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали дверки, чтобы тут же с размаху захлопывать их. Но не возвратиться ли нам к людям, которые жили в нашем дворе, мы знали многих. Нет-нет, с ними так скучно, я хотел бы поговорить теперь о другом. Видишь ли, у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время. Ты не забыл, как однажды, много лет назад, мы повстречали на станции нашего учителя Норвегова? Нет, не забыл, мы встретили его на станции. Он сказал, что покинул час назад берега водоема, где производил ужение на мотыля. У него и правда были с собою удочка и ведро, и я успел заметить, что в ведре плавали какие-то животные, но только не рыбы. Наш географ Норвегов построил дачу тоже в районе той станции, только за рекой, и нередко мы навещали его. Но что еще сказал нам в тот день учитель? Географ Норвегов сказал нам примерно следующее: молодой человек, вы, должно быть, заметили, какая прекрасная погода удерживается в нашей местности вот уже много дней кряду; не считаете ли вы, что наши уважаемые дачники не заслуживают подобной роскоши? не кажется ли вам, мой юный товарищ, что пора бы уже, как говорится, грянуть буре, грозе? Норвегов посмотрел в небо, рукой глаза свои заслонив от солнца. И ведь грянет, милый вы мой, да еще как грянет — полетят клочки по закоулочкам! И не когда-нибудь, а не сегодня-завтра. Кстати, вы-то задумываетесь над этим, вы в это верите?

Павел Петрович стоял посреди платформы, станционные часы показывали два часа пятнадцать минут, на нем была его обычная светлая шляпа, вся в небольших дырочках, будто изъеденная молью или многократно пробитая ревизорским компостером, а на самом деле дырочки были пробиты на фабрике, чтобы у покупателя, а в данном случае у Павла Петровича, в жаркие времена года не потела голова. А кроме того, думали на фабрике, темные дырочки на светлом фоне — это все-таки что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, это лучше, чем ничего, то есть лучше с дырочками, чем без них, решили на фабрике. Хорошо, но что еще носил наш учитель в то лето, да и вообще в лучшие месяцы тех незабываемых лет, когда мы жили с ним на одной станции, причем его дача находилась в поселке за рекой, а наша — в одном из тех поселков, которые были на том же берегу, что и станция? Довольно трудно ответить на этот вопрос, я не припомню в точности, что носил Павел Петрович. Проще сказать, чего он не носил. Норвегов никогда не носил обуви. Во всяком случае, летом. И в тот жаркий день на платформе, на старой деревянной платформе, он легко мог бы занозить себе ногу или сразу обе. Да, это могло произойти с каждым, но только не с нашим учителем, понимаешь, он был такой небольшой, хрупкий, и когда ты видел его бегущим по дачной тропинке или по школьному коридору, тебе казалось, будто его босые ноги совсем не касаются земли, пола, а когда он стоял в тот день посреди деревянной платформы, казалось, он не стоит вовсе, но как бы висит над ней, над ее щербатыми досками, над всеми ее окурками, отгоревшими спичками, тщательно обсосанными палочками от эскимо, использованными билетами и высохшими, а потому невидимыми, пассажирскими плевками разных достоинств. Позволь мне перебить тебя, возможно, я что-то не так понял. Разве Павел Петрович ходил босиком даже в школу? Нет, я, очевидно, оговорился, я имел в виду, что он ходил босиком на даче, но, может быть, он не надевал обуви и в городе, когда шел на работу, а мы и не замечали. А может, и замечали, но это не слишком бросалось в глаза. Да, почему-то не слишком, в таких случаях многое зависит от самого человека, а не от тех, кто на него смотрит, да, я вспоминаю, не слишком. Но как бы там ни было в школьные сезоны, ты определенно знаешь, что уж летом-то Норвегов ходил без обуви. Вот именно. Как заметил однажды наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках, на кой хрен сдалась Павлу обувь, да еще в такую жару! Это только мы, бедолаги казенные, — продолжал отец, — все никак отдохнуть ногам не даем: не сапоги, так галоши, не галоши, так сапоги — так и мучаешься весь век. Дождь на улице — сушй, значит, ботинки, солнце — смотри, значит, чтоб не потрескались. А главное — всякий день с утра возишься с гуталином. А Павел — человек вольный, мечтательный, он и умирать-то на босу ногу станет. Бездельник он, твой Павел, — сказал нам отец, — потому и босяк. Все деньги, небось, на дачу извел, в долгах сплошь, а все туда же — рыбу ловить, на берегу прохлаждаться, тоже мне — дачник фиговый. У него и дом-то нашего сарая плоше, а он еще и флюгер на крышу поставил, подумать только — флюгер! Я его, дурака, спрашиваю: зачем, мол, флюгер-то, трещит только напрасно. А он мне оттуда, с крыши: да мало ли, гражданин прокурор, что случится может, например, говорит, ветер дует-дует в одну сторону да и переменится вдруг. Вам-то, говорит, хорошо, вы, смотрю, все газеты читаете, там, конечно, про это пишут, про погоду то есть, а я, знаете, не выписываю ничего, так что для меня флюгер — вещь абсолютно необходимая. Вы-то говорит, из газет сразу узнаете, если что не так, а я по флюгеру ориентироваться буду, куда уж точнее, точнее и быть не может, — рассказывал наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках. Потом отец вылез из гамака, пошагал — руки за спину — среди сосен, переполненных горячей смолой и земляными соками, сорвал на грядке и съел несколько клубничин, посмотрел на небо, где в тот момент не оказалось ни облаков, ни самолетов, ни птиц, зевнул, помотал головой и сказал, имея в виду Норвегова: ну, пусть бога благодарит, что не я его директор, попрыгал бы он у меня, поизучал бы он у меня ветер кое-где, балбес малахольный, босяк, флюгер несчастный. Бедняга географ, наш отец не испытывал к нему ни малейшего уважения, вот что значит не носить обуви. Правда, к тому времени, когда мы встретились с Норвеговым на платформе, ему, Павлу Петровичу, было, по всей видимости, уже безразлично, уважает его наш отец или не уважает, поскольку к тому времени его, нашего наставника, не существовало, он умер весной такого-то, то есть за два с лишним года до нашей с ним встречи на этой самой платформе. Вот я и говорю, у нас что-то не так со временем, давай разберемся. Он долго болел, у него была тяжелая продолжительная болезнь, и он прекрасно знал, что скоро умрет, но не подавал виду. Он оставался самым веселым, а точнее — единственным веселым человеком в школе и без конца шутил. Он говорил, что ощущает себя настолько худым, что боится, как бы его не унес какой-нибудь случайный ветер. Врачи, — смеялся Норвегов, — запретили мне подходить к ветряным мельницам ближе, чем на километр, но запретный плод сладок: меня ужасно к ним тянет, они стоят совсем рядом с моим домом, на полынных холмах, и когда-нибудь я не выдержу. В дачном поселке, где я живу, меня называют ветрогоном и флюгером, но скажите, разве так уж плохо слыть ветрогоном, особенно если ты — географ. Географ даже обязан быть ветрогоном, это его специальность, — как вы считаете, мои молодые друзья? Не поддаваться унынию, — задорно кричал он, размахивая руками, — не так ли, жить на полной велосипедной скорости, загорать и купаться, ловить бабочек и стрекоз, самых разноцветных, особенно тех великолепных траурниц и желтушек, каких так много у меня на даче! Что же еще, — спрашивал учитель, похлопывая себя по карманам, чтобы найти спички, папиросы и закурить, — что же еще? Знайте, други, на свете счастья нет, ничего подобного, ничего похожего, но зато — господи! — есть же в конце концов покой и воля. Современный географ, как, впрочем, и монтер, и водопроводчик, и генерал, живет всего однажды. Так живите по ветру, молодежь, побольше комплиментов дамам, больше музыки, улыбок, лодочных прогулок, домов отдыха, рыцарских турниров, дуэлей, шахматных матчей, дыхательных упражнений и прочей чепухи. А если вас когда-нибудь назовут ветрогоном, — говорил Норвегов, гремя на всю школу найденным коробком спичек, — не обижайтесь: это не так уж плохо. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра — ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, возмущает и вздувает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету, — убоюсь ли чего я, географ Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра

до вечера вращает пустопорожнюю планету, сотворенную из обманного папье-маше! Дайте мне время — я докажу вам, кто из нас прав, я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать подобно августовской осинке. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески, вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя! Безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами! Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего Ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они рождают ураганы и смерчи. Это говорю вам я, географ пятой пригородной зоны, человек, вращающий пустотелый картонный шар. И, говоря это, я беру в свидетели вечность — не так ли, мои юные помощники, мои милые современники и коллеги, — не так ли?

Он умер весной такого-то в своем домике с флюгером. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз его экзамен, географию. Норвегов обещал подъехать к девяти, мы собрались в коридоре и ждали учителя до одиннадцати, но он все не приходил. Директор школы Перилло сказал, что экзамен переносится на завтра, поскольку Норвегов, по-видимому, заболел. Мы решили навестить его, но никто из нас не знал городской адрес наставника, и мы спустились в учительскую к завучу Тинберген, которая тайком живет в нашей квартире и пляшет по утрам в прихожей, но которую ни ты, ни я ни разу не видели, ибо стоит только смело распахнуть дверь из комнаты в прихожую, как оказываешься — распахнуть смело! — во рву Миланской крепости и наблюдаешь летание на четырех крыльях. День чрезвычайно солнечный, причем Леонардо в старом неглаженом хитоне стоит у кульмана с рейсфедером в одной руке и с баночкой красной туши — в другой и наносит на ватманский лист кое-какие чертежи, срисовывает побеги осоки, которой сплошь поросло илистое и сырое дно рва (осока доходит Леонардо до пояса), делает один за другим наброски баллистических приборов, а когда немного устает, то берет белый энтомологический сачок и ловит черных стрекоз, чтобы подробно изучить строение их глазной сетчатки. Художник смотрит на тебя хмуро, он как будто всегда чем-то недоволен. Ты хочешь покинуть ров, вернуться назад, в комнату, ты уже поворачиваешься и пытаешься отыскать в отвесной стене рва дверь, обитую дерматином, но мастер успевает удержать тебя за руку и, глядя тебе в глаза, говорит домашнее задание: опиши челюсть крокодила, язык колибри, колокольню Новодевичьего монастыря, опиши стебель черемухи, излучину Леты, хвост любой поселковой собаки, ночь любви, миражи над горячим асфальтом, ясный полдень в Березове, лицо вертопраха, адские кущи, сравни колонию термитов с лесным муравейником, грустную судьбу листьев — с серенадой венецианского гондольера, а цикаду обрати в бабочку; преврати дождь в град, день — в ночь, хлеб наш насущный дай нам днесь, гласный звук сделай шипящим, предотврати крушение поезда, машинист которого спит, повтори тринадцатый подвиг Геракла, дай закурить прохожему, объясни юность и старость, спой мне песню, как синица за водой по утру шла, обрати лицо свое на север, к новгородским высоким дворам, а потом расскажи, как узнает дворник, что на улице идет снег, если дворник целый день сидит в вестибюле, беседует с лифтером и не смотрит в окно, потому что окна нет, да, расскажи, как именно; а кроме того, посади у себя в саду белую розу ветров, покажи учителю Павлу, и если она понравится ему, — подари учителю Павлу белую розу, приколи цветок ему на ковбойку или на дачную шляпу, сделай приятное ушедшему в никуда человеку, порадуй своего старого педагога — весельчака, балагура и ветрогона. О Роза, скажет учитель, белая Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! В одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером за синей рекой, адрес: дачная местность, пятая зона, найти

почтальона Михеева, спросить Павла Норвегова, звонить многократно велосипедным звонком, ждать лодку с туманного берега, жечь сигнальный костер, не унывать. Лежа над крутым песчаным обрывом в стоге сена, считать звезды и плакать от счастья и ожидания, вспоминать детство, похожее на можжевеловый куст в светлячках, на елку, увешанную немыслимой чепухой, и думать о том, что совершится под утро, когда минует станцию первая электричка, когда проснутся с похмельными головами люди заводов и фабрик и, отплевываясь и проклиная детали машин и механизмов, нетрезво зашагают мимо околостанционных прудов к пристанционным пивным ларькам — зеленым и синим. Да, Роза, да, скажет учитель Павел, то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, которое вдруг выпало во тьме из оправы, дабы предупредить владельца о близкой смерти. Это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, что еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели тебе не дорог твой старый учитель, шагающий по долинам небытия и по взгорьям страданий. Приди, чтобы унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. И если наставник Павел скажет так, — говорит тебе Леонардо, — то известишь меня об этом в ту же ночь, и я докажу всем на свете, что во времени ничто находится в прошлом и будущем и ничего не имеет от настоящего, и в природе сближает с невозможным, от чего, по сказанному, не имеет существования, поскольку там, где было бы ничто, должна была бы налицо быть пустота, но тем не менее, — продолжает художник, — при помощи мельниц произведу я ветер в любое время. А тебе последнее задание: этот прибор, похожий на гигантскую черную стрекозу — видишь? он стоит на пологом травянистом холме — испытаешь завтра над озером и наденешь в виде пояса длинный мех, чтобы при падении не утонул ты. И тогда ты отвечаешь художнику: дорогой Леонардо, боюсь, я не смогу выполнить ваших интересных заданий, разве что задание, связанное с узнаванием дворником того факта, что на улице идет снег. На этот вопрос я могу ответить любой экзаменационной комиссии в любое время столь же легко, сколь вы можете произвести ветер. Но мне, в отличие от вас, не понадобится ни одной мельницы. Если дворник с утра до вечера сидит в вестибюле и беседует с лифтером, а окна в вестибюле йок, что по-татарски значит нет, то дворник узнает, что на улице, а точнее сказать — над улицей или на улицу идет снег, по снежинкам на шапках и воротниках, которые спешно входят с улицы в вестибюль, торопясь на встречу с начальством. Они, несущие на одежде своей снежинки, делятся обычно на два типа: хорошо одетые и плохо, но справедливость торжествует — снег делится на всех поровну. Я заметил это, когда работал дворником в Министерстве Тревог. Я получал всего шестьдесят рублей в месяц, зато прекрасно изучил такие хорошие явления, как снегопад, листопад, дождепад и даже градобой, чего не может, конечно же, сказать о себе никто из министров или их помощников, хотя все они и получали в несколько раз больше моего. Вот я и делаю простой вывод: если ты Министр, ты не можешь как следует узнать и понять, что делается на улице и в небе, поскольку, хоть у тебя и есть в кабинете окно, ты не имеешь времени посмотреть в него: у тебя слишком много приемов, встреч и телефонных звонков. И если дворник легко может узнать о снегопаде по снежинкам на шапках посетителей, то ты, Министр, не можешь, ибо посетители оставляют верхнюю одежду в гардеробе, а если и не оставляют, то пока они дожидаются лифта и едут в нем, снежинки успевают растаять. Вот почему тебе, Министру, кажется, будто на дворе всегда лето, а это не так. Поэтому, если ты хочешь быть умным Министром, спроси о погоде у дворника, позвони ему по телефону в вестибюль. Когда я служил дворником в Министерстве Тревог, я подолгу сидел в вестибюле и беседовал с лифтером, а Министр Тревог, зная меня как честного, исполнительного сотрудника, время от времени позванивал мне и спрашивал: это дворник такой-то? Да, отвечал я, такой-то, работаю у вас с такого-то года. А это Министр Тревог такой-то, говорил он, работаю на пятом этаже, кабинет номер три, третий направо по коридору, у меня к вам дело, зайдите на пару минут, если не заняты, очень нужно, поговорим о погоде.

Да, кстати, мало того, что я служил с ним в одном Министерстве, мы еще были, а возможно, являемся и сейчас, соседями по даче, то есть по дачному поселку, дача Министра наискосок от нашей. Я из осторожности употребил здесь два слова: были и являемся, что означает есть, поскольку — хотя врачи утверждают, будто я давно выздоровел, — до сих пор не могу с точностью и определенно судить ни о чем таком, что хоть в малейшей степени связано с понятием время. Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, например, принято думать, будто за первым января следует второе, а не сразу двадцать восьмое? Да и могут ли вообще дни следовать друг за другом, это какая-то поэтическая ерунда — череда дней. Никакой череды нет, дни приходят, когда какому вздумается, а бывает, что и несколько сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живешь в пустоте, ничего не понимаешь и сильно болеешь. И другие тоже, тоже болеют, но молчат. Еще я хотел бы сказать, что у каждого человека есть свой особый, не похожий ни на чей, календарь жизни. Дорогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь моей жизни, я принес бы листочек бумаги со множеством точек: весь листок был бы в точках, одни точки, и каждая точка означала бы день. Тысячи дней — тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует той или иной точке: я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на какой год, месяц или век жизни составил я свой календарь, ибо я не знаю, что означают упомянутые слова, и вы сам, произнося их, тоже не знаете этого, как не знаете и такого определения времени, в истинности которого я бы не усомнился. Смиритесь! ни вы, ни я и никто из наших приятелей не можем объяснить, что мы имеем в виду, рассуждая о времени, спрягая глагол есть и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: завтра — это лишь другое имя сегодня, будто нам дано осознать хоть малую долю того, что происходит с нами здесь, в замкнутом пространстве необъяснимой песчинки, будто все, что здесь происходит, есть, является, существует — действительно, на самом деле есть, является, существует. Дорогой Леонардо, недавно (сию минуту, в скором времени) я плыл (плыву, буду плыть) на весельной лодке по большой реке. До этого (после этого) я много раз бывал (буду бывать) там и хорошо знаком с окрестностями. Была (есть, будет) очень хорошая погода, а река — тихая и широкая, а на берегу, на одном из берегов, куковала кукушка (кукует, будет куковать), и она, когда я бросил (брошу) весла, чтобы отдохнуть, напела (напоет) мне много лет жизни. Но это было (есть, будет) глупо с ее стороны, потому что я был совершенно уверен (уверен, буду уверен), что умру очень скоро, если уже не умер. Но кукушка не знала об этом, и, надо полагать, моя жизнь интересовала ее в гораздо меньшей степени, чем ее жизнь — меня. Итак, я бросил весла и, считая якобы свои годы, задал себе несколько вопросов: как называется эта влекущая меня к дельте река, кто есть я, влекомый, сколько мне лет, как мое имя, какой день нынче и какого, в сущности, года, а также: лодка, вот лодка, обычная лодка — но чья? и отчего именно лодка? Уважаемый мастер, то были простые, но такие мучительные вопросы, что я не смог ответить ни на один и решил, что у меня приступ той самой наследственной болезни, которой страдала моя бабушка, бывшая бабушка. Не поправляйте, я умышленно употребляю тут слово бывшая вместо покойная, согласитесь, первое звучит лучше, мягче и не так безнадежно. Видите ли, когда бабушка еще была с нами, она иногда теряла память, так обычно случалось, если она долго смотрела на что-нибудь необыкновенно красивое. И вот тогда на реке я подумал: вокруг, наверное, слишком красиво, и поэтому я, как бабушка, потерял память и не в состоянии ответить себе на самые обычные вопросы. Спустя несколько дней я поехал к лечащему доктору Заузе и посоветовался, спросил совета. Доктор сказал мне: знаете, дружок, у вас, без сомнения, было то самое, бабушкино. Плюньте вы на этот загород, сказал он, перестаньте туда ездить, что вы там потеряли, в самом-то деле. Но доктор, — сказал я, — там красиво, красиво, я хочу туда. В таком случае, — сказал он, снимая, а может, надевая очки, — я запрещаю вам туда ездить. Но я не послушал его. По-моему, он из той категории жадных людей, что сами любят бывать в хороших местах и желали бы, чтобы никто, кроме них, туда не ездил. Я, конечно, пообещал ему никуда из города не уезжать, а сам уехал, как только меня выписали, и жил на даче все оставшееся лето и даже кусочек осени, пока на участках не начали жечь костры из опавших листьев, а часть опавших листьев не поплыла по нашей реке. В те дни вокруг стало настолько красиво, что я не мог выходить даже на веранду: стоило мне посмотреть на реку и увидеть, какие разноцветные леса на том, норвеговском, берегу, как я начинал плакать и ничего не мог с собой поделать. Слезы текли сами собой, и я не мог сказать им — нет, а внутри было неспокойно и горячо (отец потребовал, чтобы мы с матерью вернулись в город — и мы вернулись), но то, что произошло тогда, на реке, в лодке, больше не повторялось — ни летом, ни осенью, и вообще с тех пор никогда. Ясное дело, я могу что-нибудь забыть: вещь, слово, фамилию, дату, но только тогда, на реке, в лодке, я забыл все сразу. Но, как я сейчас понимаю, то состояние было все же не бабушкино, а какое-то другое, мое собственное, может, не изученное пока врачами. Да, я не мог ответить себе на поставленные вопросы, но поймите: это вовсе не означало потерю памяти, это бы еще куда ни шло. Дорогой Леонардо, все было гораздо серьезнее, а именно: я находился в одной из стадий исчезновения. Видите ли, человек не может исчезнуть моментально и полностью, прежде он превращается в нечто отличное от себя по форме и по сути — например, в вальс, в отдаленный, звучащий чуть слышно вечерний вальс, то есть исчезает частично, а уж потом исчезает полностью.

Где-то на поляне расположился духовой оркестр. Музыканты уселись на свежих еловых пнях, а ноты положили перед собой, но не на пюпитры, а на траву. Трава высокая, и густая, и сильная, как озерный камыш, и без труда держит нотные тетради, и музыканты без труда различают все знаки. Ты не знаешь это наверное, возможно, что никакого оркестра на поляне нет, но из-за леса слышится музыка и тебе хорошо. Хочется снять обувь свою, носки, встать на цыпочки и танцевать под эту далекую музыку, глядя в небо, хочется, чтобы она никогда не переставала. Вета, милая, вы танцуете? Конечно, дорогой, я так люблю танцевать. Так позвольте же пригласить вас на тур. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием! Но вот на поляну являются косари. Их Инструменты, их двенадцатиручные косы, тоже блестят на солнце, но не золотом, как у музыкантов, а серебром. И косари начинают косить. Первый косарь приближается к трубачу и, наладив косу — музыка играет, — резким махом срезает те травяные стебли, на которых лежит нотная тетрадь трубача. Тетрадь падает и закрывается. Трубач захлебывается на полуноте и тихо уходит в чащу, где много родников и поют всевозможные птицы. Второй косарь направляется к валторнисту и делает то же самое — музыка играет, — что сделал первый: срезает. Тетрадь валторниста падает. Он встает и уходит вслед за трубачом. Третий косарь широко шагает к фаготу: и его тетрадь — музыка играет, но становится тише — тоже падает. И вот уже трое музыкантов бесшумно, гуськом идут слушать птиц и пить родниковую воду. Скоро следом — музыка играет пиано — идут: кларнет, ударные, вторая и третья труба, а также флейтисты, и все они несут инструменты — каждый несет свой, весь оркестр скрывается в чаще, никто не дотрагивается губами до мундштуков, но музыка все равно играет. Она, звучащая теперь пианиссимо, осталась на поляне, и косари, посрамленные чудом, плачут и утирают мокрые лица рукавами своих красных косовороток. Косари не могут работать — их руки трясутся, а сердца их подобны унылым болотным жабам, а музыка — играет. Она живет сама по себе, это вальс, который только вчера был кем-нибудь из нашего числа: человек исчез, перешел в звуки, а мы никогда не узнаем об этом. Дорогой Леонардо, что касается моего случая с лодкой, рекой, веслами и кукушкой, то я, очевидно, тоже исчез. Я превратился тогда в нимфею, в белую речную лилию с длинным золотисто-коричневым стеблем, а точнее сказать так: я частично исчез в белую речную лилию. Так лучше, точнее. Хорошо помню, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов ку-

кушка считала мои годы. Я задал себе несколько вопросов и собрался уже отвечать, но не смог и удивился. А потом что-то случилось во мне, там, внутри, в сердце и в голове, будто меня выключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить, не хотелось. И сказал себе: это неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко, бери греби и греби домой. И попытался взять весла, протянул я к ним руки, но ничего не получилось: я видел рукояти, но ладони мои не ощущали их, дерево гребей протекало через мои пальцы, через их фаланги, как песок, как воздух. Нет, наоборот, я, мои бывшие, а теперь не существовавшие ладони обтекали дерево подобно воде. Это было хуже, чем если бы я стал призраком, потому что призрак по крайней мере может пройти сквозь стену, а я не прошел бы, мне было бы нечем пройти, от меня ведь ничего не осталось. И опять неверно: что-то осталось. Осталось желание себя прежнего, и пусть я не сумел вспомнить, кем я жил до исчезновения, я чувствовал, что тогда, то есть до, жизнь моя текла интересней, полнее, и хотелось стать снова тем самым неизвестным, забытым таким-то. Лодку прибило волнами к берегу в пустынном месте. Пройдя по пляжу несколько шагов, я оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы. И все-таки я еще не хотел верить. Мало ли, как бывает, во-первых, может оказаться, что все это сон, во-вторых, возможно, что песок здесь необычайно плотный и я, весящий всего столько-то килограммов, не оставил на нем следов из-за своей легкости, и, в-третьих, вполне вероятно, что я и не выходил еще из лодки на берег, а до сих пор сижу в ней и, естественно, не мог оставить следов там, где меня еще не было. Но затем, когда я посмотрел вокруг и увидел, какая красивая у нас река, какие замечательные старые ветлы и цветы растут на том и на этом берегу, я сказал себе: ты — несчастный изолгавшийся трус, ты испугался, что исчез, и решил обмануть себя, придумываешь нелепости и прочее, ты должен, наконец, стать честным, как Павел, он же и Савл. То, что произошло с тобой, — никакой не сон, это ясно. Дальше: если бы ты весил даже не столько-то, а в сто раз меньше, то и в таком случае твои следы остались бы на песке. Но ты не весишь отныне и грамма, ибо тебя нет, ты просто исчез, и если хочешь убедиться в этом, оглянись еще раз и посмотри в лодку: ты увидишь, что и в лодке тебя тоже нет. Да, нет, отвечал я д р у г о м у себе (хотя доктор Заузе пытался доказать мне, будто никакого д р у г о г о меня не существует, я не склонен доверять его ни на чем не основанным утверждениям), да, в лодке меня нету, но зато там, в лодке, лежит белая речная лилия с золотисто-коричневым стеблем и желтыми слабоароматными тычинками. Я сорвал ее час тому у западных берегов острова, в заводи, где подобных лилий, а также желтых кувшинок столь много, что их не хочется трогать, лучше сидеть в лодке просто так, смотреть на них, на каждую в отдельности или на все вместе. Можно увидеть там и синих стрекоз, называемых по-латыни с и м п е т р у м, быстрых и нервных жуков-водомеров, похожих на пауков-косиножек, а в осоке плавают утки, честное слово, дикие утки. Они какие-то пестрые, с перламутровым отливом. Там есть и чайки: они спрятали свои гнезда на острове, среди так называемых плакучих ив, плакучих и серебристых, и нам ни разу не удавалось найти ни одного гнезда, мы даже не представляем себе, как оно выглядит, — гнездо речной чайки. Зато мы знаем, как чайка ловит рыбу. Птица летит довольно высоко над водой и глядит в глубину, где рыбы. Птица хорошо видит рыбу, но рыба не видит птицу, а видит только мошку и комара, которым нравится летать над самой водой (пьют сладкий сок кувшинок), рыба питается ими. Она время от времени выпрыгивает из воды и глотает одного-двух комаров, а в этот момент птица, сложив крылья, падает с высоты, и ловит рыбу, и уносит ее в своем клюве в свое гнездо, гнездо чайки. Правда, иногда птице не удается схватить рыбу, тогда птица опять набирает нужную высоту и продолжает лететь, глядя в воду. Там она видит рыбу и свое отражение. Это другая птица, думает чайка, очень похожая на меня, но другая, она живет по ту сторону реки и всегда вылетает на охоту вместе со мной, она тоже ловит рыбу, а гнездо этой птицы — где-то на обратной стороне острова, прямо под нашим гнездом. Она — хорошая птица, размышляет чайка. Да, чайки, стрекозы, водомеры и тому подобное — вот что есть у западных берегов острова, в заводи, где я сорвал нимфею, которая лежит теперь в лодке, увядая.

Но для чего ты сорвал ее, разве была какая-то необходимость, ты же не любишь — я знаю, — не любишь собирать цветы, а любишь только наблюдать их или осторожно трогать рукой. Конечно, я не должен был, я не хотел, поверь мне, сначала не хотел, никогда не хотел, мне казалось, что если я когда-нибудь сорву ее, то случится что-то неприятное — со мной, или с тобой, или с другими людьми, или с нашей рекой, например, разве она не может иссякнуть? Ты произнес сейчас странное слово, что ты сказал, что это за слово — с я к у? Нет, тебе показалось, послышалось, было не такое слово, похожее на это, но не такое, я уже не могу вспомнить. А о чем я вообще говорил только что, ты не мог бы помочь мне восстановить нить моего рассуждения, она оборвана. Мы беседовали о том, как однажды Трахтенберг отвинтила кран в ванной и куда-то его спрятала, а когда пришел смотритель, он долго стоял в ванной и смотрел. Он долго молчал, потому что ничего не понимал. Вода текла, шумела, и ванна постепенно наполнялась, и вот смотритель спросил Трахтенберг: где кран? И старая женщина отвечала ему: у меня есть патефон (неправда, патефон есть только у меня), а крана нет. Но ведь крана нет и у ванной, сказал смотритель. Об этом, гражданин, судить вам, я же вам не ответчик, — и ушла в комнату. А смотритель подошел к двери и начал стучать, но ни Трахтенберг, ни Тинберген не открывала ему. Я же стоял в прихожей и думал, и когда смотритель обернулся ко мне и спросил, что делать, я сказал: стучите, и вам откроют. Он опять стал стучать, и Трахтенберг вскоре открыла ему, и он опять поинтересовался: где кран? Я не знаю, возражала ему старая Тинберген, спросите у молодого человека. И она указала своим костлявым пальцем в мою сторону. Смотритель заметил: возможно, у паренька не все дома, но, сдается мне, он не настолько глуп, чтобы отвинчивать краны, это сделали вы, и я пожалуюсь домоуправу Сорокину. Тинберген расхохоталась смотрителю в лицо. Зловеще. И смотритель ушел жаловаться. Я же стоял в прихожей и размышлял. Здесь, на вешалке, висели пальто и головные уборы, здесь стояли два контейнера для перевозки мебели. Эти вещи принадлежали соседям, то есть Трахтенберг-Тинберген и ее экскаваторщику. Во всяком случае, замасленная кепка-восьмиклинка была точно его, потому что сама старуха носила только шляпы. Я нередко стою в прихожей и рассматриваю всякие предметы на вешалке. Мне кажется, что они добрые и с ними уютно, и я совсем не боюсь их, когда в них никто не одет. Еще я думаю о контейнерах, из какого они дерева, сколько стоят и на каком поезде и по какой ветке их привезли в наш город.

Дорогой ученик такой-то, я, автор книги, довольно ясно представляю себе тот поезд — товарный и длинный. Его вагоны, по преимуществу коричневые, были исписаны мелом — буквы, цифры, слова, целые фразы. Видимо, на некоторых вагонах работники в специальных железнодорожных костюмах и фуражках с оловянными кокардами делали выкладки, заметки, расчеты. Предположим, поезд уже несколько суток стоит в тупике, и еще неизвестно — никто не знает этого, — когда он снова поедет, и никто не знает — куда. И вот в тупик приходит комиссия, смотрит на пломбы, бьет молотками по колесам, заглядывает в буксы, проверяя, нет ли трещин в металле и не подмешал ли кто песок в масло. Комиссия спорит, ругается, ей давно надоела ее однообразная работа, и она с удовольствием ушла бы на пенсию. А сколько же лет до пенсии? — размышляет комиссия. Она берет кусок мела и пишет на чем попало, обычно на одном из вагонов: год рождения — такой-то, трудовой стаж — такой-то, значит, до пенсии столько-то. Потом на работу выходит следующая комиссия, она очень задолжала своим коллегам из первой комиссии, вот отчего вторая комиссия не спорит и не ругается, а старается делать все тихо и даже не пользуется молотками. Этой комиссии грустно, она тоже достает из кармана мел (здесь я должен в скобках заметить, что станция, где происходит действие, никогда, даже во времена мировых войн, не могла пожаловаться на нехватку мела. Ей, случалось, недоставало шпал, дрезин, спичек, молибденовой руды, стрелочников, гаечных ключей, шлангов, шлагбаумов, цветов для украшения откосов, красных транспарантов с необходимыми лозунгами в честь того или совершенно иного события, запасных

тормозов, сифонов и поддувал, стали и шлаков, бухгалтерских отчетов, амбарных книг, пепла и алмаза, паровозных труб, скорости, патронов и марихуаны, рычагов и будильников, развлечений и дров, граммофонов и грузчиков, опытных письмоводителей, окрестных лесов, ритмичных расписаний, сонных мух, щей, каши, хлеба, воды. Но мела на этой станции всегда было столько, что, как указывалось в заявлении телеграфного агентства, понадобится составить столько-то составов такой-то грузоподъемностью каждый, чтобы вывезти со станции весь потенциальный мел. Вернее не со станции, а из меловых карьеров в районе станции. А сама станция называлась *Мел*, и река — туманная белая река с меловыми берегами — не могла называться иначе как Мел. Короче, все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне: люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом, мелом мыли руки, умывались, чистили кастрюли и зубы и, наконец, умирая, завещали похоронить себя на поселковом кладбище, где вместо земли был мел и каждую могилу украшала меловая плита. Надо думать, поселок Мел был на редкость чистый, весь белый и прибранный, и над ним постоянно висели облака и тучи, беременные меловыми дождями, и когда они выпадали, поселок становился еще белее и чище, то есть совсем белым, как свежая простыня в хорошей больнице. Что же касается больницы, то она и была тут хорошая и большая. В ней болели и умирали шахтеры, больные особой болезнью, которую в разговоре друг с другом называли меловой. Пыль мела попадала рабочим в легкие, проникала в кровь, и кровь становилась слабой и жидкой. Люди бледнели, лица светились в сумраке ночных смен бело и призрачно, в часы передач и свиданий светились в окнах больницы на фоне изумительно чистых занавесок, прощально светились на фоне предсмертных подушек, а потом лица светились только на фотографиях в семейных альбомах. Снимок наклеивался на отдельной странице, и ктонибудь из домашних старательно обводил его черным карандашом. Рамка получалась неровной, но торжественной. Однако вернемся ко второй железнодорожной комиссии, которая достает из кармана мел, и — закроем скобки) и пишет на вагоне: Петрову — столько-то, Иванову — столько-то, Сидорову — столько-то, итого — столько-то меловых рублей. Комиссия идет дальше и на каких-то вагонах и платформах пишет слово *проверено*, а на других — *проверить*, ибо нельзя же проверить все сразу, есть же, в самом-то деле, и третья комиссия: пусть она и проверит оставшиеся вагоны. Но кроме комиссий на станции есть *некомиссии*, иначе говоря, люди, не являющиеся членами комиссий, они стоят вне этого, заняты на других работах или вообще не служат. Тем не менее они тоже не могут побороть в себе желание взять кусочек мела и что-нибудь написать на стенке вагона — деревянной и теплой от солнца. Вот идет солдат в пилотке, направляется к вагону: *до дембеля два месяца*. Появляется шахтер, белая рука выводит лаконичное: *гады*. Двоечник пятого класса, кому, быть может, жить труднее, чем нам всем, вместе взятым: *Марья Степанна — сука*. Станционная рабочая в оранжевой безрукавке, которая обязана подвинчивать гайки и подметать виадуки, сбрасывая мусор вниз, на рельсы, умеет рисовать море. Она рисует на вагоне волнистую линию, и правда — получается море, а старик-нищий, что не умеет ни петь, ни играть на гармони, а купить шарманку до сих пор не собрался, пишет два слова: *вам спасибо*. Какой-то парень, пьяный и кудлатый, узнавший стороной об измене подружки, в отчаянии: *Валю любили трое*. Наконец поезд выходит из тупика и движется по перегонам России. Он составлен из проверенных комиссиями вагонов, из чистых и бранных слов, кусочков чьих-то сердечных болей, памятных замет, деловых записок, бездельных графических упражнений, из смеха и клятв, из воплей и слез, из крови и мела, из белым по черному и коричневому, из страха смерти, из жалости к дальним и ближним, из нервотрепки, из добрых побуждений и розовых мечтаний, из хамства, нежности, тупости и холуйства. Поезд идет, на нем едут контейнеры Шейны Соломоновны Трахтенберг, и вся Россия, выходя на проветренные перроны, смотрит ему в глаза и читает начертанное — мимолетную книгу собственной жизни, книгу бестолковую, бездарную, скучную, созданную руками некомпетентных комиссий и жалких, оглупленных людей. Спустя сколько-то дней поезд прибывает в наш город, на товарную станцию. Сотрудники железнодорожной почты озабочены: им нужно сообщить Шейне Трахтенберг, что контейнеры с мебелью наконец-то получены. На дворе дождь, небо все в тучах. В специальной почтовой конторе у так называемой границы станции горит стосвечовая лампочка, она рассеивает полумрак и создает уют. В помещении конторы — несколько озабоченных конторщиков в голубой форме. Они озабоченно греют чай на электрической плитке и озабоченно пьют его. Пахнет бечевкой, сургучом, оберточной бумагой. Окно смотрит на ржавые запасные пути, меж шпал пробивается трава и растут какие-то мелкие, но прекрасные цветы. Глядеть на них из окна очень приятно. Форточка открыта, поэтому хорошо слышны некоторые характерные для узловой станции звуки: рожок сцепщика, лязг фаркопфов и буферов, шипение пневматических тормозов, команды диспетчера, а также разного рода гудки. Слышать все это тоже приятно, особенно если ты профессионал и можешь объяснить природу любого из звуков, его смысл и значение. А ведь конторщики почтовой железнодорожной конторы и есть профессионалы, у них за плечами масса путевых километров, все они в свое время служили начальниками почтовых вагонов или работали проводниками тех же вагонов, а кое-кто даже на международных линиях, и, как принято говорить, повидали свет и знают, что к чему. И если явиться и спросить их начальника, так ли это...

Да, дорогой автор, именно так: прийти к нему домой, позвонить звучным велосипедным звонком у дверей — пусть он услышит и откроет. Кто там? Там-там, здесь живет Начальник такой-то? Здесь. Открывайте, пришли, чтобы спросить и получить правдивый ответ. Кто? Те Кто Пришли. Приходите завтра, сегодня уже поздно, мы с женой спим. Проснитесь, ибо наступила пора сказать правду. О ком, о чем? О ребятах вашей конторы. Почему ночью? Ночью все звуки слышнее: крик младенца, стон умирающего, полет Найтингейла, кашель трамвайного констриктора: проснитесь, откройте и отвечайте. Подождите, я надену пижаму. Надевайте, она вам очень к лицу, симпатичная клеточка, шили или покупали? Не помню, не знаю, следует поинтересоваться у жены, мама, пришли Те Кто Пришли, они хотели бы знать про пижаму, шили или покупали, а если да, то где и почем. Да шили нет покупали шел снег было холодно мы возвращались из кино и я подумала что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы заглянула в универмаг а ты остался на улице купить бананов за ними очередь была и я не особенно торопилась посмотрела сначала ковры и записалась на полтора метра за метр семьдесят пять на через три года потому что фабрику закрыли на ремонт а потом в мужском нижнем белье увидела сразу эту пижаму и китайские кальсоны с сорочкой лохматые такие и все не решу что лучше вообще-то мне больше нравились кальсоны и недорогие и цвет хороший в них и спать можно и на работу поддеть и дома ходить но ведь мы с соседями живем значит в прихожую или на кухню уже не выйдешь а в пижаме все-таки и прилично и мило даже вот и выписала пижаму на улицу возвращаюсь а ты еще за бананами стоишь и говорю тебе дай мол деньги я пижаму выписала а ты говоришь да не надо зачем барахло наверно какое-нибудь нет говорю не барахло вовсе а очень приличная вещь импортная с деревянными пуговицами ступай сам погляди а впереди тебя какая-то дама пожилая в жакетке стояла с клипсами полная такая седоватая она обернулась и говорит вы идете идите не бойтесь я все время буду стоять если что так я скажу что вы тут были за мной а насчет пижамы говорит вы зря с супругой спорите я эту пижаму знаю очень стоящая покупка будет я на прошлой неделе всей семье такие купила отцу купила брату купила мужу купила а одну зятю в Гомель отправила он теперь на курсах там учится так что и не думайте даже покупайте и дело с концом потому что иной раз приспичит ищешь эту самую пижаму по всему городу а тебе говорят зайдите в конце месяца зайдите в конце месяца заходишь в конце месяца а тебе говорят вчера были продали так что и не думайте даже жене после спасибо скажете а очередь я подержу не бойтесь и ты говоришь тогда ну ладно пойдем посмотрим мы в универмаг заходим и я спрашиваю ну как нра-

вится а ты плечами как-то так пожимаешь и отвечаешь не знаю черт его знает ничего вроде пижама только странная почему-то в клетку и брюки по-моему узковатые это ты говоришь а продавщица услышала молоденькая симпатичная и предлагает да вы говорит померяйте прикиньте кабина-то у нас для чего поставлена не для меня же я взяла пижаму она на плечиках на деревянных висела пошли за занавеску там три зеркала больших ты когда раздеваться стал то снежинки все то есть не снежинки а капельки они прямо все зеркала забрызгали я из-за занавески высунулась и кричу продавщице девушка у вас тряпочка есть какая-нибудь а она а для чего вам а я да зеркало протереть нужно а она а что забрызгали да немножко на улице же снег идет а у вас в магазине так тепло что растаяло все она тогда достала из-под прилавка фланельку желтенькую нате говорит и спрашивает потом ну что примерили а я говорю да нет еще примеряем пока я вам скажу когда все готово будет вы уж загляните тогда посоветуйте может брюки правда узковатые потом я смотрю а ты уже в пижаме весь и вертишься в разные стороны даже присел два раза чтобы в паху проверить ну как спрашиваю а ты да все вроде толком вот брюки узковатые разве немного да и клетка тревожная какая-то не наша еще бы говорю импортная же вещь и продавщицу зову посоветоваться у нее покупателей как раз полно она сейчас сейчас отзывается а сама не идет и не идет тогда ты говоришь я сам к ней пойду а я не пускаю ты что неудобно народ кругом а ты отвечаешь ну и что народ что они пижамы что ли не видели у них у самих у каждого по десять пар что страшного-то говоришь что мы сами не народ что ли и выходишь из кабины и девушку спрашиваешь как мол ничего сидит а она как на вас шили очень даже берите не пожалеете такого размера всего полтора комплекта осталось к вечеру ничего не будет берут очень тогда ты спрашиваешь мне кажется брюки немного узковатые а вам как кажется девушка отвечает а это фасон такой самый теперь модный куртка длинная и широковатая а брюки наоборот но если захотите так перешить же можно где расставить а вот тут например на куртке я бы наоборот в оборку взяла потому что куртка в талии действительно чуть широкая да вам жена сделает или в ателье снесите и меня спрашивает у вас машинка есть дома есть только неважная она раньше у меня зингеровская ножная была материна еще а когда дочь замуж выходила я ей подарила не жалею конечно но немного все же жалко но дочке тоже ведь необходимо у них теперь маленький растет ему то да се пошить иногда требуется пусть конечно шьет дочка на зингеровской а мы себе другую купим новая совсем электрическая но трудно на ней работать то ли она плохая то ли я не привыкла строчка на ней неровная выходит нитку рвет но уж лучше на ней чем в ателье нести в ателье же долго да и дорого так что дома подошьем разумеется а девушка говорит конечно подшейте дома вечер один посидеть и все зато хорошая получится не на один год хватит и тебя спрашивает а вам-то самому нравится ты улыбнулся даже застеснялся по-моему да нормальная пижама говоришь чего там тогда девушка тебе а вы на железной дороге небось работаете мы с тобой переглянулись откуда мол она догадалась и я вопрос ей задаю как вы узнали интересуюсь очень просто отвечает у вашего мужа фуражка на голове форменная с молотком и ключом разводным а у меня брат тоже на поездах пригородные линии обслуживает придет иногда вечером и все рассказывает про работу где какое крушение произошло где что интересно я даже завидую ему каждый день что-то новое а здесь одно и то же деться некуда брать-то будете говорит я тогда прошу ее вы пижаму пожалуйста заверните нам а я сейчас выбью пойду а она да вы сначала выбейте я и заверну сразу я пошла выбила в кассе очередь была а ты пижаму снял в кабине и смотрю несешь уже ей на плечиках она стала заворачивать ленточкой даже перевязала неправда мама неправда я все вспомнил это была бечевка я еще подумал как у нас на работе мы пакуем бандероли и перевязываем посылки у нас ее целые мотки и катушки всегда есть никогда не кончается сколько угодно хорошей бечевки это была бечевка там в магазине там у девушки там там работаем с превышением графика не беспокойтесь заходите заглядывайте проверяйте звоните велосипедным звонком в любое время посмотрим бечевку почитаем японских поэтов Николаев Семен знает их наизусть и вообще умница много читает.

Горит стосвечовая лампочка, пахнет сургучом, веревкой, бумагой. За окном — ржавые рельсы, мелкие цветы, дождь и звуки узловой станции. Действующие лица. Начальник Такой-то — человек с видами на повышение. Семен Николаев — человек с умным видом. Федор Муромцев — человек обычного вида. Эти, а также Остальные Железнодорожники сидят за общим столом и пьют чай с баранками. Те Кто Пришли стоят в дверях. Говорит Начальник Такой-то: Николаев, пришли Те Кто Пришли, они желали бы послушать стихи или прозу японских классиков. С. Николаев, открывая книгу: у меня с собой совершенно случайно Ясунари Кавабата, он пишет: «Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны. Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снегопада наступит ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля. Уже ниже нуля? Н-да, холодно. До чего ни дотронешься, все холодное. В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то градусов ниже нуля доходило. А снегу много? В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе. Теперь, наверное, начнет сыпать. Да, сейчас самое время снегопадов, ждем. Вообще-то снег выпал недавно, покрыл землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку. Разве сейчас тает? Да, но теперь только и жди снегопадов». Ф. Муромцев: вот так история, Семен Данилович, вот так рассказец. С. Николаев: это не рассказец, Федор, это отрывок из романа. Начальник Такой-то: Николаев, Те Кто Пришли хотели бы еще. С. Николаев: пожалуйста, вот наугад: «Девушка сидела и била в барабан. Я видел ее спину. Казалось, она совсем близко — в соседней комнате. Мое сердце забилось в такт барабану. Как барабан оживляет застолье! — сказала сорокалетняя, тоже смотревшая на танцовщицу». Ф. Муромцев: подумать только, а? С. Николаев: я прочту еще, это стихи одного японского поэта, это дзенский поэт Доген. Ф. Муромцев: дзенский? понятно, Семен Данилович, но вы не назвали даты его рождения и смерти, назовите, если не секрет. С. Николаев: извините, я сейчас вспомню, вот они: 1200—1253. Начальник Такой-то: всего пятьдесят три года? С. Николаев: но каких! Ф. Муромцев: каких? С. Николаев, вставая с табуретки: «Цветы весной, кукушка летом. И осенью — луна. Холодный чистый снег зимой». (Садится). Все. Ф. Муромцев: все? С. Николаев: все. Ф. Муромцев: почему-то немного, Семен Данилович, а? Маловато. Может, там еще что-то есть, возможно, оборвано? С. Николаев: нет, все, это такая специальная форма стихотворения, есть стихи длинные, поэмы, например, есть короче, а есть совсем короткие, в несколько строк или даже в одну. Ф. Муромцев: а почему, зачем? С. Николаев: да как тебе сказать, — лаконизм. Ф. Муромцев: вот оно что, значит, я так понимаю, если сравнительно брать: идут по дистанции составы — идут или не идут? С. Николаев: ну, идут. Ф. Муромцев: а ведь они тоже разные. Есть такие длинные, что конца не дождешься, чтобы полотно перейти, а есть короткие (загибает пальцы на руке), раз, два, три, четыре, пять, да, пять, скажем, вагонов или платформ — годится? тоже, стало быть, лаконизм? С. Николаев: в общем-то, да. Ф. Муромцев: ну вот, разобрались. Как вы говорите: холодный чистый снег зимой? С. Николаев: зимой. Ф. Муромцев: это уж точно, Цунео Данилович, у нас зимой всегда снегу хватает, в январе не меньше девяти сяку, а в конце сезона на два дзе тянет. Ц. Николаев: два не два, а полтора-то уж точно будет. Ф. Муромацу: чего там полтора, Цунео-сан, когда два сплошь да рядом. Ц. Накамура: это как сказать, смотря где, если у насыпи с наветренной стороны, то конечно. А в полях гораздо меньше, полтора. Ф. Муромацу: ну, полтора так полтора, Цунео-сан, зачем спорить. Ц. Накамура: смотри-ка, дождь все не кончается. Ф. Муромацу: да, дождит, неважная погода. Ц. Накамура: вся станция мокрая, одни лужи кругом, и когда только высохнет. Ф. Муромацу: в такую слякоть без зонтика лучше и не появляйся на улицу — насквозь промочит. Ц. Накамура: в прошлом году в это время была точно такая погода, у меня в доме протекла крыша, промокли все татами, и я никак не мог повесить их во дворе посушить. Ф. Муромацу: беда, Цунео-сан, такой дождь никому не идет на пользу, он только мешает. Правда, говорят, что это очень хорошо для риса, но человеку, особенно городскому, такой дождь приносит одни неприятности. Ц. Накамура: мой сосед из-за этого дождя уже неделю не встает, болеет, кашляет. Врач сказал, что если будет лить

еще какое-то время, то соседа придется отправить в больницу, иначе он никогда не выздоровеет. Ф. Муромацу: для больного нет ничего хуже дождя, воздух становится влажным, и болезнь усиливается. Ц. Накамура: сегодня утром жена хотела пойти в лавку босиком, но я попросил ее надеть гета, ведь здоровье не купишь ни на какие деньги, а заболеть проще всего. Ф. Муромацу: правильно, господин, дождь холодный, без обуви и думать нельзя выходить, в эти дни нам всегда следует поберечь себя. Ц. Накамура: немного саке не повредило бы нам, как ты думаешь? Ф. Муромацу: да, только совсем немного, одна-две порции, это оживило бы застолье не хуже барабана. Начальник Такой-то: Те Кто Пришли интересуются судьбой некоторых контейнеров. С. Николаев: каких именно? Начальник Такой-то: Шейны Трахтенберг, Ф. Муромцев: пришли, мы озабочены, нужно писать открытку, они стоят под открытым небом, дождь, они промокнут насквозь, ей нужно писать, вот бланк, вот адрес. Семен Данилович, пишите.

Уважаемая Шейна Соломоновна, — читал я, стоя в прихожей, которая казалась в то время почти огромной, потому что контейнеров еще не было, — уважаемая Шейна Соломоновна, мы, сотрудники почтовой железнодорожной конторы, имеем сообщить вам, что над всем нашим городом, а также над его окрестными местами, наблюдается затяжной предосенний дождь. Везде мокро, проселочные дороги развезло, листья деревьев пропитались влагой и пожелтели, а колеса паровозов, вагонов, дрезин сильно поржавели. В такие дни всем трудно, особенно нам, людям железной дороги. И все-таки мы решили не сбиваться с хорошего рабочего ритма, план свой выполняем, стараемся строго придерживаться обычного графика. И результаты налицо: несмотря на то, что глубина некоторых луж у нас на станции достигла двух-трех сяку, мы отправили за последнее время не меньше писем и бандеролей, чем это было сделано за тот же период прошлого года. В заключение спешим уведомить Вас, что на станцию прибыли два контейнера на Ваше имя, и просим в срочном порядке организовать их отгрузку со двора нашей конторы. С уважением. Зачем ты рассказал мне об этом, я не хотел бы думать, что ты способен читать чужие письма, ты огорчил меня, скажи мне правду, может быть, ты придумал этот случай, я же знаю — ты любишь сочинять разные истории, в разговорах с тобой я тоже многое выдумываю. Там, в больнице, Заузе ужасно смеялся над нами, что мы такие фантазеры. Больной такой-то, смеялся он, честно говоря, я не встречал человека здоровее вас, но ваша беда вот в чем: вы невероятный фантазер. И тогда мы отвечали ему: в таком случае вы не можете столь долго держать нас, мы требуем скорейшей выписки из вверенного вам з д е с ь. Тут он сразу становился серьезным и спрашивал: ну хорошо, предположим, я завтра вас выпишу, но что вы собираетесь делать, чем будете заниматься, пойдете работать или вернетесь в школу? А мы отвечали: в школу? О нет, мы поедем за город, ибо у нас есть дача, вернее, не столько у нас, сколько у наших родителей, там немыслимо великолепно, час двадцать, ожидание ветра, песок и вереск, река и лодка, весна и лето, чтение в травах, легкий завтрак, кегли и оглушительно много птиц. Потом — осень, весь поселок в дымке, но — не подумайте — не туман и не дым, а прекрасная летучая паутина. Утром — роса на страницах оставленной в саду книги, прогулка за керосином на станцию. Но, доктор, мы даем вам честное слово, что не будем пить пиво в зеленом ларьке у пруда, где плотина. Нет, доктор, мы не любим пиво. Знаете, мы подумали и о вас, вы, наверное, тоже смогли бы убыть туда на несколько дней. Мы договоримся с отцом, и он не откажет. Вот, вы приедете на семичасовом, а мы встретим вас на специальном велосипеде с коляской. Понимаете, старый велосипед, а сбоку — коляска от небольшого мотоцикла. Но вероятно, что коляски не будет: еще неизвестно, как достать такую коляску. Но велосипед — есть. Он стоит в сарае, там же находится бочка с керосином и две пустые, мы иногда кричим в них. Там есть и доски, есть разные садовые инструментарии и бабушкино кресло, то есть нет, простите, не так, отец всегда просил нас говорить наоборот: кресло бабушки. Так почтительнее, объяснял он. Однажды он сидел в этом самом кресле, а мы сидели рядом, на траве, и читали разные книги, да,

доктор, вы же в курсе, нам трудно читать долго одну книгу, мы читаем сначала одну страницу одной книги, а потом одну страницу другой. Затем можно взять третью книгу и тоже прочитать одну страницу, а уже потом снова вернуться к первой книге. Так легче, меньше устаешь. И вот мы сидели на траве с разными книгами, и в одной какой-то книге было коечто написано, мы сначала не поняли ничего, о чем это, потому что древняя довольно книга, сейчас таким языком никто не пишет, и мы сказали: папа, объясни нам, пожалуйста, мы не понимаем, что здесь написано. И тогда отец оторвался от газеты и спросил: ну, что там у тебя, снова ерунда какая-нибудь? И вот мы прочитали вслух: в ы п р о с и л у Б о г а с в е т л у ю Р у с ь с а т а н а, д а ж е о ч е р в л е н и т ю к р о в и ю м у ч е н и ч е с к о ю. Д о б р о, т ы, д и а в о л, в з д у м а л, и н а м т о л ю б о — Х р и с т а р а д и, н а ш е г о с в е т а, п о с т р а д а т ь. Мы почему-то запомнили эти слова, у нас память вообще-то плохая, вы знаете, но если что-нибудь понравится, то сразу запоминаем. А отцу не понравилось. Он вскочил с кресла, выхватил у нас ту книгу и закричал: откуда, откуда, черт бы тебя взял, что за галиматья дурацкая! А мы отвечали: вчера мы ездили на ту сторону, там живет наш учитель, и он поинтересовался, чем мы заняты и что читаем. Мы сказали, что ты дал нам несколько томов такого-то современного классика. Учитель засмеялся и побежал к реке. Потом вернулся, и с его больших веснушчатых ушей капала вода. Павел Петрович сказал нам: дорогой коллега, как славно, что имя, произнесенное вами не далее как минуту назад, растворилось, рассеялось в воздухе, будто дорожная пыль, и звуки эти не услышит тот, кого мы называем Насылающим, как хорошо, дорогой коллега, не так ли, иначе, что было бы с этим замечательным стариком, он наверняка упал бы от ярости со своего велосипеда, а затем не оставил бы от наших уважаемых поселков камня на камне, и, впрочем, недурно бы сделал, потому что время. Что же касается моих влажных ушей, которые вы так внимательно изучаете, то они оттого мокры, что я умыл их в водах зримого вами водоема, дабы очистить от скверны упомянутого имени и встретить грядущее небытие в белизне души, тела, помыслов, языка и ушей. Мой молодой друг, ученик и товарищ, — сказал нам учитель, — в горьких ли кладезях народной мудрости, в сладких ли речениях и речах, в прахе отверженных и в страхе приближенных, в скитальческих сумах и иудиных суммах, в движении о т и в стоянии н а д, во лжи обманутых и в правде оболганных, в войне и мире, в мареве и мураве, в стадиях и студиях, в стыде и страданиях, во тьме и свете, в ненависти и жалости, в жизни и вне ее — во всем этом и в прочем следует хорошенько разобраться, в этом что-то есть, может быть, немного, но есть. Там и сям, там и сям что-то произошло, и мы не можем сказать с уверенностью, что именно, ибо пока не знаем ни сути, ни имени явления, но, дорогой ученик и товарищ такой-то, когда мы выясним и вместе обсудим это, выясним причину и определим следствие, тогда придет наша пора, пора сказать некое слово — и скажем. И если случится, что вы разберетесь во всем этом первый, немедленно сообщите, адрес вы знаете: стоя над рекой на закате дня, когда умирают укушенные змеей, звонить велосипедным звонком, а лучше — звенеть деревенской косой, приговаривая: коси, коса, пока роса, или: коси-коси, ножка, где твоя дорожка, и так далее, пока загорелый учитель Павел не услышит и, приплясывая, не выйдет из дома, не отвяжет лодку, не прыгнет в нее, не возьмет в руки самодельные греби, не перегребет Лету, не сойдет на твоем берегу, не обнимет, не поцелует, не скажет добрых загадочных слов, не получит, нет, не прочитает отправленного письма, ибо его, вашего учителя, нету в живых, вот беда, вот незадача, нету в живых, а вы — живите, пока не умрете, качайте пиво из бочек и детей в колясках, дышите воздухом сосновых боров, бегайте в лугах и собирайте букеты — о цветы! как ненаглядны вы мне, как ненаглядны. Покидая сей мир, жаждал увидеть букет одуванчиков, но не дано было. Что принесли в дом мой в последний час мой, что принесли? Шелк и креп принесли, одели в ненавистный двубортный пиджак, отняли летнюю шляпу, многократно пробитую ревизорским компостером, надели какие-то брюки, дрянные — не спорьте — дрянные брюки за пятьдесят потных рублей, я никогда не носил таких, это мерзко, липнут, тело мое не дышит, не спится, а галстук, о! они нацепили мне галстук в горошек, снимите немедленно, откройте меня

и снимите хотя бы галстук, я вам не какая-нибудь канцелярская крыса, я никогда — поймите же — не ваш, не ваш — никогда не носил никаких галстуков. Неразумные, неразумные бедняги, оставшиеся жить, больные бледной немочью и мертвее меня, вы, знаю, сложились на похороны и купили весь этот шутовской наряд, да как вы посмели надеть на меня жилетку и кожаные полуботинки с металлическими полузаклепками, каких я никогда не носил при жизни, ах, вы не знали, вы полагали, будто я получаю пятьсот потных рублей в месяц и покупаю те же непотребные тряпки, что и вы. Нет, проходимцы, вам не удалось оболгать меня живого, а мертвого тем паче не удастся. Нет, я не ваш и никогда не получал больше восьмидесяти, но то были другие, не ваши, то были ветрогоновы чистые деньги, не запятнанные ложью ваших мерзостных теорий и догм, лучше избейте меня, мертвого, но снимите это, верните мне шляпу, пробитую компостером констриктора, верните все, что изъяли, мертвому положены его вещи, дайте ковбойку, сандалии в стиле римской империи эпохи строительства акведука, их я положу под мою лысеющую голову, потому что все равно, назло вам — даже и в долинах небытия — стану ходить босой, и брюки, мои залатанные брюки — вы не имеете права, мне жарко в вашем дерьме, сдайте на комиссию ваше ничто, раздайте деньги тем, кто отдавал их, я не хочу ни копейки от вас, нет, не хочу, и не навязывайте мне галстук, иначе я плюну в ваши изъеденные червями хари своей отравленной жгучей слюной, оставьте в покое учителя географии Павла Петровича! Да, я кричу и буду кричать бессонно-всегда, я кричу о великом бессмертии великого учителя Савла, я желаю быть вам неистово-отвратительным, я буду врываться в ваши сны и явь, как хулиган врывается в класс во время урока, врываться с окровавленным языком, и, неумолимый, буду кричать вам о своей недостижимой и прекрасной бедности, вы же не пытайтесь задобрить меня подарками, мне не нужны ваши потные тряпки и гнойные рубли, и прекратите музыку, или я сведу вас с ума криком честнейшего из умерших. Слушайте мой приказ, мой вопль: дайте же мне одуванчиков и принесите мои одежды! И к черту вашу сопливую похоронную музыку, гоните пинками в зад проспиртованных оркестрантов. Вонючие дряни, могильные жуки! Заткните глотки любителям панихид, прочь от тела моего, или я восстану и сам прогоню всех поганой школьной указкой, я — Павел Петрович, учитель географии, крупнейший вращатель картонного шара, я ухожу от вас, чтобы прийти, пустите!

Так говорил учитель Павел, стоя на берегу Леты. С умытых ушей его капала вода реки, а сама река медленно струилась мимо него и мимо нас вместе со всеми своими рыбами, плоскодонками, древними парусными судами, с отраженными облаками, невидимыми и грядущими утопленниками, лягушачьей икрой, ряской, с неустанными водомерами, с оборванными кусками сетей, с потерянными кем-то песчинками и золотыми браслетами, с пустыми консервными банками и тяжелыми шапками мономахов, пятнами мазута, с почти неразличимыми лицами паромщиков, с яблоками раздора, и грушами печали, и с маленькими обрезками ниппельных шлангов, не имея которых нельзя кататься на велосипеде, ибо ты не можешь накачать камеру, если не наденешь такую резиновую трубочку на вентильный стержень, а тогда все пропало, ведь если велосипедом невозможно пользоваться, то его как бы не существует, он почти исчезает, а без велосипеда на даче нечего делать: не съездишь за керосином, не прокатишься до пруда и обратно, не встретишь на станции доктора Заузе, прибывшего семичасовой электричкой: он стоит на платформе, оглядывается, смотрит во все стороны, а тебя нет, хотя вы договорились, что непременно встретишь его, и вот он стоит, ждет, а ты все не едешь, поскольку не можешь найти хороший шланг, но доктор не знает об этом, впрочем, уже смутно догадывается: наверное, предполагает он, у больного такого-то что-нибудь не в порядке с веломашиной, скорее всего с ниппелем, обычная история, с этими шлангами сплошное наказание, жаль, что я не догадался купить в городе метра два-три, ему хватило бы на все лето, — размышляет доктор. Извини, пожалуйста, а что сказал нам Павел Петрович, давая книгу, которая так не понравилась отцу? Ничего, учитель не сказал ничего. А по-моему, он сказал: книга. Даже так: вот книга. И даже больше того: вот вам книга, сказал учитель. А что сказал отец по поводу книги, когда мы передали ему наш разговор с Павлом? Отец не поверил ни одному из слов сказанных. Почему, разве мы говорили неправду? Нет, правду, но ты же знаешь отца нашего, он не верит никому, и когда я однажды заметил ему об этом, он ответил, что весь свет состоит из негодяев и только негодяев, и если бы он верил людям, то никогда бы не стал ведущим прокурором города, а работал бы в лучшем случае домоуправом, подобно Сорокину, или дачным стекольщиком. И тогда я спросил отца про газеты. А что — газеты? — отозвался отец. И я сказал: ты все время читаешь газеты. Да, читаю, — отвечал он, — газеты читаю, ну и что же. А разве там ничего не написано? — спросил я. — Почему же, — сказал отец, — там все написано, что нужно — то и написано. А если, — спросил я, — там что-то написано, то зачем же читать: негодяи же пишут. Отец спросил: что пишут? И я ответил: газеты. Отец молчал и смотрел на меня, я же смотрел на него, и мне было немного жаль его, потому что я видел, как он растерялся и как по большому белому лицу его, как две черные слезы, ползли две большие мухи, а он даже не мог смахнуть их, поскольку очень растерялся. Затем он тихо сказал мне: убирайся, я не желаю тебя видеть, сукин ты сын, убирайся куда хочешь. Дело было на даче. Я выкатил из сарая велосипед, привязал к раме сачок и поехал по дорожке нашего сада. В саду уже зрели первые яблоки, и мне казалось, я видел, что в каждом из них сидят черви и без устали грызут наши, то есть отцовы, плоды. И я думал: явится осень, а собирать в саду будет нечего, останется одна гниль. Я ехал, а сад все не кончался, ибо ему все не было конца, а когда конец наступил, я увидел перед собой забор и калитку, и у калитки стояла мама. Добрый день, мама, — крикнул я, — как ты сегодня рано с работы! Бог с тобой, с какой работы, — возражала она, — я не работаю с тех пор, как ты пошел в школу, скоро четырнадцать лет. А, вот как, — сказал я, — значит, я просто-напросто забыл, я слишком долго мчался по саду, наверное, все эти годы, и многое вылетело из головы. Знаешь, в зябликах, вернее, в яблоках нашего вертограда сидят черви, надо что-нибудь придумать, какое-нибудь средство, а то останется сплошная труха и есть будет совершенно нечего, не сваришь даже варенья. Мать глянула на мой сачок и спросила: ты что, опять поссорился с отцом? Я не хотел огорчать ее и ответил так: немного, мама, мы беседовали о первопечатнике Федорове Иоанне, я высказал убеждение, что он — аз, буки, веди, глагол, добро, еси, живите, земля, ижица и так далее, а отец не поверил и посоветовал мне поехать половить бабочек, и вот я еду. До свидания, мама, — закричал я, — еду себе, еду за луговыми желтушками, да здравствует лето, весна и цветы, величие мысли, могущество страсти, а также любви, доброты, красоты! Дин-дон, бим-бом, тик-так, тук-тук, скрип-скряп. Я недаром перечислил эти звуки, это мои любимые звуки, звуки летящего по дачной тропинке веселого велосипеда, а весь поселок уже запутался в паутине маленьких пауков, пусть до настоящей осени и было еще далеко. Но паукам все равно, до свидания, мама, не горюй, мы еще встретимся. Она крикнула: вернись! — и я оглянулся: мать тревожно стояла у калитки, и я подумал: если вернусь, ничего хорошего из этого не выйдет: мать непременно станет плакать, заставит покинуть седло велосипеда, возьмет под руку, и мы через сад возвратимся на дачу, и мать начнет мирить меня с отцом, на что потребуется еще несколько лет, а жизнь, которую в нашем и в соседних поселках принято измерять сроками так называемого в р е м е н и, днями лета и годами зимы, жизнь моя остановится и будет стоять, как сломанный велосипед в сарае, где полно старых, выцветших газет, деревянных чурок и лежат ржавые плоскогубцы. Да, ты не хотел примирения с отцом нашим. Вот почему, когда мать крикнула тебе вослед: в е р н и с ь! — ты не вернулся, хотя тебе было чуточку жаль ее, нашу терпеливую мать. Оглянувшись, ты увидел ее большие глаза цвета пожухлой травы, в них медленно оживали слезы и отражались какие-то высокие деревья с удивительной белой корой, тропинка, по которой ты ехал, и ты сам со своими длинными, худыми руками и тонкой шеей, и ты — в своем неостановимом движении о т. Человеку со стороны, замученному химерами знаменитого математика Н. Рыбкина, составителя многих учебников и сборников задач и упражнений, человеку без воображения, без фантазии, ты показался бы в те минуты скучным

велосипедистом имярек, держащим путь свой из пункта А в пункт Б, чтобы преодолеть положенное количество километров, а потом навсегда исчезнуть в облаке горячей дорожной пыли. Но я, посвященный в высокие помыслы твои и стремления, знаю, что в упомянутый день, отмеченный незаурядной солнечной погодой, ты являл собою иной, непреходящий во времени и пространстве тип велосипедиста. Непримиримость с окружающей действительностью, стойкость в борьбе с лицемерием и ханжеством, несгибаемая воля, твердость в достижении поставленной цели, исключительная принципиальность и честность в отношениях с товарищами — эти и многие другие замечательные качества ставили тебя вне обычного ряда велосипедистов. Ты был не только и не сколько велосипедистом, сколько велосипедистом-человеком, вело-машинистом-гражданином. Право, мне как-то неловко, что ты так хвалишь меня. Я уверен, что совсем не стою этих красивых слов. Мне представляется даже, я неправильно поступил в упомянутый день, я, наверное, должен был вернуться на зов матери и успокоить ее, но я ехал и ехал со своим сачком, и мне было безразлично, как и куда ехать, мне было просто хорошо ехать, и, как это обычно бывает со мной, когда мне никто не мешает мыслить, я просто мыслил обо всем, что видел.

Помню, я обратил внимание на чью-то дачу и подумал: вот дача, в ней два этажа, здесь кто-то живет, какая-нибудь семья. Часть семьи живет всю неделю, а часть только в субботу и в воскресенье. Потом я увидел небольшую двухколесную тележку, она стояла на опушке рощи, возле сенного стога, и я сказал себе: вот тележка, на ней можно возить разные вещи, как-то: землю, гравий, чемоданы, карандаши фабрики имени Сакко и Ванцетти, дикий мед, плоды манговых деревьев, альпенштоки, поделки из слоновой кости, дранку, собрания сочинений, клетки с кроликами, урны избирательные и для мусора, пуховики и наоборот — ядра, краденые умывальники, табели о рангах и мануфактуру периода Парижской Коммуны. А сейчас вернется некто и станет возить на тележке сено, тележка очень удобная. Я увидел маленькую девочку, она вела на веревке собаку — обыкновенную, простую собаку, — они шли в сторону станции. Я знал, сейчас девочка идет на пруд, она будет купаться и купать свою простую собаку, а затем минует сколько-то лет, девочка станет взрослой и начнет жить взрослой жизнью: выйдет замуж, будет читать серьезные книги, спешить и опаздывать на работу, покупать мебель, часами говорить по телефону, стирать чулки, готовить есть себе и другим, ходить в гости и пьянеть от вина, завидовать соседям и птицам, следить за метеосводками, вытирать пыль, считать копейки, ждать ребенка, ходить к зубному, отдавать туфли в ремонт, нравиться мужчинам, смотреть в окно на проезжающие автомобили, посещать концерты и музеи, смеяться, когда не смешно, краснеть, когда стыдно, плакать, когда плачется, кричать от боли, стонать от прикосновений любимого, постепенно седеть, красить ресницы и волосы, мыть руки перед обедом, а ноги — перед сном, платить пени, расписываться в получении переводов, листать журналы, встречать на улицах старых знакомых, выступать на собраниях, хоронить родственников, греметь посудой на кухне, пробовать курить, пересказывать сюжеты фильмов, дерзить начальству, жаловаться, что опять мигрень, выезжать за город и собирать грибы, изменять мужу, бегать по магазинам, смотреть салюты, любить Шопена, нести вздор, бояться пополнеть, мечтать о поездке за границу, думать о самоубийстве, ругать неисправные лифты, копить на черный день, петь романсы, ждать ребенка, хранить давние фотографии, продвигаться по службе, визжать от ужаса, осуждающе качать головой, сетовать на бесконечные дожди, сожалеть об утраченном, слушать последние известия по радио, ловить такси, ездить на юг, воспитывать детей, часами простаивать в очередях, непоправимо стареть, одеваться по моде, ругать правительство, жить по инерции, пить корвалол, проклинать мужа, сидеть на диете, уходить и возвращаться, красить губы, не желать ничего больше, навещать родителей, считать, что все кончено, а также — что вельвет (драпбатистшелкситецсафьян) очень практичный, сидеть на бюллетене, лгать подругам и родственникам, забывать обо всем на свете, занимать деньги, жить, как живут все, и вспоминать дачу, пруд

и простую собаку. Я увидел сосну, опаленную молнией: желтые иглы. Я представил себе июльскую грозовую ночь. Сначала в поселке было тихо и душно, и все спали с открытыми окнами. Потом тайно явилась туча, она заволокла звезды и привела с собой ветер. Ветер дунул — по всему поселку захлопали рамы, двери, и зазвенели разбитые стекла. Затем в полной темноте загудел дождь: он намочил крыши, сады, оставленные в садах раскладушки, матрацы, гамаки, простыни, детские игрушки, буквари — и все остальное. В дачах проснулись. Зажигали, но тут же гасили свет, ходили по комнатам, смотрели в окна и говорили друг другу: ну и гроза, ну и льет. Били молнии, яблоки дозревали и падали в траву. Одна молния ударила совсем рядом, никто не знал, где именно, однако сходились на том, что где-то прямо в поселке, и те, у кого на крыше не было громоотводов, давали себе слово, что завтра же поставят. А молния попала в сосну, которая жила на краю леса, но не обожгла, а лишь опалила ее, причем осветила весь лес, поселок, станцию, участок железнодорожной ветки. Молния ослепила идущие поезда, посеребрила рельсы, выбелила шпалы. А потом — о, я знаю, — потом ты увидел дом, где жила т а женщина, и ты оставил велосипед у забора и постучал в ворота: тук-тук, милая, тук-тук, вот пришел я, твой робкий, твой нежный, открой и прими меня, открой и прими, мне ничего от тебя не нужно, я только взгляну на тебя и уеду, не прогоняй меня, только не прогоняй, милая, думаю о тебе, плачу и молюсь о тебе.

Нет-нет, я ничего не скажу тебе, ты не имеешь права расспрашивать меня о моих личных делах, тебе не должно быть до той женщины никакого дела, не приставай, ты дурак, ты больной человек, я не хочу тебя знать, я позвоню доктору Заузе, пусть он отвезет тебя снова т у д а, потому что ты надоел и противен мне, кто ты такой, почему ты лезешь ко мне с расспросами, перестань, лучше перестань, или я что-нибудь с тобой сделаю, что-нибудь нехорошее. Не притворяйся, будто ты не знаешь, кто я такой, если ты называешь меня сумасшедшим, то ты сам точно такой же сумасшедший, потому что я — это ты сам, но ты до сих пор не хочешь понять этого, и если ты позвонишь доктору Заузе, тебя отправят т у д а вместе со мной, и ты не сможешь видеть ту женщину два или три месяца, а когда мы выпишемся, я приду к той женщине и скажу о тебе всю правду, я скажу ей, что тебе вовсе не столько-то лет, как ты утверждаешь, а всего столько-то и что ты учишься в школе для дураков не по собственному желанию, а потому, что в нормальную школу тебя не приняли, ты болен, как и я, ужасно болен, ты почти идиот, ты не можешь выучить ни одного стихотворения, и пусть женщина немедленно бросит тебя, навсегда оставит стоять одного на темном пригородном перроне, да, снежной ночью, когда все фонари разбиты и все электрические поезда ушли, и я скажу ей: тот человек, который хочет вам понравиться, недостоин вас, и вы не можете быть с ним, поскольку он никогда не сможет быть с вами как с женщиной, он обманывает вас, он сумасшедший сопляк, плохой ученик спецшколы и не в состоянии выучить ничего наизусть, и вы, тридцатилетняя серьезная женщина, вы должны забыть, оставить его на заснеженном перроне ночью и отдать предпочтение мне, настоящему человеку, взрослому мужчине, честному и здоровому, ибо я очень хотел бы этого и без труда выучиваю наизусть любое стихотворение и решаю любую задачу жизни. Врешь, это подлость, ты не скажешь ей так, потому что ничем не отличаешься от меня, ты такой же, такой же глупый и неспособный и учишься вместе со мной в одном классе, ты просто решил избавиться от меня, ты любишь ту женщину, а я мешаю тебе, но у тебя ничего не получится, я сам приду к ней и расскажу всю правду — о себе и о тебе, я признаюсь, что люблю ее, хотел бы всегда, целую жизнь быть с ней, хотя ни разу, никогда не пробовал быть ни с одной женщиной, но, наверное, да, конечно, для нее, для той женщины, это не имеет значения, ведь она так красива, так умна — нет, не имеет значения! и если я даже не сумею быть с ней как с женщиной, она простит мне, ведь это не нужно, не обязательно, а про тебя я скажу ей так: скоро к вам явится человек, чем-то похожий на меня, он постучит в дверь: тук-тук, он попросит, чтобы вы бросили меня одного на заснеженном перроне, потому что я больной,

но, пожалуйста, пожалуйста, скажу я, не верьте ему, ничему не верьте, он сам рассчитывает быть с вами, но он не имеет на это никакого права, потому что гораздо хуже меня, вы поймете это сразу, как только он явится и заговорит, так не верьте же ему, не верьте, в связи с тем, что его нет на свете, не существует, не имеет места, не есть, нет его, нет, милая, один я, один пришел к тебе, тихий и светлый, добрый и чистый, так скажу я ей, а ты, ты, которого нет, запомни: у тебя ничего не выйдет: ты любишь ту женщину, но не знаешь ее, не знаешь, где она живет, не знаешь ее имени, как же ты придешь к ней, безмозглый дурак, ничтожество, несчастный ученик спецшколы! Да, я люблю, я, наверное, люблю ту женщину, но ты в заблуждении, ты уверен, что я не знаю ее, и где она живет, а я — знаю! ты понял меня? я знаю о ней все, даже ее имя. Ты не можешь, ты не должен знать это имя, ее имя знаю только я — один на всем свете. Ты просчитался: Вета, ее зовут Вета, я люблю женщину по имени Вета Акатова.

Когда наши дачи окутает сумрак, и небесный ковш, опрокинувшись над землей, прольет свои росы на берега восхитительной Леты, я выхожу из дома отца моего и тихо иду по саду — тихо, чтобы не разбудить тебя, странного человека, живущего рядом со мной. Я крадусь по своему старому следу, по травам и по песку, стараясь не наступать на пылающих светляков и на спящих стрекоз симпетрум. Я спускаюсь к реке, и мое отражение улыбается мне, когда я отвязываю от корявой ветлы отцовскую лодку. Я смазываю уключины густой и темной водой, почерпнутой из реки, — и путь мой лежит за вторую излучину, в Край Одинокого Козодоя, птицы хорошего лета. Путь мой ни мал, ни велик, я сравню его с ходом тусклой швейной иглы, сшивающей облако, ветром разъятое на куски. Вот я плыву, качаясь на волнах призрачных пароходов, вот я миную первую излучину и вторую и, бросив весла, гляжу на берег: он плывет мне навстречу, шурша камышами и покрякивая добрым утиным голосом. Доброй ночи, Берег Одинокого Козодоя, это я, каникулярный ученик специальной школы — такой-то, разреши мне, разреши мне оставить у твоих замечательных камышовых кустов лодку отца моего, позволь мне пройти по тропинкам твоим, я хотел бы навестить женщину по имени Вета. Я поднимаюсь на высокий холмистый берег и шагаю в сторону высокого глухого забора, за которым угадывается дом с веселыми деревянными башенками по углам, но только угадывается, на самом деле в такую темную ночь среди тугих сплетений акаций и других высоких кустарников и дерев не различишь ни самого дома, ни башенок. Лишь на втором этаже, в мансарде, ясно и зелено горит и светит идущему мне лампа Веты Аркадьевны, моей загадочной женщины Веты. Я знаю место, где можно легко перелезть через забор, я перелезаю через него и слышу, как по высоким газонам парка мне навстречу бежит ее простая собака. Я достаю из кармана кусок колотого сахару и даю собаке, — лохматая, желтая, она машет хвостом и смеется, она знает, как я люблю мою Вету, и никогда меня не укусит. И вот я подхожу к самому дому. Это очень большая дача, в ней много комнат, ее построил отец Веты, натуралист, старый ученый с мировым именем, который в молодости пытался доказать, что так называемые г а л л ы — вздутия на различных частях растений — не что иное, как жилища вредных личинок насекомых и что вызываются они, галлы, главным образом, уколами различных ос, комаров и жуков-слоников, которые откладывают в эти растения свои яйца. Но ему, академику Акатову, мало кто верил, и однажды к нему в дом пришли какие-то люди в заснеженных пальто, и академика куда-то надолго увели, и где-то там, неизвестно где, били по лицу и в живот, чтобы Акатов никогда больше не смел утверждать всю эту чепуху. А когда его отпустили, выяснилось, что прошло уже много лет и он состарился и плохо стал видеть и слышать, зато вздутия на различных частях растений остались, и все эти годы, как убедились люди в заснеженных пальто, во вздутиях действительно жили вредные личинки, вот почему они, личинки, то есть нет, люди, а может быть, те и другие вместе, решили отпустить академика, а также выдать ему поощрительную премию, чтобы он построил себе дачу и спокойно, без помех, исследовал галлы. Акатов так и поступил: построил дачу, посадил на участке цветы, завел собаку, развел пчел и исследует галлы. А сейчас, в ночь моего прихода в Край Одинокого Козодоя, академик затерялся в одной из спален особняка и спит, не зная, что я пришел и стою под окном его дочери Веты и шепчу ей: Вета, Вета, Вета, это я, ученик специальной школы такой-то, отзовись — я люблю тебя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Теперь

рассказы, написанные на веранде

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Он уезжал в армию. Он понимал, что три года не пройдут для него быстро: они будут похожи на три северные зимы. И не важно, куда его пошлют служить, пусть даже на юг, — все равно любой год из трех окажется невероятно длинной снежной зимой. Он думал так сейчас, когда шел к ней. Она не любила его. Она была слишком хороша, чтобы любить его. Он знал это, но ему недавно исполнилось восемнадцать, и он не мог не думать о ней каждую минуту. Он замечал, что думает о ней постоянно, и радовался, что ничего не хочет от нее и, значит, действительно любит. Эта история продолжалась два года; он удивлялся, что не хочет думать больше ни о чем и это не надоедает. А вообще-то, размышлял он, с этим надо кончать. Сегодня его провожают в армию, а завтра он уедет куда-нибудь далеко, в три зимы, и все там забудет. Он ей не напишет ни одного письма: она все равно не ответит. Вот он придет к ней и все ей расскажет. Он вел себя страшно глупо. Вечерами он гулял под ее окнами допоздна, а когда окна гасли, зачем-то еще стоял и стоял, глядя на черные стекла. Потом шел домой, там курил на кухне до утренних сумерек, стряхивая пепел на обшарпанный пол. Из окна виден был ночной дворик с беседкой. На беседке всегда светил фонарь, под которым прибили доску с надписью: «Летняя читальня». На рассвете взлетали голуби. Шагая в знобящих утрах призывной осени, он ощущал странную невесомость тела, которая сплеталась в его сознании с необъяснимостью всего, что он знал и чувствовал. В такое время он задавал себе много разных вопросов, но обычно не находил ответа ни на один — он шел к дому, где жила она. Она выходила из подъезда в половине восьмого и всегда миновала двор торопясь, а он наблюдал за ней из фанерной беседки, на которой тоже висел фонарь и такая же доска — «Летняя читальня». Глупая вывеска, думал он, глупая, летом никто не читает в беседке. Думая так, он следовал за девушкой на таком расстоянии, чтобы она не слышала и не чувствовала его за собой. Сейчас он вспоминал все это и понимал, что сегодня последний день, когда он сможет увидеть девушку, двор, где она живет, «Летнюю читальню» в ее дворе. Он поднимается на второй этаж и стучит в ее дверь.

ТРИ ЛЕТА ПОДРЯД. Ее отец и я — мы работали в одном театре. Ее отец был актер, а я работал рабочим сцены. Однажды после спектакля он повез меня к себе домой, угостил заграничным вином и познакомил с ней. Они жили вдвоем на втором этаже желтого двухэтажного барака. Из окна их комнаты можно было увидеть другой, такой же барак и маленькое кладбище с церковью посредине. Я забыл, как звали дочку актера. Но даже если бы я помнил сейчас ее имя, то не стал бы называть: какое вам дело. Так вот, она жила в желтом бараке на окраине города и была дочерью актера. Очень может быть, что вам нет до нее никакого дела. Но тогда вы можете не слушать. Никто никого не заставляет. А если говорить серьезно, то вы можете вообще ничего не делать — и я не скажу вам ни слова. Только не старайтесь узнать ее имя, а то я вообще не буду рассказывать. Мы встречались три года: три зимы и три лета подряд. Она часто приезжала в театр и просиживала целые спектакли в полупустом зале. Я смотрел на нее, стоя за дырявой кулисой, — моя девушка сидела всегда в третьем ряду. Ее отец играл маленькие эпизодические роли

и появлялся не больше трох раз за все представление. Я знал, что она мечтает, чтобы отец хоть раз получил большую роль. Но я догадывался, что он не получит хорошей роли. Потому что если актер за двадцать лет не получил стоящей роли, он никогда ее не получит. Но я не говорил ей об этом. Я не говорил ей об этом ни тогда, когда мы гуляли по очень вечерним и очень зимним улицам города после спектаклей и бегали за скрипящими на поворотах трамваями, чтобы согреться; ни тогда, когда мы в дождливые дни ходили в планетарий и целовались в пустом темном зале под искусственным звездным небом. Я не говорил ей об этом ни в первое лето, ни во второе, ни в третье, когда ее отец уехал на гастроли и мы торопливыми ночами бродили на маленьком кладбище вокруг церкви, где росли сирень, бузина и верба. Я не говорил ей об этом. И еще я не говорил ей о том, что она некрасива и что я, наверное, когда-нибудь не буду гулять с ней. И еще я не говорил ей о других девушках, с которыми я встречался раньше или в другие дни того же времени. Я только говорил, что люблю ее, — и любил. А может, вы думаете, что можно любить только красивых девушек, или думаете, когда любишь одну, то нельзя гулять с другими? Так ведь я уже сказал вам — вы можете вообще ничего не делать в своей жизни, в том числе не гулять ни с одной девушкой на свете, — и я не скажу вам ни слова. Но не в этом дело. Речь идет не о вас, а о ней. Это ей я говорил, что люблю ее. И сейчас, если я когда-нибудь встречу ее, мы пойдем с ней в планетарий или на заросшее бузиной кладбище и там, как и много лет назад, я снова скажу ей об этом. Не верите?

КАК ВСЕГДА В ВОСКРЕСЕНЬЕ. А прокурор терпеть не мог родственников. Я вставлял ему стекла, а тут понаехала на дачу родня, и он ходил по участку весь какой-то белый с газетой под мышкой. Он был белый, как те места в газете, где ничего не написано. А все в дачном поселке и в деревне за лугом знали, что он терпеть не может ни родственников, ни беспорядка, потому что где родственники, там беспорядок, а где беспорядок — там и пьянка. Это он так говорит. Я сам слышал. Я вставлял ему стекла, а он в это время говорил так жене. И жена у него тоже интересная. Я ей и стекла сколько раз вставлял, и печь перекладывал, и сарай мастерил, а ни разу не угостила. Деньги дает, а насчет этого всегда ноль. Я за любую работу берусь. Я у людей гальюны чищу, а вот у прокурора не приходилось. Мне жена его не разрешает. Нечего, говорит, вам пачкаться — я сама. И правда. Раз весной я им стекла вставляю, а она берет в сарае лопату специальную — и давай дерьмо под деревья таскать. Потом она с этим делом покончила и попросила, чтобы я замок в гальюне врезал, чтобы можно было на зиму запирать, чтобы соседи ничего зря не таскали. А то таскают, говорит, почем зря: с удобрениями, мол, сейчас тяжело. Замок я, конечно, врезал, а потом сосед ихний, товарищ прокурора, попросил меня ключ к замку прокурорскому подобрать. Ну, угостил, все, как следует быть. Ну, и подобрал я ему, конечно, ключ. Только потом разговор такой в комендатуре слышу, что вроде бы у прокурора гальюн обчистили, когда прокурор в городе был. А мне-то что — я в комендатуре стекла вставляю, да и все. Мне в этом поселке работы на всю жизнь хватит. Зимой шпана всякая на дачах живет — стекла бьют, печки рушат, а мне и лучше. Как снег сошел — так у меня работа пошла. Вот и позвал меня прокурор стекла чинить. Ему наши деревенские все стекла за зиму выбили. Даже на чердаке. И еще крышу на веранде проломили. Тоже моя забота. Будет время — и крышу починю. А в тот день с утра стекла вставляю. Прокурор в гамаке газету читает — то заснет, то проснется. Жена его в то же самое время яму огромную копает посреди участка. Зачем, спрашиваю. Я, отвечает, к яме по всему участку канавки проведу, чтобы все дожди мои были. Ладно, думаю, копай, а я стекла буду вставлять. А прокурор, говорю, то заснет, то проснется, а то уйдет из гамака, подойдет к забору и переговаривается с соседом, с товарищем прокурора. Что это, товарищ прокурор, говорит товарищ прокурора, у вас стекол-то совсем ноль? Да вот, прокурор отвечает, зимой здесь ветры, наверное, сильные — ветром и выдавило. Да, товарищ прокурора говорит, я слышал, у вас недавно и гальюн обчистили? Да, прокурор говорит, обчистили хулиганье проклятое. Жаль, товарищ прокурора говорит, неприятно. А ведь сам же, сукин кот, и обчистил. А забавный человек этот товарищ прокурора. На дачу едет — одет как человек, а только приехал — это сразу на голову колпак какой-то, на себя рвань всякую натягивает, на ноги — галоши и веревкой подпоясывается, а галоши веревочками подвязывает. Ладно, думаю, подвязывай, а я стекла стану вставлять. А вечером я с тебя, дерьмокрада, трехрублевку сдеру. А не дашь — товарищу прокурору обо всем доложить придется. Прокурор, он ведь беспорядка терпеть не может. И родственников. А они как раз к обеду и подъехали. Прокурор — он побелел весь, говорю, даже газету перестал читать. Ходит по участку — ногами одуванчики топчет. Он и сам на одуванчика похож — круглый и, как пустая газета, белый, а родственников у него полно — человек девять подъехало к обеду. Все веселые, игры сразу на траве затеяли, мальчишку прокурорского в ларек сразу послали. Ну и выступили мы в тот раз с ними. Славные же люди. Кто кондуктором в городе, кто шоферит, а двое лифтеры. Еще один тренер и еще — экскаваторщик. И с ним дочка его была. У нас с ней все хорошо получилось, в самую тютельку. И погода как раз сухая оказалась — как всегда в воскресенье.

РЕПЕТИТОР. Учитель физики жил в переулке. Он был моим репетитором, и я на троллейбусе два раза в неделю приезжала к нему, чтобы заниматься. Мы занимались в маленькой комнате в полуподвале, где учитель жил вместе с несколькими родственниками, но я никогда не видела их и ничего о них не знаю. Я сейчас расскажу о самом учителе и еще о том, как и чем мы с ним занимались тем душным летом и какой запах был в том переулке. В этом переулке постоянно и сильно пахло рыбой, потому что где-то рядом был магазин «Рыба». Сквозняк гнал запах по переулку, и запах проникал через открытое окно к нам в комнату, где мы рассматривали неприличные открытки. У репетитора была большая коллекция этих открыток — шесть или семь альбомов. Он специально бывал на разных вокзалах города и покупал у каких-то людей целые комплекты таких фотографий. Учитель был толстый, но красивый, и лет ему было не слишком много. В жару он потел и включал настольный вентилятор, но это не особенно помогало, и он все равно потел. Я всегда смеялась над этим. Когда нам надоедало смотреть открытки, он рассказывал мне анекдоты, и нам было спокойно и весело вдвоем в комнате с вентилятором. И еще он рассказывал мне про своих женщин. Он говорил, что у него в разное время было много разных женщин: большие, маленькие и разного возраста, но он до сих пор не решил, какие все-таки лучше — маленькие или большие. Когда как, говорил он, когда как, все зависит от настроения. Он рассказывал, что был на войне пулеметчиком и там, в семнадцать лет, стал мужчиной. В то лето, когда он был моим репетитором, мне тоже исполнилось семнадцать лет. В институт я не поступила, и за это мне здорово досталось от родителей. Я завалила физику и пошла медсестрой в больницу. На следующий год я поступала в другой институт, где не нужно было сдавать физику, — и поступила. Правда, потом меня отчислили со второго курса, потому что застали в общежитии с одним парнем. У нас с ним ничего не было, просто мы сидели и курили, и он целовал меня, а дверь комнаты была закрыта. А когда стали стучаться, мы дверь долго не открывали, а когда открыли, нам никто не поверил. Теперь я работаю телеграфисткой на станции. Но это неважно. Своего репетитора я не видела почти десять лет. Сколько раз я пробегала или проезжала на троллейбусе мимо его переулка, но ни разу не зашла. Я не знаю, почему так происходит в жизни, что никак не можешь сделать чего-то несложного, но важного. Несколько лет я проходила совсем близко от того дома и всегда думала о моем физике, вспоминала его смешные открытки, вентилятор, его корявую деревянную трость, с которой он для важности выходил даже на кухню посмотреть чайник. И все-таки недавно, когда мне было грустно, я зашла. Я позвонила два раза, как раньше. Он вышел, я поздоровалась, он тоже поздоровался, но почему-то не узнал меня и даже не пригласил в комнату. Я просила, чтобы он постарался вспомнить меня, напоминала, как мы смотрели открытки, говорила о вентиляторе, о том лете — он ниче-

го не помнил. Он сказал, что когда-то у него действительно было много учеников и учениц, но теперь он не помнит почти никого. Идут, говорит, годы, идут. Он немного постарел, мой физик.

БОЛЬНАЯ ДЕВУШКА. В июле ночи можно проводить на веранде — не холодно. А печальные и большие ночные бабочки почти не мешают: их легко можно отогнать дымом сигареты. В этом рассказе, который я пишу июльской ночью на веранде, речь пойдет о больной девушке. Она очень больна. Она живет на соседней даче вместе с человеком, которого она считает своим дедушкой. Дедушка сильно пьет, он стекольщик, он вставляет стекла, ему не больше пятидесяти лет, и я не верю, что он ее дедушка. Однажды, когда я, как обычно, проводил ночь на веранде, ко мне постучалась больная девушка. Она пришла через калитку в заборе, который разделяет наши небольшие участки. Пришла через сад и постучалась. Я включил свет и отворил дверь. Лицо и руки ее были в крови — это стекольщик избил ее, и она пришла ко мне через сад, чтобы я помог ей. Я умыл ее, смазал ссадины зеленкой и напоил чаем. Она до утра просидела у меня на веранде, и мне казалось, что мы о многом успели поговорить. Но на самом деле мы молчали всю ночь, потому что она почти не умеет говорить и очень плохо слышит из-за своей болезни. Утром, как всегда, рассвело, и я проводил девушку домой по садовой тропинке. За городом, да и в Москве, я предпочитаю жить один, и тропинки вокруг моего дома едва намечены. В то утро трава в саду была белой от росы, и я пожалел, что не надел галоши. У калитки мы немного постояли. Она попыталась сказать мне что-то, но не смогла и заплакала от горечи и болезни. Девушка повернула вертушку, которая, как и весь забор, была мокрая от осеннего тумана, и побежала к своему дому. А калитка осталась открытой. С тех пор мы подружились. Она иногда приходила ко мне, и я что-нибудь рисую или пишу для нее на ватманских листках. Ей нравятся мои рисунки. Она рассматривает их и улыбается, а потом уходит домой через сад. Она идет, задевая головой ветки яблонь, оглядывается, улыбается мне или смеется. И я замечаю, что после каждого ее прихода мои тропинки обозначаются как будто все лучше. Пожалуй, и все. Больше мне нечего сказать о больной девушке из соседнего дома. Да, это небольшой рассказ. Даже совсем небольшой. Даже ночные мотыльки на веранде кажутся больше.

В ДЮНАХ. Хорошо встречаться с девушкой, мать которой работает на земснаряде: если кто-нибудь спросит, ты прямо так и скажешь — она работает на земснаряде. И каждый позавидует. Они углубляли фарватер, и круглые сутки по специальным трубам шла на берег жидкая песчаная каша со дна. Эта жижа шла на берег, и постепенно вокруг залива образовались песчаные дюны. Тут можно было загорать даже в самую ветреную погоду — лишь бы светило солнце. Я приезжал на остров на мотоцикле каждый день с утра и, стоя на самой высокой дюне, крутил над головой выцветшую ковбойку. Как только она с земснаряда замечала меня, она садилась в большую дырявую лодку, привязанную к барже, и быстро гребла к берегу. Здесь были наши, только наши дюны — потому что именно мать моей девушки намыла эти веселые сыпучие холмы. А лето было — как на цветных открытках, и пахло речной водой, ивой и смолой соснового бора. Бор был на другой стороне залива, и в конце недели там отдыхали люди с наборами бадминтона. А по заливу катались и беседовали в голубых лодках воскресные парочки. Но никто не высаживался на нашем берегу, и никто, кроме нас, не загорал в наших дюнах. Мы лежали на горячем, очень горячем песке и купались или бегали наперегонки, а земснаряд постоянно гудел, и плотная женщина в синем комбинезоне ходила по палубе, осматривая механизмы. Я глядел на нее издали, с берега, и всегда думал, что мне здорово повезло — я встречаюсь с девушкой, мать которой живет и работает на этой замечательной штуке. В августе начались дожди, и мы построили в дюнах шалаш из ивовых веток, хотя, понимаете, дело было не только в дождях. Шалаш стоял прямо у воды. Вечерами мы жгли костер — он отражался в заливе и высвечивал разные плывущие деревяшки. Ну вот, а в самом конце лета мы поссорились, и с тех пор я ни разу не приезжал к ней. Осенью было чертовски грустно, и листья носились по всему городу, как сумасшедшие. Ну что, еще по маленькой?

ДИССЕРТАЦИЯ. Творческий отпуск профессор проводил за городом. Он писал докторскую диссертацию по химии: делал выписки из книг, возился с пробирками, а между тем стоял удивительно теплый сентябрь. Кроме того, профессор любил пиво и перед обедом ходил в сарай, который стоял в глубине сада. Там, в сарае, в углу, в прохладе, была пивная бочка. С помощью резинового шланга профессор отсасывал немного пива в пятилитровый бидон и возвращался в дом, стараясь не расплескать влагу. Обед ему готовила дальняя родственница жены, явившаяся откуда-то издалека месяц назад как снег на голову, или как родственница жены, а сама жена у профессора давно умерла, и другой пока не было. Надо сказать, что завтрак и ужин готовила та же родственница жены, но обычно это бывало соответственно по утрам и вечерам, а в полдень она готовила именно обед. Во второй половине дня профессор гулял по дачному поселку или удил рыбу в пруду за березовой рощей. Рыбы в пруду не было, и, как правило, профессору ничего не удавалось поймать. Но это не огорчало его, а чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, он рвал на опушках поздние полевые цветы и составлял неплохие букеты. Вернувшись на дачу, он молча дарил цветы дальней родственнице, имя которой никак не мог вспомнить, а спросить забывал. Этой женщине было около сорока лет, но она любила знаки внимания как в двадцать, а по утрам делала зарядку за сараем. Профессор не знал об этом, но даже если бы сосед-стекольщик, который прекрасно знал об этом и не раз видел это из-за забора, даже если бы стекольщик сказал об этом профессору, тот бы ни за что не поверил и уж, во всяком случае, никогда бы не стал подсматривать. Впрочем, однажды на заре ему неожиданно захотелось пива, и он на цыпочках, чтобы не шуметь, пошел в сарай, и пока пиво по шлангу лилось из бочки в бидон, профессор стоял у запаутиненного паучками окошечка и смотрел, как родственница жены в легком купальном костюме скачет, приседает и машет руками на садовой лужайке. После завтрака профессор не работал, а занимался какой-то ерундой: достал с чердака два ржавых велосипеда, починил и накачал их, а потом погладил костюм и съездил на станцию за вином. Кроме вина, он купил шпроты и виноград и помог родственнице готовить обед. За обедом профессор говорил о том, какая замечательная погода стоит вот уже две недели, какие синие васильки растут в роще и какие замечательные ржавые велосипеды он достал с чердака. Вечером они катались. По шоссе. На велосипедах. Возвратились поздно — с цветами на рулях. На голове у родственницы был венок. Это профессор сам сплел ей венок. Это был сюрприз для нее, ведь она же не знала раньше, что он умеет плести венки и ремонтировать велосипеды. Да ведь и профессор не знал, что его, в сущности, родственница скачет на садовой лужайке. Каждое утро. В легком купальнике. И машет руками.

МЕСТНОСТЬ. Рядом проходит железная дорога, и желтые электрические поезда идут мимо озера. Одни поезда идут в город, а другие — за город. А здесь — пригород. И поэтому даже в самую солнечную погоду все тут кажется ненастоящим. За линией железной дороги, за полосой отчуждения, большими домами начинается город, а в другой стороне, за озером, растет сосновый бор. Одни называют его парком, другие — лесом. Но на самом деле это — лесопарк. Здесь пригород, и, кажется, ничего определенного вокруг не увидишь. Когда-то местность эта считалась дачной, а теперь дачи стали просто старыми деревянными домами пригорода. Дома пахнут керосином, а живут в них пожилые тихие люди. Близко к лесопарку подходит одноколейная ветка железной дороги. Ветка ведет в тупик — поезда сюда не заходят. Рельсы заржавели, а шпалы сгнили. В тупике, на опушке лесопарка, стоят коричневые вагоны. В этих вагонах живут ремонтные рабочие. У них временная пригородная прописка, и у каждого большая семья. Любой ремонтник знает, что в заболоченном озере рядом

рыба не водится, но в выходные часы все они идут с удочками на берег и пытаются что-нибудь поймать. У одного рабочего, который живет в третьем от лесопарка вагоне, дочка восемнадцати лет. Она родилась здесь, в вагоне, и ей нравится все, что связано с железной дорогой, ей нравится вся эта пригородная местность. И еще ей нравится молодой человек из города, который нередко приезжает с приятелями в лесопарк поиграть в футбол на замусоренных полянах. Он хороший парень, ухаживает за дочкой ремонтника и уже не раз заходил к ним в гости на чай. Ему тоже нравятся эти вагончики в тупике. Знаете, пожалуй, он скоро женится на дочке ремонтника и станет бывать здесь еще чаще. Свадьба состоится в воскресный день, танцы устроят на берегу озера, а танцевать будут все — все, кто живет в коричневых вагончиках тупика.

СРЕДИ ПУСТЫРЕЙ. Наверху, на третьем, захлопнулась дверь, и я остался один. Через распахнутые окна в подъезд задувал ветер с пустырей, и здесь, на лестнице, было немногим теплее, чем на улице. Я закурил и вышел во двор, где на веревках сушилось белье жителей этого дома. Наволочки, простыни, пододеяльники надувались ветром. Я сел на влажную от росы скамейку: передо мной стоял невероятно длинный пятиэтажный дом, я никогда еще не видел такого длинного дома; тень от дома кончалась у моих ног. Я был освещен беспомощным солнцем сентября. По небу шли дряблые, похожие на мускулы стариков, облака, а за спиной у меня зияли бесконечные окраинные пустыри, такие бесконечные, что даже городская свалка терялась среди них и о ней напоминал только неприятный запах. Сигарета, которую я курил, быстро кончилась на ветру, а больше у меня не было, и я решил сходить в магазин. Но я не знал, где магазин. Я вообще ничего не знал здесь, у меня не было здесь ни знакомых людей, ни улиц, и я не знал, не хотел знать, что делает с моей невестой та женщина, которая согласилась помочь нам. Та женщина жила и лечила в этом длинном однообразном доме. Пройдя по затененному двору, я обошел дом слева и выбрался на асфальтовую дорогу. Вокруг стояли новые здания, похожие на тот дом. Пожалуй, я немного боялся этих однообразных домов. Но я хотел курить и шел в магазин, делая вид, будто мне нет до них никакого дела. Да так оно и было, я только немного боялся их: они издали смотрели мне в спину и в глаза, а рядом никого не было. Но скоро я догнал девушку. Она несла две авоськи с продуктами, и я решил, что она знает, где можно купить сигареты. Я окликнул ее и спросил. Она сказала, что проводит меня до магазина, чтобы я не заблудился. Дул ветер. Зияли пустыри с домами. Возле домов на веревках болталось надутое постельное белье. На пустырях, поедая семена трав, шелестели огромные стаи воробьев. Девушка казалась очень худой, у нее что-то было с глазами, но я никак не мог разобрать, что именно, а потом понял: она была косая. Она вела меня и все объясняла, что и где находится в этом районе, но это было совершенно неинтересно и не нужно мне. Она зашла со мной в магазин, подождала, пока я куплю сигарет, и сказала, что хочет проводить меня до станции, где работает телеграфисткой. Мне не нужно на электричку, сказал я, не нужно. Девушка ушла. Недалеко от магазина торговала молочная цистерна на колесах. В очереди стояли пожилые, но болтливые женщины в старомодных пальто. У каждой был бидон, и все они, несмотря на холодный ветер, говорили не переставая. Одна толстуха, которая уже купила молока, отошла от цистерны, и я увидел, как она оступилась и выронила бидон. Бидон упал на асфальт, молоко выплеснулось, старуха тоже упала, покатилась. У нее было черное пальто, она сидела вся в молоке и пыталась подняться. Очередь перестала болтать и глядела на нее. Я тоже стоял и смотрел. Я, наверное, помог бы ей, но руки у меня были заняты: в одной сигареты, а в другой спички. Я закурил и пошел обратно, к тому дому, в котором что-то делали с моей невестой и который издали пристально смотрел мне в глаза.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Гроб повис на зубце ковша и болтался над траншеей, и все было нормально. Но потом крышка открылась и все высыпалось на дно ямы. Тогда экскаваторщик вылез из кабины, и осмотрел гроб, и увидел, что в изголовье гроба было застекленное окошечко, а в гробу лежали кирзовые сапоги. И экскаваторщик очень жалел, что сапоги уже никак не починишь, иначе бы он взялся за это дело. Но сапоги оказались очень худыми, и у одного подошва сразу отлетела, как только он примерил сапог. Нитки сгнили, и подошва с подковками сразу отлетела, да и голенище худое оказалось. И машинист экскаватора выбросил сапоги, хотя ему позарез нужна была новая обувь. Но больше экскаваторщик огорчился из-за другого. Машинисту хотелось полюбоваться на череп, потому что настоящего черепа ему ни разу в жизни не приходилось видеть, а тем более трогать руками. Правда, он время от времени трогал свою собственную голову или голову жены и представлял, что если снять кожу со своей или с жениной головы, то и получится настоящий череп. Но этого нужно было ждать еще неизвестно сколько, экскаваторщик терпеть не мог ждать чего-нибудь слишком долго. Он любил делать сразу все, что придет в голову. Поэтому теперь, когда машинист откопал гроб, он сразу решил вытряхнуть из него все и найти череп. Ему хотелось посмотреть, что стало с черепом человека, который давно умер и много лет лежал и смотрел в гробовое окошечко. Да, — размышлял машинист, спускаясь в могилу по стремянке, — да, теперь-то мне будет хороший череп, а то живешь-живешь, а ничего такого не имеешь. Конечно, у меня-то худая голова, но ведь не так уж часто выпадает свободное время, чтобы ощупать ее как следует. К тому же, когда трогаешь свою голову, не получаешь почти никакого удовольствия — тут нужен чистый чужой череп, без всякой там кожи, чтобы можно было вешать его хоть на палку, хоть насаживать, куда будет нужно. Вот везуха! Разберу сейчас тряпье, выкину кости и возьму чистенький череп — как есть. Такие моменты в жизни не упускай, иначе, того и гляди, кто-нибудь наденет на палку твой череп и будет ходить по улицам и пугать, кого вздумается. Машинист заглянул под крышку, лежавшую на песке, потом вылез из траншеи и заглянул через окошечко в гроб, а затем посмотрел не через окошечко, а просто в гроб, как смотрят обычно в гроб, когда гроб висит на зубце ковша, а тот, кто смотрит, стоит на краю могилы. Но в гробу и под крышкой на песке черепа тоже не было. Черепа нету, — сказал себе экскаваторщик, — черепа просто-напросто нету, череп пропал, а может, его никогда и не было — хоронили одним туловищем, а? Но, как ни крути, черепа нету, и я не смогу насадить его на палку и пугать, кого захочу. Наоборот, теперь каждый сможет пугать меня самого настоящим или своим собственным черепом. Вот невезуха! — сказал себе экскаваторщик.

СТОРОЖ. Ночь. Всегда эта холодная ночь. Его работа — ночь. Ночь — его ненависть и средство жить. Днем он спит и курит. Винтовку он никогда не заряжает. Какой резон заряжать, если зимой вокруг — никого. Никого — зимой, осенью и весной. И в домах артистов тоже никого. Это дачи артистов, а он — сторож дач. Он никогда не бывал в театре, но ему однажды рассказывал напарник, что сын его учится в городе и ходит в театр. Сын напарника: он приезжает к отцу в конце недели. А к нему — никто не приезжает. Он живет один и курит. Винтовку он берет в сторожке перед сменой и идет по аллеям дачного поселка всю ночь. Сегодня и вчера шел большой снег. Аллеи белы. Деревья, особенно сосны, — тоже. Они белы. Луна смутная. Луна не может пробить тучи. Он курит. Он смотрит по сторонам. Подолгу стоит на перекрестках. Очень темно. Никогда не будет светло в этом поселке зимой. Летом лучше. По вечерам на верандах актеры пьют вино. Но когда лета нет, веранды с тусклыми витражами закрыты и пусты. Они промерзают насквозь, их засыпает снегом. А он через два вечера на третий берет незаряженную винтовку, идет. Вдоль застекленных дач. Идет без тропинок, без патронов, без курева. Идет за куревом на окраину поселка, где магазин. В магазине всегда пусто. Там на двери сильная пружина. Там работает пожилая женщина. Она добрая, потому что дает в долг. На морозе он не помнит ее имени. Зачем она, эта женщина, думает он. Я могу без нее, думает он, или не могу? Нет, не могу. Без нее у меня не было бы чего курить. Он тихо смеется. Холодно, продолжает думать он, холодно. Темно. Он видит, как женщина

закрывает ставни своего магазина и отправляется спать. Вот она идет. Я стою, говорит он себе, курю, а она идет мимо. Я хочу курить? Нет. Я курю, потому что она уходит. Все, ушла. Теперь до утра один. Кошка бежит. Когда-то их было много в поселке. Они жили в цоколях домов. Напарник перебил их из этой винтовки. Холодно. Кошек нету. Он снова идет, глядя на дома актеров. Сверху — снег. Значит, будет тепло. Лишь бы не ветер. На одной веранде — свет. Актеры не приезжают зимой, думает он. Следы на участке. Забор в одном месте поломан. Две штакетины лежат на снегу крест-накрест. Он никогда не заряжал и сейчас тоже не будет. Он пойдет и посмотрит, в чем дело. Он подходит. Выстрел. Как будто далеко, в лесу. Нет, гораздо ближе. А, это из витража стреляли. Больно очень, голова болит. Покурить бы. Он падает лицом в снег. Ему уже не холодно.

ТЕПЕРЬ. Из армии он вернулся раньше срока, после госпиталя. Он служил в ракетных частях и однажды ночью попал под сильное облучение, ночью, во время учебной тревоги. Ему было двадцать лет. В полупустом поезде, возвращаясь домой, он подолгу сидел в ресторане, пил вино и курил. Красивая молодая женщина, которая ехала с ним в купе, совсем не стеснялась его и перед сном раздевалась, стоя перед дверным зеркалом, и он видел ее отражение, и она знала, что он видит, и улыбалась ему. В последнюю ночь пути она позвала его к себе, вниз, но он притворился, что спит, и она догадалась об этом и тихо смеялась над ним в темноте узкого и душного купе, а тем временем поезд кричал и летел сквозь черную пургу, и пригородные уже полустанки растерянно кивали ему вослед тусклыми фонарями. Первые две недели он сидел дома — перелистывая книги, просматривал прежние, школьные еще, фотографии, пытался что-нибудь решить для себя и без конца ссорился с отцом, который жил на большую военную пенсию и не верил ни одному его слову и считал симулянтом. Выходное пособие, которое выдал полковой бухгалтер, кончилось, и нужно было искать работу. Он хотел пойти шофером в соседнюю больницу, но там, в больнице, ему предложили другое. Теперь, после армии, в конце снежной зимы, он стал санитаром в больничном морге. Ему платили семьдесят рублей в месяц, и этих денег ему хватало, потому что с девушками он не встречался, а только иногда ездил в парк, катался на чертовом колесе и смотрел, как в танцевальном зале с прозрачными стенами танцуют незнакомые люди. Однажды он заметил здесь девушку, с которой учился когда-то в одной школе. Она приехала в парк с каким-то парнем на спортивной машине, и санитар, укрывшись в сумраке больших деревьев, наблюдал, как они танцуют. Они танцевали с полчаса, потом хлопнули дверками и покатили в глубь парка по освещенным аллеям. А через несколько недель, в мае, в морг привезли мужчину и женщину, которые разбились на машине где-то за городом, и он не сразу узнал их, а затем узнал, но почему-то никак не мог вспомнить ее фамилию, и все смотрел на нее, и думал о том, что три или четыре года назад, еще до армии, он любил эту девушку и хотел, очень хотел постоянно быть с ней, а она не любила его, она была слишком хороша, чтобы любить его. И теперь, думал санитар, все это кончилось, кончилось, и непонятно, что будет дальше...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Савл

Но Вета не слышит. В ночь твоего прихода в Край Одинокого Козодоя тридцатилетняя учительница нашей школы Вета Аркадьевна, строгая учительница по ботанике, биологии, анатомии, танцует в лучшем ресторане города и пьет вино с каким-то молодым, да, молодым сравнительно человеком, веселым, умным и щедрым. Скоро музыка кончится — пьяные скрипачи и барабанщики, пианисты и трубачи покинут эстраду. Ресторан с приглушенными огнями рассчитает последних гостей, и тот сравнительно молодой человек, которого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, увезет твою Вету к себе на квартиру и там сделает с ней все, что захочет. Не продолжай, я уже понял, я знаю, там, на квартире, он поцелует ей руку и потом сразу проводит домой, и утром она приедет сюда на дачу, и мы сможем увидеться, я знаю: мы увидимся с ней завтра. Нет, не так, ты, наверное, ничего не понимаешь, или притворяешься, или ты просто трус, ты боишься думать о том, что случится с твоей Ветой там, на квартире человека, которого ты никогда не увидишь, а ведь тебе, конечно, хотелось бы взглянуть на него, разве я говорю неправду? Ясное дело, мне хотелось бы познакомиться с ним, мы пошли бы куда-нибудь все вместе, втроем: Вета, он и я, в какой-нибудь парк города, в старый городской парк с чертовым колесом, мы бы катались и беседовали, все-таки интересно, я говорю: интересно, нам было бы интересно втроем. Но, может быть, тот человек не такой умный, как ты рассказываешь, и тогда было бы не так интересно, и мы бы зря потратили вечер, был бы неудачный вечер, только и всего, вот и все, но по крайней мере Вета поняла бы, что со мной гораздо интереснее, чем с ним, и никогда больше не встречалась бы с ним, а в ночь моего прихода в Край Одинокого Козодоя всегда выходила бы на мой зов: Вета, Вета, Вета, это я, ученик специальной школы такой-то, выходи, я люблю тебя, как раньше. Поверь мне: она всегда выходила на мой зов, и мы до утра бывали вместе у нее в мансарде, а после, когда начинало светать, я осторожно, чтобы не разбудить Аркадия Аркадьевича, спускался в сад по наружной винтовой лестнице и возвращался домой. Знаешь, перед тем как уйти, я обычно гладил ее простую собаку и вообще немного играл с ней, чтобы она не забывала меня. Это ерунда, зачем ты придумываешь всю эту ерунду, наша учительница Вета Аркадьевна никогда не выходила на твой зов, и ты ни разу не был у нее в мансарде — ни днем, ни ночью. Верь, я слежу за каждым твоим шагом — так советовал мне доктор Заузе. Когда нас выписывали о т т у д а, он советовал: если вы заметите, что тот, кого вы называете он и кто живет и учится вместе с вами, уходит куда-нибудь, стараясь быть незамеченным, или просто убегает, следуйте за ним, постарайтесь не упускать его из виду, по возможности будьте ближе к нему, как можно ближе, ищите случай приблизиться к нему настолько, чтобы почти слиться с ним в общем деле, в общем поступке, сделайте так, чтобы однажды — такой момент непременно настанет — навсегда соединиться с ним в одно целое, единое существо с неделимыми мыслями и стремлениями, привычками и вкусами. Только в таком случае, — утверждал Заузе, — вы обретете покой и волю. И вот я, куда бы ты ни пошел, следовал за тобой, и время от времени мне удавалось слиться с тобой в общем поступке, но ты сразу прогонял меня, как только замечал это, и мне опять становилось тревожно, даже страшно. Я боялся и боюсь вообще многого, лишь стараюсь не подавать вида, и мне кажется, ты боишься не меньше моего. Вот, например, ты боишься, вдруг я стану рассказывать тебе правду о том, что делал с твоей Ветой в ночь твоего прихода тот сравнительно молодой человек у себя на квартире. Но я все-таки расскажу об этом, потому что не люблю тебя за то, что ты не хочешь слиться со мной в общем поступке, как советовал доктор. Я расскажу тебе и о том, как и что делали другие молодые и немолодые люди с твоей Ветой у себя на квартирах и в гостиничных номерах в те ночи, когда ты спал на даче отца твоего, или же в городе, или т а м, после вечерних уколов. Но прежде я должен убедить тебя в том, что ты никогда не был в мансарде акатовской дачи, хотя и убегал поздними вечерами в Край Козодоя. Ты смотрел на освещенные окна особняка через щели в заборе и мечтал войти в парк, прошагать по дорожке — от калитки к парадному крыльцу, я понимаю тебя, прошагать по дорожке, легко, непринужденно, а шагая, поддеть ногой две или три прошлогодние шишки, сорвать цветок на клумбе, понюхать его, постоять у беседки — просто так, оглядывая все кругом с легким прищуром всепонимающих глубоких глаз, затем постоять под высоким деревом, где скворечник, послушать птиц — о, я хорошо понимаю тебя, я сам с удовольствием сделал бы то же самое и даже больше: шагая по дорожке акатовского сада (или парка — никто не знает, как лучше называть их участок, и всякий называет как кому вздумается), я поиграл бы с их прекрасной простой собакой и постучал бы в парадную дверь: тук-тук; но сейчас я при-

знаюсь тебе: я, как, впрочем, и ты,—мы боимся этой большой собаки. А если бы мы не боялись ее, если бы, предположим, ее вообще не было,— разве мы смогли бы позволить себе все это, разве только из-за собаки мы не можем постучать в дверь?—вот мой вопрос к тебе, я хотел бы поговорить об этом еще немного, меня страшно занимает эта тема. Мне кажется, ты снова притворяешься, неужели все это так интересно, ты заговариваешь мне зубы, ты не желаешь, чтобы я рассказал тебе всю правду о Вете, о том, что делали с ней в своих квартирах и номерах те молодые люди, которых ты никогда не увидишь, ну почему скажи мне наконец почему ты или почему я почему мы боимся говорить про это друг другу или каждый себе во всем этом так много правды почему почему почему да много знаешь но знаешь если не знаю я же ничего и ты ничего мы ничего про это не знаем мы пока или уже не знаем что ты можешь рассказать мне или себе если у тебя как и у меня не было ни одной женщины мы не знаем как это вообще как бывает мы только догадываемся мы можем догадываться мы только читали только слышали от других но и другие тоже толком ничего не знают мы однажды спросили у Савла Петровича были ли у него женщины дело происходило у нас в школе там в конце коридора за узкой дверью где всегда пахнет куревом и хлоркой да в уборной да в туалете Савл Петрович курил он сидел на подоконнике то была перемена нет после уроков я остался после уроков делать уроки на завтра нет нас оставили после уроков делать уроки на завтра по математике плохо учимся маме сказали особенно по математике очень трудно устаешь очень болезненно нехорошо какие-то задачи почему-то слишком много задают уроков надо чертить и думать слишком заставляют Савл Петрович зачем-то мучают примерами говорят будто кто-то из нас когда закончит школу пойдет в институт и станет кто-то из нас некоторые из нас часть из нас кое-кто из нас инженерами а мы не верим ничего подобного не случится ибо Савл Петрович вы же сами догадываетесь вы и другие учителя мы никогда не станем никакими инженерами потому что мы все ужасные дураки разве не так разве это школа не специальная то есть не специально для нас зачем вы обманываете нас с этими самыми инженерами кому это все нужно но дорогой Савл Петрович даже если бы мы и стали вдруг инженерами то не надо нет не следует не согласен я заявил бы в комиссию не желаю быть инженером я стану продавать на улице цветы и открытки и петушков на палочке или научусь тачать сапоги выпиливать лобзиком по фанере но не соглашусь работать инженером пока у нас не образуется самая главная самая большая комиссия которая разберется со временем не так ли Савл Петрович у нас непорядок со временем и есть ли смысл заниматься каким-то серьезным делом например чертить чертежи черными чернилами когда со временем не очень хорошо то есть совсем неважно очень странно и глупо вы же знаете сами вы и другие учителя.

Савл Петрович сидел на подоконнике и курил. Босые ступни ног его покоились на радиаторе парового отопления, или, как еще называют этот прибор, на батарее. За окном была осень, и если бы окно не замазали специальной белой краской, мы могли бы увидеть часть улицы, вдоль нее дул умеренный северо-западный ветер. По ветру летели листья, лужи морщились, прохожие, мечтая превратиться в птиц, старательно торопились домой, чтобы при встрече с соседями поговорить о дурной погоде. Короче—была обычная осень, середина ее, когда на школьный двор уже привезли и выгрузили из машин уголь, и старый человек, наш истопник и сторож, которого никто из нас не звал по имени, так как никто из нас не знал этого имени, поскольку узнавать и помнить это имя не имело смысла, потому что наш истопник ни за что не услышал бы и не отозвался на это имя, поскольку был глухой и немой,—и вот он уже затопил котлы. В школе стало теплее, хотя от полов, как замечали, ежась и поводя плечами, некоторые учителя, по-прежнему несло, и—думается—Савл Петрович правильно делал, что заходил иногда в уборную погреть босые ступни ног своих. Он мог бы греть их и в учительской, и в классе во время уроков, но, по-видимому, не хотел делать этого слишком на виду, на людях, он все-таки был немного застенчив, учитель Норвегов. Пожалуй. Он сидел на подоконнике спиной к закрашенному стеклу, а лицом

к кабинкам. Босые ступни ног его стояли на радиаторе, и колени были высоко подняты, так что учитель мог удобно опереть на них подбородок. И вот мы посмотрели на него, сидящего таким образом, сбоку, в профиль: издательский знак, экслибрис, серия книга за книгой, силуэт юноши, сидящего на траве или на голой земле с книгой в руках, темный юноша на фоне белой зари, мечтательно, юноша, мечтающий стать инженером, юноша-инженер, если угодно, кудрявый, довольно кудрявый, книга за книгой, читает книгу за книгой на фоне, бесплатно, экслибрис, за счет издательства, один и тот же, все книги подряд, очень начитан, он очень начитан, ваш мальчик—нашей доброй любимой матери—Водокачка, учительница по предметам литература и русский язык письменно и устно, маме сказала,—даже слишком, мы бы не рекомендовали все подряд, особенно западных классиков, отвлекает, перегрузка воображения, дерзит, заприте на ключ, не больше пятидесяти страниц в день, для среднего школьного возраста. Мальчик из Уржума, Детство Темы, Детство, Дом на горе, Витя Малеев и вот это: жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы. И еще: бороться и искать, найти и не сдаваться, вперед заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе—песни русских революций и гражданских войн, вихри враждебные, во саду ли, как у наших у ворот, ах, вы сени, и потом мы рекомендовали бы занятия музыкой, на любом инструменте, умеренно, терапия, чтобы не было мучительно больно, а то, знаете, время становления, такой возраст, ну да, баян, ну да, аккордеон, скрипка, фортепьяно скорее даже форте чем пьяно, начали: и-и-и баркаролла три четверти бемоль скрипичный ключ не путать с грибом скрипица полуядовит отваривать и-и-и под стук вагонных на станцию которая по той же ветке что и-и-и по Вете ветлы сонных пассажиров тревожа плачешь в вагоне от любви от ненужностей жизни мама за окнами дождь неужели мы должны ехать в такую слякоть да дорогой немного музыки не повредит тебе мы же договорились маэстро будет сегодня ждать неудобно, воскресенье, потом зайдем к бабушке. Станция, кусты, полдень, очень сыро. Впрочем, вот и зима: платформа заснежена, снег сухой, рассыпчатый и искристый. Мимо рынка. Нет, прежде виадук с обледенелыми скрипучими ступенями. Скрипучими, мама. Осторожно, путь наверх и-и-и когда увидишь внизу проходящий состав исписанный мелом товарный или чистый с накрахмаленными воротничками штор курьерский постарайся не смотреть иначе закружится голова и ты упадешь раскинув руки ничком или навзничь и участливые прохожие не успевшие обратиться в птиц окружат тело твое и кто-то приподнимет голову твою и станет бить по щекам бедный мальчик наверное у него сердце нет это авитаминоз б о л е к р о в и е женщина в крестьянском платке торговка корзины подержите аккордеон а мама где его мама он наверное один занимается музыкой смотрите у него на голове кровь он конечно один боже что с ним ничего он сейчас я сейчас Вета я один я прошу простить меня твой мальчик твой ласковый ученик засмотрелся на товарный исписанный мелом состав его исписали комиссии но через годы через расстояния твой робкий такой-то придет к тебе преодолевая метели бьющие в человека кинжальным огнем серебра и сыграет на баркаролле неистовый чардаш и да поможет нам бог не сойти с ума от испепеляющей внешкольной страсти тук-тук здравствуйте Вета Аркадьевна и-и-и вот хризантемы пусть отцвели увяли пусть но то что случится окупит все сполна когда это будет? Лет десять, возможно. Ей сорок, она еще молода, летом живет на даче, много купается—и настольный теннис, пинг-понг. А мне, а мне? Сейчас мы подсчитаем. Мне—столько-то, я давно закончил спецшколу, институт и стал инженером. У меня много друзей, и совершенно здоров и коплю деньги на машину—нет, уже купил, накопил и купил, сберкасса, сберкасса, пользуйтесь. Да, вот именно, ты давно инженер и читаешь книгу за книгой, сидя целыми днями на траве. Много книг. Ты стал очень умным, и приходит день, когда ты понимаешь, что медлить больше нельзя. Ты поднимаешься с травы, отряхиваешь брюки—они прекрасно отглажены,—потом наклоняешься, собираешь все книги в стопку и несешь в машину. Там, в машине, лежит пиджак, хороший и синий. И ты надеваешь его. Затем ты осматриваешь себя. Ты высокого роста, гораздо выше, чем теперь, примерно на столько-то сяку. Кроме того, ты широк в плечах, а лицом почти красив. Именно п о ч т и, потому что

некоторые женщины не любят слишком красивых мужчин, не так ли? У тебя прямой нос, синие глаза с поволокой, упрямый волевой подбородок и крепко сжатые губы. Что касается лба, то он необыкновенно высок, как, впрочем, и сейчас, и на него густыми прядями ниспадают темные волосы. Лицом чист, бороду бреешь. Осмотрев себя, ты садишься за руль, хлопаешь дверцей и покидаешь те травянистые места, где столь долго читал книги. Теперь ты едешь прямо к ее дому. А хризантемы! ведь нужно же купить их, нужно куда-то заехать, купить на рынке. Но у меня с собой ни сентаво, нужно попросить у матери: мама, дело в том, что у нас в классе умерла девочка, нет, конечно, не прямо в классе, она умерла дома, она долго болела, несколько лет, и совсем не ходила на занятия, никто из учеников даже не видел ее, только на фотографии, она просто числилась, у нее был менингит, как у многих, так вот, она умерла, да, ужасно, мама, ужасно, как у многих, так вот она умерла и ее следует похоронить нет, естественно, нет, мама, ты права, у нее есть свои собственные родители, никто никого не может заставить хоронить чужих детей, я говорю просто так: ее следует похоронить, но без цветов не принято, неудобно, помнишь, даже у Савла Петровича, которого так не любили учителя и родительский комитет, даже у него было много цветов, и вот наш класс решил собрать на венок этой девочке, по нескольку рублей с человека, вернее так: кто живет с мамой и папой, с тех по десять рублей, а кто только с мамой или только с папой,—с тех по пять, значит, с меня десять, дай мне, пожалуйста, скорее, меня ждет машина. Какая машина?—спросит мама. И тогда я отвечу: понимаешь, так получилось, что я купил машину, заплатил недорого, да и то пришлось залезть в долги. В какие долги,—всплеснет мама руками,—откуда у тебя вообще деньги! И подбежит к окну, чтобы посмотреть во двор, где будет стоять мой автомобиль. Видишь ли, спокойно отвечу я, пока я сидел на траве и читал книгу за книгой, мои обстоятельства сложились таким образом, что мне удалось закончить школу, а потом институт, извини, пожалуйста, мама, не знаю отчего, но мне казалось, для тебя будет приятным сюрпризом, если я скажу об этом не сразу, а как-нибудь позже, время спустя, и вот время спустилось, и я сообщаю: да, я стал инженером, мама, и моя машина ждет меня. Так сколько же прошло,—скажет мать,—разве не ты еще сегодня утром уходил с портфелем в свою школу, и разве не сегодня я провожала тебя и бежала за тобой по лестнице почти до первого этажа, чтобы сунуть бутерброды в карман пальто, а ты прыгал через три ступеньки и кричал, что не голоден и что если я буду приставать к тебе с бутербродами, ты зашьешь себе рот суровой ниткой,—разве все это случилось не сегодня?—удивится наша бедная мать. А мы, что мы ответим нашей бедной матери? Надо сказать ей так: увы, мама, увы. Верно, здесь необходимо употребить полузабытое слово у в ы. Увы, мама, день, когда ты хотела положить бутерброды в карман моего пальто, а я отказывался, потому что был не совсем здоров,— тот день давно миновал, теперь я стал инженером и машина ждет меня. Тогда наша мать расплачется: как летят годы, скажет, как быстро взрослеют дети, не успеешь оглянуться, а сын уж инженер, кто бы мог подумать: мой сын такой-то—инженер! А после она успокоится, сядет на табуретку, и зеленые глаза ее посуровеют, и морщины, особенно две глубокие вертикальные морщины, вырезанные у самого рта, станут еще глубже и она спросит: зачем ты обманываешь меня, ты только что просил деньги на венок девочке, с которой учился в одном классе, а теперь утверждаешь, будто давно закончил школу и даже институт, разве можно быть инженером и школьником одновременно. А кроме того, строго заметит мама, никакой машины во дворе нет, не считая той мусорной, что стоит у помойки, ты все придумал, никакая машина не ждет тебя. Дорогая мама, я не знаю, можно ли быть инженером и школьником вместе, может, кому-то и нельзя, кто-то не может, кому-то не дано, но я, выбравший свободу, одну из ее форм, я волен поступать как хочу и являться кем угодно вместе и порознь, неужели ты не понимаешь этого? а если не веришь мне, то спроси у Савла Петровича, и, хотя его давно нет с нами, он все объяснит тебе: у нас плохо со временем—вот что скажет географ, человек пятой пригородной зоны. А насчет машины—не беспокойся, я немного пофантазировал, ее действительно нет и никогда не будет, но зато всегда с семи до восьми утра—всякий день и всякий год—в шторм и в вёдро—в нашем дворе у помойки будет стоять грузовик мусорного треста, клопообразный, зеленый, как муха. А девочка,—поинтересуется мама,—девочка действительно умерла? Не знаю,—должен ответить ты,—про девочку я ничего не знаю. Затем ты должен быстро пройти в прихожую, где на вешалке висят пальто, куртки и шляпы твоих родственников—не бойся этих вещей, они пустые, в них никто не одет—и висит твое пальто. Надень его, надень шапку твою и распахни дверь на лестницу. Беги из дома отца твоего и не оглядывайся, ибо, оглянувшись, узришь ты горе в глазах матери твоей, и горько станет тебе, бегущему по мерзлой земле во вторую школьную смену. Бегущий во вторую смену, ты и сегодня не сделал уроков, но, будучи спрошен с пристрастием, отчего так случилось, глядя за окно на гаснущую зарю—фонари города зажглись и болтаются над улицами, как немые, с вырванными языками, колокола,—отвечай любому учителю с достоинством и не смущаясь. Отвечай: считая себя ревностным участником энтомологического конкурса, объявленного нашей уважаемой Академией, я отдаю мой досуг коллекционированию редких и полуредких бабочек. Ну и что же, возразит тебе педагог. Смею надеяться, продолжаешь ты, что моя коллекция представит в будущем немалый научный интерес, отчего, не страшась ни материальных, ни временных затрат, я полагаю своим долгом пополнять ее новыми уникальными экземплярами: так не спрашивайте же, почему я не сделал уроков. О каких бабочках может идти речь зимой, притворно удивляется педагог, вы что — с ума сошли? И возражаешь с полным достоинством: зимой речь может идти о зимних бабочках, называемых снежными, я ловил их за городом—в лесу и в поле, преимущественно по утрам,—на второй поставленный вами вопрос отвечаю: факт моего сумасшествия ни у кого не вызывает сомнения, иначе меня не держали бы в этой проклятой школе вместе с другими такими же дураками. Вы дерзите, мне придется говорить с вашими родителями. На что должен последовать ответ: вы вправе говорить с кем угодно, в том числе и с моими родителями, только не высказывайте никому своих сомнений относительно зимних бабочек, вас подымут на смех и заставят учиться здесь вместе с нами: зимних бабочек не меньше, чем летних, запомните это. Теперь сложить все свои фолианты и рукописные труды в портфель и медленно, усталой походкой стареющего ученого-энтомолога, покашливая, покинуть аудиторию.

Я знаю: ты, как и я,—мы никогда не любили школу, особенно с того дня, когда наш директор Николай Горимирович Перилло ввел тапочную систему. Так, если ты не запамятовал, назывался порядок, при котором ученики были обязаны приносить с собою тапочки, причем нести их следовало не просто в руках и не в портфелях, а в специально сшитых матерчатых мешочках. Верно, в белых мешочках с лямочками, и на каждом мешочке китайской тушью была написана фамилия ученика, кому принадлежал мешочек. Требовалось писать, скажем, у ч е н и к т а к о й-т о, 5 «у» к л а с с,— и обязательно ниже, но более крупными буквами: т а п о ч к и. И еще ниже, но еще более крупно: с п е ц ш к о л а. Ну как же, я хорошо помню то время, оно началось сразу, в один из дней. К нам в класс во время урока пришел Н. Г. Перилло, он пришел угрюмо. Он всегда приходил угрюмо, потому что, как объяснял нам отец, зарплата у директора была небольшая, а пил он много. Перилло жил в одноэтажном флигеле, который стоял во дворе школы, и если хочешь, я опишу тебе и флигель, и двор. Опиши только двор, флигель я помню. Нашу школу из красного кирпича окружал забор из такого же кирпича. От ворот к парадному подъезду шла асфальтированная аллея—по сторонам ее росли какие-то деревья и были клумбы с цветами. Перед фасадом ты мог видеть некоторые скульптуры: в центре — два небольших меловых старика, один в кепке, а другой в военной фуражке. Старики стояли спиной к школе, а лицом к тебе, бегущему по аллее во вторую смену, и у того и другого одна из рук была вытянута вперед, словно они указывали на что-то важное, происходившее там, на каменистом пустыре перед школой, где нас заставляли раз в месяц бегать укрепляющие кроссы. По левую сторону от стариков коротала время скульптура девочки с небольшой ланью. И девочка, и лань тоже светились бело, как чистый мел, и тоже глядели на пу-

стырь. А по правую сторону от стариков стоял мальчик-горнист, и он хотел бы играть на горне, он умел играть, он мог бы играть все, даже внешкольный чардаш, но беда в том, что горна у него не было, горн выбили у него из рук, вернее, белый гипсовый горн разбился при перевозке, и у мальчика из губ торчал лишь стержень горна, кусок ржавой проволоки. Разреши мне поправить тебя, насколько я помню, белая девочка действительно стояла во дворе школы, но то была девочка не с ланью, а с собакой, меловая девочка с простой собакой; когда мы ехали на велосипеде из пункта А в пункт Б, эта девочка в коротком платье и с одуванчиком в волосах шла купаться; ты говоришь, что меловая девочка у нас перед школой стоит (стояла) и смотрит (смотрела) на пустырь, где мы бегаем (бегали) укрепляющие кроссы, а я говорю тебе: она смотрит на пруд, где скоро станет купаться. Ты говоришь: она гладит лань, а я говорю тебе: эта девочка гладит свою простую собаку. И про белого мальчика ты рассказал неправду: он не стоит и не играет на горне, и хотя у него изо рта торчит какая-то железка, он не умеет играть на горне, я не знаю, что это за железка, возможно, это игла, которой он зашивает себе рот, дабы не есть бутербродов матери своей, завернутых в газеты отца своего. Но главное в следующем: я утверждаю, что белый мальчик не стоит, а сидит — это темный мальчик, сидящий на фоне белой зари, книга за книгой, на траве, это мальчик-инженер, которого ждет машина, и он сидит на своем постаменте точно так же, как Савл Петрович — на подоконнике в уборной, грея ступни ног, когда мы идем и входим разгневанно, неся в портфелях наших энтомологические заметки, планы преобразования времени, разноцветные сачки для ловли снежных бабочек, причем длинные, почти двухметровые древки этих прекрасных снастей торчат из портфелей и задевают углы и самодовольные портреты ученых на стенах. Мы входим разгневанно: дорогой Савл Петрович, в нашей ужасной школе стало невозможно учиться, много задают на дом, учителя почти все дураки, они ничуть не умнее нас, понимаете, надо что-то делать, необходим какой-то решительный шаг — может быть, письма туда и сюда, может быть — бойкоты и голодовки, баррикады и барракуды, барабаны и тамбурины, сожжение журналов и дневников, аутодафе в масштабе всех специальных школ мира, взгляните, вот, в наших портфелях — сачки для ловли бабочек. Мы отломаем древки от собственно сачков, поймаем всех по-настоящему глупых и наденем эти сачки им на головы на манер шутовских колпаков, а древками будем бить по их ненавистным лицам. Мы устроим грандиозную массовую гражданскую казнь, и пусть все те, кто так долго мучил нас в наших идиотских спецшколах, сами бегают укрепляющие кроссы на каменистых пустырях и сами решают задачи про велосипедистов, а мы, бывшие ученики, освобожденные от чернильного и мелового рабства, мы сядем на свои дачные велосипеды и помчимся по шоссе и проселкам, то и дело приветствуя на ходу знакомых девчонок в коротких юбочках, девчонок с простыми собаками, мы станем загородными велосипедистами пунктов А, Б, В, и пусть те проклятые дураки, дураки проклятые решают задачи про нас и за нас, велосипедистов. Мы будем велосипедистами и почтальонами, как Михеев (Медведев) или как тот, кого вы, Савл Петрович, называете Насылающим. Мы все, бывшие идиоты, станем Насылающими, и это будет прекрасно. Помните, вы когда-то спрашивали нас, верим ли мы в этого человека, а мы говорили, что не знаем, что и думать по этому поводу, но теперь, когда испепеляющее лето сменилось промозглой осенью и прохожие, спрятав головы в воротники, мечтают обратиться в птиц, теперь мы спешим заявить вам лично, дорогой Савл Петрович, и всем другим прогрессивным педагогам, что не сомневаемся в существовании Насылающего, как не сомневаемся, что грядущее, полное велосипедов и велосипедистов-насылающих, — грядет. И отсюда, из нашей отвратительной мужской уборной с испачканными окнами и никогда не просыхающими полами, мы кричим сегодня на весь белый свет: да здравствует Насылающий ветер! Разгневанно.

Между тем наш худой и босоногий учитель Савл сидит на подоконнике и растроганно смотрит на нас, орущих эту величайшую из ораторий, и, когда последнее эхо ее прокатится по пустым, но еще вонючим после

занятий классам и коридорам и улетит на осенние улицы, учитель Савл достанет из нагрудного кармана ковбойки маленькие ножницы, пострижет ногти на ногах, посмотрит на двери кабинок, исписанные хулиганскими словами и изрисованные дурацкими рисунками, и: как много неприличного, — скажет, — сколь некрасиво у нас в уборной, о боже, — заметит, — как бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы. Уже ли не подберем слов высоких, сильных и нежных взамен этих — чужих и мерзких. О люди, учители и ученики, как неразумны и грязны вы в помыслах своих и поступках! Но мы ли виновны в идиотизме и животной похоти наших, наши ли руки исписали двери кабинок? Нет, нет! — закричит, — мы только слабые и немощные слуги и неслухи директора нашего Коли Перилло, и это он попустил нам разврат наш и слабоумие наше, и это он не научил нас любить нежно и сильно, и это его руки водили нашими, когда мы рисовали здесь на стенах, и он виноват в идиотизме и похоти наших. О мерзкий Перилло, — скажет Савл, — как ненавистен ты мне! И заплачет. Мы же будем стоять растерянно, не зная, что сказать, чем успокоить его, нашего гениального учителя и человека. На кафельном полу, переминаясь с ноги на ногу, мы будем стоять, и жидкая грязь, оставленная второй сменой, будет чавкать под нашими ногами и медленно и совсем незаметно начнет просачиваться в брезентовые тапочки, за которыми столь долго мучилась в очереди наша бедная мать. Однажды вечером, вечером одного из дней: мама, сегодня к нам в класс угрюмо пришел Перилло. Он стер с доски все, что написал учитель, стер тряпкой. Внимание, — он, директор, сказал в тишине, — с такого-то числа эта специальная школа со всеми ее химикалиями, лампочками Фарадея, волейбольными мячами, чернильницами, досками, полудосками, картами и пирожками и прочими танцами-шманцами объявляется Образцовой Ударной имени отечественного математика Лобачевского специальной школой и переходит на тапочную систему. Класс зашумел, зашумел, а один мальчик — я не помню, а может быть, просто не понимаю, как его зовут, а может быть, этим мальчиком был я сам, — этот мальчик закричал, почему-то очень закричал, вот так: а-а-а-а-а-а-а-а! Извини, мама, я понимаю, вовсе не обязательно показывать, как именно кричал мальчик, тем более что папа отдыхает, достаточно просто сказать, что один мальчик закричал, мол, очень сильно и неожиданно крикнул, и не обязательно показывать, что он крикнул вот так: а-а-а-а-а-а-а! При этом он полностью открыл рот и высунул язык, и мне показалось, что у него необыкновенно красный язык, наверное, мальчик болен, и у него начался приступ, — так я подумал. Я должен заметить, мама, у него действительно очень красный и длинный язык с фиолетовыми пятнами и прожилками, будто мальчик пьет чернила, прямо удивительно. Было похоже, что он сидит у врача ухо-горло-нос, и врач просит сказать его «а», и мальчик открывает рот и старательно говорит, а вернее, кричит: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он кричал целую минуту, и все глядели на него, а потом он перестал кричать и совсем тихо спросил, обращаясь к директору: а что это значит? И тут все вспомнили, что мальчик заикается, что ему иногда трудно дается переход с гласного звука на согласный, и тогда он застревает на гласном и кричит, потому что ему обидно. И вот он закричал сегодня: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он хотел спросить у директора: а что это значит, — только и всего. И наконец он спросил, и директор Перилло сквозь зубы ответил: тапочная система — это такое положение вещей, при котором всякий ученик покупает тапочки и приносит их в школу в специальном мешочке с лямочками. Придя в школу, ученик снимает обычную обувь свою и надевает принесенные тапочки, а опустевший мешок заполняет обычной обувью и сдает в гардероб нянечке вместе с пальто и шапкой. Понятно ли я объясняю? — спросил директор и мутно посмотрел во все концы света. И тут мальчик опять страшно закричал, на сей раз был другой звук: о-о-о-о-о-о-о! Я больше не буду, мама, не знаю, как мог я забыть, что папа дремлет у себя в кабинете с газетой в руках, он, очевидно, устал, у него такая тяжелая работа, столько дел, столько загубленных судеб, бедный папочка, я больше не буду, мама, я лишь закончу. И вот мальчик закричал: о-о-о-о-о-о-о! — а затем выговорил: очень приятно. Перилло собрался уже уходить, когда мы, то есть я и он, другой, мы встали и заявили: Николай Горимирович, мы обращаемся к вам лично и в вашем открытом и честном лице ко всей

администрации в целом с просьбой разрешить нам носить один мешок на двоих, поскольку нашей матери будет в два раза труднее шить два мешка, нежели один. На что директор, переглянувшись с учителем так, словно они оба знали нечто, чего больше никто не знал, как будто они знали более нашего, ответил: каждый ученик Образцовой Ударной имени отечественного математика Лобачевского специальной школы обязан иметь свой собственный мешок с лямками, на каждого — по мешку. И до тех пор, покуда вы считаете, что вас двое, вы должны иметь два мешка — ни больше ни меньше. Если же вы полагаете, что вас десять, то имейте десять мешков. Черт возьми! — мы громко и разгневанно, — лучше бы нас совсем не было, вы не приставали бы тогда к нам с вашими проклятыми мешками и тапочками, бедная мама, тебе придется шить два мешка, сидя до глубокой ночи, ночи напролет, на швейной машине строча — тра-та-та, тра-та-та, навылет, сквозь сердце, да лучше бы мы навсегда обратились в лилию, в нимфею альба, как тогда, на реке, только навсегда, до конца жизни. Разгневанно. Директор Перилло достал из внутреннего кармана пиджака мятый платок и тщательным образом протер свою веснушчатую, рыжую, вмятую в череп лысину. Он сделал это, чтобы скрыть растерянность, он растерялся, он не ожидал, что в его школе есть такие разгневанные учащиеся. И он сказал угрюмо: ученик такой-то, я не предполагал, что здесь имеются люди, способные до такой степени потерять мое доверие к ним, как это сделали сейчас вы. И если вы не желаете, чтобы я исключил вас из школы и передал ваши документы т у д а, то немедленно садитесь и пишите объяснительную записку о потерянном доверии, вы обязаны объяснить мне все, и в первую очередь вашу вздорную псевдонаучную теорию о превращении в лилию. Сказав так, Перилло повернулся, щелкнул по-военному каблуками — в школе говорили, что директор служил в одном батальоне с самим Кутузовым, — и вышел, хлопнув дверью. Рассерженно. Весь класс посмотрел в нашу сторону, высунул красный ядовитый язык, прицелился из рогатки и хихикнул, потому что весь этот класс, как и все прочие в специалке, — глупый и дикий. Это они, идиоты, вешают кошек на пожарной лестнице, это они плюют друг другу в лицо на больших переменах и отнимают друг у друга пирожки с повидлом, это они незаметно мочатся друг другу в карман и подставляют ножки, и это они, идиоты, изрисовали двери кабинок.

Но отчего ты так сердишься на своих товарищей, — говорит нам наша терпеливая мать, — разве ты сам не такой, как они? Если бы ты был иным, лучше их, мы не отправили бы тебя учиться в спецшколу, о, ты не представляешь, каким счастьем это было бы для меня и для отца! господи, я, наверное, стала бы самой счастливой матерью. Нет, мама, нет, мы совершенно другие люди, и с теми мозглявками нас ничто не связывает, мы несравненно выше и лучше их во всех отношениях. Естественно, со стороны может показаться, будто мы такие же, а по успеваемости хуже нас вообще никого нет, мы не в состоянии запомнить до конца ни одного стихотворения, а тем более басню, но зато мы помним вещи поважнее. Недавно Водокачка объясняла тебе, что у нас — твоих сыновей — так называемая избирательная память, и это чрезвычайно верно, мама, такого рода память позволяет нам жить, как хочется, ибо мы запоминаем лишь то, что нужно нам, а не тем кретинам, которые берут на себя смелость учить нас. Знаешь, мы даже не помним, сколько лет уже просидели в спецшколе, а иногда забываем названия школьных и простых предметов, не говоря о каких-то там формулах и определениях, — их мы абсолютно не знаем. Однажды, год или три спустя, ты нашла для нас репетитора по какому-то предмету, возможно, по математике, и, как водится, мы ходили к нему заниматься, за каждое занятие он брал столько-то рублей. То был дорогой и знающий педагог, и примерно на втором занятии он сообщил нам: молодой человек, — нет, я ошибся, он использовал прилагательное усеченной формы: млад человек; млад человек, вы — уникум, все, что вы знаете по предмету, — это ничто. Когда мы пришли на третье занятие, он оставил нас одних в квартире, а сам побежал в магазин за пивом. Было лето, жарко, мы приезжали на занятия с дачи, было невыносимо, мама. Репетитор сказал нам: а, здрасьте, здрасьте, млад человек, а я заждался, — потирая

руки, — заждался, жарко, ибо лето, деньги принесли? Давайте, я заждался, совершенно ни копейки, побудьте, спущусь за пивом, считайте, что вы дома, займитесь хоть рисованием, покормите гуппи, лампочка в аквариуме перегорела, вода мутная, но, когда рыбка подплывает к стеклу, можно наблюдать, рассматривайте, да, кстати, посмотрите и Рыбкина, он на полке, это разбойник, разборник задач, рекомендую такой-то номер, исключительно любопытно, едет велосипедист, представляете? добирается из пункта в пункт, интереснейшая ситуация, жара стоит невозможная, я заждался, ни копейки во всем доме, соседи все на юге, занять положительно не у кого, в общем, я побежал, устраивайтесь, занимайтесь чем придется, только не лазайте в холодильник, там все равно ничего нет — пусто, итак, за пивом, за пивом и еще раз за пивом, чтобы не было мучительно больно. Рассеянно. Нет, сосредоточенно. Вертясь перед зеркалом. Когда репетитор вернулся с пивом — тридцать бутылок, мама, — он спросил нас, умеем ли мы играть в шахматы. Умеем, отвечали мы. Именно в тот день мы придумали новую фигуру, она называлась конеслон и могла ходить крест-накрест или вовсе не ходить, то есть пропускать ход, стоять на месте. В таком случае игрок просто говорит партнеру: ходит конеслон, а в действительности конеслон стоит как вкопанный и тускло смотрит во все концы света, как Перилло. Репетитору ужасно понравилась идея новой фигуры, и он, когда мы потом приезжали к нему, часто напевал на мотив из Детей капитана Блэда: конеслон, конеслон, улыбнитесь, — и пил пиво, и мы никогда больше не занимались по предмету, мы играли в шахматы и нередко обыгрывали репетитора. Так что у нас неплохая память, мама, она скорее избирательная, и ты не должна огорчаться. И тут мы трое, сидящие на кухне, услышали голос отца нашего и поняли, что он уже не дремлет в кресле, но движется по коридору, стуча шлепанцами и шурша свежими вечерними газетами. Он шел устало и долго и кашлял — это и был его голос, в этом его голос и выражался. Добрый вечер, папа в старой пижаме, не огорчайся, что она старая, когда-нибудь мама сошьет или купит тебе новую, и Те Кто Придут будут интересоваться: шили или покупали, шили или покупали, шили или покупали? Наш прокурор-отец очень крупный: когда он стоит в дверях кухни, то заслоняет своей клетчатой пижамой весь проем, он стоит и спрашивает: что случилось, почему вы кричите здесь, в моем доме, вы что — все с ума посходили? Я думал, опять приехали ваши дурацкие родственники, все сто человек сразу. Какого черта, строго говоря! Неужели нельзя тише, ты распустила своего щенка донельзя, у него, ясное дело, сплошные двойки. Нет, папа, суть не в этом, понимаешь, конеслон вошел в мои сны, к а к в р е з и н о в у ю п е р ч а т к у к р а с н ы й м у ж с к о й к у л а к, и у него, у бедняги, избирательная память, у конеслона. Что за ерундистика, не желаю слушать твой бред, — сказал мне отец. Он сел на табуретку, причем могло показаться, что вот-вот она рухнет под тяжестью этого навсегда усталого тела, и он встряхнул ворох газетных страниц, дабы расправить их, и ногтем отчеркнул какую-то заметку под рубрикой о б ъ я в л е н и я. Послушай, — обернулся он к матери, — здесь напечатано: куплю зимнюю дачу. Как ты на это смотришь, не продать ли наш дом этому типу, он наверняка подлец и проходимец, какой-нибудь прораб или завхоз, и деньги-то у него, конечно, есть, иначе он не стал бы давать объявление. Я сейчас сидел и думал, — продолжал отец, — на кой хрен нам нужна наша халупа, там же нет ничего хорошего: пруд грязный, соседи все — хамье и пьяницы, а ремонт один чего стоит. Но гамак, — сказала мама, — как славно полежать в гамаке после трудного дня, ты ведь так любишь. Гамак я могу повесить и в городе, на балконе, — сказал отец, — правда, он займет весь балкон, но зато туда, на балкон, не зайдет ни один родственник, вот что главное, мне надоело держать дачу для твоих родственников, ты понимаешь или не понимаешь этого дела? Продать, и все тут, и никаких тебе налогов, стекольщиков, кровельщиков и прочее, тем более что моя пенсия не за горами, а? Как знаешь, — сказала мама.

И тогда — на сей раз это был именно я, а не тот одноклассник, который столь мучительно заикался, — тогда я заорал отцу моему: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я заорал так громко, как никогда в жизни еще не кричал,

я хотел, чтобы он услышал и понял, что означает крик сына его: а-а-а-а-а-а-а-а-а! волки на стенах даже хуже на стенах люди люди их лица это больничные стены это время когда ты умираешь тихо и страшно а-а-а-а сжавшись в утробный комок лица которые ты никогда не видел но которые увидишь годы спустя это прелюдия смерти и жизни ибо тебе обещано жить чтобы мог ощутить ты обратный ход времени чтобы учился в спецшколе и любил бесконечно учителку Вету Ветку акации хрупкую женщину в тугих шуршащих при ходьбе чулках девочку с маленькой родинкой около сладкого и призывного рта дачницу с глазами ветреной лани глупую и продажную девку с пригородной электрической платформы над которой виадук и часы и бьющиеся на снежном ветру снежном ветру провода а выше а-а-а-а-а летучие молодые звезды и грозы летящие сквозь лета, — я опоздал? извините, ради бога, Вета Аркадьевна, я провожал мать, она уехала к родственникам на несколько дней, в другой город, впрочем, я полагаю, вам неинтересно, честно говоря, я и не знаю, что сделать, чтобы вам стало интересно, ну вот, я придумал, давайте поедем куда-нибудь, давайте в парк или в ресторан, вам, наверное, холодно, застегнитесь, почему вы смеетесь, разве я сказал что-то смешное, ну, перестаньте, пожалуйста, что? вы хотели бы на дачу? но мы давно продали дачу, у нас нет дачи, потому что отец ушел на пенсию, давайте в ресторан, у меня вчера появились деньги, не слишком много, но есть, я теперь работаю в одном министерстве, ну что вы, нет, я никакой не инженер, что? я не слышу, идет электричка, отойдите от края, для чего я написал вам записку? черт возьми, я не могу ответить так сразу, нам необходимо побеседовать, где-нибудь посидеть, давайте поедем в ресторан, ладно? что? на электричке? разумеется, здесь же нет стоянки, здесь загородная местность, точнее, пригородная, по дороге я все расскажу, все очень важно, важнее, чем вы думаете, это важнее, важнее, представляете, когда-то, вероятно, довольно давно я приезжал сюда, на заснеженную платформу, вместе с матерью, вы, наверное, знаете, тут, если по ходу поезда — и налево, будет кладбище, там похоронена моя бабушка — и-и-и-и-и-и — так же, как сейчас, шли электрички, товарные, скорые — осторожно, мама, не поскользнись — или то была иная платформа? они все так похожи, — большое белое кладбище, церковь, но прежде — рынок, рынок, там следует купить семечки, женщины в крестья́нских платках, пахнет коровой, молоком, длинные столы и навесы, несколько мотоциклетов у входа, рабочие в синих фартуках выгружают ящики из грузовика, от переезда, где шлагбаум и полосатая будка, слышится хриплый сигнальный звонок, две собаки сидят у мясной лавки, вдоль забора — очередь за керосином, лошадь, которая привезла цистерну, на лошадь падает снег с дерева, под которым она стоит, но лошадь белая, и потому снег на ее крупе почти незаметен. Еще — водоразборная колонка, вокруг — заледеневшие потеки, посыпанные песком, еще — окурки, брошенные в сугроб, еще — инвалид в телогрейке, продающий сушеные грибы на нитке. Колесо от телеги, прислоненное к мусорному баку. Мама, мы зайдем к бабушке или сразу к маэстро? К бабушке, — отвечает мать, — прежде все же к бабушке, она ждет, мы давно у нее не были, просто нехорошо, она может подумать, что мы совсем забыли о ней, поправь шарф и надень перчатки, где носовой платок, бабушка будет недовольна твоим видом. Миновать железные, с выпуклыми литыми узорами ворота, купить букет бумажных цветов — ими торгует слепая старуха у церкви, выйти на центральную аллею, затем повернуть направо. Идти, пока не увидишь беломраморного ангела в образе молодой женщины. Ангел стоит за синей оградой, сложив за спиной хорошие большие крылья и опустив голову: он слушает гудки поездов — линия проходит в километре отсюда — и оплакивает мою бабушку. Мама ищет ключ от ограды, то есть от висячего замка, который замыкает ограду, калитку в ограде. Ключ лежит где-то там, в приятно пахнущей маминой сумочке — вместе с пудреницей, флакончиком духов, кружевным платком, спичками (мама, конечно, не курит, но спички носит на всякий случай), паспортом, клубочком бумажной бечевки, вместе с десятком старых трамвайных билетов, губной помадой и мелочью на дорогу. Мама долго не может отыскать ключ и волнуется: ну где же он, господи, я хорошо помню,что он был, неужели мы не попадем сегодня к бабушке, так обидно. Но я знаю, что ключ непременно отыщется, и спокойно жду — нет, неправда, я тоже волнуюсь, потому что боюсь ангела,

я немного боюсь ангела, мама, он такой мрачный. Не говори глупостей, он не мрачный, а скорбный, он оплакивает бабушку. Наконец ключ находится, и мама начинает открывать замок. Получается не сразу: в скважину ветром надуло снега, и ключ не входит, и тогда мама прячет замок в ладони, чтобы он согрелся и снег в скважине растаял. Если это не помогает, мама склоняется над замком и дышит на него, будто оттаивает чье-то замерзшее сердце. Наконец, замок щелкает и открывается — разноцветная зимняя бабочка, сидевшая на ветке бузины, пугается и летит к соседней могиле; ангел лишь вздрагивает, но не улетает, он остается с бабушкой. Мама скорбно отворяет калитку, приближается к ангелу и долго глядит на него — ангел осыпан снегом. Мама наклоняется и достает из-под скамейки сорговый веник: мы купили его однажды на рынке. Мама сметает снег со скамейки, потом поворачивается к ангелу и счищает снег с его крыльев (одно крыло повреждено, надломлено) и с головы; ангел недовольно морщится. Мама берет небольшую лопатку — стоит за спиной ангела — и очищает от снега бабушкин холм. Х о л м , п о д к о т о р ы м б а б у ш к а. Затем мама присаживается на скамейку и берет из сумочки платок, чтобы вытирать свои грядущие слезы. Я стою рядом, мне не особенно хочется сидеть, мама, не особенно, спасибо, нет, я постою. Ну вот, — говорит мама своей матери, — ну вот, мы и пришли опять, здравствуй, дорогая, видишь, у нас снова зима, не холодно ли тебе, может быть, не нужно было убирать снег, было бы теплее, слышишь, идет поезд, сегодня воскресенье, мама, в церкви много народу, у нас дома — тут по щекам моей мамы скользят первые слезы, — у нас дома все хорошо, с мужем (мама называет имя отца моего) не ссоримся, все здоровы, сын наш (мама называет мое имя) учится в таком-то классе, с учебой у него лучше. Неправда, мама, неправда, думаю я, у меня с учебой так худо, что Перилло не сегодня-завтра исключит меня из школы, думаю я, и я стану продавать бумажные цветы, как та старуха, думаю я, но вслух говорю: бабушка, я ужасно стараюсь, ужасно, я непременно закончу школу, не волнуйся, пожалуйста, и стану инженером, как дедушка. Больше я ничего не могу сказать, поскольку чувствую, что сейчас заплачу. Я отворачиваюсь от бабушки и смотрю вдоль аллеи: в конце ее, у забора, играет с собакой маленькая девочка — здравствуй, девочка с простой собакой, я всякий раз вижу тебя здесь, знаешь, что я хочу сообщить тебе сегодня, я обманываю свою бывшую бабушку, мне как-то неловко огорчать ее, и я говорю неправду, никогда и никто из нас, недоумков, не станет инженером, мы все способны лишь продавать открытки или бумажные цветы, как та старуха у церкви, да и то вряд ли: мы, наверное, ни за что не научимся делать такие цветы, и нам нечего будет продавать. Девочка уходит и уводит собаку. Я замечаю, что бабочка, которая сидит теперь в трех шагах от меня, на излуке высокого снежного свея, расправляет крылья, собираясь взлететь. Я распахиваю калитку и бегу, но бабочка замечает меня раньше, чем успеваю накрыть ее шапкой своей: скрывается меж кустарников и крестов. По колено в снегу бегу я за ней, скорбно, стараясь не глядеть на фотографии тех, кого нет; их лица освещены заходящим солнцем, лица их улыбаются. Сумерки спускаются из глубины неба. Бабочка, мелькавшая иногда тут и там, совсем пропадает, и ты остаешься один посреди кладбища.

Ты не знаешь, как вернуться тебе к скорбящей матери твоей, и направляешься в ту сторону, откуда слышны гудки паровоза, — в сторону линии. Паровоз, синий дым, гудок, какое-то пощелкивание внутри механизма, синяя — нет, черная кепка машиниста, он выглядывает из окна кабины, смотрит вперед и по сторонам, замечает тебя и улыбается — у него усы. Тянет руку вверх, туда, где, очевидно, приборы и ручки сигнала. Ты догадываешься, что через секунду будет еще один гудок — паровоз вскрикнет, очнется, дернет и потянет за собою вагоны, начнет пускать пар и, набирая скорость, отдуваться. Мягко, сутулясь в неуклюжем стеснении от собственной необъяснимой силы, он укатит за мост, пропадет — растает, и отныне ты никогда не найдешь утешения: о, эта утрата: где отыскать его, черный, как грач, паровоз, где повстречать усатого машиниста и где еще раз увидеть потрепанные — именно эти, а не иные — вагончики в заплатах, коричневые, грустные и скрипучие. Пропадет — растает.

Запомнишь голос гудка, пар, вечные глаза машиниста, подумаешь, сколько лет ему, где живет, подумаешь—забудешь (пропадет—растает), вспомнишь однажды и не сумеешь поведать ничего кому-то другому—обо всем, что видел: о машинисте, и паровозе, и о составе, который оба они увезли за мост. Не сумеешь, не поймут, странно глянут: мало ли паровозов. Но если поймут—удивятся. Пропадет—растает. Грач-паровоз, паровоз-грач. Машинист, вагоны, качающиеся на рессорах, кашель сцепщика и рожок. Дальняя дорога, карточные домики за полосой отчуждения—казенные и частные, с палисадниками и с яблочными простыми садами, в окнах—свет или бликующая темнота, там и здесь—неведомая и непонятная тебе жизнь, люди, которых ты никогда не узнаешь. Пропадет—растает. Стоя в протяжных сумерках—руки в карманах серого демисезонного пальто,—мыслишь поезду быструю путевую ночь, хочешь добра всем кочегарам, обходчикам и машинистам, желаешь им путевой доброй ночи, где будут: сонные лица вокзалов, звоны стрелок, паровозы, пьющие из г-образных хоботов водокачек, крики и ругань диспетчеров, запах тамбура, запах перегоревшего угля и чистого постельного белья, запах чистоты, Вета Аркадьевна, чистого снега, в сущности, запах зимы, самого ее начала, это важнее всего — вы понимаете? Боже мой, ученик такой-то, отчего вы так кричите, просто неудобно, на нас смотрит весь вагон, разве нельзя беседовать обо всем вполголоса? Тогда ты встаешь, выходишь на середину вагона и, подняв руку в знак приветствия, говоришь: граждане пригородные пассажиры, я прошу вашего прощения за то, что беседовал столь громко, мне очень жаль, я поступал неправильно; в школе, в специальной школе, где я когда-то учился, нас учили отнюдь не этому, нас учили беседовать вполголоса, о чем бы ни шла речь, именно так я и старался поступать всю жизнь. Но сегодня я необыкновенно взволнован, сегодня исключительный случай, сегодня я, вернее, на сегодня я назначил свидание моей бывшей учительнице, написав ей взволнованную записку, и вот учительница пришла на заснеженную платформу, дабы увидеться со мной спустя столько-то лет, вот она сидит здесь, в нашем электрическом вагоне, на желтой электрической скамейке, и все, что я говорю ей сейчас и скажу еще,—все на редкость важно, поверьте, вот почему мой голос звучит несколько громче обычного, спасибо за внимание. Взволнованно. Ты хочешь вернуться к Вете, но тут кто-то кладет тебе на плечо руку. Ты оборачиваешься: перед тобой—строгая женщина сорока с лишним лет, чуть седая, в очках в тонкой позолоченной оправе, у женщины зеленые глаза и вертикальные и мучительно знакомые складки у рта. Вглядись—это твоя терпеливая мать. Она уже битый час ищет тебя по всему кладбищу: где ты пропадал, противный мальчик, зачем ты опять уставился на паровозы, она думала, с тобой что-то случилось, уже совсем темно. Отвечай просто и с достоинством: дорогая мама, я увидел зимнюю бабочку, побежал за ней и потому заблудился. Идем немедленно,—сердится мать,—бабушка зовет тебя, она просит показать, как ты научился играть на аккордеоне, сыграй ей что-ниудь скорбное, печальное—ты слышишь меня? и не смей отказываться. Бабушка, ты слышишь меня? Я сыграю тебе пьесу Брамса, называется Картошка, но я не уверен, хорошо ли разучил ее. Я беру аккордеон — инструмент в черном чехле стоит на снегу аллеи, снимаю чехол и сажусь на скамейку. На кладбище вечер, но белый ангел—он рядом—хорошо виден мне, сидящему с аккордеоном три четверти. Ангел расправил крылья свои и осенил меня скорбным вдохновением: и-и-и — раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, во саду ли, в огороде девушки гуляли, гуля-я-яли, раз-два-три, раз-два-три, не плачь, мама, а то я перестану играть; бабусе хорошо, не надо расстраиваться, раз-два-три, раз-два-три, гуля-я-яли, у нее тоже была избирательная память, у бабушки, гуля-я-яли. Ты помнишь, как звучит аккордеон на морозном воздухе кладбища ранним вечером, когда со стороны железной дороги доносятся звуки железной дороги, когда с далекого моста у самой черты города сыплются и сквозят в оголенных ветвях бузины фиолетовые трамвайные искры, а из магазина у рынка—ты хорошо слышишь и это—разнорабочие увозят на телеге ящики с пустыми бутылками; бутылки металлически лязгают и звенят, лошадь стучит подковами по ледяному булыжнику, а рабочие кричат и смеются,—ты ничего не узнаешь и про этих рабочих, и они тоже ничего о тебе не узнают,—так помнишь ли ты, как звучит твоя Баркаролла на морозном воздухе кладбища ранним вечером? Зачем ты спрашиваешь меня об этом, мне так неприятно вспоминать то время, я устал вспоминать его, но если ты настаиваешь, я отвечу спокойно и с достоинством: мой аккордеон звучит в те минуты одиноко. Могу ли я задать тебе следующий вопрос, меня интересует одна деталь, я собираюсь проверить твою, а заодно и свою память: в те годы, когда ты или я, когда мы навещали вместе с матерью нашу бабушку, чтобы сыграть ей на аккордеоне новую пьесу или пересказать коротко содержание новой прочитанной нами повести из серии книга за книгой,—в те годы наш учитель Норвегов был еще жив или уже умер?

Видишь ли, годы, о которых мы теперь беседуем вполголоса, тянулись довольно долго, они тянулись и тянулись, за это время наставник Савл успел и пожить и умереть. Ты имеешь в виду, что он сначала жил, а затем умер? Не знаю, во всяком случае, он умер как раз посреди этих долгих, растянутых лет, и лишь в конце их мы повстречались с учителем на деревянном перроне нашей станции, и в ведре у Норвегова плескались какие-то водяные животные. Но я не понимаю, в каком именно конце указанных лет произошла наша встреча—в том или другом. Я объясню тебе, когда-то в каком-то научном журнале (я показывал отцу нашему эту статью, он полистал и тут же выбросил весь журнал с балкона, причем, выбрасывая, несколько раз выкрикнул слово акатовщина) я прочитал теорию одного философа. К ней было предисловие, мол, статья печатается в беспорядке дискуссии. Философ писал там, что, по его мнению, время имеет обратный счет, то есть движется не в ту сторону, в какую, как мы полагаем, оно должно двигаться, а в обратную, назад, поэтому все, что было,— это все еще только будет, мол, истинное будущее—это прошлое, а то, что мы называем будущим,—то уже прошло и никогда не повторится, и если мы не в состоянии вспомнить минувшего, если оно скрыто от нас пеленою мнимого будущего, то это не вина, но беда наша, поскольку у всех у нас поразительно слабая память, иначе говоря, подумал я, читая статью, как у меня и у тебя, как у нас с тобой и у нашей бабушки,—избирательная. И еще я подумал: но если время стремится вспять, значит, все нормально, следовательно, Савл, который как раз умер к тому времени, когда я читал статью, следовательно, Савл еще *будет*, то есть придет, вернется—он весь впереди, как бывает впереди непочатое лето, полное великолепных речных нимфей, лето лодок, велосипедов и лето бабочек, коллекцию которых ты наконец собрал и отправил в большом ящике из-под заграничных яиц в нашу уважаемую Академию. Посылку ты сопроводил следующим письмом: «Милостивые государи! не раз и не два устно (по телефону) и письменно (по телеграфу) просил я подтверждения слухов о проведении академического энтомологического конкурса имени одного из двух меловых стариков, стоящих во дворе нашей специальной школы. Увы, я не получил никакого ответа. Но, будучи страстным и в то же—имеющее обратный ход—время беззаветно преданным науке коллекционером, я считаю своим долгом предложить высокому вниманию вашего ученого совета мою скромную коллекцию ночных и дневных бабочек, среди коих вы найдете как летних, так и зимних. Эти последние представляют, по-видимому, особый интерес, поскольку—несмотря на многочисленность—почти не заметны в природе и в полете, о чем ваш покорный слуга уже упоминал в беседах со специалистами, в частности, с академиком А. А. Акатовым, чрезвычайно тепло отозвавшимся о настоящей коллекции, насчитывающей ныне более десяти тысяч экземпляров насекомых. О результатах конкурса прошу сообщить по адресу: железная дорога, ветка, станция, дача, звонить велосипедным звонком, пока не откроют». Ты заклеил конверт, и прежде чем положить его к бабочкам в яичный ящик, написал на обратной стороне конверта: лети с приветом, вернись с ответом—крест-накрест, по диагоналям, крупно. Так учила нас преподаватель русского языка и литературы по прозвищу Водокачка, хотя, если искать человека менее всего похожего на водокачку—как внешне, так и внутренне, то лучше нашей Водокачки никого не отыскать. Но тут дело было не в сходстве, а в том, что буквы, состав-

ляющие само слово, вернее половина букв (читать через одну, начиная с первой) — это ее, преподавателя, инициалы: В. Д. К. Валентина Дмитриевна Калн — так ее звали. Но остаются еще две буквы — Ч и А, — и я забыл, как расшифровать их. В понятии наших одноклассников они могли бы означать что угодно, а между тем не признавалась никакая иная расшифровка, кроме следующей: Валентина Дмитриевна Калн — человек-аркебуза. Забавно, что и на человека-аркебузу Калн походила не больше, чем на водокачку, но если тебя попросят когда-нибудь дать ей, Водокачке — хотя непонятно, зачем и кому может явиться в голову такая мысль — более точное прозвище, ты вряд ли отыщешь его. Пусть та преподаватель совершенно не была похожа на водокачку, — скажешь ты, — зато она необъяснимо напоминает само слово, сочетание букв, из которых оно состоит (состояло, будет состоять) — В, О, Д, О, К, А, Ч, К, А.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Скирлы

Теперь позволь мне откашляться, посмотреть тебе прямо в глаза и уточнить одну деталь из твоего сопроводительного письма. В нем сказано, будто бы сам Акатов тепло отзывался о нашей коллекции, но я не припомню, чтобы мы беседовали с ним на эту тему, — мы вообще ни разу не встречались с ним, мы видели его лишь издали, обычно в щели забора, но как мечтали мы пройти однажды по дорожке акатовского сада, постучать в двери дома и — когда старик откроет — поздороваться и представить себя: ученик вашей дочери — такой-то, начинающий энтомолог, хотелось бы обсудить с вами некоторые проблемы, etc. Но мы ни разу не осмелились постучать в двери дома его, поскольку — или по другой причине? — в саду жила большая собака. Послушай, я не люблю, когда ты называешь мою коллекцию — н а ш е й коллекцией, тебе никто не давал такого права, я собирал мою коллекцию один, и если мы когда-нибудь сольемся в общем поступке, то поступок этот не будет иметь никакого отношения к бабочкам; ну вот, теперь насчет беседы с Акатовым: это правда, я не обманул Академию, я действительно говорил с ним. Однажды летом, на даче, в воскресенье, когда отец с утра засадил нас переписывать передовые статьи из газет, чтобы мы лучше разбирались в вопросах внешней и внутренней к а л и т и к и, я решил, что ты прекрасно справишься здесь и без меня. Я выждал момент: ты отложил ручку, отвернулся к окну и принялся рассматривать строение цветка сирени, — я неслышно вышел из-за стола, надел отцовскую шляпу — она висела на гвозде в прихожей, взял трость — это была трость одного из наших родственников, забытая им лет пять назад. На платформе станции пять лет назад, вечером. Наша мать — родственнику: я надеюсь, вы хорошо отдохнули у нас, не раздавите клубнику, помойте, передавайте привет Елене Михайловне и Витюше, приезжайте вместе, не обращайте внимания на мужа, у него это просто нервное, много работает, куча дел, устает, но вы же знаете, он, в общем, добрый, да, в душе мягкий и добрый, но может сорваться иногда, так что приезжайте, приезжайте, только не спорьте с ним, погодите, а где же трость, вы, кажется, были с тростью, вы оставили трость, ах, какая неприятность, что же делать. Взволнованно. Давайте вернемся, будет еще одна электричка. Родственник: помилуйте, не стоит, не беспокойтесь, если бы зонт — куда ни шло, как раз дождь собирается, спасибо за ягоды, признателен, а за тростью мы приедем, подумаешь — трость, чепуха, не в трости, как говорится, счастье, до встречи, уже подходит. Однако с тех пор родственник так и не приехал и трость находилась на веранде до того самого дня, когда я взял ее и направился в соседний поселок в гости к естествоиспытателю Акатову: тук-тук (собака подбегает и обнюхивает меня, но сегодня я не боюсь ее), тук-тук. Но никто не открывает двери дома. И тогда еще раз: тук-тук. Но никто не отзывается. Ты обходишь особняк вокруг, по густой газонной траве, заглядываешь в окна, чтобы проверить, есть ли в доме большие настенные часы с боем, которые, по твоим расчетам, непременно

должны быть, дабы с помощью маятника резать на куски дачное время, но все окна занавешены. По углам дома врыты в землю пожарные бочки, в них — до половины — ржавая вода и живут какие-то неторопливые насекомые. Лишь одна бочка совершенно пуста, в ней нет ни воды, ни насекомых, и к тебе является счастливая мысль — наполнить ее криком своим. Долго стоишь ты, наклонившись над темной цилиндрической бездной, перебирая в своей избирательной памяти слова, которые лучше прочих звучат в пустоте пустых помещений. Таких слов немного, но они есть. Например, если — изгнанный с урока — бежишь ты по школьному коридору, когда в классах идут занятия, и внутри естества твоего родится желание кричать так, чтобы крик твой леденил кровь лживых и развратных учителей твоих и чтобы они, оборвав речь свою на полуслове, глотали бы языки и обращались на потеху идиотам-ученикам в меловые столбы и столбики (в зависимости от роста), то не придумаешь ничего восхитительнее вопля: бациллы! Как вы считаете, наставник Савл?

Дорогой ученик и товарищ такой-то, сидя ли на подоконнике в уборной, стоя ли у карты перед лицом класса с указкой в руке, играя ли в преферанс с некоторыми сотрудниками в учительской или в котельной, я нередко оказывался свидетелем того, в какой нездешний ужас приводил этот безумный ваш крик и педагогов, и учеников, и даже глухонемого истопника, ибо где-то и кем-то сказано: глухой, придет время — и услышит. Разве не видел я, как совковая лопата, которою неустанно швыряет он уголь в ненасытные адовы топки в течение холодных сезонов, разве — спрашиваю я — не видел я, как совковая лопата выпадала из дланей несчастного старца, когда наставало время вашего крика, время — глухому слышать, и он, обернув ко мне обуглившееся и страшное в танцующих бликах и отблесках пламени, изъязвленное и небритое лицо свое, обретал на минуту дар речи и следом за вами, мотая похмельной головой, кричал — нет, он рычал — то же слово: бациллы, бациллы, бациллы. И столь велик бывал гнев его, и так сильна страсть, что огонь в топках погасал от рыка его. И разве не видел я, как бледнели при вашем крике привычные ко многому учителя спецшколы, и карты, игральные карты, что держали они в руках, обращались в листочки лесного бредовника, имеющего свойство вытягивать гной, и они, педагоги, стонали от ужаса. А разве не видел я, как лица ваших соучеников, и без того бесконечно тупые, становились от вашего вопля еще тупее, и у всех, даже у самых приспособленных к учебе, и у тех, что казались почти здоровыми, вдруг в ответном, хотя и немом, крике отверзались рты — и все недоумки спецшколы орали чудовищным онемевшим хором, и больная желтая слюна текла из всех этих испуганных психопатических ртов. Так не спрашивайте меня понапрасну, что думаю я о неистовом и чарующем вашем крике. О, с какою упоительною надсадой и болью кричал бы и я, если бы дано мне было кричать лишь вполовину вашего крика! Но не дано, не дано, как слаб я, ваш наставник, перед вашим данным свыше талантом. Так кричите же вы — способнейший из способных, кричите за себя, и за меня, и за всех нас, обманутых, оболганных, обесчещенных и оглупленных, за нас, идиотов и юродивых, дефективных и шизоидов, за воспитателей и воспитанников, за всех, кому не дано и кому уже заткнули их слюнявые рты и кому скоро заткнут их, за всех без вины онемевших, немеющих, обезъязыченных — кричите, пьяня и пьянея: бациллы, бациллы, бациллы!

В пустоте пустых помещений неплохо звучат и некоторые другие слова, но, перебрав их в памяти своей, ты понимаешь, что ни одно из них, известных тебе, в этой ситуации не подходит, ибо для того, чтобы наполнить пустую акатовскую бочку, необходимо совершенно особое, новое слово или несколько слов, поскольку ситуация представляется тебе исключительной. Да, говоришь ты себе, тут нужен крик нового типа. Проходит минут десять. В саду Акатовых — много кузнечиков, они скачут в теплых янтарных травах, и всякий раз прыжок любого — неожидан и быстр подобно выстрелу из спецшкольной рогатки. Пожарная бочка ма-

нит тебя пустотой своей, и пустота эта, и тишина, живущая и в саду, и в доме, и в бочке, скоро становятся невыносимыми для тебя, человека энергического, решительного и делового. Вот почему ты не желаешь больше размышлять о том, что кричать в бочку,— ты кричишь первое, что является в голову: я — Нимфея, Нимфея! — кричишь ты. И бочка, переполнившись несравненным гласом твоим, выплевывает излишки его в красивое дачное небо, к вершинам сосен — и по дачным душным мансардам и чердакам, набитым всяческим барахлом, по волейбольным площадкам, где никто никогда не играет, по вольерам с тысячами ожиревших кроликов, по гаражам, провонявшим бензином, по верандам, где на полу разбросаны детские игрушки и чадят керосинки, по огородам и вересковым пустошам вокруг дачных поселков несется эхо — излишки твоего крика: ея-ея-ея-яяяяя-а-а! Отец твой, отдыхающий в гамаке у себя на участке, вздрагивает и просыпается: кто там кричал, будь он проклят, мать, мне послышалось, где-то на пруду орал твой ублюдок, разве я не приказал ему заниматься делом. Отец торопится в дом и заглядывает в комнату. Он видит, как ты сидишь за письменным столом и старательно — старание выражено в том, что ты склонил свою наголо стриженную голову набок и нелепо изогнул спину, будто тебя всего изломали, да, сбросили на камни с высокого обрыва, а затем подошли и еще больше изломали с помощью кузнечных щипцов, которыми держат раскаленные болванки,— пишешь, но отец видит лишь то, что видит, он не знает, не догадывается, что за столом сидишь только один ты, а другой ты стоишь в тот момент возле акатовской бочки, радуясь своему летучему крику. Оглянувшись вокруг, замечаешь ты у сарая довольно пожилого человека в рваном, белом, похожем на медицинский, халате. Человек подпоясан веревкой, на голове у него — треуголка из пожелтевшей газеты, а на ногах — посмотри внимательно, что же у него на ногах, то есть как он обут,— а на ногах у него — я не могу хорошенько рассмотреть, он все-таки сравнительно далеко,— на ногах у него, кажется, боты. Пожалуй, ты ошибаешься, разве это боты, а не кеды? Трава слишком высокая; если бы ее покосить, то я бы утверждал более определенно насчет обуви его, а так — не разберешь, впрочем, я уже понял: это галоши. А ну-ка, присмотрись, у человека, по-моему, нету брюк, я имею в виду, что не вообще нету, а в частности, в настоящий момент нету, иными словами — он без брюк. Ничего особенного, сейчас лето, а летом не довольно ли одного халата и галош; в брюках, если надеть халат, будет жарко, поскольку халат — это почти пальто, в какой-то степени пальто, пальто без подкладки, или, наоборот, подкладка без пальто, или просто — легкое пальто. И если халат белый, медицинский, то по-иному можно именовать его легким медицинским пальто, а если халат белый, но принадлежит не врачу, а, предположим, ученому, смело назови такой халат легким научным пыльником, или — лабораторным пальто. Ты все правильно объясняешь, но мы еще не знаем, кому принадлежит халат, надетый на человека в галошах, проще говоря: кто там столь пожилой и тихий стоит у сарая — в газетной треуголке, в белом пыльнике и галошах на босу ногу, кто это? Неужели ты не узнал его, это сам Акатов, заявивший некогда всему миру, что странные вздутия на различных частях растений — галлы — вызываются тем-то и тем-то, что было весьма опрометчиво с его стороны, хотя, как видишь, справедливость победила и после того-то и того-то, о чем давно не принято вспоминать, академик спокойно живет у себя на даче, а ты, явившийся к нему для беседы, наполняешь криком его пожарную бочку. И академик, в пристальной настороженности своей похожий на небольшое сутулое дерево, тонким и взволнованным человеческим голосом спрашивает тебя: кто вы, я опасаюсь вас, неужели вас много? Не страшитесь, сударь — говоришь ты, стараясь быть как можно интеллигентней в манерах и речи,— я совершенно один, абсолютно, а если возникнет кто-то другой, то не верьте ему, будто он — это тоже я, это вовсе не так, и вы, очевидно, догадываетесь, в чем дело: когда он придет, я спрячусь в поленнице, а вы, вы — солгите ему, солгите, умоляю вас, мол, ничего не знаю, здесь никого не было, он поищет и смоется, и мы не торопясь продолжим беседу. А зачем вы так кричали в бочку,— интересуется Акатов,— что вас заставило? Приставив ладонь к уху, добавляет: только говорите громче, я плоховато слышу. Сударь, позвольте

я пройду к вам сквозь эти высокие травы. Шагайте, мне кажется, я уже не боюсь вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой Аркадий Аркадьевич, суть в том, что я ловлю бабочек. А-а, бабочек, и много поймали? Снежных или вообще? — отвечаешь ты вопросом на вопрос. Снежных, разумеется,— говорит академик. Столько-то,— говоришь ты,— я коллекционирую коллекцию, в настоящий момент она вбирает в себя такие-то и такие-то виды. Ого, какая прелесть,— удивляется Акатов,— но отчего так громко, я не выношу крика, коллекционируйте, тихо, ради бога. Лицо его, морщинистое и смуглое, как груша в компоте, бледнеет от раздражения. Впрочем,— продолжает он,— вы все равно будете кричать, что бы там ни было, я знаю, это судьба вашего поколения, ведь вы молоды, вам на вид не дашь и шестнадцати. О нет, сударь, вы ошибаетесь, мне давно за двадцать, мне тридцать, видите, ведь я ношу шляпу и трость. Так, ладно, послушайте,— перебивает тебя Акатов,— могу ли я обратиться к вам за консультацией? Оживленно. К вашим услугам, сударь, я весь — внимание. На днях,— академик оглядывается по сторонам и понижает голос почти до шепота,— я изобрел некоторое изобретение, следуйте за мной, оно в сарае, я нынче залер дом и живу в сарае, так удобнее, занимаешь меньше места. То был обыкновенный сарай, каких немало в нашей дачной местности: потолок — изнанка крыши, стенки из неструганых досок и такой же пол. Что же увидел ты внутри сарая, когда вошел туда, сняв у порога обувь твою и оставив трость, дабы не наследить там? Стол, стул, кровать и стопку книг на подоконнике увидел я там. А над всем этим, щурясь от белого зимнего солнца — в енотовой шубке — на фоне сугроба и дачного заснеженного леса,— сияла, летела, царила — твоя несравненная Вета — учительница по анатомии, ботанике, биологии,— и на ее удивительном, захлестывающем, как удушливая петля, лице — не было ничего, что помнило бы о тебе или говорило с тобой один на один — о, Нимфея, это лицо было обещано многим,— но разве в том страшном, необратимом и неразличимом во тьме номеров и квартир множестве, разве в том числе — было место и для тебя, неуспевающего олуха специальной школы, от неистовой нежности и восторга обратившегося в сорванный тобою же цветок, разве и ты, желая того в неисчислимое число раз больше других, разве и ты был в том числе?! Господи сударь какая изумительная фотография она здесь как живая то есть нет я ошибся стилистическая ошибка я хотел сказать как настоящая как на уроке красивая и недоступная кто это снимал когда почему я ничего не знаю какой-нибудь подлец с фотоаппаратом кто он в каких они отношениях здесь или в другом месте легион вопросов. Так вот, я изобрел некое изобретение: видите, обыкновенная палочка, а? казалось бы. Да да казалось бы сударь казалось бы я тоже приезжаю сюда зимой довольно часто но приезжаю один без всяких там фотографов я не фотографируюсь на фоне сугробов у меня просто нет знакомых с фотоаппаратами она должна была казалось бы поставить меня в известность мол так и так так и так так и так ездила в Край Козодоя на машине с одним инженером кандидатом искусствоведом режиссером счетоводом черт побери фотографировалась на фоне сугроба на дачу мол даже не заходили чтобы не расчищать дорожки от снега погуляли полчаса и вернулись в город ведь я бы поверил. Но это глубочайшее заблуждение, следите, юноша, я из одного вертикального положения перевожу ее в другое вертикальное положение, а иначе говоря — ставлю ее вверх ногами, и что же открывается нашему с вами изумленному взору? Ору сударь ору ибо обманутая Нимфея аз есмь лысая слабая плоскостопая с высоким как у настоящего кретина лбом и старым от сомнений лицом взгляните я совершенно ужасен мой нос весь в неприятных угрях а губы вытянуты вперед и расплющены словно я родился от утки и не имеет значения что когда-то в расцвете переломного возраста я учился играть на перламутровой три четверти Баркаролле это не помогло мне все равно мучительно больно. Мы видим обыкновенный гвоздь, вбитый в торец нашей палочки, он вбит шляпкой, а острый конец его смотрит на нас подобно смертоносному стальному жалу,— но не робейте, юноша, я не направлю его в вашу сторону и не причиню вам колющей раны, но я направлю его на всякую бумажку, загрязняющую мой дачный участок, и я проткну ее моим уникальным изобретением, и когда их, бумажек, скопится на острие достаточно,

я сниму их с гвоздя, как богатырь снимает с копья насаженных на него врагов, и кину в бездну отхожей ямы, что в углу моего сада,— таково мое изобретение, позволяющее мне, старику, не покидать ряды несгибаемых борцов: из-за болезней я не могу нагнуться и поднять бумажку, но благодаря обыкновенной палочке с гвоздиком я борюсь за чистоту не сгибаясь; так вот, поскольку вы кажетесь мне на редкость порядочным человеком, я позволю себе просить вашего совета, а именно: есть ли, на ваш взгляд, смысл взять патент, запатентовать эту палочку?

Сдерживая негодующий птичий клекот, который мечется в твоем ангиозном горле меж невырезанных гланд: уважаемый Аркадий Аркадьевич, я чрезвычайно ценю ваше изобретение, однако сейчас я сам нуждаюсь в вашем совете — и даже в большей степени, чем вы,— в моем, у вас вопрос честолюбия, а у меня — извините, я говорю, как в романе, и оттого мне как-то неловко и смешно,— у меня к вам вопрос целой жизни. Подождите, подождите, я опять начинаю опасаться вашего присутствия, неужто вы действительно собираетесь спросить меня о чем-то важном, дайте я сяду, неужели вам что-либо нужно от немолодого полунезрячего дачника, да кто вы такой в конце концов, чтобы задавать мне вопросы, и потом — перестаньте кричать в мою прекрасную бочку. Больше не стану, сударь, я готов объяснить все, я живу по соседству, на даче моих родителей, а здесь вокруг так красиво, что один раз со мной случилась неприятность, но об этом после, главное в том, что я ненавижу одну женщину, еврейку, Шейну Тинберген, она — ведьма, она работает завучем у нас в школе, поет про кота, ну вы, наверное, учили в детстве эту песенку: тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, за Кота Котовича,— а, кстати, помните, как звали кота, сударь? Минутку, юноша.— Акатов трет голубые пульсирующие виски, напрягая память,— кота звали Трифон Петрович. Верно, впрочем, я опять не о том, к черту Трифона Петровича, он обыкновенный экскаваторщик, лучше побеседуем о самой Шейне. Представляете, когда она, эта хромая старуха, приплясывая, движется по огромному пустому коридору (лампы горят через одну, вторая смена убежала домой, и только меня оставили после уроков делать уроки на завтра), а я стою в конце его или иду ей навстречу, держа наготове почтительный наклон головы, мне становится так жутко, как не бывает даже во сне после уколов. Нет, она никогда не делала мне ничего дурного, и я говорил (говорю, буду говорить) с ней лишь о патефоне; и хотя он у меня сто лет не работает и не должен бы играть ни за какие деньги, когда Шейна уносит его в свою комнату и запирается, то он играет как новый. Точнее, он не играет, а рассказывает: старуха крутит на нем пластинку с голосом своего покойного мужа, который повесился, потому что она изменяла ему с Сорокиным в гараже, или нет, повесился Сорокин, а ее муж, Яков, он отравился. Понимаю,— отзывается Акатов,— но какого рода текст записан там, на пластинке? А-а, вот-вот, это-то и есть самое главное, там, на пластинке покойный Яков читает С к и р л ы. Помилуйте, юноша, впервые слышу. Кошмарная штука, сударь, я даже не решаюсь, но вкратце так: понимаете, С к и р л ы — это название сказки, страшная детская сказка про медведя, я не сумею в точности, в общем, в лесу живет медведь, казалось бы, ничего особенного, казалось бы! но беда состоит в том, что медведь тот — инвалид, калека, у него нету одной ноги, причем непонятно, как так все получилось, только известно, что ноги нету, по-моему, задней ноги, и вместо нее у медведя деревянный протез. Он, медведь, выточил его из ствола липы — топором, и когда медведь идет по лесу, далеко слышен скрип протеза, он скрипит так, как называется сказка: с к и р л ы, с к и р л ы. Яков хорошо подражал этому звуку, у него был скрипучий голос, он служил провизором. В сказке участвует еще и девочка, по-видимому, меловая, она боится медведя и не отлучается из дома, но однажды — черт его знает, как так получилось,— медведь все же подстерегает ее и уносит в специальном — лубяном, что ли,— коробе к себе в берлогу и что-то там с ней делает, неизвестно, что именно, в сказке не объясняется, на том все и кончается, ужасно, сударь, не знаешь, что и думать. Когда я вспоминаю С к и р л ы — хотя я стараюсь не вспоминать, лучше не вспоминать,— мне мерещится, будто девочка та —

не девочка, а одна моя знакомая женщина, с которой у меня близкие отношения, вы понимаете, конечно, мы с вами — не дети, и мне мерещится, что медведь — тоже не медведь, а какой-то неизвестный мне человек, мужчина, и я прямо вижу, как он что-то делает там, в номере гостиницы, с моей знакомой, и проклятое с к и р л ы слышится многократно, и меня тошнит от ненависти к этому звуку, и я полагаю, что убил бы того человека, если бы знал, кто он. Мне тяжело думать про сказку С к и р л ы, сударь, но, поскольку я редко делаю домашнее задание, меня часто оставляют после уроков делать уроки на завтра и на вчера, и, оставшись один в классе, я обычно выхожу пройтись в коридор, а выйдя, встречаюсь там с Тинберген, а когда я вижу ее, грядущую искалеченной, но вместе и какой-то почти веселой, танцующей походкой, и слышу тоскливый — как крик одинокого козодоя — скрип ее протеза, то — увольте, сударь,— не могу не думать о сказке С к и р л ы, потому что звук именно тот самый, как в гостинице, и она сама, седобородая ведьма с заспанным лицом старухи, которая уже умерла, но которую насильно разбудили и заставили жить, она в сумеречном свете безлюдного коридора, где бликующий паркетный пол, она сама и есть С к и р л ы, воплотившая в себе все самое печальное из этой истории с девочкой, хотя я до сего дня не разберусь, в чем тут дело и отчего все это так, а не по-другому.

Да, юноша, да, я без труда понимаю вас. Задумчиво. Когда-то что-то похожее было и у меня, что-то такое случалось, происходило и в моей юности, я, разумеется, не помню, что конкретно, однако все в той или иной мере походит на ваш случай. Но,— спрашивает вдруг Акатов,— в какой школе вы обучаетесь, я ничего не соображаю, ведь вам уже за двадцать, вам тридцать, в какой же школе? В специальной, сударь. Ах вот как, говорит академик (вы покидаете сарай, и ты в последний раз оглядываешься на ее фотографию),— и на чем же специализируется ваша школа? Впрочем, если вам трудно или неудобно или если это секрет,— не отвечайте, я не вынуждаю, в вашем ответе нет почти никакой надобности, как и в моем вопросе, мы беседуем с вами по-свойски, мы ведь не на экзаменах в Оксфорде, поймите меня правильно, я поинтересовался просто так, спросил — чтобы спросить, так сказать, в порядке бреда, любой из нас вправе задать любой вопрос и любой вправе не отвечать на любой вопрос, но, к сожалению, здесь — здесь и там, повсюду, еще не многие усвоили эту истину,— о н и заставляли меня отвечать на каждый их вопрос, о н и — в заснеженных. Но я же — не о н и,— продолжал Акатов, распахивая и запахивая белый научный пыльник,— и не отвечайте мне, если нет охоты, лучше посидим молча, оглянемся вокруг, послушаем, как поет лето — и прочее, нет-нет, не отвечайте, я ничего не желаю знать о вас, вы и так стали мне симпатичны, вам удивительно к лицу эти трость и шляпа, только шляпа чуть велика, вы, верно, приобрели навырост. Вот именно, навырост; но я хотел бы ответить, тут нет ничего неудобного: школа, где я занимаюсь, специализируется на дефективных, это школа для дураков, мы все, которые там учатся,— ненормальные, каждый по-своему. Позвольте, я что-то слышал об одном подобном заведении, там сотрудничает кто-то из моих знакомых, но вот кто именно? Вы, возможно, имеете в виду Вету Аркадьевну, она работает у нас в школе, ведет то-то и то-то. Ну, конечно же Вета, Вета, Вета, разута и раздета,— без всякого мотива пропел, в рассеянности пощелкивая пальцами, Акатов. Что за чудная песенка, сударь! Ерунда, юноша, семейная частушка-пастушка, из прежних лет, лишена смысла и мелодии, забудьте ее, боюсь, она развратит вас. Никогда, никогда,— взволнованно. Что? Я сказал, я никогда не забуду ее, она страшно нравится мне, я ничего не могу поделать; да, у нас с ней некоторая разница в возрасте, но, как бы лучше определить, сформулировать, нас объединяет большее, нежели разъединяет, вы говорите, о чем это я, а я, по-моему, выражаюсь предельно ясно, Аркадий Аркадьевич. То общее, о котором я только что упомянул,— привязанность ко всему, что мы с вами, являясь людьми науки, назовем живой природой, все растущее и летающее, цветущее и плавающее — это то самое и есть, и цель моего визита к вам не только ба-

бочки, хотя я — честное слово — ловил их с самого детства и не перестану ловить, пока у меня не отсохнет правая рука, подобно руке художника Репина, и я пришел к вам не для того, чтобы кричать в бочку, хотя и в этом занятии я склонен видеть высокий смысл, и я никогда не брошу кричать в бочки и буду заполнять криком своим пустоту пустых помещений, покуда не заполню их все, чтобы не было мучительно больно, однако я снова отклоняюсь, короче: я люблю вашу дочь, сударь, и готов сделать все для ее счастья. Больше того, я намерен жениться на Вете Аркадьевне, как только позволят обстоятельства. Торжественно, с достоинством и легким поклоном.

Бедный Акатов, это было так неожиданно для него, боюсь, ты немного огорчил старика, наверное, тебе следовало лучше подготовить его к подобному разговору, например, написать два-три предупредительных письма, известить о своем приходе заранее, позвонить или что-нибудь в таком роде, боюсь, ты поступил бестактно, а потом так делать нечестно: ты не имел права просить руки Веты Аркадьевны один, без меня, я тоже никогда не забуду ее, и все растущее и летающее необъяснимо сближает и меня с ней, растущее и летающее является общим и для нас, для меня и для нее, ты сам знаешь, но ты, конечно, ничего не сообщил Акатову обо мне, о том, кто гораздо лучше и достойнее тебя, и за это я ненавижу тебя и расскажу тебе о том, как некто, неразличимый в сумраке гостиничного коридора, ведет нашу Вету к себе в номер, и там, там... Нет погоди я совершенно не виноват ты загляделся на лепестки сирени ты переписывал статью я ушел из дома отца моего случайно я не предполагал что мне удастся могло ничего не получиться я хотел видеть Акатова только насчет бабочек я бы все обязательно сказал ему и о тебе о твоем огромном нечеловеческом чувстве которое ты же знаешь которое я так уважаю я бы сказал что не один что нас двое я и говорил ему про это сначала я сказал бы сударь да я люблю вашу дочь но есть человек который будучи несравненно достойнее и лучше меня любит ее в сто раз горячей, и, хотя я благодарен вам за положительное решение вопроса, следовало бы, очевидно, пригласить и того человека, он, без сомнения, понравился вам больше, хотите, я позову его, он тут, недалеко, в соседнем поселке, он собирался прийти, но был несколько занят, у него дело, срочная переписка (он что — переписчик? нет-нет, что вы, просто есть люди, вернее — один человек, который заставляет его кое-что переписывать из газет, так нужно, без этого ему было бы нелегко жить в том доме), а кроме того, он загляделся на лепестки сирени, а я не решился отвлечь, давайте же я позову его, — сказал бы я академику, если бы решение вопроса оказалось положительным. А разве Акатов отказал тебе? Только скажи мне всю правду, не лги, или я страшно возненавижу тебя и пожалуюсь наставнику Савлу: мертвый или живой — он никогда не терпел лицеприятия и лукавства. Клянусь тебе этим пламенеющим в наших сердцах именем, что отныне и впредь я, ученик специальной школы — такой-то по прозвищу Нимфея Альба, человек высоких стремлений и помыслов, борец за вечную людскую радость, ненавистник черствости, эгоизма и грусти, в чем бы они ни проявлялись, я, наследник лучших традиций и высказываний нашего педагога Савла, клянусь тебе, что ни разу уста мои не осквернит ни единое слово неправды, и я буду чист, подобно капле росы, родившейся на берегах нашей восхитительной Леты ранним утром — родившейся и летящей, чтобы оросить чело меловой девочки Веты, которая спит в саду столько-то лет вперед. О, говори! как я люблю эти высказывания твои, исполненные силы и красноречия, вдохновения и страсти, мужества и ума. Говори, торопясь и глотая слова, нам нужно обсудить еще много разных проблем, а времени так мало, наверное, не больше секунды, если я правильно понимаю смысл упомянутого слова.

Тогда Акатов (нет, нет, я сам предполагал, что он станет смеяться, будет издеваться над моей, точнее отцовской, шляпой и над тем, что я не слишком красив, более того — уродлив, а между тем прошу руки такой несравненной женщины) просто посмотрел на меня, опустил голову и стоял, размышляя о чем-то, скорее всего — о нашем разговоре, о моем признании. Причем если до последних слов моих он походил на небольшое сутулое дерево, то тут — прямо на глазах — сделался похожим на небольшое сутулое дерево, которое высохло и перестало чувствовать даже прикосновения трав и ветра: Акатов размышлял. Тем временем я читал газетные заголовки на его треуголке и рассматривал его научный пыльник — широкий, свободный, из которого, как язык из колокола, висели худые и венозные ноги Акатова, ноги мыслителя и честолюбца. Мне нравился пыльник, и я думал, что с удовольствием носил бы такой же, если бы имел возможность купить. Я носил бы его повсюду: во саду ли, в огороде, в школе и дома, за рекой в тени деревьев и в почтовом дилижансе дальнего следования, когда за окнами — дождь и плывущие мимо деревни, крытые соломой, нахохлились, будто мокрые куры, и душа моя человеческими страданиями уязвлена есть. Но пока — пока я не стал инженером — у меня нет пыльника, я ношу обыкновенные брюки с отворотами, перешитые из старых прокурорских отца моего, о четырех пуговицах двубортный пиджак и ботинки с металлическими полузаклепками — в школе и дома. Сударь, отчего вы молчите, неужели я чем-то обидел вас, или вы сомневаетесь в искренности моих слов и чувств к Вете Аркадьевне? Поверьте, я никогда не смог бы солгать вам, человеку, отцу обожаемой мною женщины, не сомневайтесь, пожалуйста, и не молчите, иначе я повернусь и уйду, дабы наполнить криком своим пустоту наших дачных поселков — криком о вашем отказе. О нет, юноша, не уходите, мне будет одиноко, знаете, я без колебаний принимаю на веру каждое ваше слово, и если Вета согласится, я не стану иметь ничего против. Поговорите с ней, поговорите, вы же еще не открылись ей самой, она, я догадываюсь, ничего пока не подозревает, и что же мы можем решить без ее согласия, понимаете? мы ничего не можем решить. Задумчиво с трудом слова подбирая слова подбирая глазами предварительно отыскивая их в траве где сухо скачут недовольные чем-то кузнечики причем у всякого зеленый выходной фрак зеленые дирижеры слова подбирая в траве. Не скрою, сударь, я, в самом деле, еще не объяснялся с Ветой Аркадьевной, просто не было времени; хотя мы встречаемся довольно часто, наши беседы обычно касаются другого, мы говорим больше о делах науки, у нас много общего, это закономерно: два молодых биолога, два естествоиспытателя, два ученых, п о д а ю щ и х о д е ж д ы. Но помимо того — с обеих сторон — зреет — уже назрело — нечто совсем особое, общность интересов дополняется какой-то иной общностью. Прекрасно понимаю вас, юноша, в ваши лета что-то похожее произошло и со мной, со мной и с одной женщиной, мы были наивны, хороши собой и потеряли головы. Дорогой Аркадий Аркадьевич, я намерен сделать вам заодно еще одно признание. Видите ли, я не вполне уверен, что нравлюсь Вете Аркадьевне как мужчина, возможно, та общность, о которой я упоминал, основана со стороны вашей дочери лишь на человеколюбии, я имею в виду, что она любит меня только как человека, я не утверждаю, но лишь предполагаю это из боязни показаться смешным, мне бы не хотелось очутиться в сомнительном положении. А поскольку вы — отец Веты Аркадьевны и знаете ее вкусы и характер куда лучше, чем я, осмеливаюсь спросить вас: достоин ли я, по вашему мнению, симпатии вашей дочери и как мужчина, я как-то смутно опасаюсь, что кажусь ей несколько неинтересным. Посмотрите, вглядитесь внимательно, так ли это в действительности, или может лишь показаться. Неужто черты мои столь уродливы, что и самые возвышенные чувства из всех доступных человеку не улучшили лица и стати моих? Но, ради бога, не лгите, прошу вас. Какая чепуха, — отвечает Акатов, — вы совершенно нормальны, совершенно, я предполагаю, многие молодые женщины согласились бы пройти с вами по жизни рука об руку — и никогда бы не пожалели. Единственно, что я посоветовал бы вам как ученый, — чаще пользоваться носовым платком. Чистая условность — но как она облагораживает, возносит, приподнимает личность над толпой современников и обстоятельств. Правда, в ваши годы я тоже не знал этого, но зато знал многое прочее, я собирался защищать первую диссертацию и жениться на женщине, что стала позднее матерью Веты. К тому времени я уже работал, много работал и много зарабатывал — а вы? Да, кстати, как вы предполагаете строить вашу семейную жизнь, на каких

основах, осознаете ли вы, какая ответственность ляжет на вас как на главу семьи? это очень важно. Сударь, я не мог не догадываться, что вы зададите такой вопрос, и был готов к нему задолго до того, как навестил вас. Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду, я уже все знаю, потому что много читаю. Кое о чем я узнал раньше, еще до разговора с нашим географом Норвеговым, но, после того как мы встретились с ним однажды в уборной и потолковали обо всем таком начистоту, мне сделалось понятным почти все. Кроме того, Савл Петрович дал почитать одну книгу, и когда я почитал ее, то понял все до конца. Что же вы поняли? — спрашивает Акатов, — поделитесь.

Савл Петрович сидит на подоконнике спиной к закрашенному стеклу, а лицом к кабинкам; босые ступни ног его покоятся на радиаторе, и колена высоко подняты, так что учитель удобно опирает на них подбородок. Экслибрис, книга за книгой. Глядя на двери кабинок, исписанные хулиганскими словами: как много неприличного, как некрасиво у нас в уборной, сколь бедны наши чувства к женщине, как циничны мы, люди спецшколы. Мы не умеем любить нежно и сильно, нет — не умеем. Но, дорогой Савл Петрович, — стоя перед ним в белых тапочках из брезента на зловонном кафеле, возражаю я, — несмотря на то, что я не знаю, что и думать и каким образом успокоить вас, лучшего в мире учителя, считаю необходимым напомнить вам следующее: ведь вы-то, вы сами, вы лично — неужто не любите вы сильно и нежно одну мою одноклассницу, меловую девушку Розу? О Роза Ветрова, — говорили вы ей однажды, — милая девушка, могильный цвет, как хочу я нетронутого тела твоего! А также шептали: в одну из ночей смущенного своею красотой лета жду тебя в домике с флюгером, за синей рекой. А также: то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, выпавшего вдруг из оправы, дабы предупредить хозяина о грядущей смерти, это будет похоже на свирель пастуха и на музыку, которая еще не написана. Приди ко мне, Роза Ветрова, неужели тебе не дорог твой старый мертвый учитель, шагающий по долинам небытия и нагорьям страданий. А также: приди, чтобы унять трепет чресел твоих и утолить печали мои. Да, милый мой, я говорил, а может, только скажу ей эти или похожие слова, но разве слова что-нибудь доказывают? Не помыслите только, будто я лицемерил (буду лицемерить), мне не свойственно, я не умею, но бывает — и вы когда-нибудь убедитесь сами, — бывает, человек лжет, не подозревая о том, что обещает исполнить, но он говорит неправду и никогда не исполнит, что обещает. Так случается чаще всего в детстве, но потом и в юности, а затем в молодости и в старости. Так случается с человеком тогда, когда он пребывает в состоянии страсти, ибо страсть безумству подобна. Спасибо, я не знал, я разберусь, я лишь подозревал об этом — об этом и о многом другом. Понимаете, меня тревожит одно обстоятельство, и сегодня, здесь, после уроков, когда на улице сыро и ветрено, а вторая смена будущих инженеров ушла домой, дожевывая помятые в портфелях бутерброды (бутерброды необходимо съесть, чтобы не огорчать терпеливых матерей своих), я намерен сделать вам, Савл Петрович, некое сообщение, которое, вероятно, покажется вам невероятным, оно может заставить вас разочароваться во мне. Я давно собирался посоветоваться с вами, но всякий день откладывал разговор: полно контрольных, слишком донимают заданиями на дом, и пусть я не делаю их, сознание долга гнетет и давит. Утомительно, Савл Петрович. Но вот настал момент, когда я хочу и могу сделать это сообщение. Дорогой учитель! в лесных, затерянных в полях хижинах, в почтовых дилижансах дальнего следования, у костров, дым коих создает уют, на берегах озера Эри или — не помню точно — Баскунчак, на кораблях типа Бигль, на крышах европейских омнибусов и в женевском туристическом бюро пропаганды и агитации за лучшую семейную жизнь, в гуще вереска и религиозных сект, в парках и палисадниках, где на скамейках нет свободных мест, за кружкой пива в горном кабачке. У кота, на передовых первой и второй мировых войн, стремительно едучи на нартах по зеленому юконскому льду, обуреваемый золотой лихорадкой, и в прочих местах — тут и там, дорогой учитель, размышлял я о том, что есть женщина и как быть, если настало время действовать, я размышлял о природе условностей и особенностях плотского в человеке. Я думал о том, что такое любовь, страсть, верность, что значит уступить желанию и что значит не уступать ему, что есть вожделение, похоть; я мыслил о частностях совокупления, мечтая о нем, ибо из книг и прочих источников знал, что оно доставляет радость. Но беда в том, что ни там, ни там, ни там ни разу за всю жизнь не случалось мне быть, а иначе, вульгарно говоря, — спать с какой-либо женщиной. Я просто не знаю, как это бывает, я бы, наверное, сумел, но не представляю, с чего начать все это, а главное — с кем. Нужна, очевидно, какая-то женщина, лучше всего знакомая, которую давно знаешь, которая что-нибудь подсказала бы в случае чего, в том случае, если бы что-то не получилось сразу; нужна весьма добрая женщина, я слышал, что лучше всего, если вдова, да, говорят, что почему-то вдова, но я не знаком ни с одной вдовой, только с Тинберген, но она все-таки завуч и у нее есть Трифон Петрович (а патефон есть только у меня), а других знакомых женщин у меня нет — только Вета Аркадьевна, но я не хотел бы с ней, ведь я люблю ее и намерен на ней жениться, это разные вещи, я совершенно не думаю, заставляю себя не думать о ней как о женщине, я понимаю, что она слишком красива, слишком порядочна, чтобы позволить себе со мной что-либо до свадьбы — не так ли? Правда, есть еще знакомые девочки из класса, но если бы я начал ухаживать за одной из них, например, за той, что умерла недавно от менингита, и мы собирали ей на венок, то боюсь, это не слишком понравилось бы Вете Аркадьевне, подобные вещи сразу заметны: в небольшом коллективе, на виду у соучеников и преподавателей — тут все сразу стало бы ясно, Вета поняла бы, что я намерен изменить ей, и у нее возникли бы справедливые претензии, а тогда наш брак мог бы расстроиться, рухнули бы все надежды, а мы питали их так долго! Несколько раз, Савл Петрович, я пытался знакомиться с женщинами на улице, но я, наверное, не знаю подхода, я не элегантен, некрасиво одет. Короче, у меня ничего не выходило, меня прогоняли, но не скрою — так как ничего не скрою от вас, дорогой наставник, — не скрою, что однажды у меня едва не завязалось знакомство с интересной молодой женщиной, и, хотя я не сумею описать ее, поскольку не запомнил ни лица, ни голоса, ни походки ее, я берусь утверждать, что она была необычайно красива, подобно большинству женщин.

Где же я повстречал ее? Наверное, в кино или в парке, а скорее всего — на почте. Женщина сидела там, за окошечком, и ставила штемпели на конвертах и открытках. Был Всежитейский День защиты козодоя. В тот день с утра я положил для себя, что весь день стану собирать марки. У меня, правда, не оказалось дома ни одной марки, но зато нашлась спичечная этикетка с изображением какой-то птицы, которую нам всем следует охранять. Я понял: это и есть козодой, — и отправился на почту, чтобы мне поставили на него штамп, и женщина, сидевшая там, за окошечком, мне сразу понравилась. Ты сказал нашему учителю, что не можешь описать ту женщину; в таком случае опиши хотя бы день, когда произошла ваша встреча, поведай о том, как было на улице, и о том, какая стояла погода, если это, естественно, не затруднит тебя. Нет-нет, тут нет ничего сложного, и я с удовольствием выполню твою просьбу. Облака в то утро шли по небу быстрее обычного, и я видел, как поспешно появлялись и растворялись друг в друге белые ватные лики. Они сталкивались и наплывали один на другой, цвет их менялся от золотого до сиреневого. Многие из тех, кого мы называем прохожими, улыбаясь и щурясь от рассеянного, но все же сильного солнечного света, как и я, наблюдали передвижение облаков и, подобно мне, ощущали приближение будущего, вестником которого и были эти невыученные облака. Не поправляй меня, я не ошибся. Когда я иду в школу или на почту, чтобы мне поставили штемпель на спичечную этикетку с изображением козодоя, мне легко бывает отыскивать вокруг себя и в памяти вещи, явления — и мне приятно о них думать, — которые невозможно ни задать на дом, ни выучить. Никто не в состоянии выучить: шум дождя, аромат маттиолы, предчувствие небытия, полет шмеля, броуновское движение

и многое прочее. Все это можно изучить, но выучить — никогда. Сюда же относятся и облака, тучи, полные беспокойства и будущих гроз. Кроме облачного неба, в то утро была улица, ехали какие-то машины, и в них ехали какие-то люди, было изрядно жарко. Я слышал, как на газонах росла нестриженая трава, как во дворах скрипели детские коляски, гремели крышки мусорных баков, как в подъездах лязгали двери лифтовых шахт и в школьном дворе ученики первой смены стремглав бежали укрепляющий кросс: ветер доносил биение их сердец. Я слышал, как где-то далеко, быть может, в другом конце города, слепой человек в черных очках, стекла которых отражали и пыльную листву плакучих акаций, и торопливые облака, и дым, ползущий из кирпичной трубы фабрики офсетной печати, просил идущих мимо людей перевести его через улицу, но всем было некогда и никто не останавливался. Я слышал, как на кухне — окно в переулок было распахнуто — два старика, переговариваясь (речь шла о Нью-Орлеанском пожаре 1882 года), варили мясные щи: стоял день получения пенсии; я слышал, как булькало в их кастрюле и счетчик отсчитывал кубосантиметры сожженного газа. Я слышал, как в других квартирах этого и соседних домов стучат печатные и швейные машинки, как листают подшивки журналов и штопают носки, сморкаются и смеются, бреются и поют, смежают веки или от нечего делать барабанят пальцами по туго натянутым стеклам, подражая голосу косого дождя. Я слышал тишину пустых квартир, чьи владельцы ушли на работу и вернутся лишь к вечеру или не вернутся, потому что ушли в вечность, слышал ритмическое качание маятников в настенных часах и тиканье ручных часов разных марок. Я слышал поцелуи, и шепот, и душное дыхание незнакомых мне мужчин и женщин — ты никогда ничего о них не узнаешь, — делающих скирлы, и я завидовал им и мечтал познакомиться с женщиной, которая позволила бы мне сделать с ней то же самое. Я шел по улице и читал подряд вывески и рекламы на домах, хотя давно знал их все наизусть, я выучил каждое слово той улицы. Левая сторона. РЕМОНТ ДЕТСКИХ КОНСТРИКТОРОВ. В витрине — плакатный мальчик, мечтающий стать инженером, он держит в руке большую модель планера. МЕХА ЗАПОЛЯРЬЯ. В витрине — белый медведь, чучело с открытой пастью. КИНО-ЛИСТОПАД-ТЕАТР. Настанет день, и мы придем сюда вдвоем: Вета и я; какой ряд ты предпочитаешь — спрошу я у Веты, — третий или восемнадцатый? Не знаю, — скажет она, — не вижу разницы, бери любой. Но тут же добавит: впрочем, я люблю поближе, возьми десятый или седьмой, если это не слишком дорого. А я скажу обиженно: что за ерунда, милая, причем здесь деньги, я готов отдать все, лишь бы тебе было хорошо и удобно. ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ. После кино мы непременно возьмем напрокат два велосипеда. Девушка, выдающая велосипеды напрокат, белокурая и улыбчивая, с обручальным кольцом на правой руке, завидя нас, засмеется: наконец-то нашлись клиенты, странно — на улице такая теплынь, а кататься никто не хочет, просто странно. Ничего странного, — весело скажу я, — весь город в такую погоду уехал за город, сегодня ведь воскресенье, все с утра на дачах, а там у каждого в сарае стоит свой собственный велосипед, мы вот тоже собрались на дачу, поедем на ваших велосипедах, прямо по шоссе, своим ходом: в электричке, несмотря на мороженое, должно быть душно. Смотрите, осторожнее, — предупредит девушка, — на шоссе большое движение, держитесь ближе к обочине, следите за знаками, не превышайте скорость, обгон только слева, осторожно — пешеходы, движение регулируется вертолетами и радарами. Конечно, мы будем внимательны, нам ни к чему терять головы, особенно теперь, через неделю после свадьбы, мы так долго питали надежды. Ах вот как, — улыбнется девушка, — значит, у вас свадебное путешествие. Да, мы решили немного проехаться. Когда вы вошли, я так и подумала — молодожены: вы ужасно подходите друг другу, поздравляю, мне так приятно, я сама замужем совсем недавно, мой муж — мотогонщик, у него прекрасный мотоцикл, мы ездим очень быстро. Я тоже люблю гонки, — поддержит разговор Вета, — и мне хотелось бы, чтобы и мой муж был мотоциклистом, но, к сожалению, он инженер и у нас нет мотоцикла, у нас только машина. Да, — повторю я, — к сожалению, только машина, да и та подержанная, но в принципе я мог бы купить и мотоцикл. Конечно, купите, — улыбнется девушка, — купите, а муж научит вас ездить, мне представляется, это не слишком сложно, главное, вовремя выжать сцепление и отрегулировать радиатор. И тут Вета предложит: знаете что, почему бы вам с мужем не заехать к нам на будущей неделе, приезжайте на мотоцикле, наша дача стоит у самой воды, вторая просека налево, будет очень весело, пообедаем, выпьем чаю. Спасибо, — ответит девушка, — мы обязательно приедем, я на днях как раз беру отпуск, скажите только, какой торт вам нравится: «Гусиные лапки» или «Праздничный», — я привезу к чаю. Лучше «Праздничный», «Гусиные лапки» мы с мужем купим сами, да, праздничный, да, и если это не очень обеспокоит, возьмите заодно килограмма два трюфелей, деньги я сразу верну. Ну что вы, какие там деньги! РЫБА-РЫБА-РЫБА. ЗОО-СНЕГИРЬ-МАГАЗИН. Аквариумы с тритонами и зеленые — на жердочках — попугаи. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Будь любознательным, изучай свой край, это полезно. АСП — агентство секретных перевозок. ОБУВЬ. И слово «обувь», как «любовь», я прочитал на магазине. ЦВЕТЫ. КНИГИ. Книга — лучший подарок, всем лучшим во мне я обязан книгам, книга — за книгой, любите книгу, она облагораживает и воспитывает вкус, смотришь в книгу, а видишь фигу, книга — друг человека, она украшает интерьер, экстерьер, фокстерьер, загадка: сто одежек и все без застежек — что такое? отгадка — книга. Из энциклопедии: статья книжное дело на Руси: книгопечатание на Руси появилось при Иоанне Федорове, прозванном в народе первопечатником, он носил длинный библиотечный пыльник и круглую шапочку, вязанную из чистой шерсти. И тогда пароходный повар Илья дал ему книгу: на, читай. И сквозь хвою тощих игол, орошая бледный мох, град запрядал и запрыгал, как серебряный горох. Потом еще: я приближался к месту моего назначения — все было мрак и вихорь. Когда дым рассеялся, на площадке никого не было, но по берегу реки шел Бураго, инженер, носки его трепал ветер. Я говорю только одно, генерал, я говорю только одно, генерал: что, Маша, грибы собирала? Я часто гибель возвещал одною пушкой вестовою. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек. А вы говорите, эх, вы-и-и! А белые есть? Есть и белые. Цоп-цоп, цайда-брайда, рита-умалайда-брайда, чики-умачики-брики, рита-усалайда. Ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост! Правая сторона. БОТЫ-ЗОНТЫ-ТРОСТИ, все в одном магазине, чтобы, не мешкая, купить все сразу. АТЕЛЬЕ МОД, дом ельета. КОЛБАСЫ. Кому колбасы, а вот — кому колбасы горяченькой с булкой! ГАЛАНТЕРЕЯ — ТРИКОТАЖ. ПАРК ОТДЫХА, забор тянется на двенадцать с половиной парсеков. И только за ним — ПОЧТА. Здравствуйте, могу я поставить штемпель на свою марку, а точнее — могу я, чтобы мне поставили, а еще лучше так: как мне сделать, чтобы мне с вашей помощью поставили штемпель на мою же марку, погасив ее. Дайте сюда, покажите, какая же это марка, мальчик, это спички. Я знаю, я просто думал, что вам все равно, здесь тоже нарисован козодой, взгляните. Она посмотрела и усмехнулась: нужно отклеить этикетку над паром. Ладно, хорошо, я отпарю, я проживаю недалеко, мне кажется, я сумею уговорить маму, чтобы она разрешила мне поставить чайник (мама, могу я согреть чайник? ты хочешь чаю? разве ты пьешь чай перед школой, какой может быть чай, когда время обедать. Дело в том, мама, что необходимо отклеить этикетку над паром. Над паром? Над паром, так сказали на почте. О, господи, ты опять что-то выдумал, на какой еще почте, кто сказал, зачем, какая этикетка, ты же отпаришь себе лицо!), но я не уверен, нельзя ли сделать это у вас на почте, однажды я случайно увидел — окно было открыто, — как вы пьете чай в комнате, где посылки и бандероли, вы пили электрический чайник, вас было несколько женщин и один мужчина в пальто, вы смеялись. Да, правильно, — сказала она, — у нас же есть, иди сюда, мальчик.

И ты пошел за ней по длинному коридору, где висели лампочки без абажуров и пахло настоящей почтой: сургуч, клей, бумага, бечевка, чернила, стеарин, казеин, перезревшие груши, мед, сапоги со скрипом, крембрюле, дешевый уют, вобла, побеги бамбука, крысиный помет, слезы

старшего письмоводителя. В конце коридора была небольшая зала, она как бы венчала его: так реку венчает озеро, в которое она впадает. В зале на стеллажах лежали посылки и бандероли, адресованные туда и сюда, окно было зарешечено, а посреди комнаты на столе серебрился электрочайник с пестрым шнуром, который заканчивался вилкой. Женщина вставила вилку в розетку, села на стул, а ты сел на другой — и вы стали ждать, когда закипит. Я хорошо знаю тебя: по натуре своей ты порывист, тебе недостает усидчивости в школе и дома, ты пока слишком молод и оттого не приемлешь долгого молчания, затянувшихся пауз в разговоре, от них тебе делается неловко, не по себе, одним словом, ты не терпишь пассивности, бездействия, тишины. Сейчас, будь ты один в этой почтовой комнате, ты наполнил бы ее своим криком так же, как ты наполняешь на досуге пустые школьные аудитории, туалетные помещения, коридоры. Но ты не один здесь, и хотя тебя распирает вызревающий в глубинах твоего естества неописуемый вопль, и он готов вырваться наружу в любое мгновение, и тогда ты лопнешь и раскроешься подобно ранней апрельской почке и весь обратишься в свой собственный крик: я Нимфея Нимфея Нимфея ея-ея-ея я-я-я а-а-а, — ты не можешь, ты не имеешь права пугать эту молодую душевную женщину. Ибо если ты закричишь, она прогонит тебя прочь и не поставит штемпель на козодоя, ни в коем случае не кричи здесь, на почте, иначе у тебя не будет коллекции, о которой ты столь долго мечтал, коллекции, состоящей из одной погашенной марки. Или этикетки. Сдержи себя, отвлекись, подумай о чем-нибудь нездешнем, загадочном или начни ни к чему не обязывающий разговор с женщиной, тем более что, насколько я понимаю, она сразу понравилась тебе. Хорошо, но как же начать, какими словами, я вдруг забыл, как следует начинать разговоры, которые ни к чему не обязывают. Весьма просто, спроси ее, можешь ли ты задать ей один вопрос. Спасибо, спасибо, сейчас. Могу я задать вам один вопрос? Конечно, мальчик, конечно. Ну а теперь, что говорить дальше? Теперь спроси ее о почтовых голубях или о работе, узнай, как у нее вообще дела. Да, вот именно: я хотел узнать у вас, как идут дела у вас на почве, то есть нет, на почте, на почтамте почтимте почтите почуле почти что. Что-что, на почте? Хорошо, мальчик, хорошо, а почему это интересует тебя? Вы, верно, держите почтовых голубей, не так ли? Нет, а зачем? Но ведь почтовые голуби, где же им еще жить, если не у вас на почуле? Нет, мы не держим, у нас есть почтальоны. В таком случае вы знаете почтальона Михеева, или Медведева, похож на Павлова и тоже катается на велосипеде, но не надейтесь увидеть его за окном, он катается не здесь, не в городе, он служит за городом, в дачном поселке, у него борода — так вы не представлены ему? Нет, мальчик. Жаль, а то мы с удовольствием побеседовали бы о нем и вам не было бы скучно со мной. А мне и не скучно, — отвечает женщина. Вот славно, значит, и я немного понравился вам, у меня к вам дело, если не ошибаюсь: мне пришло в голову завязать с вами знакомство, и даже больше того, меня зовут так-то, а вас? Смешной какой, — говорит женщина, — вот смешной-то. Не смейтесь, я поведаю вам всю правду — как есть, видите ли, судьба моя решена: я женюсь, очень скоро, возможно, вчера или в прошлом году. Но женщина, которая должна стать моею женой, — она чрезвычайно нравственна, вы понимаете, что я имею в виду? и она ни за что не согласится до свадьбы. А мне очень нужно, необходимо, в противном случае я изойду своим нечеловеческим криком, как кровью. Доктор Заузе называет такое состояние припадком на всенервной почве, поэтому я решился попросить вас помочь мне, оказать мне одну услугу, любезность, это было бы весьма любезно с вашей стороны, вы ведь женщина, вам, я полагаю, тоже хочется кричать на вашей нервной почте, так отчего бы нам не утолить наши почули, неужели я ничуть не приглянулся вам, я же так старался понравиться! Вы не представляете, как я буду скучать без вас, когда мы отклеим этикетку, и вы поставите штемпель, и я уйду обратно, в дом отца моего: я не отыщу утешения ни в чем и нигде. А может, у вас уже есть некто, с кем вы утоляете почули? Боже мой, да какое тебе дело, — говорит женщина, — дерзкий, прямо ужас. В таком случае я готов немедленно доказать, что я лучше его во всех отношениях, впрочем, вы уже осознали это. Разве неясно, что ум мой — сама гибкость и логика есть, разве не

факт, что если существует на всем свете хоть один будущий инженерный гений — так это именно я? И это я, я расскажу вам немедленно какую-нибудь историю, да, что-нибудь такое, после чего вы не устоите. Вот. Давайте я расскажу своими словами сочинение, которое сдал нашей Водокачке на прошлой неделе. Я начну с самого начала. **Мое утро. Сочинение.**

Дудочка маневрового паровоза «кукушка» поет на рассвете: пастушеский рожок, флейта, корнет-а-пистон, детский плач, дудели-дей. Я просыпаюсь, сажусь на кровати, рассматриваю свои голые ноги, а потом гляжу за окно. Я вижу мост, он совершенно пуст, он освещен зелеными ртутными фонарями, а у столбов — лебединые шеи. Я вижу только проезжую часть моста, но стоит выйти на балкон, и мне откроется весь мост целиком, вся его эстакада — спина испуганной кошки. Я живу вместе с мамой и папой, но иногда получается, что я живу один, а соседка моя — старая Трахтенберг, а скорее всего — Тинберген, жила с нами на старой квартире или будет жить на новой. Как называются остальные части моста — я не знаю. Под мостом — линия железной дороги, а лучше сказать — несколько линий, несколько путей сообщения, некоторое число одинаковых, одинаковой ширины путей. По утрам ведьма Тинберген пляшет — плясала, будет плясать — в прихожей, напевая песенку про Трифона Петровича, кота и экскаваторщика. Она пляшет на контейнерах красного дерева, на их верхних площадках, под потолком, а также возле. Я ни разу не видел, но я слышал. Под потолком. По ним — туда и сюда — ходит «кукушка», вся сотрясаясь на стрелках. Тра-та-та. Ритм она отбивает на марокассах. Она толкает и тащит коричневые товарные вагоны. Я ненавижу это косматую старуху. Закутавшись в тряпье, отрастив крючковатые длинные когти, избороздив лицо свое мучительными морщинами столетий, клавдикантка, она пугает меня и мою терпеливую мать днем и в ночи. А на рассвете начинает петь — и вот я просыпаюсь. Я люблю эту дудочку. Дудели-дей? — спрашивает она. И, подождав минуту, сама себе отвечает: да-да-да, дудели-дей. Это она отравила Якова, бедного человека, человека и аптекаря, человека и провизора, и это она служит у нас в школе заведующей учебной частью, частью учебы. Таким образом, делая выводы о моем утре, можно сказать, что оно начинается криком кукушки, звуком железной дороги, кольцевой железной дороги. Если смотреть на карту нашего города, где обозначены и река, и улицы, и шоссе, представляется, будто кольцевая дорога сжимает город, как стальная петля, и если, испросив позволения констриктора, сесть на проходящий мимо нашего дома состав, то он, этот товарный поезд, сделает полный круг и через день возвратится в то же место, в то место, где ты оседлал его. Поезда, которые минуют наш дом, движутся по замкнутой, а следовательно — бесконечной кривой вокруг нашего города, вот почему из нашего города выехать почти невозможно. Всего на кольцевой дороге работает два поезда: один идет по часовой стрелке, другой — против. В связи с этим они как бы взаимоуничтожаются, а вместе уничтожают движение и время. Так проходит мое утро. Тинберген постепенно перестает вытаптывать молодые бамбуковые рощи, и песня ее, цветущая, самодовольная и беспощадная, как сама старость, затихает вдали, за коралловыми лагунами, и только бубны, тамбурины и барабаны мчащихся через мост авто нарушают — да и то изредка — тишину нашей квартиры. Пропадет — растает.

Прекрасно, прекрасно, прекрасное сочинение, — говорит Савл. Мы слышим его глухой, подернутый дымкой педагогический голос, голос ведущего географа района, голос дальновидного руководителя, поборника чистоты, правды и заполненных пространств, голос заступника всех униженных и окровленных. Мы по-прежнему здесь, в немытой мужской уборной, где нередко так холодно и одиноко, что из наших голубых ученических губ струится пар — признак дыхания, призрак жизни, добрый знак того, что мы еще существуем или ушли в вечность, но, как и Савл, возвратимся, дабы совершить или завершить начатые на земле великие

дела, а именно: получение всех и всяческих академических премий, аутодафе в масштабе всех специальных школ, приобретение подержанного автомобиля, женитьба на учителке Ветке, избиение всех идиотов мира древками сачков, улучшение избирательной памяти, размозжение черепов меловым старикам и старухам вроде Тинберген, отлов уникальных зимних бабочек, разрезание суровых ниток на всех заштопанных ртах, организация газет нового типа — газет, где не было бы написано ни единого слова, отмена укрепляющих кроссов, а также бесплатная раздача велосипедов и дач во всех пунктах от А до Я; кроме того — воскрешение из мертвых всех тех, чьими устами глаголила истина, в том числе полное воскрешение наставника Савла вплоть до восстановления его на работе по специальности. Прекрасное сочинение, — говорит он, сидящий на подоконнике, греющий ступни ног своих на радиаторе парового отопления, — как поздно мы узнаем учеников наших, как жаль, что раньше я не разглядел в вас литературный талант, я бы уговорил Перилло освободить вас от уроков словесности, и вы могли бы в образовавшийся досуг занять себя чем угодно, — вы поняли меня? — чем угодно. Так, вы могли бы без устали собирать марки с изображением козодоя и других летающих птиц. Вы могли бы грести и плавать, бегать и прыгать, играть в ножички и разрывные цепи, закаляться, как сталь, писать стихи, рисовать на асфальте, играть в фанты, проборматывая прелестное и ни с чем не сравнимое: черный с белым не берите, да и нет — не говорите, и тут же: вы приедете на бал? Или, сидя в лесу на поваленном бурей дереве, торопливо и вполголоса, не имея в виду никого и ничего, рассказывать самому себе неувядающие считалки: эники-беники ели вареники — или: вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Но прекраснее: жили-были три японца — Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони, жили-были три японки — Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони; все они переженились: Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе, Як-Цидрак-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони. О, как много на земле дел, мой юный товарищ, дел, которыми можно бы занять себя вместо дурацкой-дурацкой писанины в часы нашей словесности! С сожалением о невозможном и утраченном. С грустью. С лицом человека, которого никогда не было, нет и не будет. Но, ученик такой-то, боюсь, вам не избежать этих уроков, и вам придется с мучительной болью заучивать наизусть отрывки и обрывки произведений, называемых у нас литературой. Вы с отвращением будете читать наших замызганных и лживых уродцев пера, и то и дело вам будет невмоготу, но зато, пройдя через горнило этого несчастья, вы возмужаете, вы взойдете над собственным пеплом, как Феникс-птица, вы поймете — вы все поймете. Но, дорогой учитель, — возражаем мы, — разве сочинение, пересказанное своими словами той женщине на почуле, не убедило вас, что мы и так давно поняли и что нам вовсе не обязательно проходить какие бы то ни было литературные горнила? Безусловно, — отвечает наставник, — я осознал это с первых же фраз, вам действительно не нужно горнил. Я говорил о необходимости их — для вас, очевидно, ложной, — лишь бы как-то утешить вас в ваших мыслях о невозможности освобождения от уроков по упомянутому предмету. Поверите ли, еще недавно я мог бы без труда уговорить Перилло предоставить вам свободное посещение вообще всех занятий, вам, вероятно, известно, каким авторитетом пользовался ваш покорный слуга в преподавательских кругах — в школе и в отделе народного оборзования. Но с тех пор, как со мной что-то случилось — что именно, я еще не вполне осознал, я лишился всего: цветов, пищи, табака — вы заметили, я перестал курить? — женщин, проездного билета (конструктор уверяет меня, что документ давно просрочен, но купить новый я не имею возможности, поскольку меня лишили и зарплаты), развлечений, а главное — авторитета. Я просто не представляю, как это можно: меня никто не слушает — ни учителя на педсоветах, ни родители на собраниях, ни ученики на уроке. Меня даже не цитируют, как бывало прежде. Все происходит так, словно меня, Норвегова, больше нет, словно я умер. И тут Савл Петрович наполнил уборную негромким мерцающим смехом. Да, я смеюсь, — сказал он, — но сквозь слезы. Дорогой ученик и дружище Нимфея, со мной определенно что-то случилось. Раньше, еще недавно, я знал, что именно, а теперь вот, кажется, запамятовал. У меня, пользуясь вашим выражением, память стала избирательной, и я особенно рад нашей встрече здесь, в пункте М, поскольку надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, помогите мне вспомнить, что произошло. Я просил об этом многих, но никто не мог — или не желал? — что-либо объяснить мне. Кто-то просто не знал истины, кто-то знал, но скрывал: изворачивались и врали, а кто-то просто смеялся в лицо. Вы же, насколько я знаю вас, никогда ни в чем не солжете, вы не умеете лгать.

Он замолчал, голос его не заполнял больше пустоты пространства, и стали слышнее звуки вечернего города: некто большой, многоногий и бесконечно длинный, как доисторическая ящерица, позже обратившаяся в змею, шел мимо школы по улице, поскальзываясь на голом льду, насвистывая серенаду Шуберта, покашливая и чертыхаясь, задавая себе вопросы и сам же отвечая на них, чиркая спичками, теряя пилотки, платки, перчатки, сжимая рукой в кармане только что купленный силомер, время от времени посматривая на часы, пробегая глазами страницы вечерних газет, делая выводы, посматривая на шагомер, теряя и находя ориентацию, анализируя нумерацию домов, читая вывески и рекламы, мечтая о приобретении новых земельных участков и о все больших прибылях, вспоминая дела минувших дней, распространяя вокруг запах одеколона и крокодиловых портмоне, наигрывая на гармонике, глупо и мерзко ухмыляясь, завидуя славе дачного почтальона Михеева, желая неиспытанного обладания и ничего не зная о нас, наставнике и учениках, беседующих здесь, в печальных пределах М. Этот некто, многоногий, будто доисторическая ящерица, и бесконечный, как средневековая пытка, шел и шел, не ведая усталости и покоя, и все не мог пройти, потому что не мог пройти никогда. На фоне его движения, на фоне этого беспрестанного шума шагания мы слышали трамвайные звонки, скрип тормозов, шипение, создаваемое скольжением троллейбусных контактных антенн по электрическим проводам. Затем доносились глухие удары, вызываемые быстрым соприкосновением массы дерева с оцинкованной массой деловой жести: вероятно, один из спецшкольников, не желающий возвращаться в дом отца своего, методически бил палкой по водосточным трубам, пытаясь в знак протеста против всего сыграть ноктюрн на их флейте. Звуки же, рождавшиеся внутри здания, были следующие. В подвале работал глухонемой истопник имярек — его лопата скрежетала об уголь, дверцы топок скрипели. В коридоре нянечка мыла пол: щетка с накрученной на нее мокрой тряпкой мерно окуналась в ведро, чавкала, шлепалась на пол и бесшумно увлажняла новый участок суши — купание красного коня, вальс простуженного человека, скирлы в наполненной ванне. По другому коридору, этажом выше, шла заведующая учебной частью Шейна Соломоновна Трахтенберг, протез ее постукивал и скрипел. На третьем было пусто и тихо, а на четвертом, в так называемом зале для актов, безумствовала репетиция сборного танцевального ансамбля специальных школ города: пятьдесят идиотов готовились к новым концертам. Теперь они репетировали плясовую балладу «Бояре, а мы к вам пришли»: пели и кричали, топали и свистели, ржали и хрюкали. Бояре, она дурочка у нас, молодые, она дурочка у нас, — пели одни. Бояре, а мы выучим ее, молодые, а мы выучим ее, — обещали другие. Безучастно хлопали литавры, медленно извиваясь, ползли гобои, гудел большой барабан с нарисованной на боку козлиной мордой, в припадке истерии конвульсировал рябой жесткокрылый рояль — сбиваясь, фальшивя и глотая собственные клавиши. Потом там, на четвертом, наступила зловещая пауза, и через секунду, если мы правильно понимаем это слово, все они, плясуны и певцы, хором затянули, завыли Гимн просветленного человечества, при первых же аккордах которого всякий имеющий уши обязан отложить все дела, встать и трепетно внимать ему. Мы едва узнали песню. Она достигла пункта М, пройдя через все преграды, но лестничные перила, ступени и пролеты, острые углы на поворотах изломали, изуродовали негибкие ее члены, и она предстала перед нами окровавленная, заснеженная, в изорванном и грязном платье девушки, с которой насильно сделали все, что хотели. Но среди голосов, исполнявших кантату, среди голосов, ничего не значивших и ничего не стоивших, среди голосов, свивавшихся в бестолко-

вый, бессмысленный, безголосый шумный клубок шума, среди голосов, обреченных на безвестность, среди голосов, немыслимо заурядных и фальшивых, был голос, явившийся нам воплощением чистоты, силы и смертельной торжественной горечи. Мы услышали его во всей неискаженной ясности: был подобен парению раненой птицы, был снежного сверкающего цвета, пел голос бел, бел голос был, плыл голос, голос плыл и таял, был голос тал. Он пробивался сквозь все, все презирая, он возрастал и падал, дабы возрасти. Был голос гол, упрям и наполнен пульсирующей громкой кровью поющей девушки. И не было иных голосов там, в зале для актов, там был только ее голос. И — вы слышите? — Савл Петрович шепотом сказал, шепотом очарованного и восхищенного, — вы слышите, или мне чудится? Да-да-да, Савл Петрович, мы слышим, то поет Роза Ветрова, милая девушка, могильный цвет, лучшее среди дефективных всех школ контральто. И отныне, если вы на вопрос: что вы тут делаете, тут, в туалете? — ответите нам: я отдыхаю после занятий, или: я грею ступни ног моих, — то мы не поверим вам, славному, но лукавому педагогу. Потому что теперь мы все поняли. Вы, как обыкновенный влюбленный школьник, ждете, когда закончится репетиция и среди прочих ущербных и мертворожденных из зала для актов спустится она — та, кому вы назначили свидание на черной лестнице в правом крыле, где не осталось ни единой целой лампочки — и темно, темно, и пахнет пылью, где на площадке между вторым и третьим свалены в груду списанные физкультурные маты. Они рваные, из них сыплется опилочная труха, и там, именно там, вот это: приди, приди, как хочу я нетронутого тела твоего. Шепотом восхищенного. Только осторожней, будьте осторожней, вас могут услышать — чеченец бродит за горой. А точнее: остерегайтесь вдовы Тинберген. Неусыпно и неустанно бродит она по ночам по этажам наглухо замурованной, мудро молчащей школы для дураков. Начиная с полночи, в доме услышишь только шаги Тинберген — и-и-и, раз-два-три, раз-два-три. Напевая, бормоча ведьмачеcкие прибаутки, вальсируя или отбивая чечетку, движется она по коридорам, и классам, и лестницам, зависая в пролетах, обращаясь в жужжащую навозную муху, разворачиваясь в марше, пощелкивая кастаньетами. Только она, Тинберген, и только часы с маятником золоченым в кабинете Перилло: раз-два-три — ночью вся школа — ночной одинокий маятник, режущий темноту на равные, тихотёмные куски, на пятьсот, на пять тысяч, на пятьдесят, по числу учащихся и учителей: тебе, мне, тебе, мне. Утром, на заре, — получите. Морозным, пахнущим мокрой тряпкой и мелом утром, сдавая в мешочках боты свои и надевая тапочки свои, — вместе с номерком — получите. Итак, будьте осторожнее там, на матах.

Итак, говорит нам учитель Савл, я слушаю вас внимательно, правду и только правду. Вы обязаны открыть мне глаза на истину, дабы прозрел я, подымите мне веки. Крупный, как у римского легионера, нос, плотно, смертельно сжатые губы. Все лицо — грубосколоченное, а может быть, грубовысеченное из белого с розовыми прожилками мрамора, лицо с беспощадными морщинами — следствие трезвой оценки земли и человека на ней. Тяжелый взгляд римского легионера, марширующего в первых шеренгах несгибаемого легиона. Доспехи, белый, отороченный мехом италийского пурпурного волка плащ. Шлем окроплен вечерней росой, медные и золотые застежки там и здесь — затуманены, но вспышки близких и далеких костров, пылающих по сторонам Аппиевой дороги, все же заставляют сверкать и латы, и шлем, и застежки. Все происходящее вокруг — призрачно, грандиозно и страшно, поскольку не имеет будущего. Дорогой Савл Петрович, следуя вашим незабвенным заветам — они стучат в наши сердца пеплом Клааса, — мы действительно обрели одно из высших человеческих достоинств, мы научились никогда и ни в чем не лгать. Мы замечаем это без ложной скромности, ибо здесь, в разговоре с вами, учителем, ставшим нашей совестью и нашей счастливой юностью, — она неуместна. Но, наставник, какими бы высшими принципами в общении с людьми мы ни руководили себя, они, принципы, ни за что не заменят нам нашей отвратительной памяти: она по-прежнему избирательна, и вряд ли мы сумеем пролить свет и поднять вам ваши тяжелые веки. Мы тоже почти не помним, что с вами случилось, ведь прошло — или пройдет — уже много времени с тех пор, как. Верно, отвечает Савл, немало прошло, верно, немало, немаловерно, вернее, много. Но все-таки постарайтесь, напрягите ее, вашу изумительную, пусть и отвратительную память. Помогите учителю, который страждет в неведении своем! Капля росы выпала из умывального крана и упала в ржавую тысячелетнюю раковину, чтобы, пройдя по темным слизистым трубам канализаций, миновав отстойники и фильтры новейших премиальных конструкций, тихо скользнуть чьей-то незамутненной душой в горечь реки Леты, чьи воды, навсегда обращенные вспять, вынесут лодку твою и тебя, обращенного в белый цветок, на песчаную белую отмель; капля повиснет на миг на мандолинообразной лопасти твоего весла и снова торжественно капнет в Лету — пропадет — растает — и через секунду, если ты верно понимаешь значение слова, бессмертно блеснет в горловине только что выстроенного римского акведука. Листопад, такого-то числа, такого-то года до н. э. Генуя, Дворец Дожей. Пиктограмма на бересте, свернутой в трубочку. Возлюбленный сенатор и легионер Савл, спешим сообщить вам, что мы, благодарные ученики ваши, вспомнили наконец некоторые подробности события, происшедшего с вами рано или поздно, которое столь обеспокоило вас. Нам удалось напрячь нашу память, и теперь, как нам кажется, мы догадываемся, что именно случилось, и готовы поднять вам ваши набрякшие веки. Спешим сообщить вам, что директор Н. Г. Перилло, подстрекаемый на злое дело Ш. С. Трахтенберг-Тинберген, уволил вас с работы по собственному желанию. Не может быть, — возражает Норвегов, — я же ничего такого не сделал, почему? за что? на каком основании? Я ничего не помню, расскажите. Взволнованно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Завещание

Дело было в один из дней того очаровательного месяца, когда ранними вечерами в западной части неба в созвездии Тельца виден Сатурн, вскоре заходящий за горизонт, а во второй половине ночи в созвездии Козерога заметен яркий Юпитер, к утру же значительно левее и ниже в созвездии Водолея появляется Марс. Но главное — в этом месяце головокружительно цветет черемуха в нашем сиреневом школьном саду: это мы, дураки нескольких поколений, заложили его на зависть всем умникам, идущим мимо по улице. Уважаемый Савл Петрович, разрешите заметить здесь, что мы, узники специальной школы, рабы тапочной системы имени Перилло, лишенные права обычного человеческого голоса и оттого вынужденные кричать нечленораздельным утробным криком, мы, жалкие мошки, запутавшиеся в неукоснительных паучьих сетках учебных часов, мы все же по-своему, по-глупому любим ее, нашу ненавистную специалку, со всеми ее садами, учителями и гардеробами. И если бы нам предложили перейти в нормальную, в обычную школу для нормальных, сообщив при этом, что мы выздоровели и нормальны, то — нет, нет, не хотим, не гоните! — мы бы заплакали, утираясь поганым тапочным мешком. Да, мы любим ее, потому что привыкли к ней, и если мы когда-нибудь, отсидев в каждом классе по нескольку так называемых лет, если мы когда-нибудь закончим ее, с ее изрезанными черно-коричневыми партами, то мы страшно расстроимся. Ибо тогда, покинув ее, мы потеряем все — все, что у нас было. Мы останемся одни, станем одинокими, жизнь разбросает нас по углам своим, по толпам умников, рвущихся к власти, к женщинам, машинам, инженерным дипломам, а нам — круглым дуракам — нам ничего такого не нужно, мы хотим лишь одного: сидеть на уроке, смотреть за окно на изглоданные ветром облака, не обращая внимания на учителя, за исключением Норвегова, и ждать белый-белый звонок, похожий на охапку черемухи в тот головокружительный месяц, когда вы, Савл Петрович, географ высшего уровня, быстро — если не сказать с т р е м г л а в — входите к нам в класс на свой последний в жизни урок.

Босиком. Теплынь. Теплый ветер. Когда дверь распахивается — окна, рамы окон — настежь. Сквозит теплом. Горшки с геранями валяются на полу, разбитые вдребезги. В комочках чернозема копошатся блистающие дождевые черви. Савл Петрович, а вы — смеетесь. Смеетесь, стоя на пороге. Вы подмигиваете нам, узнавая всех и каждого. Здравствуйте, Савл Петрович, в теплый четверг мая, в ковбойке с подвернутыми рукавами, в брюках с широкими отворотами, в летней, со множеством пробитых компостером дырочек шляпе. Здравствуйте, черти, садитесь, ну их, эти нелепые церемонии, потому что весна. Кстати, вы замечали, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны, а? Ладно, я как-нибудь расскажу вам. А сейчас мы приступим к уроку. Други ситные, сегодня у нас по плану беседа о горных системах, о каких-то там Кордильерах и Гималаях. Но кому это все нужно, кому это нужно, я вас спрашиваю, когда по всей желанной земле идут скоростные машины, разбрызгивая колесами тугую воду луж и обдавая таким макаром всех наших милых уличных подружек в коротеньких юбочках. Бедняжки! Капли залетают к ним даже в самые потаенные места, куда выше колен — вы понимаете, что я хочу сказать? Весело, подтягивая парусиновые брюки и пританцовывая у карты обоих полушарий, напоминающей гигантские голубые очки без дужек. Ученик такой-то, сделайте доброе дело, дайте перечисление некоторых женских имен, как я учил вас, по алфавиту. Кто-то из вашего числа — теперь издали я не вижу, кто именно, — встает и говорит быстрым полушепотом: Агния, Агриппина, Барбара, Валентина, Валерия, Галина... Да, — повторяете вы с улыбкой расстроганного человека, — Леокадия, Христина, Юлия, спасибо, садитесь. Други верные, как я рад свидетельствовать вам свое почтение сегодня, в день весны. Весна — это вам не зима, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Вот случай! В Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня приближался к желаемой цели. Все было мрак и вихорь. Нет, мы посвятим сегодняшние порывы наши — наоборот — пустыне, обагренной тюльпаньей кровью. Ученик такой-то, я наблюдаю ужасное: из трех окон, выходящих в открытое небо, открыты лишь два, так откройте ж и третье! спасибо. Ныне я поведаю вам историю, найденную мною в бутылке из-под клико на берегу дачной реки Леты. Я назвал эту историю Плотник в пустыне.

Други ситные, в пустыне жил плотник, большой мастер своего дела. Он мог бы при случае построить дом, лодку, карусели, качели, сколотить посылочный или иной ящик — был бы только материал, было бы из чего делать. Но, в пустыне, по выражению самого плотника, было пусто: ни гвоздей, ни досок. Уважаемый легионер Савл, мы обязаны немедленно поставить вас перед следующим фактом: не успели вы произнести слова ни гвоздей ни досок, как в университетской имени св. Лаврентия ордена Рудовоза Марсова Пламени университета, где вы читаете очередную лекцию, на миг стало как будто сумрачно, нам показалось, что чья-то тень — птица, или птеродактиль, или вертоплан — упала на кафедру, заменив солнце. Но тут же — ушла. Некоторые люди, — словно ничего не заметив, продолжали вы, — скажут: это неправда, не может случиться такого места, где не нашлось бы одной-двух досок и десятка гвоздей, а если хорошенько поискать вокруг, то всюду наберешь материала на целую дачу с верандой, как у любого из нас, лишь бы не пропадало желание сделать что-то полезное, только бы верилось в успех. Я же, разгневанный, отвечу: действительно, плотнику удалось найти одну, а потом и вторую доску. Кроме того, у него в кармане с давних пор лежал один гвоздь, мастер берег его на всякий случай, мало ли что может произойти в плотницкой жизни, мало ли зачем плотнику гвоздь, например, провести риску, наметить точки сверления и прочее. Но я должен добавить: несмотря на то, что у плотника не пропадало желание сделать что-либо полезное и он до конца верил в успех, мастер не мог найти больше, чем две десятимиллиметровые доски. Он исходил и изъездил на своей небольшой зебре всю пустыню, исследовал каждый сыпучий бархан и всякую ложбинку, поросшую бедным саксаулом, проехал даже вдоль берега моря, но — черт возьми! — пустыня не дарила ему материала. Наставник Савл, нам тревожно, кажется, снова была тень — только что, секунду тому. Однажды, утомленный поисками и солнцем, плотник сказал себе: ладно, у тебя не из чего построить дом, карусели, ящик, но у тебя есть две доски и один хороший гвоздь — так нужно что-нибудь сделать хотя бы из этого малого количества деталей, ведь мастер не может сидеть сложа руки. Сказав так, плотник положил одну доску поперек другой, достал из кармана гвоздь, а из сундука с инструментами взял молоток и молотком забил гвоздь в место пересечения досок, таким образом накрепко соединив их: получился крест. Плотник отнес его на вершину самого высокого бархана, установил там вертикально, вкопав в песок, и отъехал оттуда на своей небольшой зебре, чтобы полюбоваться на крест издали. Крест был виден почти с любого расстояния, и плотник так обрадовался этому, что от радости превратился в птицу. Очень, очень тревожно, дорогой Савл, тень снова легла на вашу кафедру, легла и погасла, легла и погасла, растаяла, тень птицы, той птицы или не птицы. То была крупная черная птица с прямым белым клювом, издававшая отрывистые каркающие звуки. Савл Петрович, может быть — козодой? Крик козодоя, крик козодоя, охраняйте козодоя в краю его, вдоль камышей, у живой изгороди, охотники и егеря, травы и пастухи, будочники и стрелочники, тра-та-та, тра-та-та, и-и-и-и. Птица полетела, села на поперечину креста и сидела, наблюдая движение песков. И пришли какие-то люди. Они спросили у птицы: как называется то, на чем ты сидишь? Плотник отвечал: это крест. Они сказали: с нами тут есть один человек, которого мы хотели бы казнить, нельзя ли распять его на твоем кресте, мы немало заплатим. И показали птице несколько ржавых зерен. Возлюбленный сенатор и легионер Савл, посмотрите, ради всех нас посмотрите за окно, нам кажется, что там, на перекладине пожарной лестницы, кто-то сидит, может быть, козодой, может, это он бросает тень на вашу кафедру? И они показали птице несколько ржаных зерен. Да, — сказал плотник, — я согласен, я рад, что вам понравился мой крест. Люди ушли и спустя время вернулись, ведя за собой на веревке какого-то худого и бородатого человека, видом нищего. О наставник, вы не слышите немой и тревожный глас нашего класса, увы! Еще раз: оглянитесь в тревоге! Там, за окном, на пожарной лестнице. Поднялись на вершину бархана, сорвали с человека лохмотья и спросили черную птицу, есть ли у той гвозди и молоток. Плотник отвечал: у меня есть молоток, но нет ни единого гвоздя. Мы дадим тебе гвоздей, сказали они, и скоро принесли много — больших и блестящих. Теперь ты должен помочь нам, сказали люди, мы станем держать этого человека, а ты прибивай руки и ноги его к кресту, вот тебе три гвоздя. Внимание, капитан Савл, справа по борту — тень, велите дать залп изо всех орудий, ваша труба запотела, надвигается улялюм. Плотник отвечал: я думаю, этому человеку придется худо, ему будет больно. Как бы там ни было, возражали люди, он достоин наказания, а ты обязан помочь нам, мы заплатили тебе и заплатим еще. И показали птице горсть пшеничных зерен. Увы, тебе, Савл! Тогда плотник решил схитрить. Он говорит пришедшим: ужели вы не видите, что я обыкновенная черная птица, как же могу я забивать гвозди? Не притворяйся, говорили люди, нам достоверно известно, кто ты такой. Ты ведь — плотник, а плотник обязан забивать гвозди, это дело его жизни. Да, — отвечал тогда плотник, — я превратился в птицу ненадолго и скоро опять стану плотником. Но я мастер, а не палач. Если вам нужно казнить человека, распинайте его сами, мне это не с руки. Глупый плотник, рассмеялись они, мы знаем, что у тебя в твоей мерзкой пустыне не осталось ни одной доски и ни единого гвоздя, поэтому ты не можешь работать и мучишься. Еще несколько времени — и ты умрешь от безделья. Если же согласишься помочь нам распять человека, мы привезем тебе на верблюдах много отборного строевого леса, и смастеришь себе дом с верандой, как у любого из нас, качели, лодку — все, что захочешь. Соглашайся, не пожалеешь. Как

пожалеете вы, наставник, что не внемлете нашему немому совету, — посмотрите в окно, посмотрите! Птица долго думала, потом слетела со креста и обратилась в плотника. Подайте гвозди и молоток, — согласился плотник, — я помогу вам. И быстро прибил руки и ноги обреченного к своему кресту, пока те, другие, держали несчастного. Назавтра они привезли плотнику обещанное, и он много и с удовольствием работал, не обращая внимания на больших черных птиц, которые прилетали на утренней голубой заре, и весь день клевали распятого человека, и только вечером улетали. Однажды распятый человек позвал плотника. Плотник взошел на бархан и спросил, что нужно человеку. Тот сказал: я умираю и вот хочу рассказать тебе о себе. Кто ты? — спросил плотник. Я жил в пустыне и был плотником, — с трудом говорил распятый, — у меня была небольшая зебра, но почти не было досок и гвоздей. Пришли люди и обещали дать мне нужного материала, если я помогу им распять одного плотника. Сначала я отказывался, но потом согласился, ибо они предложили мне целую горсть пшеничных зерен. Зачем же тебе зерна, — удивился плотник, стоявший на бархане, — разве ты тоже умеешь обращаться в птицу? Зачем же не посмотрите вы за окно, наставник, зачем? Почему ты сказал слово тоже, — отвечал распятый плотник, — о, неразумный, неужели ты до сих пор не понял, что меж нами нет никакой разницы, что ты и я — это один и тот же человек, разве ты не понял, что на кресте, который ты сотворил во имя своего высокого плотницкого мастерства, распяли тебя самого, и, когда тебя распинали, ты сам забивал гвозди. Сказав так самому себе, плотник умер.

Наконец вы, наш добрый наставник, наконец вы, услышав наши сигналы о бедствии, наконец вы — оглядываетесь. Но поздно, учитель: тень, которая, начиная с некоей минуты — ни гвоздей ни досок, — тревожила наши умы, более не сидит на перекладине пожарной лестницы и не лежит на кафедре — и это не тень, и не козодой, и не тень козодоя. Это — заведующая Тинберген, повисшая по ту сторону распахнутого в небо окна. В лохмотьях, купленных по сходной цене у вокзальной цыганки, в старушечьем вязаном чепчике, из-под которого торчат коротко стриженные эринеевы змеи, отливающие платиновой сединой, она висит по ту сторону окна, будто подвешенная на веревке, но на деле — висит без помощи посторонних сил и предметов, просто на правах ведьмы, висит как портрет о самой себе — во всю оконную раму, во весь проем, висит, потому что хочет висеть, зависая. И, не заходя в класс и даже не ступая на подоконник, она вопит вам, несравненный Савл Петрович, бестактно и непедагогично не желая замечать нас, застывших и меловых от волнения, вопит, показывая гнилые металлические зубы свои: крамола! крамола! И затем исчезает. Наставник Савл — неужели вы плачете, вы, с тряпочкой и кусочком мела в руке, вы, стоящий там, у доски, называемой по-английски блэкборд? Нас подслушали, подслушали, теперь вас уволят по собственному, но, собственно, на каком основании? Мы напишем петицию! Боже мой, — это говорите уже вы, Норвегов, — неужели вы полагаете, что мне страшно потерять работу? Я проживу, я уж как-нибудь доживу, мне осталось немного. Но мне мучительно больно, друзья, расстаться с вами, девочками и мальчиками грандиозной эпохи инженерно-литературных потуг, с вами, будущими и минувшими, с Теми Кто Пришли и уйдут, унеся с собою великое право судить, не будучи судимыми. Дорогой наставник, если вы считаете, что мы, явившиеся судить, забудем когда-нибудь ваши затухающие в коридоре, а потом на лестнице шаги, то вы заблуждаетесь, — мы не забудем. Почти бесшумные, ваши босые ступни отпечатались в нашем мозгу и застыли там навсегда, будто бы вы впечатали их в расплавленный солнцем асфальт, пройдя по нему торжественным церемониальным маршем юлианского календаря. Мне горько вспоминать эту историю, сударь, мне хотелось бы немного помолчать в вашем саду вместе с вами. Можно, я сяду вон в то плетеное кресло, чтобы напрасно не вытаптывать трав, подождите минуту, я скоро продолжу. Когда вернусь.

Выйдя на мост, обратишь внимание на перила: они холодные, скользкие. А звезды — летучие. А звезды. Трамваи — зябкие, желтые, неземные. Электрические поезда внизу будут просить дорогу у медленных товарняков. Сойдя же по лестнице на платформу, купи билет до какой-нибудь станции, где пристанционный буфет, холодные деревянные лавки, снег. За столами в буфете несколько пьяных, пьющих не переставая, читают друг другу стихи. Это будет холодная, коченеющая зима, и этот пристанционный буфет во второй половине декабрьского дня — тоже будет. Он будет разбит гармониками и стихами изнутри. Будут петь — дико и хрипло. Пейте чай, милостивый государь, — остынет. О погоде. Главным образом — о сумерках. Зимой в сумерках маленькому тебе. Вот они наступают. Жить невозможно, и невозможно отойти от окна. Уроки на завтра не сделаны ни по одному из предметов известных. Сказка. На дворе сумерки, снег цвета голубого пепла или какого-нибудь крыла, какого-нибудь голубя. Уроки не сделаны. Мечтательная пустота сердца, солнечного сплетения. Грусть всего человека. Ты маленький. Но знаешь, уже знаешь. Мама сказала: и это пройдет. Детство пройдет, как оранжевый дребезжащий трамвай через мост, разбрасывая холодные брызги огня, которых почти не существует. Галстук, часы, портфель. Как у отца. Но будет девочка, спящая на песке у реки, — простая, с простыми ресницами, в чистых тугих трусиках для купания. Очень красивая. Почти красивая. Почти некрасивая, мечтающая о полевых цветах. В кофточке без рукавов. На горячем песке. Остынет, когда настанет. Когда вечер. Случайный пароход: от гудка простые ресницы дрогнут — очнется. Но еще не знаешь — та ли. Весь в огнях, оставляя уютную пену на попечение ночи. Но еще не ночь. Набег фиолетовых волн. У берега глубоко, ключи. Эту воду можно пить, наклонясь над. Губы милой, нежной. Гул парохода, плеск, дрожащие огни — уходят. На том берегу кто-то, переговариваясь с приятелем, разжигает костер, чтобы варить чай. Смеются. Слышно, как чиркают спички. Кто ты, я не знаю. В вершинах сосен, в кронах, ночуют комары. Самая середина июля. Потом они спустятся к воде. Пахнет травой. Очень тепло. Это счастье, но ты не знаешь об этом. Пока не знаешь. Птица дергач. Ночь прильнула и потекла, заботливо вращая жернова мельницы небесной. Как называется эта река? Река называется. И ночь называется. Что приснится? Ничего не приснится. Дергач, козодой приснится. Но еще не знаешь. Почти некрасивая. Но несравненная, потому что первая. Мокрая соленая щека, невидимая в ночи тишина. Милая, как неразличима ты вдалеке. Да, узнаешь, узнаешь. Песня лет, мелодия жизни. Все остальное — не ты, все другие — чужие. Кто же ты сам? Не знаешь. Только узнаешь потом, нанизывая бусинки памяти. Состоя из них. Ты весь — память будешь. Самое дорогое, самое злое и вечное. Боль всю жизнь пытаясь выскрести из солнечного сплетения. Но сплетение ив, но девочка, спящая на песке горячем примерно пятнадцатого числа июля необратимого года, но девочка. Не шелохните листом, не шелестите. Спит. Утро. Одинок и заброшен, как церковь, стоял на ветру. Ты пришла и сказала, что птицы живут золотые. Утро. Гаснущие под ногой росы. Ракита. Звук несомого к реке ведра, беззвучие ведра, несомого от реки. Росы серебряной прах. День, обретающий лицо. День во плоти своей. Люди, любите день более ночи. Улыбнись, постарайся не шевелиться, это будет фотография. Единственная, которая останется после всего, что будет. Но пока не знаешь. Потом — сколько-то лет подряд — жизнь. Как называется. Называется жизнь. Теплые тротуары. Или наоборот — заметенные снегом. Называется город. Ты вылетаешь из подъезда на высоких цокающих каблучках. Стройная, ранняя, в духах и в нимбе парижской шляпки. Цокот. Запевают дети и птицы. Около семи. Суббота. Я вижу тебя. Я тебя вижу. Цокот по всему двору, по всему бульвару, где нераспустившаяся сирень. Но распустится. Мама сказала. Больше ничего. Только это. Хотя и другое. Но теперь — знаешь. Можно писать письма. Или просто кричать, с ума сходя от мечты. Но и это пройдет. Нет, мама, нет, это останется. На кублучках. Та ли? Та. Та ли? Та. Та ли? Та. Тра-та-та: навылет. Весь город в этих духах. И поздно говорить, сгорая. Но можно писать письма. Всякий раз ставя в конце — прощай. Радость моя, если умру от невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если не нарадуюсь ветхим мельницам, живущим на изумрудных полынных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если

не расскажу всего, что хотел рассказать о тебе, о себе, если однажды умру не простясь, — прости. Больше всего я хотел бы сказать — сказать перед очень долгой разлукой — о том, что ты, конечно, знаешь давно сама или только догадываешься об этом. Мы все об этом догадываемся. Я хочу сказать, что когда-то мы уже были знакомы на этой земле, ты, наверное, помнишь. Ибо река называется. И вот мы снова пришли, вернулись, чтобы опять встретиться. Мы — Те Кто Пришли. Теперь знаешь. Ее зовут Вета. Та.

Юноша, что с вами? Вы спите? А? Нет, разве возможно, я немного ушел в себя, но теперь уже вернулся, не беспокойтесь, доктор Заузе называет это растворением в окружающем, это нередко. Человек растворяется, как будто его положили в ванну с серной кислотой. Один мой товарищ — учимся с ним в одном классе — говорит, что достал где-то целую бочку кислоты, но, может быть, лжет, не знаю. Во всяком случае, он собирается растворить в ней родителей. Нет, не всех вообще, только своих. Мне кажется, он не любит родителей. Что ж, сударь, я полагаю, они пожинают плоды, которые посеяли сами, и не нам с вами решать, кто тут прав. Да, юноша, да, не нам с вами. Покачивая головой, цокая языком, застегивая и тут же расстегивая пуговицы на пыльнике. Сутуло, и деревянно, и сухо. Но вернемся к баранам, сударь. В один из дней все того же замечательного месяца по спецшколе прошел слух, что вы, Савл Петрович, уволены с работы по щучьему велению. Тогда мы сели и написали петицию. Она была лаконична и строга стилем; в ней говорилось: Директору школы Н. Г. Перилло. Петиция. В связи с тем, что педагог-географ П. П. Норвегов уволен по собственному, а на самом деле — нет, то мы требуем немедленной выдачи виновных по этапу. И подписи: с уважением, ученик такой-то и ученик такой-то. Мы явились вдвоем, стуча и стучась, хлопая всеми на свете дверями. Мы явились разгневанно, а Перилло сидел в кресле развалясь и угрюмо, несмотря на то, что длилось утро средних лет, еще не усталое, бодрое, полное надежд и планктонов на будущее. В кабинете Перилло часы с маятником золоченым мерно дробили несуществующее время. Ну что, написали? — сказал нам директор. Ты и я — мы принялись искать в карманах петицию, но долго ничего не могли найти, а потом ты — именно ты, а не я — достал откуда-то из-за пазухи помятый листок и положил на стекло перед директором. Но то была не петиция — я сразу понял, не петиция, потому что петицию мы писали на другой бумаге, на красивой гербовой бумаге с водяными знаками и несколькими специальными печатями, на бумаге для петиций. А листок, который лежал теперь на стекле у Перилло — в стекле отражались: сейф, зарешеченное окно, беспорядочная листва деревьев за окном, идущая по делам улица, небо, — был обычный тетрадный в косую линейку, и то, что ты написал на листке — ведь это написал именно ты, — было не петицией, а той самой объяснительной запиской о потерянном доверии, про которую я сто лет как успел забыть, я никогда не написал бы ее, если бы не ты. То есть я спешу подчеркнуть, что ее написал ты, а я не имел к ней никакого отношения. Увы нам, Савл, нас предал третий, все пропало: петиция исчезла, и восстановить текст нам не под силу, мы уже все забыли. Мы помним только, что в тот час лицо Николая Горимировича — после того как он начал читать объяснительную — стало каким-то иным. Оно, конечно, продолжало быть угрюмым, поскольку не могло не быть угрюмым, но стало еще каким-то. Был оттенок. Тень. Или так: по лицу директора словно прошел легкий ветер. Ветер ничего не унес, а только добавил новое. Какую-то специальную пыль. Вероятно, мы не ошибаемся, сказав: лицо Перилло стало угрюмым и специальным. Правильно, это было теперь специальное лицо. Но что же читал Перилло, — интересуется Савл, — что вы там натворили, друзья мои? Я не знаю, спросите у него, это писал он, другой. Я сейчас расскажу. Там было вот что. Как ваш покорный корреспондент уже сообщал итальянскому художнику Леонардо, я сидел в лодке, бросив весла. На одном из берегов кукушка считала мои годы. Я задал себе вопросы, несколько вопросов, и собрался уже отвечать, но не смог. Я удивился, а потом что-то случилось во мне — в сердце и в голове. Как будто меня переключили. И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не

верить. Не хотелось. И сказал себе: неправда, это кажется, ты немного устал, сегодня очень жарко. Бери грёби и гребй домой, в Сиракузы перечислять таврические корабли. И попытался взять весла, и протянул к ним руки. Но не вышло. Я видел рукоятки, но не ощущал их ладонями. Дерево гребей протекло через мои пальцы, как песок, как воздух, как несуществующее время. Или наоборот: я, мои бывшие ладони, обтекали дерево подобно воде. Лодку прибило к берегу в пустынном месте. Я прошел по пляжу некоторое количество шагов и оглянулся: на песке не осталось ничего похожего на мои следы, а в лодке лежала белая речная лилия, названная римлянами Нимфея Альба, то есть белая лилия. И тогда я понял, что превратился в нее и не принадлежу отныне ни себе, ни школе, ни вам лично, Николай Горимирович, — никому на свете. Я принадлежу отныне дачной реке Лете, стремящейся против собственного течения по собственному желанию. И — да здравствует Насылающий Ветер! Что же касается двух мешочков для тапочек, то спросите у моей мамы, она все знает. Она скажет: и это пройдет. Она знает.

Мама, мама, помоги мне, я сижу здесь, в кабинете Перилло, а он звонит туда, доктору Заузе. Я не хочу, поверь мне. Приходи сюда, я обещаю выполнять все твои поручения, я даю слово вытирать ноги у входа и мыть посуду, не отдавай меня. Лучше я снова начну ездить к маэстро. С наслаждением. Ты понимаешь, в эти немногие секунды я многое передумал, я осознал, что, в сущности, необыкновенно люблю всю музыку, особенно аккордеон три четверти. И-и-и, раз-два-три, раз-два-три, и-раз, и-два, и-три. На Баркаролле. Давай же снова поедем к бабушке, побеседуем, а оттуда — сразу пойдем к маэстро, он живет совсем близко, ты помнишь. И я даю тебе слово, что никогда больше не буду подсматривать за вами. Поверь, мне совершенно все равно, чем вы там с ним занимаетесь, там, в башенке, на втором этаже. Занимайтесь, а я — я буду разучивать чардаш. А когда вы спуститесь обратно по скрипучей лесенке, я вам сыграю. Сексты или даже гаммы. И, пожалуйста, не беспокойтесь. Какое мне дело! Мы все давно взрослые люди, все трое — ты, маэстро и я. Неужто я не понимаю! И разве я могу наябедничать? Никогда, мама, никогда. Вспомни, разве я хоть раз — папе? Нет. Занимайтесь, занимайтесь, а я буду играть чардаш. Представь себе, вот день, когда мы опять едем. Воскресенье, утро; папа бреется в ванной, я чищу ботинки, а ты готовишь нам завтрак. Яичница, оладьи, кофе с молоком. У папы прекрасное настроение, вчера у него было тяжелое заседание, он говорит, что дьявольски устал, но зато все получили по заслугам. Вот почему, бреясь, он напевает свою любимую неаполитанскую песенку: «В неапольском порту с пробоиной в борту Джанетта поправляла такелаж, но прежде чем уйти в далекие пути, иа берег был отправлен экипаж». Ну что, едете заниматься? — спрашивает он за завтраком, хотя лучше нас знает, что да, едем, да, заниматься. Да, папа, да, музыкой. Как он поживает, этот ваш одноглазый, я давно не видел его, по-прежнему музицирует, сочиняет разную белиберду? Конечно, папа, а что же ему еще делать, он ведь инвалид, у него масса свободного времени. Знаем мы этих инвалидов, — усмехается папа, — этим бы инвалидам — баржи грузить, а не на скрипочках пиликать, будь моя воля, они бы у меня попиликали, моцарты фиговы. Между прочим, — замечаешь ты, мама, — он играет не на скрипке, его основной инструмент — труба. Тем более, — говорит папа, — будь моя воля, он бы потрубил у меня где положено. Лучше бы, — продолжает папа, подбирая кусочком хлеба остатки глазуньи, — лучше бы он носки себе чаще стирал. При чем тут носки, — отвечаешь ты, мама, — мы же беседуем о музыке; естественно, у каждого могут быть свои слабости, человек холост, одинок, все приходится самому. Вот-вот, — говорит папа, — ты ему еще носки постирай, если тебе его жалко, подумаешь — гений какой отыскался, носки не в состоянии постирать! Наконец выходим. Ну, езжайте, — напутствует папа, стоя на пороге, — езжайте. Он в своей единственной и любимой пижаме, с пачкой газет под мышкой. Большое лицо его — оно почти без морщин — светится и блестит от недавнего бритья. Я почитаю, — говорит он. — Осторожнее с аккордеоном, не поцарапайте чехол. В электричке полно народу — все куда-то едут, куда-то на дачи. Сесть совершенно негде, но как

только мы появляемся, все оглядываются на нас и говорят друг другу: дайте пройти мамаше с мальчиком, не мешайте им, посадите мамашу с мальчиком с аккордеоном, посадите, пусть сядут, у них аккордеон. Мы садимся и смотрим в окно. Если день, когда мы едем заниматься, приходится на зиму, то за окном мы видим лошадей, запряженных в сани, видим снег и разные следы на снегу. Если же дело происходит осенью, то за окном все по-другому, лошади запряжены в телеги или просто гуляют в ржавых лугах сами по себе. Мама, сейчас непременно войдет констриктор. Откуда ты знаешь, вовсе не обязательно. Вот увидишь. Проверка билетов,— говорит констриктор, входя. Мама открывает сумочку, она ищет билеты, но долго не может найти. Волнуясь, она выкладывает себе на колени все те небольшие вещи, которые есть в сумочке, и весь вагон наблюдает, как она это делает. Вагон рассматривает вещи: два или три носовых платка, флакончик с духами, губная помада, записная книжка, засушенный василек на память о чем-то давнем, футляр для очков, или, как его называет мама,— очешник, ключи от квартиры, подушечка для иголок, катушка ниток, спички, пудреница и ключ о т б а б у ш к и. Наконец мама находит билеты и протягивает подошедшему констриктору, толстому человеку в специальной черной шинели. Он вяло крутит билеты в руках, смотрит их на свет, вяло закрыв один глаз, и пробивает компостером, похожим на: щипцы для сахара, машинку для стрижки, силомер, маленькие клещи, клещи для удаления зубов, фонарик-«жучок». Заметив аккордеон, толстяк вяло подмигивает мне и спрашивает: Баркаролла? Да,— говорю я,— Барракуда, три четверти. Мы едем заниматься,— добавляет мама, волнуясь. Весь вагон слушает, привстав с желтых лакированных скамеек, стараясь не пропустить ни слова. Нас ждет преподаватель,— продолжает мама,— мы немного опаздываем, не успели на десятичасовую, но мы наверстаем от станции пойдем чуть быстрее обычного у сына очень талантливый педагог он композитор правда он не совсем здоров знаете фронт но очень талантлив и живет совершенно один в старом доме с башенкой понимаете у него не слишком уютно бывает и беспорядок но какое это имеет значение если речь идет о судьбе сына видите ли учителя посоветовали нам дать сыну музыкальное образование хотя бы начальное у него неплохой слух и вот мы нашли педагога у нас есть один знакомый и он порекомендовал нам мы очень благодарны они вместе были на фронте наш знакомый и педагог и дружат уже много лет кстати если у вас есть сын и у него слух то если вы хотели бы я могла бы дать адрес честный человек и замечательный музыкант специалист в своем деле можно только преклоняться берет недорого если вам удобнее то можно договориться и он будет приезжать на дом ему нетрудно тем более так и для вас получится дешевле давайте я запишу ваш адрес. Не надо,— вяло говорит констриктор,— ну ее, всю эту музыку, одна Баркаролла чего стоит. Напрасно напрасно отвечает мама аккордеон ведь можно купить в комиссионном там отнюдь недорого разве можно думать о деньгах если речь идет о судьбе сына в конце концов можно занять давайте я поговорю с вашей женой мы женщины всегда лучше поймем друг друга мы с мужем могли бы занять вам денег пусть не всю сумму хотя бы часть вы бы постепенно вернули мы бы поверили вам разве можно. Не надо,— отвечает констриктор,— я бы с удовольствием у вас занял, но мне не хочется возиться со всей этой музыкой, тут один преподаватель каких денег стоит, да и к тому же у меня и сына-то нет никакого, ни сына, ни дочери нет, так что извините, спасибо. Вяло. Констриктор уходит, вагон садится по местам и предъявляет билеты. Когда мы покидаем поезд и спускаемся с платформы, я оглядываюсь: я вижу, как весь вагон смотрит нам вслед. Мы, идущие своей дорогой, отражаемся в глазах и стеклах набирающего скорость состава: моя среднего роста мама в демисезонном коричневом жакете с воротником из болезненной степной лисы, мама в чешуйчатой, твердой на вид шляпке, сделанной неизвестно из чего, в ботах; и я — худой и высокий, в темном пыльнике на шести пуговицах, перешитом из прокурорской шинели отца, в ужасной бордовой кепке, в ботинках с полузаклепками и с галошами. Мы отлетаем от станции все дальше, растворяясь в мире пригородных вещей, звуков и красок, с каждым движением все более проникаем в песок, в кору деревьев, становимся оптической ложью, вымыслом, детской забавой, игрой света и тени. Мы преломляемся в голосах птиц и людей, мы обретаем бессмертие несуществующего. Дом маэстро — на краю поселка, напоминает корабль, сложенный из кубиков и спичечных коробков. Ты видишь маэстро издалека: он стоит посреди застекленной веранды, перед пюпитром, упражняясь на небольшой флейте, которая в иные дни кажется подзорной трубой; к тому же у него черная, как у пиратского капитана, наглазная повязка. Сад полон черных, изуродованных сквозняками деревьев, а по озеру, тронутые изысканностью мелодии, в холодном и жестком свечении воскресного неба остекленело плывут лодки. Добрый день, маэстро, вот мы и пришли, мы снова здесь, чтобы заниматься. Мы так соскучились по музыке, по вас и по вашему саду. Двери веранды распахиваются, капитан не торопясь движется нам навстречу. Мама, какое у тебя лицо! Неужели это озерный ветер так изменил его? Сейчас, вот уже сейчас. Мама, я не поспеваю за тобой. Сейчас. Сейчас мы ступим на порог дома и канем в его странную архитектуру, впитаемся в коридоры, лестницы, этажи. Вот уже входим. Раз. Два. Три.

Извините, сударь, я, кажется, слишком отвлекся от сути нашего разговора. Я хочу сказать, что Савл Петрович по-прежнему сидит на подоконнике спиной к окну. Босые ступни ног его покоятся на радиаторе, и учитель, улыбаясь, говорит нам: да, я хорошо помню, что Перилло хотел уволить меня по-щучьему. Но, подумав, он дал мне испытательный срок — две недели, и, чтобы не вылететь с работы, я решил проявить себя в лучшем виде. Я решил стараться и стараться. Я решил не опаздывать в школу, решил купить и носить сандалии, я поклялся вести уроки строго по плану. Я отдал бы кому-нибудь половину дачного лета, лишь бы остаться с вами, друзья мои. Но вот тут-то и получилось то самое, о чем я вас все расспрашиваю. Не помню — понимаете? Я не помню, что произошло в период моего испытательного срока, кажется, в самом его начале. Единственно, что я знаю,— что это случилось накануне очередного экзамена. Ученик такой-то, сделайте доброе дело, помогите. Память моя с каждым днем становится все хуже, тускнеет, как столовое серебро, которое лежит в буфете без пользы. Так подышите на это серебро и протрите его фланелевой тряпочкой. Савл Петрович, отвечаем мы, стоящие на кафеле — или как там еще называются эти плитки,— Савл Петрович, мы знаем, мы теперь знаем, мы вспомнили, только не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь, господи, только рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте. Взволнованно. Савл Петрович, пожалуй, это будет крайне неприятная для вас новость. Ну-ну,— поторапливает нас учитель,— я весь — внимание. Понимаете, в чем дело, вы ведь раньше знали, что произошло, вы сами нам об этом тогда и сообщили. Ну да, ну да, я же говорю: память моя серебру подобна. Так слушайте. В тот день мы должны были сдавать последний экзамен за такой-то класс, как раз ваш экзамен, географию. Нам назначили к девяти утра, мы собрались в классе и ждали вас до двенадцати, но вы все не приезжали. Щелкая каблуками на поворотах, явился Перилло и сказал, что экзамен переносится на завтра. Кто-то из нашего числа предположил, что вы больны, и мы решили навестить вас. Мы отправились в учительскую, и Тинберген дала нам ваш городской адрес. Мы поехали. Дверь открыла какая-то женщина, необыкновенно бледная, седая. Честно сказать, мы никогда не встречали настолько меловой женщины. Говорила она едва слышно, сквозь зубы, а одета была в непонятный пыльник цвета простыни, без пуговиц и без рукавов. Скорее, то был даже не пыльник, но мешок, сшитый из двух простыней, в котором вырезали только одно отверстие — для головы,— понимаете? Женщина сказала, что она ваша родственница, и спросила, что передать. Мы отвечали, что ничего не надо, и поинтересовались, где найти вас, Савла Петровича, как, мол, вас увидеть. А женщина говорит: он здесь теперь не живет, а живет за городом, на даче, потому что весна. И предложила дать адрес, но мы вашу дачу, слава богу, знаем и решили немедленно ехать. Погодите,— перебивает Савл,— в то время я на самом деле переехал уже на дачу, но вы попали не в ту квартиру, поскольку в моей квартире не могло быть никакой такой женщины, да еще родственницы, у меня нет родственников, даже мужчин, моя квартира всегда пустует с весны до осени, вы перепутали адрес. Возможно, Савл

Петрович,— говорим мы,— но та женщина почему-то вас знала, она же хотела объяснить, как к вам на дачу попасть. Странно,—отвечает Савл задумчиво,— а какой номер квартиры — вы не забыли? Такой-то, Савл Петрович. Такой-то?—переспрашивает учитель. Да, такой-то. Мне тревожно,—говорит Савл,—я ничего не соображаю, мне тревожно. Откуда там могла быть женщина? А вы не заметили, там, около двери, на лестничной клетке,—стояли санки? Стояли, Савл Петрович, детские санки, желтые, с лямкой из фитиля для керосиновой лампы. Верно, значит, верно, но, боже мой, какая женщина? И почему седая, почему в пыльнике? Я не знаю таких женщин, мне тревожно, впрочем—продолжайте. Подавленно. И вот мы отправились к вам на дачу. Утро уже кончилось, но, несмотря на, вдоль всей железной дороги, в кустах за полосой отчуждения, вопреки поездам, продолжали согласно петь соловьи. Мы стояли в тамбуре, ели мороженое и слышали их—они были громче всего на свете. Мы полагаем, Савл Петрович, вы не забыли, как пройти от станции к вам на дачу, и не станем описывать дорогу. Нужно только заметить, что в придорожных канавах еще хранилась талая холодная вода и молодые листики подорожника торопливо пили ее, чтобы выжить и жить. Можно упомянуть и о том, что на садовых участках появились уже первые люди: жгли мусорные костры, копались в земле, стучали молотками, отмахивались от первых пчел. Все в нашем поселке было в тот день точно так же, как в соответствующий день прошлого года и всех прошлых лет, и наша дача стояла, утопая в шестилепестковой счастливой сирени. Но там, в нашем саду, возились теперь какие-то другие дачники, не мы, поскольку к тому времени мы продали нашу дачу. А может быть, еще не купили ее. Тут ничего нельзя утверждать с уверенностью, в данном случае все зависит от времени или, наоборот,—ничего от времени не зависит, мы можем все перепутать, нам может показаться, что тот день был тогда-то, а по-настоящему он приходится на совершенно иной срок. Ужасно плохо, если одно накладывается на другое без всякой системы. Справедливо, справедливо, сейчас мы даже не в состоянии утверждать с определенностью, была ли у нас, у нашей семьи, какая-нибудь дача, или она была и есть, или она только будет. Один ученый—это я читал в научном журнале—говорит: если вы находитесь в городе и думаете в данный момент, что у вас за городом есть дача, это не значит, будто она есть в действительности. И наоборот: лежа в гамаке на даче, вы не можете думать всерьез, что город, куда вы собираетесь после обеда, в действительности имеет место. И дача, и город, между которыми вы мечетесь все лето,— пишет ученый,— лишь плоды вашего в меру расстроенного воображения. Ученый пишет: если вы желаете знать правду, то вон она: у вас з д е с ь нет ничего—ни семьи, ни работы, ни времени, ни пространства, ни вас самих, вы все это придумали. Согласен,—слышим мы голос Савла,—я, сколько себя помню, никогда в этом не сомневался. И тут мы сказали: Савл Петрович, но что-то все-таки есть, это столь же очевидно, как то, что река называется. Но что же, что именно, учитель? И тут он ответил: други милые, вы, возможно, не поверите мне, вашему отставной козы барабанщику, цинику и охальнику, ветрогону и флюгеру, но поверьте мне иному—нищему поэту и гражданину, явившемуся просветить и заронить искру в умы и сердца, дабы воспламенились ненавистью и жаждой воли. Ныне кричу всею кровью своей, как кричат о грядущем отмщении: на свете нет ничего, на свете нет ничего, на свете нет ничего, кроме Ветра! А Насылающий?—спросили мы. И кроме Насылающего,—отвечал учитель. В утробах некрашеных батарей шумела вода, за окном шагала тысяченогая неизбывная, неистребимая улица, в подвалах котельной от одной топки к другой, мыча, метался с лопатой в руках наш истопник и сторож, а на четвертом пушечно грохотала кадриль дураков, потрясая основы всего учреждения.

Итак, наша дача стояла, утопая в шестилепестковой сирени. Но там, в нашем саду, возились теперь другие, не мы, но, возможно, это были все-таки мы, но торопясь мимо себя в сторону Савла, мы не узнали себя. Мы спустились до конца улицы, повернули налево, а потом—как это часто случается—направо и оказались на краю овсяной нивы, за которой, как вы знаете, струит свои воды дачная Лета и начинается Край козодоя. На

дороге, режущей пополам овсяную ниву, мы повстречали почтальона Михеева, или Медведева. Он медленно ехал на велосипеде, и, хотя ветра не было, бороду почтальона развевал ветер, и от нее—клочок за клочком—отлетали клочки, словно то была не борода, но туча, обреченная буре. Мы поздоровались. Но хмурый—или же печальный?—он не узнал нас и не ответил и покатил дальше, по направлению к водокачке. Мы посмотрели ему вслед и: вы не встречали Норвегова? Не оборачиваясь, являвший собою идеал почтальоно-велосипеда, монолит, раб, намертво примурованный к седлу, Михеев крикнул по-вороньи хрипло одно слово: т а м. И рука его, отделившись от рычага управления, произвела жест, запечатленный впоследствии на множествах древних икон и фресок: то была рука, свидетельствующая о благости, и рука дарующая, рука призывающая и смиряющая, рука, согбенная в локте и в запястье,—ладонь же обращена к безупречно сияющему небу, жест миротворца. И рука эта показала т у д а, в сторону реки. Други,—перебивает Норвегов,—я рад, что на пути ко мне вы встретили нашего уважаемого почтальона, в наших местах это считается доброй приметой. Но мне снова тревожно, я хочу опять возвратиться к разговору о той женщине, я жду очередных подробностей. Скажите, с кем или с чем вы могли бы сравнить ее, дайте метафору, дайте сравнение, а то я не слишком четко представляю ее себе. Дорогой отставник, мы могли бы сравнить ее с криком ночной птицы, воплощенном в образе человеческом, а также с цветком отцветающей хризантемы, а также с пеплом отгоревшей любви, да, с пеплом, с дыханием бездыханного, с призраком, и еще: женщина, отворившая нам, была тот бабушкин меловой ангел с одним надломленным крылом, тот — ну, вы, наверное, знаете. Вот так номер,—отзывается Савл,—я начинаю подозревать худшее, я в отчаянии, да не может этого быть, ведь вот же обычным образом беседую здесь с вами, вот я слышу каждое ваше слово, чувствую, осязаю, вижу, а тем не менее, как будто, как следует из ваших описаний... нет, но я имею право и не верить, не признавать, сказать—нет, не так ли? Решительно. С растрепанными седыми волосами. Жестикулируя. Савл Петрович, там, где кончается овсяная нива,—там почти сразу начинается Лета. Берег ее довольно высок, обрывист, он в большой степени состоит из песка. На самом верху обрыва, на травянистой площадке, произрастают сосны. С этой площадки хорошо виден тот берег и вся река—вверх и вниз по течению. Цвет реки темно-голубой, чистый, она стремит свои воды бережно, не торопясь. Что касается ширины ее, то об этом лучше всего расспросить тех редких птиц, которые. Они летят и не возвращаются. Подойдя к обрыву, мы сразу увидели ваш дом—он, как всегда, стоял на том берегу, во лузях, кругом качались цветы и жили стрекозы. Тут же были стрижи и ласточки. А вы, Савл Петрович, вы сами сидели у воды, причем несколько удочек были заброшены и удилища укреплены на специальных рогатках. То и дело клевало, и звоночки, прикрепленные к лескам, позванивали и будили вас от полуденной дремы. Вы просыпались, делали подсечку и вытаскивали очередного глухаря, точнее—пескаря. Нет-нет,— замечает географ,— мне ни разу не удавалось поймать ни одной рыбины, у нас в Лете рыба просто не водится, это клевали тритоны. Надо сказать, они ничуть не хуже карася или окуня, даже лучше. Сушеные, они напоминают по вкусу воблу, очень толково с пивом. Я порой продавал на станции: несу целое ведро и продаю, там, возле пивного ларька. Бывало, пока несешь, они высыхают прямо на глазах, прямо в ведре, если жарко, конечно. И вот мы подошли к обрыву, увидали вас, сидящего на противоположном песке, и поздоровались: здравствуйте, Савл Петрович! клюет? Доброго здоровья,—отвечали вы с того берега,—сегодня что-то не очень, печет сильно. Помолчали, слышно было, что Лета течет вспять. Потом вы спросили: а вы, друзья мои, почему не на занятиях, прогуливаете? Да нет, Савл Петрович, мы за вами приехали. Что-нибудь случилось в школе? Да нет, ничего, вернее, вот что, получилось так, что вы сегодня не пришли на экзамен, горные системы, реки и другое—география. Вот те на,—отвечали вы,—но я не могу нынче, неважно себя чувствую. А что у вас—ангина? Хуже, ребята, гораздо хуже. Савл Петрович, вы не хотели бы переехать к нам, на наш берег, у вас лодка, а у нас здесь ничего нет, наша лодка хоть и здесь, но греби заперты в сарае, у нас есть для вас подарок, мы привезли торт. Лопайте сами, други,—

сказали вы, — у меня никакого аппетита, да я и не люблю сладкое, спасибо, не стесняйтесь. Ладно, — а мы — мы, наверное, съедим сейчас. Мы развязали коробку, разрезали торт перочинным ножом на две равные части и стали есть. Мимо шла самоходная баржа, на палубе на веревках висело белье, и на качелях качалась простая девочка. Мы помахали ей крышкой от торта, но девочка не заметила, потому что смотрела в небо. Мы быстро съели торт и спросили: Савл Петрович, а что передать Тинберген и Перилло, когда вы будете? Не понимаю, не слышу, — отвечали вы, — пусть баржа уйдет. Мы подождали, пока баржа уйдет, и снова сказали: что передать Трахтенберг, когда вы будете? Не знаю, как тут получится, ребята, дело в том, что я, очевидно, не приду совсем, передайте, что я с этого вторника не работаю у вас, беру расчет. А что такое, Савл Петрович, нам весьма жаль, мы будем скучать без вас, это неожиданно. Не горюйте, — улыбнулись вы, — в специалке много квалифицированных педагогов и без меня. Но время от времени я стану прилетать, заглядывать, мы будем видеться, поболтаем, черт побери. Савл Петрович, а можно мы навестим вас на той неделе на том берегу всем классом? Давайте, радостно жду, только предупредите остальных: никакой закуски не надо, полная потеря аппетита. А что за болезнь, Савл Петрович? Да не болезнь, други, это не болезнь, — сказали вы, вставая и отряхивая подвернутые до колен брюки, — дело в том, что я *умер*, — сказали вы, — да, все-таки умер, к чертям, умер. Медицина у нас, конечно, хреновая, но насчет этого — всегда точно, никакой ошибки, диагноз есть диагноз: *умер*, — сказали вы, — прямо зло берет. Раздраженно. Так я и думал, — говорит Савл, сидящий на подоконнике, греющий босые ступни ног своих о батарею. — Когда вы сказали про женщину, которая отворила дверь, у меня сразу появилось какое-то нехорошее предчувствие. Ну ясно, теперь я все вспомнил, это была одна моя знакомая, скорее, даже родственница. А что было после, ученик такой-то? Мы вернулись в город, явились в школу и рассказали всем, что с нами, а точнее — с вами, случилось. Все сразу как-то огорчились, многие помертвели лицами и плакали, особенно девочки, особенно Роза. О Роза! — говорит Савл, — бедная Роза Ветрова. А потом состоялись похороны, Савл Петрович. Вас хоронили в четверг, вы лежали в зале для актов, очень много народу пришло проститься: все ученики, все учителя и почти все родители. Вас, понимаете, ужасно любили, особенно мы, спецшкольники. Знаете, что интересно· у вас в изголовье стоял огромный глобус, самый большой в школе, и те, кто дежурил в *почтенном* карауле, по очереди вращали его — было красиво и торжественно. Все время играл наш духовой оркестр, пять или шесть ребят, причем было две трубы, а остальные — барабаны, большие и маленькие, представляете? Говорили речи, Перилло плакал и клялся, что добьется в отделе народного *оборзования*, чтобы школу переименовали в школу имени Норвегова, а Роза — вы знаете? — Роза прочитала для вас удивительные и прекрасные стихи, она сказала, что всю ночь не спала и сочиняла. Вот как? но я что-то смутно... напомните хоть строчку. Сейчас, сейчас, кажется, примерно так:

Вчера я засыпала под шум семи ветров,
Холодных и могильных, под шум семи ветров.
И Савл Петрович умер под шум семи ветров.
Не сплю я в нашем доме под шум семи ветров.
И воет собачонка под шум семи ветров.
Шел кто-то очень близкий по снегу, по ветрам,
Шел некто на мой голос, мне что-то он шептал,
И я, ответить силясь, звала его по имени —
Пришел к моей могиле он
И вдруг меня узнал.

О Роза, — истерзанно говорит Савл, — бедная моя девочка, нежная моя, я узнал тебя, узнал, благодарю тебя. Ученик такой-то, прошу вас, поберегите ее ради меня, ради нашей с вами старинной дружбы, Роза очень больна. И напоминайте ей, пожалуйста, чтобы не забывала, чтобы навещала, она же, и дорогу, и адрес. Я живу все там же, на том берегу, где мельницы. Скажите, она по-прежнему отлично? Да-да, только пятерки. И тут мы услышали, как на четвертом, а затем и по всей парадной лестнице — сверху вниз — загрохотало, заорало, завопило: это означало, что репетиция закончилась и бежит, исходит из зала в сторону улицы. Дураки хореографического ансамбля ринулись к раздевалкам сразу всей идиотской массой, плюя друг другу в лицо, ревя, кривляясь, извиваясь телами, ставя подножки, хрюкая и хохоча. Когда мы снова обратили лица свои к Савлу Петровичу, его уже не было с нами — подоконник был пуст. А за окном шагала неизбывная тысяченогая улица.

Какая печальная история, юноша, как понятны мне ваши чувства, чувства ученика, потерявшего любимого учителя. Что-то похожее было, между прочим, и в моей жизни. Поверите ли, я не сразу стал академиком, до этого мне пришлось похоронить не один десяток учителей. Но однако ж, — продолжает Акатов, — вы обещали рассказать мне о какой-то книге, ее как будто дал вам в тот раз ваш педагог. Я совсем упустил из виду, сударь. Ту книгу он дал мне в другую встречу — раньше или позже, но, если позволите, я сейчас расскажу. Савл Петрович опять сидел там, на подоконнике, грея ноги. Мы же вошли задумчиво: дорогой наставник, вам, вероятно, известно, что чувства, которые мы питаем к нашему преподавателю биоботаники Вете Аркадьевне, не лишены смысла и основания. По-видимому, свадьба наша не за горными, с позволения сказать, системами. Но мы совершенно наивны в некоторых деликатных вопросах. Не могли бы вы — проще говоря, скажите, как это нужно делать, у вас же были женщины. Женщины? — переспрашивает Савл. — Да, насколько мне помнится, у меня были женщины, но тут есть одна загвоздка. Понимаете, я не могу ничего толком объяснить, я сам уже не знаю, как именно это бывает. Как только это кончается, сразу все забываешь. Я не помню ни единой женщины из всех, что у меня были. То есть я помню лишь имена, лица, одежду, какую они носили, их отдельные фразы, улыбки, слезы, гнев их, но по поводу того, о чем вы спрашиваете, я ничего не скажу — я не помню, не помню. Ибо все это построено скорее на чувствах, нежели на ощущениях и уж, конечно, не на здравом рассудке. А чувства — они как-то быстро проходят. И вот только что я замечу: всякий раз это точно так же, как в предыдущий, но и вместе с тем вовсе по-иному, по-новому. Но любой раз не похож на тот первый, единственный раз, с первой женщиной. Но о первом разе я вообще не скажу ни слова, потому что его абсолютно ни с чем не сравнить, и мы еще не придумали ни одного слова, которое можно о нем сказать, если говорить не впустую. Восторженно. С улыбкой мечтающего о невозможном. Но вот вам книга, — продолжал Норвегов, доставая из-за пазухи книгу, — она у меня случайно, она не моя, мне самому дали на пару дней, так возьмите ее, почитайте, может, вы что-нибудь там найдете для себя. Спасибо, — сказали мы и ушли читать, читая. Сударь, то была превосходная переводная брошюра одного немецкого профессора, она была о семье и браке, и, как только я открыл ее, мне все сразу стало понятно. Я прочитал только одну страницу, открытую наугад, примерно такую-то, — и сразу вернул книгу Савлу, поскольку все понял. Что же именно, юноша? Я понял, как именно будет строиться наша с Ветой Аркадьевной жизнь, на каких основах. Там напечатано: «Он (то есть я, сударь) несколько дней был в отъезде. Он тосковал по ней, а она (то есть Вета Аркадьевна) по нему. Должны ли они (то есть мы) скрывать это друг от друга, как это часто происходит вследствие неправильного воспитания? Нет. Он возвращается домой и видит, что все очень мило прибрано (Аркадий Аркадьевич, у нас в гостиной непременно будете висеть вы, то есть ваш портрет в полное туловище, в тот вечер он будет украшен цветами). Как бы между прочим она говорит: «Ванна готова. Белье я уже положила. Сама я уже искупалась». (Представляете, сударь?) Как замечательно, что она рада и в предвкушении любви все уже приготовила для этого. Не только он желает ее, но и она желает его и без ложного стыда ясно дает ему понять это»... Понимаете, сударь? *желает* меня, Вета *желает*, *желает*, без ложного. Я понимаю, юноша, понимаю. Но вы не совсем верно уловили мою мысль. Я имел в виду другое, я намекал не столько на духовно-физиологические основы ваших взаимоотношений, сколько на материальные. На что вы, проще сказать, собираетесь существовать, на какие

средства, каковы ваши доходы? предположим, Вета в скором времени согласится на брак с вами, ну а дальше? вы что — собираетесь работать или учиться? Ба! вот вы о чем, сударь, впрочем, я догадывался, что и об этом вы тоже спросите. Но видите ли, вероятно, в самом скором будущем я заканчиваю нашу спецшколу, очевидно, экстерном. И тут же поступаю на одно из отделений какого-нибудь из инженерных заведений: я подобно всем моим одноклассникам мечтаю стать инженером. Я быстро, если не сказать — с т р е м г л а в, становлюсь инженером, покупаю машину и прочее. Так что не беспокойтесь, мне было бы приятно, если бы вы воспринимали меня как потенциального студента, не меньше того. Позвольте, позвольте, но при чем же тогда все ваши рассуждения о бабочках? вы информировали меня о большой коллекции, я был убежден, что передо мной подающий надежды молодой коллега, а тут, оказывается, я уже целый час имею дело с инженером будущего. О, я ошибся, сударь, инженером мечтает стать тот, д р у г о й, который теперь не здесь, хотя, может, и заглянет сюда с минуты на минуту. Я же — ни за что, лучше — петушков на палочке, лучше — учеником холодного сапожника, лучше — негром преклонных годов, но инженером — нет, ни за какие такие, и не просите даже. Я решил твердо: только биологом, как вы, как Вета Аркадьевна, на всю жизнь — биологом, и главным образом — по части бабочек. У меня для вас небольшой сюрприз, Аркадий Аркадьевич, на днях я намереваюсь отправить на академический конкурс энтомологов свою коллекцию, несколько тысяч бабочек. Письмо я уже приготовил. Смею надеяться, что успех не заставит себя долго ждать, и уверен, что и вам не безразличны мои будущие достижения и вы порадуетесь вместе со мной. Сударь, вы только представьте себе, вот утро, одно из первых утр, заставших нас с Ветой рядом. Где-то здесь, на даче — у вас или у нас, это неважно. Утро, полное надежд и счастливых предчувствий, утро, которое ознаменуется известием о присуждении мне академической премии. Утро, которое мы никогда не забудем, потому что — ну, вам-то не нужно объяснять, почему именно: позволительно ли для ученого забывать миг вкушения славы! Одно из утр...

Ученик такой-то, разрешите мне, автору, перебить вас и рассказать, как я представляю себе момент получения вами долгожданного письма из академии, у меня, как и у вас, неплохая фантазия, я думаю, что смогу. Конечно, рассказывайте, — говорит он.

Предположим, в одно такое утро — предположим, утро какой-нибудь из июльских суббот — почтальон по фамилии Михеев, а может быть, Медведев (он довольно стар, очевидно, ему не меньше семидесяти, он живет на пенсию и еще получает на почте половинную ставку развозчика газет и писем, доставщика телеграмм и разных извещений, которые он, кстати, возит не в обычной почтальонской сумке, а в необычной для почтальона сумке, — его сумка — обычная хозяйственная сумка из черного дерматина, — и не на ремне через плечо, а на обычных лямочках-ручках на велосипедном руле), итак, в одно субботнее июльское утро почтальон Михеев останавливает свой велосипед возле вашего дома и по-стариковски, пенсионно-неловко соскочив с него в горькую дорожную пыль, желтую дорожную пыль, в легкую и летучую пыль дороги, нажимает ржавый рычажок велосипедного звонка. Звонок пытается звенеть, но звука почти не получается, так как звонок почти умер, ибо многие необходимые шестерни внутри него чрезвычайно стерлись, съели друг друга за долгую службу, а молоточек, укрепленный на винтике, почти неподвижен от ржавчины. Но все-таки, сидя в это утро на открытой веранде, что окутана веселым щебечущим садом отца твоего, ты слышишь хрип умирающего звонка, а вернее, не слышишь, но чувствуешь его. Ты спускаешься по ступенькам веранды, ты шагаешь через веселый пчелиный сад, ты отворяешь калитку, и видишь Михеева, и здороваешься с ним: здравствуйте, почтальон Михеев (Медведев). Здравствуйте, говорит он, я привез вам письмо из академии. Давайте, спасибо, говоришь ты, улыбаясь, хотя от твоей улыбки нет никакого проку, потому что твоя улыбка ничего не изменит ни в ваших обыденных отношениях, ни в судьбе старого загородного почтальона, как

не изменили ее тысячи других — вот таких же ни к чему не обязывающих улыбок, встречавших его всякий день у сотен дачных и не дачных калиток, дверей, у ворот и заборных лазов. И ты не можешь не согласиться со мною, ты отлично понимаешь все это сам, но привычка к вежливым поступкам, которую внушали тебе с детства в школе и дома, срабатывает сама по себе, помимо твоего сознания: говоря Михееву — давайте, спасибо, ты берешь из его пожилой венозной руки желтый конверт и — улыбаешься. В один из моментов вашей короткой встречи, вашего традиционного, то есть никому из вас не нужного, а все-таки неизбежного диалога («Здравствуйте, почтальон Михеев», «Здравствуйте, я привез вам письмо из академии», «Давайте, спасибо»), в момент твоей и его жизни, в минуту существования поющих у тебя за спиной синих садовых птиц, в час скольжения голубых весельных лодок по невидимой отсюда реке Лете и по другим невидимым рекам, его голубая и рябая от старости и некрасивая от рождения рука протягивает тебе желтый конверт и едва касается твоей — молодой, темной от загара и, в сущности, лишенной морщин. Неужели, — размышляешь ты в эту секунду, — неужели и моя рука станет когда-нибудь такой же? Но тут же успокаиваешь себя: нет-нет, не станет, я ведь бегаю в школе укрепляющие кроссы, а Михеев не бегал. Вот отчего у него такие руки, — заключаешь ты, улыбаясь. «Давайте, спасибо». «Пожалуйста», — невнятно и без улыбки произносит Михеев (Медведев), загородный развозчик писем и телеграмм, доставщик извещений и газет, старик, пенсионер-почтальон, невеселый велосипедист с необычно-обычной сумкой на руле, человек мечтательный, угрюмый и пьющий. Вот он, не оглядываясь ни на тебя, ни на сад, полный синих птиц, вот он так же неловко, как слезал минуту назад, садится на велосипед и, неумело педалируя, везет свои, а вернее, чужие письма в сторону дома отдыха и водокачки, в сторону поселковых окраин, цветочных полян, бабочек и фундуковых серебристых орешников. Он немного с похмелья, ему, пожалуй, стоит поскорее развезти оставшиеся письма и письмена, будь они все неладны, а потом отправиться домой и развести водой небольшое количество спирта — его старуха работает санитаркой в местной больнице, и это добро в доме никогда не переводится и не переводится зря, — а затем, закусив малосольным помидором из дубовой кадушки (в подвале, где она стоит, — пауки, холодок, проросшая картошка и запах плесени), поехать куда-нибудь в сосны, в рябины или в те же самые орешники за водокачкой и поспать в тени, покуда не перестанет печь солнце. Когда почтальону за семьдесят, ему нету пользы кататься весь день по такой жаре, надо же и отдохнуть. Но в сумке еще есть кое-какие письма: кто-то кому-то пишет, кому-то не лень отвечать, всякий раз занимать у соседей конверт, покупать марку, вспоминать адрес и ходить по жаре искать ящик. Да, есть еще кое-какие письма, и нужно их развезти. И вот он едет сейчас в сторону водокачки. Тропинка, едва намеченная в некошеной траве, идет в гору, и ноги Михеева, обутые в черные ботинки с высокими, чуть ли не дамскими каблуками, то и дело срываются с педалей, и руль при этом перестает подчиняться письмоносцу, переднее колесо пытается встать поперек движения остальных частей этой несложной машины, колесо дает юз, спицы его по ходу дела срезают головки одуванчикам — белые парашютики семян взлетают и медленно опускаются на Михеева (Медведева), осыпают старого почтаря, будто намереваясь оплодотворить собою его шляпу из фетра и черную драповую и, верно, очень душную в такую погоду косоворотку. Парашютики опускаются и на брюки из прорезиненной ткани, одна штанина которых — правая — стянута повыше михеевской щиколотки липовой бельевой прищепкой, чтобы материя, паче чаяния, не попала в передаточный механизм — цепь, маленькая шестеренка, соединенная с задним колесом при помощи втулки, большая шестерня, с приваренными к ней педальными рычагами, — иначе Михеев сразу упадет в травы, в цветы, рассыпав при этом все письма. Их подхватит ветер и унесет за реку, в заливные луга: так уже случалось или могло случиться, а значит — как бы случалось, — и что тогда делать старому почтарю, как не брать у перевозчика лодку и не плыть туда, за реку, ловить и собирать свои, а точнее, чужие письма: выкраивают же люди время писать, хватает же у кого-то терпения, а о том, что вся их дурацкая писанина, все эти поздравительные открытки и якобы срочные телеграммы могут в одно прекрасное утро улететь за ре-

ку, стоит лишь Михееву упасть с велосипеда в травы,— об этом никто из них ни разу не подумал, ибо каждый старается не упасть сам, со своего собственного велосипеда, а тут уж, конечно, не до старика-письмоносца, который всю жизнь только и знает, что развозит по разным домам их несчастные каракули. Ветер-то,— вполголоса рассказывает сам себе Михеев (Медведев) — ветер-то какой по верхам идет, не иначе дождь нагоняет. Но это неправда: никакого ветра нет — ни верхового, ни понизу. И прежде чем над поселком прольется дождь, минует еще не меньше недели, и все это время будет ясно и безветренно и дневное небо будет синим вощеным ватманом, а ночное — черным карнавальным шелком с крупными влажными звездами из разноцветной фольги. А Михеев — он просто обманывает себя сейчас, ему просто надоела эта жара, эти письма, этот велосипед, эти безразлично-вежливые адресаты, которые всегда улыбаются, приветствуя его на порогах своих садов, где наливаются и гудят яблоки, и он, Михеев, хочет обнадежить себя хоть какой-нибудь переменой в этой знойной, скучной и однообразной для него дачной жизни, которой он как будто принадлежит, но в которой почти не участвует, хотя всякий, кто имеет свой дом здесь или за рекой, знает Михеева в лицо; и, когда он проезжает на своем старинном велосе с беззвучным звонком, встречные дачники улыбаются Михееву, но он угрюмо, или печально, или по-стариковски мечтательно, словно любуясь ими, оглядывает их молча и катит дальше — в сторону станции, в сторону пристани или — как теперь — в сторону водокачки. Молча. Михеев близорук, носит очки без оправы, время от времени отпускает бороду и время от времени сбривает ее, а может, ее обрывает ветер, но и с бородой, и без он в представлении дачников являет собою редкий тип пожилого мечтателя, любителя велосипедной езды и мастера почтовых манипуляций. Ветер,— продолжает он лгать самому себе,— к вечеру непременно буря, гроза, сады все взлохматит, будут мокры и лохматы, а кошки — лохматы и мокры: спрячутся по чердакам, по цоколям дач, станут выть, а река разольется, выплеснется из берегов и зальет дачи, зальет все эти кипящие на верандах самовары и чадящие керосинки, зальет почтовые ящики на заборах, и все письма, что лежат теперь у него в сумке и которые он скоро развезет по ящикам, обратятся в ничто, в пустые клочки бумаги с размытыми и потерявшими смысл словами, а лодки — эти дурацкие ободранные плоскодонки, на которых катаются бездельники из дома отдыха и лодыри-дачники,— эти лодки поплывут вверх дном вниз по течению до самого моря. Да,— мечтает Михеев,— ветер перевернет вверх дном всю эту садово-самоварную жизнь и хоть на время прибьет пыль. «Из пыли,— вдруг вспоминает пенсионер читанное где-то и когда-то,— бриз мастерит серебряные кили». Вот именно, из пыли, анализирует Михеев, и именно кили, то есть кили к лодкам, килевые лодки, значит, а не плоскодонки, чтоб им пусто было. Скорей бы уж ветер. «Ветер в полях, ветерок в тополях»,— опять цитирует Михеев в уме, меж тем как тропинка поворачивает вправо и идет немного под гору. Теперь до самого мостика через овраг, где растут в обилии лопухи и наверняка живут змеи, можно оставить педали в покое и дать отдых ногам: пусть они свободно висят, покачиваясь по сторонам рамы, и не трогают педали, и пусть машина катится сама по себе — навстречу ветру. Насылающий Ветер? — думаешь ты о Михееве. Ты уже не видишь его, он, как иногда говорят, пропал за поворотом — растаял в дачном июльском мареве. Весь обсыпанный летучими семенами одуванчиков, рискующий на каждом метре велосипедного пробега потерять летние открытки, писанные от нечего делать, он со своими старческими венозными руками мчится теперь навстречу мечтаемому. Он полон забот и волнений, он почти выброшен за борт дачного бытия, и это ему не нравится. Бедняга Михеев,— думаешь ты,— скоро, скоро отойдут боли твои и сам ты станешь встречным металлическим ветром, горным одуванчиком, мячиком шестилетней девочки, педалью шоссейного велосипеда, обязательной воинской повинностью, алюминием аэродромов, пеплом лесных пожарищ, дымом станешь, дымом ритмичных пищевых и текстильных фабрик, скрипом виадуков, галькой морских побережий, светом дня и стручками колючих акаций. Или — дорогой станешь, частью дороги, камнем дороги, придорожным кустом, тенью на зимней дороге станешь, побегом бамбука станешь, вечным будешь. Счастливчик Михеев. Медведев?

По-моему, вы прекрасно рассказали о нашем почтальоне, дорогой автор, и неплохо описали утро получения письма, я ни за что не сумел бы так выпукло, вы очень талантливы, и я рад, что именно вы взяли на себя труд написать обо мне, о всех нас такую интересную повесть, право, не знаю, кто еще мог бы сделать это с таким успехом, спасибо. Ученик такой-то, мне чрезвычайно приятна ваша высокая оценка моей скромной работы, знаете, я последнее время немало стараюсь, пишу по нескольку часов в день, а в остальные часы — то есть когда не пишу — размышляю о том, как бы получше написать завтра, как бы написать так, чтобы понравилось всем будущим читателям и, в первую очередь, естественно, вам, героям книги: Савлу Петровичу, Вете Аркадьевне, Аркадию Аркадьевичу, вам, Нимфеям, вашим родителям, Михееву (Медведеву) и даже Перилло. Но боюсь, что ему, Николаю Горимировичу, не понравится: он все-таки, как писали в прежних романах, немного слишком устал и угрюм. Думаю, попадись ему только в руки моя книга, он позвонит вашему отцу — они с отцом, насколько мне известно, старые товарищи по батальону, служили вместе с самим Кутузовым — и скажет: знаете, мол, какой о нас с вами пасквиль состряпали? Нет, скажет прокурор, а какой? Антинаш, скажет директор. А кто автор? — поинтересуется прокурор.— Дайте автора. Сочинитель такой-то,— доложит директор. И боюсь, после этого у меня будут большие неприятности, вплоть до самых неприятных, боюсь, меня сразу отправят туда, к доктору Заузе. Это верно, дорогой автор, наш отец служит как раз по этой части, по части неприятностей, но отчего вы обязательно хотите указать на титуле свое настоящее имя, почему бы вам не взять минодвесп? Тогда ведь вас днем с огнем не найдут. Вообще говоря, неплохая мысль, я, вероятно, так и сделаю, но тогда мне будет неудобно перед Савлом: смелый и несгибаемый, он сам никогда в жизни так бы не поступил. Рыцарь без страха и упрека, географ шел один против всех с открытым забралом, разгневанно. Он может подумать обо мне плохо, решит, пожалуй, что я никуда не гожусь — ни как поэт, ни как гражданин, а его мнение для меня крайне ценно. Ученик такой-то, посоветуйте, пожалуйста, как тут быть. Дорогой автор, мне кажется, что, хоть Савла Петровича и нет с нами и он, по-видимому, уже ничего о вас не подумает, все-таки лучше поступить так, как поступил бы в подобном случае он сам, наш учитель: он бы не брал псевдонима. Понятно, благодарю вас, а теперь я хочу узнать ваше мнение относительно названия книги. Судя по всему, повествование наше близится к концу и время решать, какое заглавие мы поставим на обложке. Дорогой автор, я назвал бы вашу книгу ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ; знаете, есть Школа игры на фортепьяно, Школа игры на барракуде, а у вас пусть будет ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, тем более что книга не только про меня или про него, другого, а про всех нас, вместе взятых, учеников и учителей, не так ли? Да, здесь участвует несколько человек из вашей школы, но мне представляется, что если назвать ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ, то некоторые читатели удивятся: называется ШКОЛА, а рассказывается только о двух или трех учениках, а где же, мол, остальные, где все те юные характеры, удивительные в своем разнообразии, коими столь богаты наши сегодняшние школы! Не беспокойтесь, дорогой автор, передайте своим читателям, да, прямо так и скажите, что ученик такой-то просил передать, что во всей школе, кроме них двоих да еще, быть может, Розы Ветровой, нет абсолютно ничего интересного, никакого там удивительного разнообразия нет, все — жуткие дураки, скажите, что Нимфея сказал, что писать можно только о нем, потому что только о нем и следует писать, поскольку он настолько лучше и умнее остальных, что это сознает даже Перилло, так что, говоря о школе для дураков, достаточно рассказать об ученике таком-то — и все сразу станет ясно, так и передайте, да и вообще почему вас заботит, кто там что скажет или подумает, ведь книга-то ваша, дорогой автор, вы вправе поступать с нами, героями и заголовками, как вам понравится, так что, как заметил Савл Петрович, когда мы спросили его насчет торта,— валяйте: ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ. Ладно, я согласен, но давайте все же, на всякий случай, заполним еще несколько страниц беседой о чем-нибудь школьном, поведайте читателям об уроке ботаники, например, ведь его ведет Вета Аркадьевна Акатова, по отношению к которой вы столь долго питаете свои чувства. Да, дорогой автор, я с удовольстви-

ем, мне так приятно, я полагаю, что все скоро окончательно решится, наши взаимоотношения все более определяются, все резче и резче, словно это не отношения, но лодка, идущая по затуманенной Лете ранним утром, когда туман все рассеивается и лодка все ближе, да, давайте напишем еще несколько страниц о моей Вете, но я, как это нередко бывает, я не понимаю, с чего начать, какими словами, подскажите. Ученик такой-то, мне кажется, лучше всего начать словами: и в о т.

И вот она входила. Она входила в биологический кабинет, где стояли по углам два скелета. Один был искусственный, а другой — настоящий. Администрация школы купила их в специализированном магазине СКЕЛЕТЫ, в центре нашего города, причем настоящие там стоят гораздо дороже искусственных — и это понятно, и с таким положением л е щ е й трудно не согласиться. Однажды, проходя вместе с нашей доброй любимой матерью мимо СКЕЛЕТОВ — было это вскоре после смерти Савла Петровича, — мы увидели его стоящим у витрины, где расставлены были образцы товаров и висело: з д е с ь п р о и з в о д и т с я п р и е м с к е л е т о в у н а с е л е н и я. Ты помнишь, надвигалась осень, вся улица куталась в длинные мушкетерские плащи, и ее разбрызгивали своими колесами и копытами прозябшие, утратившие торжественность пролетки и фаэтоны, и все только и говорили что о погоде, сожалея об утраченном лете. А Савл Петрович — небрито и худощаво — стоял у витрины в одной ковбойке и в парусиновых, подвернутых до колен брюках, и единственное, что выступало в его облике в пользу осени — были мокроступы на босу ногу. Мама увидела преподавателя и всплеснула руками в черных нитяных перчатках: батюшки, Павел Петрович, что вы здесь делаете в такую нехорошую пору, на вас лица нет, на вас только рубашка и брюки, вы же схватите воспаление легких, где ваш выходной теплый костюм и коверкотовое пальто, которое мы подарили вам на прощанье; а шапка, мы так долго выбирали ее все вместе, всем родительским комитетом! Ах, мамаша, — отвечал Савл, улыбаясь, — не беспокойтесь вы, ради бога, со мной все обойдется, лучше поберегите сына, у него вон уже сопли побежали, а насчет той одежды я так скажу: черт с ней, ну ее, не могу, задыхаюсь, там трет, там жмет и давит, понимаете? Чужое это все было, нетрудовое, не на мои куплено — вот и продал. Осторожнее, — Норвегов взял маму под руку, — вас забрызгает омнибус, отойдите от края. А почему, — спросила она, стараясь побыстрее освободиться от его прикосновения, и это было слишком заметно, — почему вы здесь, возле такого странного магазина? Я только что продал свой скелет, — сказал учитель, — я продал его в рассрочку, завещая. Передайте Перилло, пусть берет машину и приезжает, я завещал скелет нашей школе. Но зачем, — удивилась мама, — неужели вам э т о не дорого? Дорого, мамаша, дорого, но приходится как-то зарабатывать на хлеб насущный: хочешь жить — умей вертеться, не так ли? Вы же знаете — в школе я больше не числюсь, а одними частными уроками пробавляться — так недолго и ноги протянуть: подумайте, много ли в теперешних школах неуспевающих по моему предмету? Ну да, ну да, — сказала мама, — ну да. И больше мама ничего не сказала, мы повернулись и пошли. До свидания, Савл Петрович! Когда мы станем такими, как вы, то есть когда нас не станет, мы тоже завещаем наши скелеты нашей любимой школе, и тогда целые поколения дураков — отличники, хорошисты, двоечники — будут изучать строение человеческого костяка по нашим нетленным остовам. Дорогой Савл Петрович, это ли не кратчайший путь в бессмертие, о котором мы все столь лихорадочно мыслим, оставаясь наедине с честолюбием! Когда она входила, мы вставали и загораживали собой скелеты, и она не могла их видеть, а когда мы садились, скелеты продолжали стоять, и она снова видела их. Верно, они стояли всегда — на черных металлических треногах. Признайся, ты немного любил их, особенно тот, настоящий. А я и не скрываю, я действительно любил и до сих пор, спустя много лет, люблю их за то, что они как-то сами по себе, они независимы и спокойны в любых ситуациях, особенно тот, в левом углу, кого мы называли Савлом. Послушай, а почему ты произнес только что какие-то непонятные слова: д о с и х п о р, с п у с т я м н о г о л е т, — что ты хочешь этим сказать, я не понимаю, мы что — разве не учимся больше в школе, не занимаемся ботаникой, не бегаем укрепляющих кроссов, не носим в ме-

шочках белые полутапочки, не пишем объяснительных записок о потерянном доверии? Пожалуй, что нет, пожалуй, не пишем, не бегаем и не учимся, нас давно нет в школе, мы то ли окончили ее с отличием, то ли нас выгнали за неуспеваемость — теперь не вспомню. Хорошо, но чем же мы занимались с тобой все эти годы после школы? Мы работали. Вот как, а где, кем? О, в самых разных местах. Первое время мы служили в прокуратуре у отца, он взял нас к себе на должность точильщиков карандашей, и мы побывали на многих судебных заседаниях. В те дни наш отец возбудил дело против покойного Норвегова. А в чем дело, неужели учитель сделал что-то не так? Да, несмотря на новый закон о флюгерах, предписывающий уничтожение таковых, имеющихся на крышах и во дворах частных домов, Савл не убрал свой флюгер, и наш отец потребовал у судей и присяжных самой суровой статьи для географа. Его судили заочно и приговорили к высшей мере наказания. Черт возьми, но отчего никто не заступился за него? О деле Норвегова кое-где узнали, прошли демонстрации, но приговор остался в силе. Затем мы работали дворниками в Министерстве Тревог, и один из министров нередко вызывал нас к себе, чтобы за чашкой чая проконсультироваться относительно погоды. Нас уважали, и мы были на хорошем счету и считались ценными сотрудниками, ибо ни у кого в Министерстве не было таких встревоженных лиц, как у нас. Нас уже собирались повысить, перевести в лифтеры, но тут мы подали заявление подщучьему и по рекомендации доктора Заузе поступили в мастерскую Леонардо. Мы были учениками в его мастерской во рву Миланской крепости. Мы были лишь скромными учениками, но сколь многим этот прославленный художник обязан нам, ученикам таким-то! Мы помогали ему наблюдать летание на четырех крыльях, месили глину, возили мрамор, строили метательные снаряды, но главным образом — клеили картонные коробочки и разгадывали ребусы. А однажды он попросил нас: юноша, я работаю сейчас над одним женским портретом и написал уже все, кроме лица; я теряюсь, я стар, фантазия начинает отказывать мне в своих проявлениях, посоветуйте, каким, по-вашему, должно быть это лицо. И мы сказали: это должно быть лицо Веты Аркадьевны Акатовой, нашей любимой учительницы, когда она входит в класс на очередной урок. Это идея, сказал старый мастер, так опишите мне ее лицо, опишите, я хочу видеть этого человека. И мы описали. Вскоре мы взяли у Леонардо расчет: надоело, вечно приходится тереть краски, и руки ничем не отмоешь. Потом мы работали контролерами, кондукторами, сцепщиками, ревизорами железнодорожных почтовых отделений, санитарами, экскаваторщиками, стекольщиками, ночными сторожами, перевозчиками на реке, аптекарями, плотниками в пустыне, откатчиками, истопниками, зачинщиками, вернее — заточниками, а точнее — точильщиками карандашей. Мы работали там и тут, здесь и там — повсюду, где была возможность наложить, то есть приложить руки. И куда бы мы ни пришли, о нас говорили: смотрите, вот они — Те Кто Пришли. Жадные до знаний, смелые правдолюбцы, наследники Савла, его принципов и высказываний, мы гордились друг другом. Жизнь наша была все эти годы необычайно интересной и полной, но во всех переплетах ее мы не забывали нашу специальную школу, наших учителей, особенно Вету Аркадьевну. Мы обычно представляли ее себе в тот момент, когда она входит в класс, а мы стоим, смотрим на нее, и все, что мы знали о чем-либо до сих пор, все это становится совершенно ненужным, глупым, лишенным смысла и в мгновение отлетает подобно шелухе, кожуре или птице. А почему бы тебе ие рассказать, как именно она выглядела, когда входила, почему бы не дать, как говорит Водокачка, портретную характеристику? Нет-нет, невозможно, бесполезно, это лишь загромождает нашу беседу, мы запутаемся в определениях и тонкостях. Но ты только что вспоминал о просьбе Леонардо. Тогда, у него в мастерской, мы, кажется, сумели описать Вету. Сумели, но описание наше было лаконичным, ибо и тогда мы не могли сказать больше того, что сказали: дорогой Леонардо, представьте себе женщину, она столь прекрасна, что, когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать н е т радостным слезам своим. И. — спасибо, юноша, спасибо, — отвечал художник, — этого достаточно, я уже вижу этого человека. Хорошо, но в таком случае опиши хотя бы кабинет биологии и нас, тех, кто сначала стоял, а затем сидел, расскажи коротко об одноклассниках, присутствовавших на уроке. Чучела птиц были

там, аквариумы, террариумы там были, портрет ученого Павлова на велосипедной прогулке в возрасте девяноста лет висел, зависая, горшки и ящики с травами и цветами стояли на подоконниках, в том числе были растения очень дальние и давние, откуда-то из мелового периода. Кроме того — коллекция бабочек и гербарий, собранные усилиями поколений. И мы там были, потерянные в кущах, пущах и зарослях, среди микроскопов, опадающих листьев и раскрашенных муляжей человеческих и нечеловеческих внутренностей — и мы учились. Пожалуйста, дай перечисление кораблей речного реестра, а точнее — расскажи теперь о нас, сидящих. Сейчас я не помню большинства фамилий, но я помню, что среди нас был, например, мальчик, который на спор мог съесть несколько мух подряд, была девочка, которая вдруг вставала и догола раздевалась, потому что думала, что у нее красивая фигура, — догола. Был мальчик, подолгу державший руку в кармане, и он не мог поступать иначе, потому что был слабовольный. Была девочка, которая писала письма самой себе и сама себе отвечала. Был мальчик с очень маленькими руками. И была девочка с очень большими глазами, с длинной черной косой и длинными ресницами, она училась на одни пятерки, но она умерла примерно в седьмом классе, вскоре после Норвегова, к которому она питала счастливое и мучительное чувство, а он, наш Савл Петрович, тоже любил ее. Они любили друг друга у него на даче, на берегах восхитительной Леты, и здесь, в школе, на списанных физкультурных матах, на этажах черной лестницы под стук методичного перилловского маятника. И, возможно, именно эту девочку мы с учителем Савлом называли Розой Ветровой. Да, возможно, а возможно, что такой девочки никогда не было и мы придумали ее сами, как и все остальное на свете. Вот почему, когда твоя терпеливая мать спрашивает тебя: а девочка, она действительно умерла? — то: не знаю, про девочку я ничего не знаю, — должен ответить ты. И вот она входила, наша любимая Вета Аркадьевна. Поднявшись на кафедру, она открывала журнал и кого-нибудь вызывала: ученик такой-то, расскажите о рододендронах. Тот начинал что-то говорить, говорить, но что бы он ни рассказывал и что бы ни рассказывали о рододендронах другие люди и научные ботанические книги, никто никогда не говорил о рододендронах самого главного — вы слышите меня, Вета Аркадьевна? — самого главного: что они, рододендроны, всякую минуту растущие где-то в альпийских лугах, намного счастливее нас, ибо не знают ни любви, ни ненависти, ни тапочной системы имени Перилло и даже не умирают, так как вся природа, исключая человека, представляет собою одно неумирающее, неистребимое целое. Если где-то в лесу погибает от старости одно дерево, оно, прежде чем умереть, отдает на ветер столько-то семян, и столько-то новых деревьев вырастает вокруг на земле, близко и далеко, что старому дереву, особенно рододендрону, — а ведь рододендрон, Вета Аркадьевна, это, наверное, огромное дерево с листьями величиной с небольшой таз — умирать не обидно. И дереву безразлично, оно растет там, на серебристом холме, или новое, выросшее из его семени. Нет, дереву не обидно. И траве, и собаке, и дождю. Только человеку, обремененному эгоистической жалостью к самому себе, умирать обидно и горько. Помните, даже Савл, отдавший всего себя науке и ее ученикам, сказал, умерев: умер, просто зло берет.

Ученик такой-то, позвольте мне, автору, снова прервать ваше повествование. Дело в том, что книгу пора заканчивать: у меня вышла бумага. Правда, если вы собираетесь добавить сюда еще две-три истории из своей жизни, то я сбегаю в магазин и куплю сразу несколько пачек. С удовольствием, дорогой автор, я хотел бы, но вы все равно не поверите. Я мог бы рассказать о нашей с Ветой Аркадьевной свадьбе, о нашем большом с ней счастье, а также о том, что случилось в нашем дачном поселке в один из дней, когда Насылающий взялся, наконец, за работу: в тот день река вышла из берегов, затопила все дачи и унесла все лодки. Ученик такой-то, это весьма интересно и представляется вполне достоверным, так что давайте вместе с вами отправимся за бумагой, и вы по дороге расскажете все по порядку и подробно. Давайте, — говорит Нимфея. Весело болтая и пересчитывая карманную мелочь, хлопая друг друга по плечу и насвистывая дурацкие песенки, мы выходим на тысяченогую улицу и чудесным образом превращаемся в прохожих.

———

Грусть всего человека

Проза — странная Муза. Недаром ее такой и нет. У Поэзии есть. У Прозы нет. Те же слова, что и вокруг. То слово, то предмет. То слово — только слово. То оно — только предмет, то оно и слово, и предмет. То слово беспредметно. То предмет безымянен. Попытка приревновать к соседним законным Музам — поэзии, музыке, живописи — приводит прозу к противоположному результату. Не только ни поэзии, ни живописи — но и никакой прозы. Проза то есть, то нет. Мерцает. Светится там, где не ждешь. Скажем, Ван Гог пишет письма своему брату Тео. О том, еще какую картину нарисовал. Слайдов тогда не было, чтобы послать, — описывает: справа дом, слева кот, крыша зеленая, а кот рыжий... И так бесхитростно и точно называет предметы, цвет, положение на холсте — вдруг, господи! Какая проза! Как просто, как дышит!

Сложен ли этот мир, прост ли? Столько людей уже было на этой Земле — зачем-то каждый рождается в первый раз, полным дураком, все видит впервые, и слышит и называет. Пришли Те Кто Пришли, увидели и спросили: «Что такое?» Им даже пытаются ответить, а все не о том. Все так и осталось, как они увидели, когда пришли: пруд, станция, платформа, деревья, будка стрелочника, будка кассы, танцплощадка, роща, дом отдыха, электричка, авоська, дача, веранда, река... Но вдруг тронулось и поехало: тропинка, велосипед, почтальон... Перечисление помчалось, сливаясь по обочинам в неразличимые полосы времени: прошлое? будущее? настоящее? — сквозь букварь проступает грамматика. Бешено крутится картонный мир под пальцами учителя географии Норвегова с невидимой на нем пылинкой дачного поселка — огромного мира с невидимой в нем пылинкой школьного глобуса... Удивление перед миром так велико, чувство к нему так непереносимо, что знания о нем не развиваются — развиваются только чувства. Ни один предмет так и не обретет эпитета, познание не восторжествует над миром: разные деревья, простая собака, простая девочка, зимняя бабочка... — вот предельные определения. «Грусть всего человека».

Человек, остолбенев перед цельностью мира, не способен ступить на порог сознания — подвергнуть мир насилию анализа, расчленения, ограничения деталью; этот человек — вечный школьник первой ступени, идиот, дебил, поэт, безгрешный житель рая. Этот же человек — изгой, мучимый во внешнем, социальном аду. Мы, нормальные люди, забыли, что сами сделали врожденный нам рай адом. Поэт не идеализирует действительность, а все еще способен прозревать рай в раскрошенном нами мире. Проводить лирическую инвентаризацию мира, дабы мы узрели его все еще в наличии, — вот, по-видимому, общественная функция Поэта.

Перечисление — честнейший, изначальный способ описания. С помощью своего недоразвитого (на самом деле не утратившего чувств), даже не имеющего имени героя Саша Соколов произвел одну из самых убедительных таких «инвентаризаций» в современной русской мировой прозе. Кроме таланта, ему потребовался герой — ученик школы для умственно отсталых детей. Раздвоение личности героя помогает воссоздать мир внутренний и внешний в едином, мучительном объеме. Не ищите (по внушенной нам привычке...) в этой книжке патологии — это прием: не личность раздваивается, а мир. Мы менее нормальны, чем герой Соколова. Но мы тоже «узники специальной школы», «рабы тапочной системы».

Лет десять тому я пришел с этой книжкой на урок — в качестве учителя — в класс специальной школы. Истощив все свои теоретические проповеди на тему, что научиться мастерству писателя нельзя, я придумал занятие — «анализ неизвестного текста». Я раскрывал под партой, так чтобы мои «узники» не подглядели, «Школу для дураков» и читал, дурак, в школе для дураков. Узники смотрели исподлобья, как и положено узникам, не доверяя мне, не веря тексту (что так можно, что так хорошо), боясь остаться в дураках, опасаясь оказаться недостаточно умными и проницательными даже передо мной, более умным лишь по иерархии учителя. Я сочувствовал им, пытаясь поставить себя в их положение

и в то же время не подсказать им правильного ответа умильным выражением лица. Я их мучил неведомым — а неведомое было как раз то, что они лучше всего знали: все они были из поселка, с полустанка, неисправимые и прекрасные провинциалы и двоечники, которых непонимание общественного договора толкало к перу, а жизненные неудачи загоняли в Литературный институт. Кажется, мы гордимся тем, что он у нас единственный в мире. Но до чего же мы забыли, прежде всего сами учителя, самый предмет! Сражаемся за тему, забыв и человека, и слово.

«Школа для дураков» — учебник своего рода. Я бы ее ввел как обязательную для тех, кто учится «на писателя». Опыт молодого человека элементарен (не в том смысле, что примитивен или прост), он элементарен потому, что состоит из элементов бытия, что первое проживаемое в опыте есть наиболее общая модель для всех людей: мама, папа, бабушка, школа, первая любовь, первая смерть... Молодой прозаик, как правило, пишет свои рассказы именно в такой последовательности. Какое же разочарование стережет его: самое сокровенное — всем известно. Открыть то, что всем открыто, дается, оказывается, не каждому. Это и есть писатель.

Если провести мысленный конкурс «первой книги прозаика» в этом элементарном, всеобщем смысле о п ы т а, то, на мой взгляд, первое место может достаться «Школе для дураков». Это эталон, энциклопедия первого опыта. Уровень этого опыта диктует нам красоту и высоту, непереносимость и возможность дальнейшей жизни.

Андрей БИТОВ

●

Сергей БАРДИН

Два рассказа

Райские яблоки

Позапрошлой осенью стали, как обычно, посылать на картошку под Волоколамск. И вот что придумали: чтобы слать одного человека, но на целый месяц. Однако мы между собой иначе решили — по недельке на брата будет вполне достаточно. Раскидали мы этот месяц на четверых, так, чтобы и им хорошо, и нам неплохо было.

Я ехал последним сменщиком. Сел в шестичасовую электричку, а через три часа уже стоял с рюкзаком на пустой и просторной вокзальной площади. День был воскресным — мы договорились меняться по воскресеньям, чтобы у нас на работе не было сбоев.

Хорошее это было, теплое воскресенье. Может быть, оно такое последнее было у этого ноября, у этой тихой и долгой осени. Пустота стояла в природе, тишина. Есть в русских городских окраинах места, где по весне и поздней осени неразличимы приметы времен года — глянешь из окна и не поймешь, апрель или ноябрь на дворе. Оголится слабая городская природа, сойдет с деревьев посеревший поздний лист или снег уйдет пластами — и открываются сараи, улицы и дворы. Все становится так прозрачно, голо и пусто. Солнце падает не отвесно, тонкая пыль висит в воздухе, свет просеивается, глушатся все звуки. И такая в природе щемящая немота, словно она позабыла о существовании человека или человек сам ушел из этих мест. В старом доме за окнами не колышется занавеска... Немного трудно дышать, и першит в горле, но не от пыли, а от легкого праха, посеянного на всех предметах, на лавках, статуях и кустах.

И только дороги стоят чистые, выметенные редкими машинами. Колеса выхлестывают из-под себя сухие потоки листьев и перегоревший в движении, протертый асфальт. И долго звук мотора затихает вдалеке.

Я приехал слишком рано. Народу на вокзальной площади не было — никто не ехал в Москву, никто не возвращался в городок. Справа от меня тянулись из тупиков запасные пути, торчала водокачка. Стояли какие-то каменные домики, умывальники, станционный сортир в палисаднике, заборчики, пристройки — все, что составляет необходимость привокзальной жизни. Я пошел искать своих вдоль путей, потому что знал, что живут они в вагонах, в плацкарте, на путях. Вагоны я нашел быстро. Сразу за умывальниками и бараками, такими, какие всегда можно увидеть в зоне отчуждения возле всякой станции, облупившимися до планки, выбеленными розовой известью, стояли эти наши вагоны. Тихие, неприветные и очень с виду грязные. Видно, их таскали для жилья по разъездам, а мыть их было некому. Я подошел и стал дергать ручки, потом долго бил кулаком в борт. Вагон гудел. По прошествии значительного времени из недр вагона вылезла крашеная бабенка в халате, маленькая, как третьеклассница, и заплаканная. А за ней гривастая сучоночка, беленькая, залилась на меня тонким лаем.

— Ты что стучишь здесь мне, ты что, а? — закричала она и быстро задергала глазами. Я видел, что она боится меня и от испуга задыхается.

— В смену я приехал, — сказал я. — Работать.

— ВНИИгаз, химия?

— ВНИИгаз.

— Ну и иди в тот вагон, там тебе откроют.

Она захлопнула передо мной дверь и спиной пошла в темноту.

Пока я шел по насыпи, пока собирал рюкзак, дверь другого вагона приоткрылась, и я полез внутрь.

Внутри было сумрачно, сыро. Пахло дерматиновой обивкой, краской, холодом и углем. Встретила меня, однако, та же тетка в халатике. Она была на два вагона одна проводница. Она все держалась от меня на расстоянии, словно готова была отскочить. Где наши работали, на каких полях, она не знала. Где было место моего предшественника, она не знала тоже. Я быстро устал от разговора с ней, потому что не понимал ее, и сразу решил уйти в город. Осмотреться, поесть. Я уже знал: в первый день мне не работать. Мой напарник уехал сегодня утром, и где мне было теперь искать остальных?

Я сказал проводнице, что ухожу, и она обрадовалась. Я спрыгнул на насыпь и пошел по параллельным путям к площади. За котельной я вышел к пустой танцевальной эстраде, по колени заваленной опавшими листьями. Невдалеке виднелся ресторан со странным заоблачным названием «Лама». А за ним сразу начинались сады. Отсюда, с другой стороны площади я сразу увидел их. Еще с поезда я сообразил: городок в нескольких километрах от станции, а здесь железнодорожный поселок. Поразила меня в садах великая сила яблок. Деревья стояли, словно пораженные болезнью, словно перед умиранием — листьев было мало, а ветки ломились от плодов. Бледные, яркие, красные, зеленые, они свисали и валялись на земле, как мусор. Зимой их потом сгнило под снегом много тонн.

Автобус в город потащился лениво, по-воскресному. Народу не было, шофер, видно, тосковал по разговору. Подолгу стояли на остановках, он курил, глядел в окно, притормаживал возле встречных. Мы были одни на дорожном открытом пространстве, и шофер тосковал, обремененный не конкретной надобностью поездок, а условной призрачностью условного расписания.

И от его одинокого молчания я вдруг почувствовал, как сильно я оторвался от привычного. Из дома я уехал, а здесь еще никто меня не встретил и не узнал. Пустое время словно раздвинулось и приняло меня; тайная образовалась у меня в жизни пауза. Я чувствовал себя так, словно провалился в щель времени. И от этого я испытал большое облегчение, потому что в этом просвете я никому не был нужен и ничего никому не был должен.

Мы кружили. Сперва заехали в здешние новостройки, которые не носили тут обычного бесчеловечного образа окраин больших городов. Тут строили, наверное, медленно и плохо. И потому дома успевали как-то осесть, испачкаться, обвеситься бельевыми веревками и обрасти вечными человеческими принадлежностями: палисадами, сараюшками, качелями. Здесь было зримо видно, что провинциальная житейская сила сильнее хрупких градостроительных замыслов города.

А в центре городка и вовсе все стало по своим местам. В наших русских городках или есть такой особенный пятачок со своей сохраненной стариной, с незаметными признаками вековых наслоений, или нет его уже. В этом, в Волоколамске, он есть и виден хорошо. Площадь с разноцветными туристскими автобусами расположена здесь ниже улиц, и они втекают в нее, как в здоровенную яму. Снизу вверх сечет яму шоссе — оно ярост-ного, серо-голубого цвета, заезженное, закатанное. А вокруг асфальт старенький, белый, побитый. Над провалом главного шоссе, над обрывом крепко врыты в землю не то обломки кремля, не то монастыря. Стоит обглоданным скелетом колокольня, запрокинулась в синеву.

Я долго стоял, закинув голову, и смотрел, как в ребрах ее мечутся и кричат могучие стаи галок, как плывут в небе серые, с оснеженными белыми краями, осенние облака.

— Как это ее в войну не снесли? — сказали у меня за спиной. И такой это был знакомый, фирменный московский говорок, что я резко обернулся, отчего даже голова закружилась и поплыли в глазах радужные круги.

Это были экскурсанты. Они по одному выбирались из бесшумного «Икаруса». Они потягивались, разминали затекшие ноги и спины, и было это красиво, потому что вылезали в основном девчоночки — молодые и прехорошенькие. Одеты они были пестро и вразнобой, мелькали на попках наклейки, и джинсы были того самого блеклого и вытертого цвета.

— Товарищи. По колокольне этой вели пристрел артиллерийские батареи в войну, но снести ее не смогли. Дальше мы с вами поедем в Иосифо-Волоколамский монастырь. Там увидим основание одной из самых высоких башен Европы. Она была подорвана нашими при отступлении в 1941 году. Теперь ее собираются отстраивать, — так говорила экскурсоводша, женщина с тихим, равнодушным лицом. Она была одета просто, на лице ее было выражение терпеливости и утомления. Она была похожа на учительницу начальных классов, обалдевшую от детей чужих и своих, от одиночества, от необходимости подрабатывать — все читалось на этом лице. И все оказалось правдой: она была школьной учительницей.

Тогда стали ее спрашивать: «А далеко до монастыря?», «А когда обед?», «Можно нам наверх к развалинам?». Так заговорил этот походный девичник и, разрешая на ходу неважные свои вопросы, двинулся потихоньку наверх, к колокольне. Мне хотелось послушать экскурсоводшу, и еще я надеялся упросить ее взять меня с собой в Иосифо-Волоколамский монастырь. Места в автобусе у них были, я видел. Поэтому я пошел с ними наверх.

Въезд в монастырек состоял из двух каменных столбов — картина такая знакомая, что и говорить не о чем. Справа наверху гниловатое болотце указывает на то, что тут был монастырский пруд. Дальше шли могучие строения, развернутые в пространстве под разными углами. Между ними по засыпанным песком дорожкам медленно ходили люди, одетые в толстые синие и коричневые пижамы и пальто.

— Больница тут, — сказала экскурсоводша.

Достойное обозрения: часовня, превращенная в морг, подвалы, колокольня, руины церкви — все находилось левее. Деревьев на этой части горы не было, и все заросло сухим непроходимым бурьяном. Девицы, не глядя на столичное воспитание, дружно разбежались по руинам. А я, придержав экскурсоводшу, выпросил себе место в их автобусе. Она была из тех женщин, которые от непрерывной душевной усталости или от физической слабости берегут в себе силы сопротивления и во внешних, неличных делах поддаются нажиму чужой воли. Я спросил, когда ехать — для верности. Она ответила, что выезд через час, и ещё постояла, подождала, не скажу ли еще чего. Я спросил о деньгах, она спокойно отвечала, что деньги надо будет отдать шоферу автобуса.

Скоро они собрались и ушли. Я подождал еще несколько минут, потом взошел на осыпавшееся основание колокольни. Потом, хватаясь пальцами за щербины в стене, залез на второй ярус. Колокольня имела тут выступ, и я прошел по краю отвесной стены.

Городок на три стороны был виден отсюда. Внизу, маленькие, стояли автобусы, улочки расходились лучами, квадрат базара чернел, окруженный непролазными садами. Дальше шли лабазы, магазины, сады и снова сады, потом земляная гора, белый фитилек церкви с чешуйкой позолоты, потом леса с перелесками до горизонта, поля. Почему-то представилось все это зимой — и так ярко, ясно — белые прямые дымы до неба, снежная гора, само низкое небо и тусклый серебряный диск солнца в нем.

Вообще весь веселый, пряничный, расписной вид города, словно на платке выложенный, удивил и растрогал меня. Я уходил совершенно счастливым и спокойным. Я вспомнил тут о том, что читал недавно в толстой книге. В большом городе, говорится там, очень ограничено пространство для зрения, это пятьдесят — сто метров. Мышцы лица забывают движение взгляда в бесконечную даль земли, а звезд в городах ночью не видно из-за света фонарей. Лишенные движения обзора, глаза забывают об удовольствии видеть далеко, как мышцы тела забывают радость физического утомления. И теперь я думал о том, что как физическая работа дает радость телу, так смена точек обзора в обширном свободном пространстве дает зрительный образ душевной радости и покоя.

Мне захотелось спуститься вниз, чтобы купить яблок на всю дорогу к Иосифо-Волоколамскому монастырю, чтобы так отблагодарить экскурсоводшу — угощая яблоками ее и всех попутчиц.

Рынок тут был всего в два торговых ряда. И торговали дешево: яблоки стоили рубль ведро. Сидел тут старик с двумя ведрами и продавал

их по семьдесят — хотел собрать на пиво. Две тетки сидели, думаю, чтобы дома не сидеть. Устроились удобно и говорили между собой. Продавал небритый мужик грибы двумя кучками. И еще одна бабушка продавала соления. Покупатель там был один — я.

Сперва я взял больших «денешт» за двугривенный и съел их. Потом купил у бабушки соленый огурец и тоже съел. Потом мне отсыпала неизвестных сладких-пресладких яблок одна из теток. Я набил ими карманы.

Солнце чуть припекало, касалось лиц последними слепыми пальцами тепла. Мне нравился политый и до комнатной чистоты выметенный дворик рынка. Я сел на теплые ящики, привалился к доскам забора и задремал.

А потом пришли москвички. Они стали покупать яблоки шумно, не торгуясь. Базарчик сразу оживился. Тетки отсыпали яблоки, старушка раздала огурцы, даже дедок продал яблок на рубль и смылся в магазин. Только мрачный мужичок стоял, изнывая — никто грибов его не брал. Видать, привлеченный этим оживлением, яркими кофтами, молодыми женскими голосами, и появился, наконец, дурак.

Он был ясен с одного взгляда. Был он сердит, бормотал под нос и тряся, и серая его кепочка дрожала на яйцевидной его голове. Был он не безобразен и не жалок, лицо имел гладкое и молодое даже, волосы плохо росли на нем, взгляд у него был упорный.

— Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, — проговорил он вдруг и, быстро перебирая ножками, боком пошел на москвичек. Те завизжали, отскочили. Дурак улыбнулся себе под нос, покосился на тетку и крикнул тонко и жалобно, как птица:

— Да-ай яблоко!

— Нет! — крикнула ему весело тетка. — Уходи, уходи, пошел вон.

Он улыбался, глядел себе в ноги и словно ждал.

— Марина, дай ему яблоко, — сказала девушка рядом со мной. Ее я заприметил, еще когда они из автобуса вылезали. Глаза у нее были хорошие. Теплые, карие. И сама она была хорошая, ровненькая, жгут волос на затылке, голубые капли-серьги в ушах и тоненькое такое колечко с бирюзой.

— Не давайте ему, он бросит, — с улыбкой сказала женщина. Но те не слушали ее, а дурак уже быстро-быстро, по-деловому уходил с базара, не оглядываясь.

Девочки стали есть яблоки. В этом городе их, как я заметил, грызли вместо семечек. И приезжие с ходу переняли эту привычку, обкусывали и бросали, не стесняясь. Я подождал еще немного, а потом вышел на площадь, сел на красную трубу дорожного ограждения и стал ждать, пока они соберутся все, чтобы ехать. Время было около часу дня.

Экскурсоводша мне сказала, что автобус этот арендован архитектурным институтом для своих первокурсников. Девицы были, стало быть, студентки-архитекторши, то есть по высокой московской марке самыми лучшими, самыми престижными девицами. Особенно нравилась мне та, с колечком. Было в ней что-то теплое такое, нежное, что дает хорошая культурная семья спокойной и красивой дочке. Все тут было видно. И московская молодая мама, и строгий высокопоставленный отец — не орун, не хам, из новых начальников. И я подумал, что таких девочек берут замуж в хорошие дома, чтобы не портить породы.

Автобусов все не было. От скуки ели мороженое. Вокруг дышала ленивая предобеденная площадь. Магазины работали, и была даже слышна музыка из открытого почему-то в воскресенье магазина культтоваров. И скоро недалеко от нас, от собиравшихся девушек и меня, метрах в пяти, у киоска с мороженым стала образовываться кучка местных парней. Им было лет по шестнадцать. Было ясно, что им нравятся приезжие девицы, но они не решаются подойти: они были помоложе. Одеты они были хорошо и дорого, но покрой шикарных брюк, яркие майки и куртки, слишком длинные волосы, цепочки и браслеты — все это как-то неуловимо выдавало сугубую провинциальность всего этого. В руках они баюкали магнитофон.

Парни эти смотрели на девушек и тоже, конечно, видели в их простой повадке и скромной одежке «оттуда» что-то настолько для них недоступное, подлинное и высокомерное, что это раздражало их, но подойти они не решались никак. И тут снова появился дурак.

И тогда один из местных, побойчее других, смышленый такой на вид паренек, белобрысый, подбритый, заговорил вдруг скороговоркой:

— Гриш, Гриш, Гриш, Гриш.

Гриша сразу и решительно подошел к нему и стал, бормоча и брызгаясь, ругаться:

— Зачем, зачем? Убью тебя сейчас, возьму винтовку у солдата, заряжу пистолет и убью сейчас тебя.

Говорил он быстро, при этом грозя пальцем, но не подходил к парню совсем близко. Девочки глядели на все это с брезгливостью, но и с интересом. Время все равно надо было коротать. Да и вся сцена, надо понимать, устраивалась для них. Толковый паренек знал, чем столичных удивить.

А белобрысенький перебил дурака быстрым вопросом:

— Гринь, мороженого хочешь? — и выставил вперед пломбирный объедок в пестрой бумажке.

По тому, как Гриша замолк на полуслове, по тому, как болезненно радостно заулыбался и потянулся шеей к мороженому, мы все поняли, что это было любимое лакомство тихого сумасшедшего. А парни это знали давно.

Молодой собирался кормить взрослого, хотя и больного мужика из своих рук мороженым. Девушки как-то неуверенно зашевелились. В воздухе сгустилось предчувствие несчастья. Одна сделала движение, чтобы уйти, но осталась. И все, словно загипнотизированные, мы смотрели.

А Гриша все тянулся к мороженому, а парень все говорил: «Ну на, на мороженое». Остальные пацаны стояли молча и смотрели. И вот когда Гриша высунул розовый язык, чтобы лизнуть мороженое, парень отдернул руку и тут же снова быстро сказал:

— Гриш, мороженое.

И дурачок снова потянулся медленно шеей и языком к мороженому, а парень снова отдернул руку. И так повторилось три-четыре раза.

Мы оцепенели, так просто, искренне и естественно все происходило. Шли другие люди, светило солнце, дул легкий холодный ветерок в спину. И только та девушка шептала около меня:

— Ой, не надо, не надо же.

— Пошли отсюда! Вот гады! — сказала вдруг высокая черноволосая девочка с такой силой ненависти в голосе, какой не ожидаешь от таких пичуг. Они сразу и быстро пошли в дальнюю часть площади к автобусу.

А парни, потеряв девчонок и побаловавшись с Гришей, ушли себе, шаркая подошвами. Нормальные на вид ребята. Отец-мать есть. Ничего, обычно.

Гриша, мгновенно забыв о мороженом, двинулся тихонько мимо. Я соскочил с перил и сунул ему в руку большое яблоко. Глупо, конечно, зачем? Он глянул на меня пусто и прошел. А шагов через двадцать он присел на корточки, размахнулся и несильно катанул яблоко под колеса проезжавших мимо машин. Яблоко вертелось и подпрыгивало, а Гриша сделал ладоши домиком, загородился от солнца и долго смотрел ему вслед.

Я не поехал в Иосифо-Волоколамский монастырь. Со мной с некоторого времени начались странные случаи паралича воли, когда не можешь сделать простого и давно задуманного дела. Я вернулся к себе в вагон, вяло поругался с проводницей, потом отыскал место своего предшественника, лег и лежал так до приезда наших с поля.

А через день вечером я снова увидел Гришу. Движение его, случайное, как движение вод в реке, по нескольку раз в день обносило его по городу и поселкам. Он был как бы везде одновременно и вместе с тем нигде. В этот вечер он был серьезен.

Было холодно. Я сидел в ватнике на скамеечке у водонапорной башни, уставший после непривычной сельской работы на поле, сидел и курил. А на рельсах у тупика в сумерках бродили двое. Между сумеречными фигурами шел разговор:

— А как же ты убьешь, Гриша? — По голосу я услышал, что это был мальчик лет двенадцати.

— А я возьму автомат, — отвечал Гриша.

— Где же ты его возьмешь, ты же не солдат?

— У солдата попрошу, солдат даст мне автомат.

— В Киев? — спросил я.
— Что? Нет, — ответил он. — В Бобруйск. То есть в Киев сначала, ясно.
Мы замолчали. Поезд выходил из пригородов, набирая ход, из щелей и вентиляторов сочился холодный заоконный свежачок.
Дважды по вагону быстро прошла здоровая деваха — туда и обратно.
— От химера! — сказал малый в очках. — Ну до чего ж довела, подруга, всю ночь не дала спать на миг.
— Которая? — спросил я.
— Да та вон. Что прошла.
— А чего?
— Да разделась голая, завернулась в простыню и бегала ночью по всему вагону.
Он улыбнулся. Как у всех людей с тонкими маленькими чертами лица, улыбка была умная, расходилась от глаз.
Попутчик мой прослушал наш разговор, отвернулся.
Соседки немного переговаривались через стол, выставив в проход страшного вида ноги: в корках и шрамах мозолей, с кривыми серыми пальцами. Потом они допили водичку, выставили бутылки под столик и развалились в разные углы — спать.
Вагон затихал, налаживался на сон после большой остановки, теперь уж до самого Киева...
Я предложил залезть наверх, накрыть подушки куртками и поспать. Попутчик засомневался, возразил. Он вообще, похоже, относился ко всему с недоверием, в штыки принимал и долго обдумывал, взвешивал. Или не слушал вовсе.
Однако я уговорил его, и скоро мы уже спали, подталкиваемые в бока жесткими ребрами вагонных переборок. И только колеса глухо били в стыки; мне кажется, это слышно и во сне.
Проснулся я от голосов, сразу; посмотрел на часы. Было десять часов утра.
Вагон уже жил полным днем, стоял легкий гул, и внизу шел громкий разговор. Сосед мой лежал, подперев голову рукой, смотрел вниз и слушал. Вид у него стал много лучше. Я свесил голову.
Парня в золотых очках не было, а на свободной полке напротив лежала, широко раскинувшись, лицом вверх и босая, утренняя дева. Волосы ее, длинные и перепутанные, были густо раскиданы по коричневой клеенке и наброшены на лицо в беспорядке. Юбка задралась, и видны были высоко над коленями голые ноги, поросшие светлыми волосами.
Лицо ее было не некрасивое, а большое, полное с большими же губами, ртом, глазами. Была она вся распаренная, широкая.
— А чего? — спрашивала она голосом, уходящим в верхние регистры, тем особым голосом, каким свободно пользуются хохлушки.
— Чего ж ты така неспокойна? — спрашивала ее одна из теток. — Чего тебе не спалося?
— Так... — отвечала дева, жеманясь.
— Може, ты какая хворая? — напрямую спрашивала та. — Може, болеешь?
— Та нет, — отвечала она, не меняя позы и глядя на них снизу вверх, через лоб. — Не. Просто я вот такая. Такая горячая. Я и в дому не могу спать боле четырех часов сряду. Ще все спят, а я уже встала, уже хожу и всех бужу я.
— Весь вагон перебуровила, — без злобы сказала вторая тетка.
Дева улыбалась загадочно.
На столе у теток был снова остаток еды. Они уже поспали и снова успели покушать.
— Меду хочешь? — спросила тетка.
Дева перевернулась на живот тяжело и быстро, отодвинула волосы с лица. Потом взяла баночку из теткиных рук и стала есть мед, зачерпывая его по полной ложке.
— Наелась, — сказала она потом и отдала банку.
— А що ты встрепанная такая, як лахудра? — спросила, смеясь, тетка.

Деваха помотала головой, и густые ее волосы копной пали на глаза, засыпали лицо.
— Так красиво ж! — сказала она, неожиданно вскинулась с полки и пошла по вагону, шлепая босыми ногами.
Я глянул на соседа. Он покачал головой, откинулся на подушку.
— От же, — сказал он. — От дура, дура.
Еще немного мы полежали и пошли покурить в тамбур. За окном летели зеленые поля, сады шумели белые. Было майское утро, полное, радостное — весна.
Попутчик вытащил из кармана пачку американских сигарет.
— Пробуй, — сказал он. — В Молдавии делают по лицензии.
Мы закурили. Он возбуждал к себе интерес, притягивал чем-то. Может, молчаливым своим недовольством, может, готовностью и неохотой говорить.
Был в нем какой-то вопрос, который он нес в себе, как ношу, прислушивался, хмурился. Он был мужик молодой, явно до тридцати, черноволосый, лысоватый уже, смуглый, крепкий. И очень усталый; но то была не сегодняшняя, не ночная усталость.
— Откуда едешь?
— Из Кишинева, — сказал он. — У вас остановился. Полгостиницы закрыто на ремонт, ночь просидел в скверу. Так и не пустили. Были же места.
Я все думал: кто он? По виду, по разговору был он из технических людей: инженер, техник. Серьезный вид имел, не улыбался ни разу.
— А ты? — спросил он.
— Отсюда в Киев, потом дальше, домой, в столицу. Ты в отпуск?
— Домой тоже.
Так мы ничего не разузнали друг о друге.
— Баба эта, ненормальная, что ли? — спросил я у него, продолжая разговор.
Он глянул на кончик сигареты и сказал с полным знанием и с презрением полным:
— Простая.
Он много вложил в это слово.
Были весомыми его суждения, было в них знание этого мира. Но свое знание, собственное. Он знал и судил.
— Инженером работаешь? — спросил я его.
Он усмехнулся.
— Нет. Сейчас не работаю. Два месяца. Возил шефа на персоналке. Жена у меня инженер, химик. А сейчас не работаю.
— В Кишиневе родственники?
— Дядя. Ездил присматриваться. И друзья есть.
Он помолчал.
— Я могу и техником, и мастером, и инженером, — продолжал он потом, — вернее, на инженерской, а что толку? За сто пятьдесят в месяц отвечать за всякого долболома, на всех орать, зад лизать директорский. Не-ет. Ну, не за сто пятьдесят, за двести. Что дальше? А работягой идти на тяжелую — ломаться тоже... Сейчас, допустим, пойдешь, а в пятьдесят? Тот же гегемон будешь.
Я сказал:
— Ребенок есть?
— Есть. Пять лет, девочка. Жена получает сто сорок пять. Ну, я еще левачу, когда шефа нет, плюс зарплата. Живем. И опять-таки я и в пятьдесят должен буду левака ловить, чтоб кормить семью? Меня это не устраивает.
Так он разговорился. И стало более ясно теперь: на распутье человек. Видишь, в Кишинев поехал. С работы ушел. Ищет человек, строит дом своей жизни и не находит для этого материала, мечется.
Откровенность свою он чувствовал болезненно, он не привык открываться. И хотя мы были ровесники и сошлись в дорожной ситуации, все-таки повели разговор о другом теперь, ушли от той темы. Заговорили о городах, о Москве, о Кишиневе.
Снова говорил он.

— В Кишиневе хорошо. Пойми, там есть кафе или, не знаю, бары, где сиди до четырех часов утра. Иногда нужно ведь. Сам знаешь. С другом пошел вдвоем, ну куда пойти? В ресторан? Не попадешь и дорого. В баре сели, вдали от жен, покурили, выпили, поговорили. Это нужно, а у нас этого нет и у вас иет.

Я кивнул: правда, нет.

Я слушал его теперь, говорящего о другом, и опять слышал, что он говорит о том же: о перепутье своей жизни, о неустройстве своего мира — о недостаточном его устройстве. Я подумал, что ему еще много надо сделать, чтобы получился такой мир.

И еще я подумал: каждое поколение тридцатилетних людей, принимая на свои плечи ношу забот и неустройства, требует от жизни новых условий, заключает с ней новый договор — более привередливый, чем прежде, более прихотливый и уместный.

Вслух я сказал:

— Деньги-то всего не решают.

— Ну да, — подхватил он. — Мы уже не можем ехать на шарагу и привозить по два «куска», хотя многие так делают. Но это временная мера. А всю жизнь — нет.

— Престиж важен?

— А как же? Среди людей живем. Вот и надо, чтобы и гроши, и уважение, и зависть. А одно без другого уже не то.

Последнюю фразу сказал в порядке шутки, и мы улыбнулись: поняли один другого.

Я хотя и спрашивал, хотя сам уходил от разговора о себе, а слушал жадно. Я разумел важность его блужданий; только его уже приперло, а меня нет, мне можно было жить в состоянии невесомом еще. А он поприжался к земле.

— Тут нужен какой-то выход. Путь нужен.

— Нет, — сказал он. — Для всех таких, как я, бесноватых, не таких, как та дурища, и понимающих себя, умных людей — нужен рывок, бросок, понял?

Я кивнул, хотя понял не очень. Я чувствовал, что он подобрался к полюсу, к центральной точке на карте своих рассуждений, и выложит все.

— Раз нет у тебя лохматой лапы, которая тащит тебя наверх, то один у нас способ: найти свое место, прикинуть все плюсы и минусы и тогда кинуться. Десять лет работать, как вол, как бык. Все. К сорока твое должно быть сделано. В сорок не начинают. Последняя возможность теперь только, последняя.

Он курил теперь уже другую сигарету, затягивался глубоко. Выкинул окурок, сказал:

— Ладно, пошли в вагон.

В нашем закутке, когда мы пришли, сидели еще двое: мужчина, сельский житель, и мальчик с ним, школьник.

Деваха, раскинувшись и отвернув лицо к стене, разметалась на полке перед ними. Мужик смущался, тетки на боковом сиденье переговаривались, отворотившись к окну.

Сидеть было негде. Поставив ногу на лавку, попутчик мой сказал негромко и яростно:

— Сложилась бы на живот, подруга. Выкатила все поверх себя.

И выжался на руках, полез наверх.

Она не пошевелилась и не обернулась. Она глубоко и беспамятно спала, сраженная своей беготней наповал, как после хорошей работы.

Мы приближались уже к Киеву, и после выхода из вагона я сразу потерял его в толпе у касс. Он брал билет на Минск, я на Москву.

А тогда на вагонной полке мне очень и очень вдруг вспомнилась другая дорожная встреча. Настолько другая история, что теперь мне кажется: никакой связи между ними не отыскать. Но вспомнилась она тогда именно, днем, под Киевом — это точно так.

Дело было в другое совсем время, лютой зимою. Я ехал по делам в эстонский город Тарту. Был январь на дворе, холод, ночами больше тридцати пяти звенело по всей Российской Федерации. Вагон я по тогдашней своей бедности выбрал общий, взяв с собой для тепла дорогое мое достояние — десантный бушлат с голубым овчинным воротником. Бушлат был короток — выше колен, но при наличии кальсошек, теплых носков да с шапкой в нем можно было ломить до Верхоянска.

Я и ехал.

Поезд был мой дневного отправления, хороший по составу вагонов, и только наши общие были заплеваны и зашарпаны до черноты и потеков. Когда поезд подавали, в вагонах было подтоплено, резало ноздри горячим дымом, как бывает в перегретой парной. Ехать было можно. Правда, занавески намертво вмерзли в толстые ледяные наросты на стеклах и не отдирались.

А как тронулись мы, так засвистело изо всех щелей, и пошли гулять ледяные сквознячки по вагону. Народ притих. А я не снимал бушлат, мне было наплевать: я сделан был тепло.

Я сидел на боковом месте у прохода, оно всегда мне нравилось. Думал все о делах моих будущих и не разглядывал попутчиков. Они сидели, тихо поджавшись, молчали.

Из-за намерзшего на окна льда, из-за низкой непогоды свет в вагоне стал быстро меркнуть, и через час были сумрак и холод, как в сенях деревенского дома; только стекла голубели.

Через час дали тусклый свет в вагон, и пятна окон стали густо-синими. Сосед мой напротив заглянул глубоко в окошко. Потом он растопил во льду пальцами и дыханием глянцевую скважину и все смотрел в нее близко, прижимаясь к ней щекой.

А потом повернулся плоским лицом ко мне и сказал деликатно:

— Не желаете ли пройти со мной в вагон-ресторан и взять бутылочку пива?

Он был действительно очень плоский лицом, белогубый. Голова его была велика, а туловище, как у подростка — хрупкое, узкое. Ладони же под стать лицу, словно две большие тарелки. Слабым он не казался.

Теперь скажу про одежду. Он был одет в один лишь синий костюм из грубой материи с накладными карманами, вроде френча. Была еще кепка, небольшая, не покрывавшая его широкой котлообразной головы. Но все в его одежде было крепко, негрязно и аккуратно.

И мы пошли в вагон-ресторан. Мы долго добирались из своего дальнего хвоста в середину поезда. Проходили мотающимися и гремящими ледяными тамбурами, прошли теплые купейные вагоны и жаркие коридоры мягких. Пива мы взяли по бутылке только. С деньгами, я видел, у него тоже было негусто.

Мы взяли пиво из ящика, что стоял возле моторов холодильника, снаружи. Пиво было нагрето, мы вернулись к себе, сели и тихо согревались.

Он оживал, оживлялся с каждым глотком Был он из тех, кому по образу жизни, и по здоровью, и по комплекции немного надо. Глаза блестели у него, и он улыбался ласково.

— Скоро уж приеду, — сказал он. — За Вышний Волочек мне.

И улыбнулся снова, нежно. Так некоторые деревенские улыбаются.

— Я, знаете ли, из-под Семипалатинска еду к сестре, в деревню.

— Работаете там, Казахстан, да?

— Из заключения, — сказал он.

Тут сообразил я все про деньги и про костюм его странный. Роба была на нем, вот что.

Мы допили пиво, он взял бутылки пальцами за горлышко и без стука поставил их в ноги, под сиденье.

— Она возьмет, — сказал он и кивнул в сторону проводницы.

Так не подходил он под стандартную марку заключенного, так спокоен и аккуратен был в общении — удивительно. Расспрашивать его мне было неловко. А ехать было далеко. Он и сам хотел говорить.

— Я там давно уже, в Казахстане то есть. Работал раньше и шофером, и слесарем в автомастерской. Когда на целину стали прибывать люди, то и я с ними прибыл. Мотался. Семьи не нажил, перебрался под конец в город Кустанай. Делали целину. Работа была адова: потом несколько поуспокоилось. Вначале мы были на виду всей земли, а потом стали как все. Не понравилось это многим. Кто был помоложе, в бега ударились — домой или на новостройки. Не выдержали, значит, такого напряжения — жить как все. А кто постарше, вроде меня, осели. Стали скучать, женились, попива-

ли. И я туда же. Как писали в газетах про стиляг: покатился по наклонной плоскости. Но только один, сам.

Перевели меня сперва в механики, потом в разнорабочие. И совсем я заскучал. Родичей у меня там не было, ото всех я оторвался, а и уезжать мне не хотелось. Что-то случилось со мной в этом городе: перестал я хотеть работать. То есть работать все время и каждый день. Приходить, не опаздывать. Жил я одиноко, и ничего-то мне было не нужно. Работы было не нужно, это я уже сказал. Потом потерялся у меня интерес к деньгам совсем. Стало мне легко-легко. Есть, думаю, деньги — хорошо, нет — тоже ладненько. И кинул я все.

Но совсем в попрошаи не пошел, не смог. В деревне, считайте, воспитывался и вырос, ну, не в деревне — в поселке. А стал я работать рабочим при магазине.

Таскал ящики, кули, бидоны. Подавал, когда кричали: «Мишка, подавай!» Пил я, как и сейчас пью, помалу, часто. Сейчас-то после... я, правда, больше. Я про последние годы перед заключением говорю.

Потом вовсе все житейское перестало меня пробирать. Стал я тихий такой, вы ж видите. Как после долгой болезни. Приду на работу, ругают: чего, мол, опоздал. А я: «Извиняюсь»,— говорю, и больше ничего. И так стал жить.

Очень мне стало мало надо всего. Ходил в одной одежде до осени, до дождиков: рубашка, штаны, сандалии. На работе давали халат. А с дождей и до весны было у меня пальто. Спросить можете: куда я деньги девал? Отвечу: на пропитание и питье для себя и на детишек сестры. Но не подумайте, что я это — для детей — от щедрости. Нет. Если бы от еды и выпивки у меня не оставалось ничего, то я бы ничего не прирабатывал для них и не слал бы. Да и посылал мало.

Как-то раз образовался у меня и друг из городского скверика. Петя его звали, Петр Валентинович. Я его нашел, когда он спал. Я подсел на скамеечку, он проснулся, закурить попросил. Я не курю, вы заметили, наверное. Потом стал он у меня жить. Молодой, веселый человек. Он говорил про себя, что «бич с интеллигентным уклоном», вот как. И вовсе он нигде не работал. Но он любил говорить со мною.

Рассказывал мне, как убежал со второго курса института на Восток. Как потом бросил работать и, извиняюсь, опустился совсем. Меня любил расспрашивать. Добьется, бывало, что я скажу: да, мол, приятна мне такая никчемушная жизнь. И тогда разводит целую науку про нас, таких тихих людей. Очень про веру любил. Например, так: что, мол, без нас не может стоять никакая церковь, мы, мол, для церкви главные люди, хотя и не веруем. Тихие. Про Сахалин рассказывал, про океан и Охотское море. И трактовал так, что много там есть таких. «Отхлынувших от дела жизни».

Был он, Петя, горький пьяница, хотя и молодой; но не шумный. Тогда деньги я сестре не слал, когда с ним жил. Он выпивал на эти деньги.

Потом пожаловались соседи, пришел участковый и спрашивал про Петю. Пете я про это дело рассказал, он согласно кивнул головой и сказал, что уйдет. И в тот же самый день он ушел. Улетел листиком осенним, как сказано в одном сочинении. Я вам про это особо укажу.

Когда я пришел с работы и увидел, что Петя матрасик свой свернул и, значит, больше не придет, то сильно я затосковал. Оказалось, понимаете, что не совсем я стал легкий человек. Неправда это. Переживал я, горевал, потому что очень я к нему привык (он два месяца у меня жил). Еще я ждал его два дня. Потом убрал его тюфячок и нашел под ним два листка одинаковых. Я вам покажу их сейчас.

Я слушал его с вниманием. За окнами стемнело до полной черноты. Сосед слегка дрожал то ли от холода, то ли от рассказа своего, который — это видно было — впервые рассказывал случайному человеку.

Он достал из кармана тонкую пачку бумажек, синих, белых, и помятую фотографию; ее мне повернул, сказал:

— Сестрица моя.

А после развернул одну бумажку, хорошую, гладкую и дал мне. Я прочитал машинопись:

Когда подует ветер
с ним вместе улечу
Ведь где-нибудь да светит

я свет себе ищу
Просторы и заторы
сменю на голубой
умчусь из душной ссоры
с округой и собой
Свой серый холст прядите
в мечтах шагайте вслед
судите и рядите
а я ушел на свет
Конечно он болотный
а может быть и нет
но здесь я сдохну в плотной
бесплодной связке лет
Куда подует ветер
туда и полечу
Там светит светит светит
там светит же Шучу [1].

— Прочитали? — спросил он.

— Прочитал.

— Ну тогда дальше. Откуда они были, эти стишки, у Петечки моего, не знаю. Сунул я их тогда вечером в паспорт на память об нем, пошел в первый раз за долгое время крепко выпить вина. Нашел товарища своего из магазина, рабочего тоже, Ющенкова Ивана, и мы взяли две красных и белую и выпили возле магазина. И стало совсем мне горько. А Иван говорит: добавляй еще. А где взять? Я говорю ему: айда в наш. Магазин закрылся уже, все ушли. Взяли мы железку, сломали замок и покурочили кассу. Стало у нас сорок рублей денег. Время очень позднее. Пошли мы в ресторан, дали три рубля швейцару, он ругал нас, ругал, но пустил. Сели и стали мы пить коньяк с закуской. Выпили не много, а потом нас милиция и арестовала прямо в ресторане. Хорошо еще, что успели мы выпить. Повезло нам.

Он замолчал. Бумажка, что читал я, все еще была у меня в руках.

— Теперь к сестрице, значит?

— Да, к родным. Давно бы надо вернуться...

— Сестра знала про ваше заключение?..

— Знает,— отвечал он.— Без писем и передач там совсем плохо.

— Ждет, стало быть, вас.

— Нет, сейчас не ждет, я прямым ходом к ним еду.

— Прямо в Вышний?

— Нет,— ответил он.— Нет, в деревню. Тридцать километров от города. Туда автобус ходит, но только днем, теперь уже не ходит вечером. Придется пешочком, ногами.

Я сказал:

— Вы бы переждали до утра на вокзале. Там тепло.

— Да нет. Я уж пойду, а на вокзале вряд ли тепло. Зябко скорее. Очень легко простудиться можно.

Я не стал уговаривать его. Не стал спрашивать про одежду, ясно было. Только эта роба имелась на нем; да был тридцатиградусный мороз с ветерком в чистом поле. Он и сам знал все это.

— Можете вы мне эту бумажку оставить? — спросил я его.

Он подумал немного и ответил:

— Да, могу. У меня еще есть одна. Вам могу.

Потом он поднялся и сказал:

— Я выхожу, видите ли, скоро, а сейчас мне надо еще пива взять. Да и выходить с середины поезда лучше, чем с краю, согласны вы?

— Бутылки возьмите,— сказал я.

— Нет,— отвечал он.— Бутылочки вон ей. А вам до свидания и спасибо за хорошую компанию. Счастливо вам доехать.

Он наклонил голову и пошел к тамбуру. Стукнули двери дважды, и его не стало в вагоне. А у меня осталась бумажка.

Я бережно свернул ее и спрятал в дальний карман, где были документы и деньги.

---

[1] Стихотворение Н. Лохова.

А потом, после Вышнего, я все дул в стекло и, вглядываясь в черную узорчатую ночь, угадывал, как идет он теперь полями к огням деревень, спокойный на жутком морозе, легкий человек.

Хотя, конечно, ни направления хода его не знал я, и не вышел он из города еще, когда далеко позади остался город Вышний Волочек.

И теперь мне надо снова вернуться к началу, к первой моей истории. Потому что мне хочется теперь, задним умом понять: что ж общего есть между теми дорожными встречами? Почему помню я о них так ясно?

И листочек со стихами лежит передо мной целенький — он сохранился у меня, просит объяснения, как все, что человеком сделано, обдумано, сказано.

Вот я что думаю: ведь попутчик мой второй, странный, или необязательно он, а другие, ну, скажем, те старые женщины, что моют за нами столики в столовых, моют и подтирают сортиры за нами — что люди эти были же когда-то молоды, и не об этом они мечтали. Не окурки собирать в специальную коробку на палочке, не ящики таскать с пивом и ящики с мылом. Были у них надежды, но жизнь перемалывала раз за разом, и где-то за последним всполохом надежды не поднялись они, опустились руки, и пошло жить как пошло.

Которые с водкой, а которые с верой, а третьи с высоким рабьим смирением — толкутся они по свету.

Но не согласен с этим тот первый мой попутчик, не согласен, вижу, он. Он будет биться, я знаю, будет биться о прутья рогом, а выломается, выгрызется. Он сильный, злой, а сильные страшатся этого — споткнуться, упасть, лечь под нее, под жизнь.

Слабому же не страшно. Потому что слабость, мягкость души всегда найдет себе кого любить. Всегда зажжет где-то этот свет, лоскуток огня... И тогда горит в них тихое пламя привязанности живого к живому, и не страшно.

А жизнь, она всех примет. Для всего у нее много есть: для злых и сильных, для радостных и для больных, для слабых и нежных. Для такого, чего мы, к сожалению своему и к радости, и знать еще не можем. И как подумаю о том, попутчике, что идет сейчас по белой дороге среди низкой и метельной ночи в пузатых своих полуботинках, и ветер мотает брючины, и лед течет у него по щекам из глаз, так верю: примет и нас.

А что чаще всего в дороге и столкнешься с другой судьбой, — это и удивляться не стоит. Кому еще рассказать напрямик, как не случайному попутчику, нечаянно случившейся душе? Это ж исповедь...

Да чистому листику бумаги иногда:

Куда подует ветер
туда и полечу
Там светит светит светит
там светит же Шучу.

1980 г.

●

Андрей НИКИТИН

Расследование

7

Отправляясь в Мурманск, меньше всего я хотел, чтобы мой интерес к делам Гитермана и председателей привлек чье-либо внимание. Поначалу так оно и было. Однако как только я вернулся в Мурманск, начались телефонные звонки. Звонили из редакции молодежной газеты, с радио и из телестудий, интересовались результатами поездки, моими впечатлениями и деликатно осведомлялись, как я отношусь к недавним событиям в рыболовецких колхозах и в РКС. При встречах меня откровенно спрашивали о деле Гитермана. Оно интересовало многих своей загадочностью, отсутствием официальной информации. Фантастические слухи, запущенные в обывательскую среду сразу же после его ареста, до сих пор не давали покоя людскому воображению. И в то же время я мог убедиться, что кто-то очень внимательно следит за моими передвижениями по кольской земле.

Началось с того, что на следующий день по возвращении в Мурманск в гостиницу зашел Георги и с улыбкой спросил:

— Ну что, так и не пустили вас в межколхозное производственное предприятие? Не беспокойтесь, все устроим!

Признаться, я опешил, поскольку в МКПП не собирался. Даже не поинтересовался, где эта организация находится.

Оказывается, Георги встретил знакомого работника из МКПП. Они остановились поговорить, и тот, не подозревая, что Виктор идет ко мне, похвастался: «Сегодня отфутболили Никитина, который хотел к нам приехать». Сами они ничего против меня не имеют, но накануне им позвонили и предупредили, что московского писателя ни в коем случае нельзя допускать ни в МКПП, ни в меховой цех. Но зачем я должен был погаснуть в меховой цех и кого они «отфутболили»? Сплошные загадки!

На следующее утро в моем номере раздается телефонный звонок.

— Привет, старик! Подумать только, столько лет не виделись! Узнаешь? Нет? Неужто не помнишь? Ну, вспомни, вспомни...

Незнакомец называет себя, и я с трудом улавливаю в его голосе интонации человека, который исчез с моего горизонта лет двадцать назад.

— ...Вчера тебе звонил, даже в гостиницу заходил, думал застать, — басил он в трубку. — Говорят: как с утра уйдет, так до позднего вечера. Как узнал? Да вот в командировку в облисполком приезжал, с одним из замов председателя беседовал. Хороший мужик, я его давно знаю. Он и говорит: мол, тут еще один москвич у нас, — и твою фамилию называет. Как же, говорю, знаю, мой друг, очень хороший человек! Можем встретиться, посидеть, вечер провести... Ты этого зама не знаешь? Ты что, в облисполком не заходишь?! Ну да, понимаю, у тебя свои интересы... Ты запиши мои телефоны. Конечно, в Москве, уже давно. Сейчас я из аэропорта звоню, лечу домой. Все-таки надо позвонить, думаю! Кстати, что это ты затеял разбирательство с Гитерманом? Он же прожженный жулик! Нет, я его не знаю, никогда не видел. Но в облисполкоме мне сказали: «Если твой Никитин такой хороший человек, чего он с Гитерманом связался? На нем же клейма ставить негде — и валюту у него нашли, и золото, и денег сотни тысяч...» Я, конечно, говорю, что ты всегда был доверчив к людям, видел в них только хорошее, может, в чем-то здесь не разобрался, сразу в бой кинулся... Ничего, говорю, мы ему объясним, что и как! Так что смотри, а то вляпаешься с этим делом, это я тебе по-дружески говорю... Ну, бывай! Вернешься в Москву — звони...

Что это? Предупреждение? Дружеский совет? Или кто-то действительно обеспокоен моим интересом к делу Гитермана? Кто и почему? И как это связано с МКПП и меховым цехом, о котором я знаю только то, что формально он принадлежит колхозу «Северная звезда», где председателем был Подскочий, хотя сам цех находится в Мурманске?

Меховой цех вообще ни при чем. Одному из работников Минрыбхоза СССР там сшили из обрезков меховой жилет,

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 2 с. г.

деньги за который заплатил Гитерман, но суд даже рассматривать не стал такую «улику», хотя жилет у работника Минрыбхоза все же отобрали и — сожгли! Тот факт, что в МКПП работали Бернотас и Куприянов, которые свидетельствовали против Гитермана, ни о чем не говорит. Таким образом, чьи-то опасения по поводу возможного моего появления в МКПП и меховом цехе в связи с делом Гитермана, как оно сейчас представляется, бессмысленны.

И все же звонок неожиданно воскресшего знакомца недвусмысленно доказывает, что мой интерес к делу Гитермана серьезно беспокоит кого-то на областных верхах. Заместитель председателя облисполкома просто так не стал бы открывать свою озабоченность приездом московского писателя, не решился как-то на того повлиять. И вот что особенно любопытно: использована та же версия о «золотом чемоданчике», которая была пущена работниками следствия после ареста Гитермана. Как я понимаю, вместе с фотографиями якобы изъятых вещей она послужила основанием для очернения Гитермана в глазах партийных органов и, возможно, прокурорского надзора республики. То, что на суде ни то, ни другое не фигурировало, никто не вспомнил: «доказательства» были сработаны только для того, чтобы получить санкции на дальнейшие действия. Больше того, полное умолчание о «сокровищах Гитермана» на суде давало возможность высказывать предположения, что он «купил» этими вещами суд. Такая версия «отцам области» могла служить самозащитой: дескать, ничего другого не знаем, нам не докладывали, введены в заблуждение. Мог быть и другой вариант объяснения: версия пущена снизу, и тогда она выявляет тесную связь между кем-то, кто связан с МКПП и заинтересован в осуждении Гитермана, и вот этим заместителем председателя облисполкома, а через него — или одновременно — со следственным аппаратом области. Так завязывается новый узел загадок, над которыми мне предстоит ломать голову...

Но в это время звонит Голубев и сообщает, что завтра Коваленко едет в Белокаменку, где подводят итоги соревнования между колхозами. От МРКС туда отправляется Немсадзе, который вручит переходящий приз териберцам, а от «Рыбного Мурмана» — Виктор Георги с фотокорреспондентом. Четвертое место в машине для меня. Согласен ли я?.. Безусловно!

С этого момента события развиваются стремительно и совсем по другому плану, чем я себе представлял.

Коваленко заезжает за мной в гостиницу. Он мало изменился, может быть, только чуть погрузнел. Невольно сопоставляя его с Гитерманом, я понимаю, что эта нездоровая полнота появилась из-за подорванного сердца и от семи с половиной месяцев, которые ему пришлось просидеть.

— Видишь, в тюрьме даже пополнел, теперь стараюсь меньше есть,— шутит он, отмахиваясь от моих вопросов.— Не хочу об этом вспоминать. Прошло — и слава богу. Это все мои мужики — писали, стучались во все двери, с флотов радиограммы шли. Я ведь ничего не знал, от жизни был отрезан. Как там мой колхоз? Или, может, он уже давно не мой? Нет, мой! Это я только на суде понял, когда мужики пришли. Всем колхозом встречали — такое разве забудешь? Так что со мной все в порядке. Трощенкова вот жалко, ни за что засудили. Меня-то народ тащил, а его кто вытащит?

— А он виноват?

— Конечно, нет! В чем его вина? В том, что помог нам расчеты сделать? В том, что щиты для нас нашел? Сколько раз проверяли, все вымеривали, что да где он делал... Я им говорю: расчеты у него в голове ищите, а не в земле, тем более когда мы уже половину сети своей заменили! Нет, ищут... Но при всем желании не могли доказать, что все деньги ему не за работу, а за щиты выписали! Ну, а если бы за щиты, тогда что? А это, говорят, использование своего служебного положения, хищение... Какое хищение? Какое служебное положение? Он же не у себя в организации их достал и к нам привез, верно? И как ему теперь помочь — ума не приложу. А надо бы. Ведь он людей выручил, весь наш колхоз!

— Сколько ему дали?

— Два года с конфискацией имущества. Не условных — сидит где-то... И ведь деньги в кассу вернул, а все равно вторично дело возбудили, мало показалось... Вся эта волынка не один год идет. То открывают дело, то закрывают. Наш уважаемый прокурор любит вот так над людьми измываться: дескать, чувствуйте, у кого власть!

— А что выпытывали они у тебя? Все о том же Трощенкове?

— О Трощенкове вначале никто и не вспоминал! Как меня в мае взяли, так один только и был разговор — о Гитермане. Пристали как с ножом: «Скажи, что ты ему взятки давал! Скажи, что он свое положение использовал и у тебя выхода не было,— мы тебя сейчас же домой отпустим...» Ну, тут я озлился. У меня вообще такой привычки нет — взятки давать, тем более своему начальству. Никогда под него не подлаживаюсь, люблю быть независимым. И Гитерман не тот человек, что может на взятку польститься. У нас с ним вообще тесных отношений не было. Служебные — да, но не больше. Что бы он в колхозе ни брал, когда приедет,— мясо там, сливки,— за все заплатит тут же до копейки. Как-то я ехал в Мурманск. Он попросил, если на складе есть мясо, ему привезти. Я привез, он тут же расплатился, а рядом Тимченко стоит. Потом вышли, тот мне и говорит: «Что ж, не мог начальнику своему просто так мясо привезти?» Мог, говорю, да только это ни ему, ни мне не нужно. Характер у него такой — не любит у людей одалживаться, не то что другие.

— И что же следователи?

— Насели на меня, не отпускают. А зачем, спрашивают, ты с ним в Киев ездил? Как зачем? Корабль для меня там строился, говорю. А почему Гитерман с тобой поехал? А вы, говорю, спрашиваете свое начальство, зачем оно с вами куда-то едет? Ну, тут отстали немного, а потом и в больницу меня отпустили. Только из больницы вышел — меня мой друг прокурор снова в тюрьму. Вот тогда уже начали давить, чтобы я не Гитермана, а Трощенкова оговорил. И опять то же: скажи, что он тебя в безвыходное положение поставил, мы тебя и отпустим. Нет, говорю, врать не привык и теперь не буду. Тем более обязан ему и работой, и щитами. Покрутились-покрутились — и отстали. Так что последние шесть месяцев ко мне в камеру никто не приходил, никуда не вызывали. Я так и понял: материала для того, чтобы как следует, по закону посадить меня, у них нет, стало быть, решили свою власть так мне показать. Вот и сидел!

Подобно мне Коваленко не может понять, почему колхоз не вправе нанять человека, если он берется сделать ту же работу, что я проектный институт, только втрое дешевле? И почему тот же человек не имеет права за деньги — а за что же еще? — разыскать для колхоза на складах сторонних организаций необходимые «неликвиды», те же электрощиты? В чем тут криминал? Разве лучше, чтобы дом стоял нежилой, люди ютились в старых развалюхах, а никому не нужные щиты гнили бы на складе? И зачем надо было у Трощенкова деньги отбирать? А если отобрали, то как его вторично наказывать? Зачем конфисковывать имущество, в чем его семья провинилась?!

В деле Коваленко все тот же произвол лапландской Фемиды. Все здесь от предъявления обвинений до вынесения приговора словно бы одним штампом оттиснуто. И суть штампа одна — беззаконие: что хочу, то и ворочу!

Меня поражает откровенное желание связать Коваленко с делом Гитермана: скажи — отпустим, не скажешь — будешь сидеть. Понятно, что никуда не отпустят, тут-то все и начнется...

— Не били?

— До этого не дошло. Как увидели, что стращают впустую, так и махнули рукой... Они ведь тоже понимают, с кем имеют дело. Когда человек в своей совести уверен, его еще довести до отчаяния надо. Со мной у них не прошло.

— Говорили они, будто бы Гитерман сознался в получении от тебя взяток?

— Говорили. Несколько раз. Грозили очными ставками, если я не признаюсь. В общем, все, как в детективах! Зря они прицепились к Гитерману. Могли бы, кажется, справки навести, что он за человек. А со мной просто наш прокурор решил старые счеты свести, вот для этого и вытащил закрытое уже дело. У них ведь тогда дисциплину подтягивать начали, пошло ужесточение законов, они и стали набрасываться на тех, кто им мешал. И обратного хода не было, иначе в отставку подавай. В общем, нами они свои дыры кое-как заткнули... Главным тут был Данков, я так считаю, а в моем деле и наш прокурор свои делишки решил обстряпать...

Мы проехали Колу, миновали поворот на Минькино. Сопки, дорога заросли по обеим сторонам — все покрыто толстым, пушистым слоем снега, который матово серебрится в этот серый зимний день. Даже не верится, что сразу после дождей пришла зима. Впрочем, погода здесь переменчива и капризна.

— Ну, а Подскочий? Меня уверяли, что он действительно виноват в каких-то хищениях.

И тут мягкий, улыбчивый Коваленко неожиданно вскипает:

— Брехня все это! За Подскочего я не только руку — голову отдам! Не такой он человек, чтобы чужое взять! Я его дела в подробности не знаю. Взяли его до меня, а когда я вышел — с ним уже расправились и он уехал. Так и не повидались. А мы друзьями были, еще когда он в Териберке работал замом по флоту, а я — по сельскому хозяйству. Он-то меня сюда и перетащил с юга. Потом в Белокаменку председателем ушел, а я здесь председателем стал. Никогда не поверю, чтобы Геннадий мог нечестно поступить! Он ведь такой: костьми за колхозное дело ляжет, но ни денег, ни чего другого не возьмет. Я сразу сказал, что там, в Белокаменке, грязное дело состряпали. Геннадий кому-то мешал. От него постарались отделаться, и отделаться капитально. Пожалуй, я даже догадываюсь, откуда что началось. Подскочий хозяин хороший, коммунист требовательный. Все у него шло хорошо, пока он не взял себе в помощники Бернотаса.

— Бывшего директора МКПП?

— Его самого, Бронислава Людвиковича. До этого тот много мест переменил. В «Энергии» был капитаном, так его колхозники потребовали убрать во время путины из района Атлантики за грубость и национализм: моряков он «русскими свиньями» обзывал. Потом его сделали директором МКПП, а когда и оттуда уволили, кто-то из МРКС его Подскочему подсунул. Я Геннадию говорил: зря берешь, намаешься! Ну, а тот уже согласился. назад не пошел. Бернотас в колхоз перевел меховой цех и своего дружка Куприянова перетянул, который его в МКПП сменил. Отсюда все и идет! Вот смотри, я специально для тебя этот номер захватил, чтобы ты понял, что там после Геннадия творилось.

Коваленко достает из черной кожаной

папки газету «Североморская правда» от 13 ноября 1986 года. Вторую полосу почти целиком занял подготовленный североморским горкомом отчет «О письме коммуниста Г. А. Маркиной в ЦК КПСС».

Шрифт мелок, машину трясет, но мне удается прочесть.

Экономист колхоза «Северная звезда» Г. А. Маркина, исполнявшая в то время обязанности секретаря парторганизации, обратилась в ЦК КПСС с письмом, в котором вскрывались весьма неприглядные факты. Как обычно бывает, письмо ее из Москвы было переслано в Мурманский обком, оттуда — в Североморский горком и в МРКС. По письму провели формальную проверку в колхозе, результаты ее обсудили на партийном собрании. Председателю колхоза Л. М. Олейнику и его заместителю Б. Л. Бернотасу объявили выговоры, инженеру отдела кадров Ю. А. Алексееву — строгий выговор с занесением в учетную карточку, а самой Маркиной... выговор «за развал партийной работы»! Но Маркина решила не отступать и написала в ЦК вторично, указав, что проверка была поверхностной, подтвердившиеся факты во внимание не приняли, а потому просила еще об одной ревизии с представителями если не Москвы, то обкома. Пришлось снова ревизовать колхоз. Тому, что вскрылось при этой второй ревизии, и был посвящен газетный отчет.

Бернотаса и Алексеева «рекомендовано» освободить от занимаемых должностей; председателю Олейнику объявлялся строгий выговор с занесением в учетную карточку. Поставлен был вопрос и о некоем Колеснике, «развалившем работу цеха товаров народного потребления»...

— А это что такое? — спрашиваю у Коваленко.

— Меховой цех в просторечии,— кратко отвечает тот.— Читай дальше.

После развала цеха Колесник был назначен... заместителем председателя колхоза по всем подсобным промыслам, по-видимому, чтобы уже развалить все. Интересно. Не по этой ли причине меня не хотели допускать в меховой цех? В колхозе вскрыто пьянство руководящего состава, необъяснимые пожары, незаконные увольнения. За общими формулировками прятались разруха, начальственный произвол, сведение счетов, коррупция. Резко упало качество продукции молочного цеха, «завалили» план рыбодобычи. И все это — за два последних года...

— После того, как убрали Подскочего?

— Да. Последнее убеждает меня, что он был виноват, но совсем не в том, за что его судили,— отвечает Коваленко.— Он окружил себя людьми вроде Куприянова, о котором здесь почему-то ничего не сказано. Говорил я ему: не бери этот меховой цех, не соглашайся на него! От него вся зараза идет. Он же у меня был, Куприянов этот...

— Тот, что работал потом в МКПП?

— Тот самый! Не знаю, откуда он появился, только сразу стал ходить в дружках у Бернотаса. Ведь когда решили делать этот меховой цех, чтобы там шить шапки, обувь и одежду для колхозников, сначала его предложили мне в колхоз. Я согласился. Заведовать им поставили Куприянова. А через полгода, когда мы начали первую ревизию, посмотрели документы, там была уже такая путаница, что я категорически заявил: такой цех нам не нужен! Шкуры шли в Прибалтику на выделку, оттуда возвращались, понять ничего было нельзя. Куприянова надо было сразу судить. А Каргин и Гитерман его пожалели, замяли дело, перевели в МКПП к Бернотасу. На меховой цех поставили Колесника. Бернотас сейчас же подключился... и пошла карусель!

— При чем здесь Каргин?

— А я знаю? Наверное, ходил к Дайкову или к прокурору, просил закрыть...

— По просьбе Гитермана?

— Чего не знаю, того не знаю. Только кто же еще станет Каргина о мехцехе просить?

Что ж, логика в этом есть. Но только логика. Что касается истины, то до нее еще предстоит докапываться. Может быть, как раз в Белокаменке, в которую мы въезжаем...

В правлении колхоза все внимательны к нам, приезжим, разговор идет о погоде, о пирожках с мясом, которые кто-то принес, но с момента приезда меня не покидает странное ощущение, что вокруг носятся вихревые потоки страха, тайного недоброжелательства, еще чего-то, чему не могу найти объяснения и что так диссонирует с внешне уютной и доброжелательной обстановкой. Впрочем, все дело в том, что я чувствую себя не подготовленным к Белокаменке. Не к ней самой — к тем разговорам, которые мне надо вести с людьми. И я решаю начать с парторга — вполне оправданный, с точки зрения окружающих, ход: раз поговорил с одним, тем более с парторгом, можно и с остальными, в то же время такая беседа открывает шлюзы для случайности, которая всегда приходит на помощь в подобных случаях.

И вот мы сидим с Леонидом Петровичем Аржанцевым в крохотной комнатке колхозного экономиста. Напротив меня — пожилой человек с острым, настороженным взглядом. Поначалу он говорит уклончиво и односложно, но постепенно, как если бы решившись на что-то, становится откровеннее.

— Если коротко — нынешний председатель порядочный, трудолюбивый человек, только абсолютно никудышный руководитель. Так все говорят, можете спросить любого. Я считаю, его поставили сюда специально, чтобы кое-кому руки развязать. А Подскочий — фигура. Его спаивали ближайшие соратники.

Был такой Осипенко, секретарь партийной организации. Заместители председателя — Бернотас, Куприянов, Алексеев. Все они замешаны в хищениях. А судили одного Подскочего! За что тех-то оставили? За то, что они своего председателя топили, все на него валили? Главная беда Подскочего, что он согласился принять меховой цех...

Опять меховой цех?

— ...Со складов везли сюда сети, полушубки, шапки, меховые сапоги. И все это уходило на сторону. Я сам видел мешки, они стояли в кабинете у Алексеева, потом исчезали. А деньги Подскочему отдавали, он их в сейфе в своем кабинете держал. Когда была ревизия летом восемьдесят четвертого, он в кассу две с половиной тысячи внес. К этому ОБХСС и прицепился — хищение колхозных средств. Говорят, что и Бернотас вносил, но следствия не было, не знаю. С цехом этим запутали так, что до сих пор разобраться не можем. У них на двести тысяч неликвидных материалов скопилось, говорят, погнило все...

— Подскочий тратил эти деньги?

— Кто знает... В сейфе, говорю, держал. А брал ли потом, сколько своих доложил, когда ревизия прошла, неизвестно.

Задержка оплаты по накладным. Нарушение финансовой дисциплины. В то же время деньги лежали в сейфе, в кабинете председателя колхоза. Зачем? Почему деньги передавали Подскочему, а не в кассу колхоза? Ревизией была вскрыта недостача, деньги тотчас внесли летом 1984 года, за нарушение финансовой дисциплины Подскочему и Осипенко были вынесены выговоры по партийной линии.

— А судили председателя за что же?

— За это самое и судили — за нанесение ущерба колхозу...

— Но колхоз никакого ущерба не понес?

— Не понес, верно. А судили за нанесение ущерба...

Ситуация, отработанная на Стрелкове!

— А когда Подскочего сняли с председателей? После ареста?

— Нет, раньше. Никто не думал, что это произойдет, повода никакого не было. В феврале восемьдесят пятого с него и с Осипенко сняли выговоры, должны были проходить новые выборы, и вдруг пятого марта Подскочего снимают за это финансовое нарушение. Арестовали его в апреле, а судили в феврале восемьдесят шестого, до этого он полгода отсидел. Тогда же, в марте, сняли Алексеева, председателя сельского Совета, а двадцать восьмого марта от обязанностей секретаря парторганизации освободили Осипенко. Те двое остались в колхозе, а Осипенко смекнул, что дело плохо, и уехал. Ну, а после суда Подскочий недолго пробыл. Бернотас и Куприянов на него накинулись, выгнали его из колхоза.

— Как вы думаете, Леонид Петрович, почему так произошло?

— Так он же всем им глаза мозолил! Он про них все знал. Вот и хотели от него поскорее избавиться. А кто за него вступился бы? Сделали его ночным сторожем, а там он и сам расчет взял.

Аржанцев уходит, а я остаюсь листать личное дело Геннадия Киприановича Подскочего и впервые задумываюсь о возрасте председателей. Гитерман старше их всех, он уже три года на пенсии. Стало быть, Стрелков моложе его на два или три года. Оба чуть старше меня, а в общем-то мы одно поколение, росли во время войны, хорошо знаем, почем фунт лиха, которое выпадало всем нам тогда вместо хлеба, картошки, тепла... Подскочий чуть моложе. Он родился в 1937 году в деревне под Витебском. И, стало быть, тоже сполна хлебнул войну, оккупацию, холод и голод, налеты карателей. Перед призывом на флот окончил сельскохозяйственный техникум — вот почему, потеряв руку, он попал в управленческий аппарат колхоза, а потом стал заместителем председателя. В партию вступил в 1957 году, в девятнадцать лет, на Северном флоте. Председателем «Северной звезды» стал в 1973 году. Колхоз был в тяжелом состоянии, вероятно, еще хуже, чем сейчас: не было судов, не было денег, платить людям было нечем. Как работал Подскочий, свидетельствуют достижения колхоза, который он вывел из провала, ликвидировав задолженность. Он нарастил флот, поднял добычу, так что по показателям «Северная звезда» стала достойным соперником лучших хозяйств. Укрепил колхозные кадры, начал жилищное строительство, навел дисциплину в сельском хозяйстве и на судах.

Все это резко противоречит тому, что приключилось с Подскочим после того, как в колхозе появился этот злополучный меховой цех. Ведь не мог человек переродиться! Окружение? Но окружение — одно, а сам человек — совсем другое. Окружение Гитермана в МРКС бросало вполне определенную тень на своего председателя, но в каких бы злоупотреблениях тех ни уличали, Гитермана можно было обвинить разве только в определенной близорукости и излишней доверчивости к людям. Не так ли произошло и с Подскочим? Может быть, как раз здесь и следует искать то общее, что роднит его дело с делом председателя МРКС?

И вот — приговор.

Подскочий Г. К. обвинялся в «хищении общественного имущества на сумму 2194 рубля 95 копеек».

Следствие установило, что с 1982 по 1984 год по доверенностям, подписанным Подскочим или его заместителями Бернотасом и Куприяновым, со склада колхоз получал сети, полушубки, мехо-

вые шапки, меховые сапоги. Полученное не оприходовалось в колхозе, а продавалось различным лицам, причем «деньги от реализации Подскочий присваивал себе». Значит, в сейф не клал? Интересно. А кому продавал? В тексте перечислялись «граждане», и это было маленькой хитростью, рассчитанной на то, что в случае ревизии материалов следствия и суда никто не станет интересоваться их именами. Но главными были не имена этих людей, а их должности. Вот они: Н. А. Куприянов — заместитель председателя колхоза, а до этого — заведующий меховым цехом, заместитель директора и директор МКПП, который таким образом покупал через колхоз собственную продукцию; А. П. Мосиенко — начальник колхозной базы флота, распоряжавшийся колхозным флотом, ремонтом судов, океанским ловом, то есть контролировавший океанские доходы колхоза; Б. Л. Бернотас — заместитель председателя колхоза по флоту, до этого — директор МКПП, контролировавший все колхозное строительство; А. С. Стефаненко — заместитель председателя МРКС по зверобойному промыслу, но были еще «и другие граждане», чьи имена, по-видимому, были уже совсем «неудобны» для судебного делопроизводства.

В том, что все они покупали что-то в колхозе, криминала не было. Колхоз имеет право продавать свою продукцию или имеющиеся в его хозяйстве вещи, кому посчитает нужным. Но, покупая официально, эти люди вынуждены были бы платить вдвое дороже, тогда как колхозники покупали продукцию своего цеха по себестоимости. Главное же заключалось в том, что указанные лица брали не по одной «кукле» сетей, не по шапке или полушубку для себя или для семьи: все это выписывалось в больших количествах и шло куда-то еще...

И тут я обнаруживаю еще одну «неточность» в судебном документе. Как уже было сказано, за нарушение финансовой дисциплины Подскочий получил выговор по партийной линии, однако состава преступления в его действиях не было и виновным он себя не признал. Казалось бы, на этом и поставить точку. Однако вопреки фактам, установленным следствием, все происшедшее суд квалифицировал «как хищение общественного имущества повторно путем злоупотребления служебным положением должностным лицом», а потому, как сказано в приговоре, «при определении меры наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, характеризующие данные по работе, его первую судимость, признание своей вины...» Вот тут я остановился в замешательстве: ведь Подскочий свою вину категорически отрицал, признавая только нарушение финансовой дисциплины. Налицо была такая же фальсификация, как и в деле Стрелкова. А дальше суд «принял во внимание то обстоятельство, что ущерб от совершенного преступления полностью погашен и с учетом тяжести совершенного преступления считает...» Тут у меня, как говорится, полезли глаза на лоб, потому что вместо оправдания подсудимого следовало: «...определить Подскочему меру наказания по ст. 92, ч. 2 УК РСФСР — 3 года и шесть месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима».

Да как такое могло быть?! И все это скрепили своими подписями, свидетельствуя «гуманность и справедливость», народный судья Иванов, народные заседатели — «великие молчальники»! — Привалова и Старосик и прокурор Волхов, которые рассматривали дело Подскочего Г. К. 5 февраля 1986 года в г. Полярном в Доме культуры «Полярник». Да, не хотелось бы мне встречаться с такой компанией не только ночью в глухом месте, но и при свете дня... Три с половиной года в колонии усиленного режима! Это же издевательство над правосудием! Правда, словно спохватившись, они поспешили оговориться: «В соответствии со ст. 4 п. «б» Указа ПВС СССР «Об амнистии в связи с 40-летием победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне» освободить от наказания Подскочего как инвалида 2-й группы, дело производством прекратить».

Трагедия обернулась фарсом. Но кому выгодно творить фарс из правосудия? Кому-то выгодно! И я с досадой думаю, что этот вопрос — кому все это было нужно? — мне придется задавать и после того, как я закончу уже затянувшееся расследование, поскольку дело Гитермана и связанных с ним председателей обрастает новыми подробностями. В том, что дело Подскочего будет так или иначе связано с делом Гитермана, я уже не сомневаюсь. Кроме классического для античной трагедии «единства времени и места действия», я нахожу во всех этих делах один и тот же почерк, как если бы все это совершалось по плану, разработанному генерал-майором Данковым и его помощниками. Подскочего судили не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы оправдать его предварительное заключение с 16 апреля по 27 сентября 1985 года в «следственном изоляторе», как свидетельствует имеющаяся в деле справка следственного отдела УВД Мурманского облисполкома Правда, оправдания как раз и нет. Все, что изложено в материалах следствия, было за год до этого установлено ревизией МРКС и содержится в делах бухгалтерии колхоза «Северная звезда», начиная от копий доверенностей и кончая приходными ордерами погашения задолженности. Никто ничего отрицать и скрывать не собирался.

Зачем надо было сажать Подскочего в «следственный изолятор»?

Он подписывал доверенности, но вещи брали его заместители для себя и для «других граждан», то есть перепродавали. Почему же их действия не заинтересовали следствие?

Наконец, почему следствие прошло мимо «других граждан», которые использовали свое служебное положение для получения меховых вещей через колхоз? Получается, что нужен был именно Подскочий. Он кому-то мешал, его надо было дискредитировать. И тут мне на память приходят слова Аржанцева, что Подскочий уже не был председателем колхоза, когда его арестовали: за месяц до этого его «освободили» от должности председателя. Больше того, перед этим с него сняли выговор за нарушение финансовой дисциплины, то есть за то, за что его судили! Если бы Подскочий действительно совершил преступление, то почему следственные органы, которые были тотчас же поставлены в известность о недостаче, не принимали никаких мер более полугода? Не было надобности? А что же за надобность возникла потом?

Еще один документ — протокол заседания правления колхоза «Северная звезда» от 18 февраля 1986 года. Заседание состоялось через две недели после суда над Подскочим. Он был амнистирован, дело прекращено, Подскочий вернулся к своим обязанностям агронома в колхоз. Обычно протоколы пишут достаточно дипломатично, сглаживая острые «углы» Здесь этого не было сделано. С удивительным единодушием собравшиеся — теперешний председатель Олейник, его заместители Бернотас и Алексеев, некий Ляшков — поддержали предложение Куприянова исключить из колхоза Подскочего за «развал колхозной работы и хищение общественного имущества», то есть за то самое, что совершали они сами и за что Подскочий был уже амнистирован. Правление колхоза докончило то, что не смог сделать суд.

Убеждали меня в этом и занесенные в протокол слова Подскочего, что такое решение — личная месть со стороны Куприянова и Бернотаса.

Месть — но за что?

Ответить на этот вопрос мог только сам Подскочий. Где он сейчас? Никто не знал об этом сколько-нибудь определенно. Одни говорили, что он уехал в Североморск, другие — на Кубань или в Ростов-на-Дону. В горкоме узнавать было бесполезно, поскольку его, так же как Стрелкова и Гитермана, предварительно исключили из партии и на учете он уже не состоял. Теперь я не удивлялся, что в деле Подскочего ничего не сказано о Гитермане: у Коваленко тоже ничего нельзя было найти, хотя держали его в тюрьме именно для того, чтобы он давал показания на председателя МРКС. К тому же и суд над Подскочим был уже в феврале 1986 года, после XXVII съезда партии, когда правосудие стало осторожнее обращаться со своими подопечными. Не отсюда ли эта двойственность приговора: для местного начальства — «на полную катушку», в лагерь усиленного режима; в соответствии с «веяниями времени» — амнистировать. Получалось, что и волки сыты, и овцы целы.

Дверь осторожно приоткрывается, и в комнату проскальзывает женщина с короткой стрижкой, волевым лицом и пристальным взглядом прищуренных на меня глазами. Она бесшумно закрывает за собой дверь, подходит к столу, сжимая в руках кожаную коричневую сумочку. С минуту она изучает меня, потом произносит:

— Я Маркина. Это я писала в ЦК, писала в обком, а теперь хочу говорить с вами.

Я приглашаю ее сесть, но она останавливает меня жестом, показывающим, что у здешних стен есть уши.

— Не здесь. Нам сказали, что вы приедете в Белокаменку, и предупредили, чтобы с вами не говорить. Но я хочу рассказать вам, что у нас творится. Завтра я буду в Мурманске, назначьте время и место.

Поразмыслив, я уславливаюсь, что завтра утром мы встретимся в редакции «Рыбного Мурмана». Георги будет не против, а рассказ ее может пригодиться и газете.

Маркина уже возле двери, но я останавливаю ее:

— Только один вопрос. Скажите, пытались ли обвинить Подскочего в получении взяток и связывали ли его как-то с Гитерманом?

Она оборачивается.

— Конечно. За это мы его из партии исключали, нам так и сказали перед собранием. Не беспокойтесь, я вам все расскажу!

И дверь за нею тихо закрылась.

Что ж, все сходится. Взятка вызывает большее презрение, чем воровство. Обвинение во взятке страшно потому, что его доказать так же трудно, как опровергнуть. Два лжесвидетеля, хорошо подготовленные следствием,— и человек обречен. Обвинение во взятке за последнее время стало своего рода отмычкой для беззакония, причем эпидемия подобных обвинений прошла как раз в 1985 году. В год начала перестройки действительные взяточники проходили полками и батальонами через руки следователей — где же было разобраться, что среди них замешан десяток-другой честных, но оклеветанных людей? Обвинением во взятках сводились счеты, расчищались нужные места, добывались награды... много чего делалось!

Генерал-майор Данков, задумав дело Гитермана, прекрасно знал, как его надо обставить. Он сознавал, что, обвини он Гитермана в хищениях, ему никто не поверит, потребует доказательств, ревизий и тому подобного. Но взятка! Кто решится с ходу отвергать ее вероятность? Кто рискнет «замараться» заступ-

ничеством за взяточника, если обвинение окажется доказанным? Вот почему генерал-майор Данков, не имея на руках абсолютно никаких доказательств, беспардонно объявил партийной организации МРКС об «изобличении во взятках» их председателя, повторив то же самое в отношении Подскочего в горкоме Полярного.

Другое дело — суд. Он просто не мог принять к слушанию не доказанное фактами дело. А суд должен был свершиться во что бы то ни стало! И такой, чтобы не пришлось оправдывать подсудимого. Поэтому основания для возбуждения дела полностью заменяются. По словам Коваленко, когда его судили, даже имя Гитермана произнесено не было, поскольку того судили за «должностной подлог», к которому ни он сам, ни тем более Коваленко не имели никакого отношения. Что было со Стрелковым, я еще надеюсь узнать в Ленинграде. Подскочего исключали из партии из-за Гитермана, но потом с ним поступили так же, как с Коваленко: никаких следов упоминаний Гитермана и взятки в приговоре нет. Групповое дело не получилось — сделали дела индивидуальные...

Следующий день прикрыт серой мокрой полой очередного циклона. Крупные капли дождя хлещут по льду и лужам, сырая зябкость проникает до костей.

Маркина ждет меня возле редакции. Я знакомлю ее с Георги, она соглашается рассказывать при нем, и начинается грустная исповедь коммуниста, убежденного борца за справедливость. В колхозе она чедавно, с Подскочим работала недолго, чуть больше года.

— Сначала я ничего понять не могла, думала, что вся беда в Подскочем, от него непорядок в хозяйстве,— словно бы оправдывается она.— Поэтому и в горком ходила, рассказывала, что у нас творится, просила вмешаться, порядок навести. Не думала, что Подскочего снимут. А теперь вижу: у них все было заранее подготовлено.

— Вы обращались в горком по поводу нарушений финансовой дисциплины, которую вскрыла ревизия летом восемьдесят четвертого года? — спрашиваю я.

— Да. Но там были и другие беспорядки, мне как экономисту все это было видно. А люди молчали, боялись говорить. Это сейчас вспоминают, что Алексеев, когда ведал кадрами и был председателем сельского Совета, брал взятки за то, чтобы разрешить рыбаку пойти в море, а тогда против него никто и слова сказать не смел. Но главная фигура во всем этом деле — Бернотас. У него всюду свои люди — и в прокуратуре, и в ОБХСС, и в облисполкоме...

Да, плохо ей, видно, пришлось от преемников Подскочего!

— А что вы сейчас думаете о Подскочем? — спрашивает Георги.

Маркина на минуту замолкает, словно подыскивая слова, потом убежденно говорит:

— Он умный человек был, и как с руководителем с ним было легко работать. Приходишь к нему с выборкой документов — он с первого взгляда все понимает. И глаз у него хозяйский. Он все знал, что где в хозяйстве происходит. Раньше всех вставал и с утра успевал везде побывать. Принципиальным был. Если сказал «нет», можешь больше не поднимать разговор. Это значит, что он все обдумал, все просчитал и решил, что не надо этого делать. Зато если сказал «да», то можешь быть спокоен: он сам тебе еще об этом напомнит, поддержит. Помощника у него хорошего не было, насовали ему из РКС этих, они его и погубили!

— Разве он не сам себе заместителей подбирал?

— Что вы! Это все сверху ему подсовывали! Сам-то он их, конечно, не взял бы.

Что-то в интонации Маркиной заставляет меня думать, что сейчас она особенно остро ощущает свою вину перед Подскочим. По ее словам можно понять, что раньше она говорила о нем совсем иначе. И в горком жаловалась. Своими руками расчищала дорогу тем, кто потом с ней соответствующим образом рассчитался. Впрочем, не сразу. Ведь она стала парторгом вместо Осипенко, проводила исключение Подскочего из партии, она, по-видимому, всем и везде говорила о «хищениях» Подскочего.

— Галина Александровна, вот вы упоминали о том, что Подскочий себе деньги присваивал. Разве он ими пользовался? Ни в акте ревизии, ни в приговоре ничего об этом не сказано.

Маркина испытывает замешательство.

— Но ведь если он не сдавал их в кассу, значит, он их себе присваивал? И потом, знаете, у него молодая жена, она часто меняла наряды. Если в магазин привозят что-то импортное, она всегда первая смотрела. Да и у самого Подскочего было несколько костюмов...

Господи, как это все по-женски!

— А в колхозе знали, что деньги у него и он задолжал в кассу?

— Конечно, знали! И кладовщица ему об этом напоминала, и бухгалтер при мне не раз говорила, а он только улыбнется и скажет: подождите, вот будет ревизия, все до копейки отдам...

— И отдал?

— Конечно же, отдал! А что ему было делать? Еще и сам вторую ревизию провел...

В том, что здесь не было злого умысла, я убеждаюсь еще раз: все об этих деньгах знали, и сам Подскочий о них говорил спокойно. И, что существенно, внес их сразу. Это значит, что они имелись в наличии, дожидались этого момента, потому что если бы Подскочий их тратил, ему пришлось бы их собирать по частям. Как часто председателю колхоза, тем более мелкого или среднего, позарез нужны «живые» деньги! Его жизнь — непрерывный бег с непреодолимыми препятствиями. Еще труднее тому, кто честен. Деньги нужны на представительство, на срочную покупку, на оплату чрезвычайно важной именно в данный момент услуги.

Правила и инструкции не позволяют колхозу пользоваться имеющимися на его счету деньгами так, как это ему необходимо. Но жизнь берет свое. И правление колхоза во главе с председателем и бухгалтером, собравшись и взвесив все угрожающие им статьи Уголовного кодекса и банковских инструкций, начинают искать обходы и лазейки, потому что так требуют жизнь и тот самый «план», ради которого — во всяком случае, так считается — эти инструкции составлены. За примером далеко ходить не надо, стоит вспомнить Стрелкова с поставленной перед ним задачей голыми руками отремонтировать технику к сроку или Коваленко с электрощитами, которые государство не могло ему найти для дома. Не платить же и за это из собственного кармана? Кстати, все равно платят. Тот же Тимченко признавался, что свою зарплату он никогда не видит — все выбирает авансами и редко когда приносит домой хотя бы половину.

Итак, Подскочий деньги в сейф клал, но не брал. Постойте, а почему вообще ему передавали эти деньги? Судом, а стало быть, и ревизией, было точно установлено, что ему передавали деньги за вырученные товары. Не он сам их брал, не он требовал — ему передавали! В приговоре об этом сказано. Но почему же никто не задал вопроса свидетелям — заместителям Подскочего, Куприянову и Бернотасу, почему они не сдавали деньги прямо в колхозную кассу? Не здесь ли разгадка?

Я спрашиваю Маркину. Она пожимает плечами.

По ее мнению, это уже детали, которые никого не интересуют. Факт был? Был. Деньги передавали? Передавали. Председатель внес в кассу? Нет. Была задолженность? Была. О чем тогда говорить?! Гораздо больше Маркину волнует все, что происходило потом, когда после ареста Подскочего у нее, только что избранной парторгом, начались конфликты с Бернотасом, который заправлял всеми делами. Обращения Маркиной в горком и в МРКС воспринимались как объявление открытой войны. Ее стали выживать из колхоза. При загадочных обстоятельствах загорелась ее квартира, где она жила с матерью. Ремонтировать за счет колхоза отказались и расследования не провели.

Но главным злом она считает меховой цех.

— Официально его называют «цех товаров народного потребления»...— Она делает ударение на слове «народного».— А разве народу идут эти шапки и полушубки? Только начальству! Колхозники их и не видят, на их имя только оформляют, а все уплывает налево.

Знаете, мне в мехцехе говорили, что в «Севрыбе» есть такой Несветов, так вот он всем этим командует...

— Несветов? Но какое отношение он может иметь к колхозному мехцеху? — удивленно спрашивает Георги.— Раньше он был начальником отдела по делам колхозов, но в колхозные дела вмешиваться прямо не мог...

— А он сам и не вмешивался, для этого у него Куприянов и Бернотас были! — отвечает Маркина.— Сами они вроде экспедиторов, исполнители: тому отпустить, этому продать, в Прибалтику отвезти. У нас же только шьют, а кожу и меха выделывают в литовском колхозе. Причем, знаете, на каких условиях? Половина на половину! За то, что они выделывают, они оставляют себе половину нашего сырья. Конечно, не худшую! И учета никакого не ведется. Мне вот говорили, что они отправляют сырье по весу, редко по штукам, безо всякого дециметража...

— А это что такое?

— Ну, это обмер площади шкуры в дециметрах. И так же получают. То есть там сколько хотят, столько и берут. В цехе у них все время пересортица: маркировка не соответствует ни сорту, ни площади шкуры. А раз меха не учитываются, тут что хочешь, то и делай. В каждой партии — сто или двести шкур лишних, это еще в восемьдесят втором году работники ОБХСС нашли. И ничего: завели дело, потом закрыли. Из Москвы кто-то приезжал, составил акт, а потом пришел в цех и говорит, что, мол, преступления нет, это личные шкуры Куприянова, дескать, он их посылал, а там спутали. Откуда у него двести шкур? В следующем году у Куприянова приписки обнаружили — и тоже ничем дело кончилось, все акты растворились в ОБХСС и в прокуратуре. И не только по этому делу. Все, что мы из колхоза передавали в прокуратуру, если это касалось мехцеха и МКПП, сразу же прикрывалось!

— Но почему, Галина Александровна?

— Как почему? Да потому, что у Бернотаса дружки в прокуратуре! Они ему даже право на ношение оружия выдали как внештатному сотруднику ОБХСС. Это все знают!

Ну, это еще надо доказать...

— А над всеми ними,— продолжает Маркина,— есть человек в Москве, в Минрыбхозе СССР, Касьянов, специалист по мехам. Он командует, куда посылать меха, куда не посылать. Работники нашего мехцеха сколько раз говорили, что колхозу невыгодно отправлять шкуры в Литву. Технолог Лысанова и экспедитор Антоненко нашли другой цех по выделке, тоже в Прибалтике, который брался выделывать сырье только нашего колхоза и за деньги, причем качество обработки там гораздо выше и дешевле. Так что поднялось! Ни в какую! Когда Лысанова выступила с фак-

тами, что расход сырья, к примеру, показывают в два раза большим, чем идет в дело, ее сразу же уволили.

— Чем же все кончилось?

— Восстановили. Полгода она без работы мыкалась. И ни с кого не спросили, почему так случилось. Ведь у нас ни одной ревизии за четыре года не было, сколько мы об этом ни просили. Начнут ревизовать и бросят. А все почему? Да потому, что картина страшная — всех руководителей судить надо. Вот сейчас начали считать, и что оказалось? Перерасход в восемьдесят пятом году — на четыре тысячи рублей. По меховому сырью на складе недостача — шесть тысяч и столько же излишков. По готовым изделиям — недостача на полторы тысячи рублей... А главное, что там чуть ли не на двести тысяч скопилось неликвидов, которые уже ни на что не годны! Вот так и хозяйствовали. А ведь Бернотас и Куприянов не только начальство шапками снабжали, они и торговали. Куприянов продавал через магазин общества охотников шапки с другой подкладкой, в нашем цехе такой не было! Откуда он их брал? Получается, что был еще один цех, подпольный, для которого и шли неучтенные шкуры, понятно?

Упоминание магазина общества охотников меня настораживает, и, покопавшись в памяти, я вспоминаю, что, по словам Гитермана, еще в 84-м году Несветов добивался замены Подскочего неким Жадиным, председателем мурманского общества охотников. Но снимать Подскочего не было никаких оснований, его колхоз работал хорошо и Гитерман категорически отказался от подобной замены. Тем более что, по его сведениям, у кандидата в председатели колхоза возникли какие-то финансовые неприятности и он вынужден был сменить работу. Видно, кому-то очень было надо, чтобы «Северная звезда» была тесно связана с обществом охотников.

— Галина Александровна, когда в колхозе появился мехцех и когда к вам пришел работать Куприянов?

Она припоминает.

— Одновременно. В мае восемьдесят четвертого.

— Бернотас был уже у вас?

— Да. Он и уговорил Подскочего взять Куприянова и этот цех в колхоз. Кажется, по этому поводу приезжал сам Касьянов из Москвы и тоже уговаривал.

— А где сейчас Куприянов?

— Точно не знаю. Он ведь почти сразу же, как пришел к нам, стрелялся. Была проверка, у него опять обнаружили недостачу, и он выстрелил в себя из ружья. Все знали, что он хотел инсценировать самоубийство, но от следствия он снова избавился. По бюллетеню ему платить за самострел не имели права. Тогда он достал направление, уехал в Москву, там Касьянов помог ему лечь в больницу, а его бюллетень привез сюда для оплаты. Мы переводили ему деньги. Последние два года он больше в Москве жил, только наезжал сюда. Говорили, женился на работнице министерства. А теперь вроде бы вообще от нас ушел, устроился в Литве, в том хозяйстве, куда отправлял шкуры...

Любопытно. В 83-м Бернотас уходит из МКПП в «Северную звезду», потом туда переводит заместившего его Куприянова и меховой цех, которым поначалу руководил тот же Куприянов. Это происходит в 84-м году. В это же время Подскочего пытаются заменить человеком, через магазин которого Куприянов продает продукцию мехового цеха. Выходит, уже тогда Подскочий мешал Бернотасу и Куприянову, хотя именно через него они получали продукцию мехового цеха. Им нужен был колхоз — но без Подскочего, так, что ли?

— Ну, конечно же! — подхватывает Маркина.— О Подскочем эти говорили в МКПП: мол, ты недолго продержишься, мы тебя все равно утопим! Он же хотел порядок в цехе навести, Бернотаса посылал в море, ревизию начал в цехе... Он им мешал, всем мешал! А главный в их группе — я убеждена — был Бернотас. Он Подскочего ненавидел...

«А потому изгнал его из колхоза»,— мысленно завершаю я оборванную Маркиной фразу. Но зачем Бернотасу нужен был колхоз? Не настолько же он честолюбив, что ему непременно надо было стать председателем колхоза! Судя по тому, что я узнал о Бернотасе, этот человек представляется мне достаточно умным: добиваясь власти, не добиваться ответственности. Руководитель — всегда уязвимая фигура. Если хочешь заниматься прибыльным делом, лучше уйди в тень...

8

В Мурманске мне делать уже нечего: все, что меня интересовало, в основных чертах удалось выяснить. Остались детали, которые я надеюсь уточнить со Стрелковым в Ленинграде и с Подскочим, если удастся его найти. Я был у Гитермана в Мурманске. В очередной раз его жалоба на произвол лапландского правосудия вернулась из Москвы в тот же областной мурманский суд. Дескать, на вас жалуются, вы и разбирайтесь, а мы знать не хотим, что у вас там происходит. Ну, а кто согласится сам себя высечь?! Коваленко сказал, что ничего больше предпринимать не будет, это все равно, что об стену головой биться. Стрелков, по словам чаподмян, выразился еще крепче. Поэтому я о своем визите в обком Гитерману даже не сказал.

Встречен я был там настолько тепло и радушно, что невольно покосился через плечо: может, за мной еще кто вошел? Однако разговор и дальше шел самый дружеский. Мои собеседники с воодушевлением говорили о перестройке, которая охватила, по их словам, все стороны жизни Мурманской области; коснулись сложностей, которые вызвало создание ВОРКа, поскольку резко ухудшилось снабжение колхозов промысловым оборудованием и строительными материалами. Мне намекнули, что вопрос — нужен ли ВОРК вообще? — стоило бы поднять в центральной прессе. Словом, все шло как нельзя лучше, но тут я возьми да и спроси:

— А Гитермана-то когда реабилитировать думаете?

М-да, нехорошо сказал я, нетактично. Реакция оказалась бурной и недвусмысленной. От «первого» я услышал и про «золотой чемоданчик», якобы изъятый при аресте, и о том, что Гитерман купил прокуратуру, следствие, суд. Передо мной вывалили все те слухи, которые были пущены «в народ» при аресте Гитермана. Подскочий, по их словам, тоже был изобличенным преступником. Зато в отношении Стрелкова и Коваленко меня заверили, что ни к тому, ни к другому претензий нет. Коваленко уже восстановлен в правах, Стрелкова постараются восстановить при первой возможности. Что же касается Гитермана... Но тут я поспешил откланяться, поняв, что продолжать этот разговор здесь бесполезно. Что ж, прощай, Мурманск!

В Ленинграде я нахожу Стрелкова окрепшим, раздавшимся в плечах. На его лице разгладились морщины, и совсем по-молодому светятся живые синие глаза. Он стал словно бы выше, скинув со своих плеч непомерной тяжести ношу колхозных забот.

Рассказывает, как его исключали из партии. Голос у Петровича начинает дрожать, он отворачивается, лезет в карман за платком, а потом со смехом вспоминает, как его, уже после суда, опять вызывали в прокуратуру в Мурманск и начали стращать да уговаривать:

— ...Вишь ты, скажи да скажи ему, что я дал Гитерману тысячу рублей! Нет у меня таких денег, говорю, да и за что давать-то, если бы и были? Нет, говорит, признавайся, а то посадим тебя. Гитерман признался, что ты ему дал... Два дня стращали, потом отпустили. Ну, в коли бы до суда было, может, и посадили бы. Да ведь Юлий Ефимович не такой человек, чтобы этими делами заниматься стал! Были у нас с ним разногласия, когда он базу хотел скорее сдать, да и то больше с Егоровым...

— А что с Егоровым?

— Дело теперь прошлое, бог с ним! Только вот кажется мне, что мешал я там кому-то в РКС очень сильно. А кому, как не Егорову? Когда следователь на меня писать стал, я его спрашиваю: неужели вышестоящие организации допустят, чтобы меня осудили? А он и говорит: они-то и хотят тебя судить, мешаешь ты им! А кто — не сказал. Вот я и подумал, что тут с базой связано. Мы отказывались акты подписывать, не принимали гостиницу, уж очень там много недоделок было. Я подпишу, а потом колхозу все доделывать? А им сдать надо. Приезжают и прямо с ножом к горлу: давай подписывай! Вот и сняли. До пенсии два года оставалось, сам знаешь!

— Ну, а писать ты пробовал о пересмотре?

— А что писать? Да и не привык я жалиться. Проживу! Никогда никому не кланялся и теперь не буду. Колхоз, вишь, написал бумагу, да что-то ответа нет... Пустое это все! Как говорят, плетью обуха не перешибешь.

Итоги я пытаюсь подвести в Москве. Снова прослушиваю записи, сделанные на диктофоне, знакомые голоса — высокие, низкие, спокойные и взволнованные, и то, что накапливалось на душе и памяти пластами за две прошедшие недели, начинает понемногу как бы кристаллизоваться, поворачиваясь то одной, то другой своей гранью. Сейчас, когда почти все концы сведены воедино, мне как-то даже непонятно, для чего я затеял такое расследование. Для того, чтобы убедиться в чудовищном произволе, которым все это было вызвано? Потому что теперь, ознакомившись с соответствующими статьями Уголовного кодекса РСФСР, на которые ссылаются приговоры, я вижу, что они не соответствуют содеянному каждым из обвиняемых. Или, как выражаются юристы, в действиях подследственных не оказывается «состава преступления». Самое большее, чем можно квалифицировать их действия, выражается понятием «административный проступок», за который они могли понести определенное наказание в административном порядке, что, кстати сказать, и было сделано в отношении каждого председателя.

Суд не имел права принимать эти дела к рассмотрению.

Но здесь, как я уже сказал, в действие вступал другой механизм — механизм сокрытия правонарушений следственных органов, которые создавали групповое дело Гитермана.

Начало было положено прибытием в Мурманск какого-то высокого чина из Москвы в конце 1984 года или в самом начале 1985-го. Он заявил, что по всей стране идет массовое воровство и хищение, открывают и сажают шайки преступников, но ничего подобного он не нашел, ревизуя Мурманскую область. Это — проявление бездеятельности, и, если положение не изменится, надо принять меры.

«Меры» приняли: зацепкой стало дело И. Я. Меккера. Расчет был прост: если удастся доказать, что Гитерман брал взятки с Меккера, стало быть, он брал и с других. Так будут обнаружены те, кто ему давал, и те, с кем он делился. Дело лопнуло из-за своей полной несостоятельности. Тогда задачей следствия стало найти хотя бы самые малые «вины» арестованных, чтобы условным осуждением оправдать содеянное. На первой стадии следствия свидетелями вы-

ставили настоящих преступников, которым было нечего терять, поэтому они соглашались лжесвидетельствовать. Когда этот план провалился, свидетелями обвинения явились люди, совершавшие должностные проступки, то есть Б. Л. Бернотас и Н. А. Куприянов. Этим тоже был выгоден такой поворот, потому что их собственные дела благодаря этому закрывались.

Так в Мурманске шла «перестройка». Направлял ее генерал-майор Г. А. Данков, начальник УВД Мурманской области, при непосредственном участии полковника В. М. Александрова, начальника ОБХСС. Разработчиком «дела Гитермана» выступил, по-видимому, заместитель Александрова, подполковник Н. П. Белый. В его распоряжении людей было достаточно — майор Ф. И. Понякин, начальник отделения ОБХСС, майор П. М. Тюнис, уполномоченный ОБХСС, капитан П. М. Щавель, лейтенант В. А. Белов, замначальника следственного изолятора, по указанию которого рецидивисты Лебедев и Акимов избивали Гитермана в камере, работники ОБХСС Салин и Носаченко, следователь Б. Ф. Чернышев...

Наконец, последовал неправедный суд. Обвинительный приговор в адрес невиновного человека становился своего рода «индульгенцией» для аппарата следствия. Он, аппарат, «работал», «проявлял бдительность». Неприглядной оказывалась и роль прокуратуры, начиная от районных прокуроров и кончая прокурором областным, его заместителями.

На всем этом можно было бы поставить точку. Однако свидетели обвинения по делам Гитермана и Подскочего отнюдь не выглядели статистами. По словам людей, с которыми я встречался, у Куприянова и Бернотаса были обширные личные связи с прокуратурой, с работниками следственных органов, с руководством «Севрыбы» и множеством других людей, занимавших влиятельное положение в городе и в области, в Минрыбхозе СССР и в литовских колхозах, куда поступало для обработки сырье на крайне выгодных для обработчиков условиях. На чем строились эти связи? Чем скреплялась дружба Бернотаса и Куприянова с людьми, несклонными к сантиментам и бесплодному времяпрепровождению?

По-видимому, основой их была продукция и сама деятельность мехового цеха. Каждая шапка, каждый полушубок, каждая «кукла» сетей, проданные за полцены, обеспечивали им покровительство и гарантию от возможных неприятностей. Не потому ли четыре последних года не проводились ревизии цеха и МКПП, «закрывались» дела по излишкам и недостачам, «Северной звезде» навязывался кабальный договор с литовским колхозом «Накотнэ»?..

Раньше, когда я пытался разобраться, что хотел раздуть Данков из «дела Гитермана», мне казалось, что он хочет возродить печально известное дело «Океан». И как-то не приходило в голову, что аналог его может быть не рыбным, а меховым. В моем сознании «рыба» отбрасывала такую большую тень, в которой поначалу я не мог ничего заметить. Вот почему я был склонен полагать, что аналог «Океана» существовал только в воспаленном воображении мурманских следователей. Как же, групповое дело с миллионным размахом, во главе которого стоит Гитерман! Кто этому не поверит? Но я совсем забыл, что в море, кроме рыбы, живут и котики, и нерпы, и тюлени, и многие другие звери, чей мех стоит гораздо дороже, чем черная икра!

Минрыбхоз — и меха, что между ними общего? Но именно в Минрыбхозе сосредоточен весь промысел морского зверя. Тут и котики, и каланы, и сивучи, и белек, и нерпа, и хохлач, и все остальное. И сотни колхозов по стране, и огромный траловый флот, который тоже ведет отстрел. Но главные добытчики — колхозы. Там цехи обработки шкур, пошивочные, они могут продавать свою продукцию. На все это они получают два процента от промысла и так называемую «некондицию». В министерстве этим ведает специальный человек, которого можно назвать Иксом. Иксу известно все — колхозы, планы, цеха, каналы сбыта, конъюнктура на рынке.

На Белом море до недавнего времени промыслом зверя занимались только архангельские колхозники. Они бьют зверя, обрабатывают шкуры, шьют и продают. Полный цикл, где одно звено контролирует другое. Здесь нет лазейки для утечки. Хищение возможно лишь в том случае, когда производственный процесс разорван на стадии обработки сырья. Именно тогда можно получить неучтенный полуфабрикат в любом количестве. Наша легкая и пищевая промышленность построена именно по такому принципу. В одном месте выращивают или добывают, обрабатывать везут в другое место, а окончательная переработка совершается в третьем или в четвертом. Чем больше промежуточных звеньев, чем больше перевозок, чем больше задействовано фирм, тем больше открывается разных возможностей для нечистых на руку.

Когда в 1982 году Гитерман начинал строить базу зверобойного промысла для терских колхозов, ни о каком меховом цехе речи не было. Идея цеха пошива — без цеха выделки! — была подсказана кем-то позже, и тогда же в Мурманске появился его будущий заведующий, преданный Иксу человек, «запущенный» в МРКС по всем правилам засылки резидентов иностранной разведки. А что такое цех пошива без цеха выделки? Предлог для получения сырья и его легализации, после чего оно начинает путешествовать в разных направлениях, приобретая новые качества и меняя свое количество. В Прибалтику, как говорила

Маркина, шкуры отправляли по весу. Оттуда их принимали по площади, дециметражу. Попробуйте перевести килограммы в сантиметры, даже квадратные! Вряд ли вам это удастся... В свою очередь, в Мурманске ведущую роль должен был играть некто Игрек, чтобы через экспедиторов цеха направлять в Прибалтику часть добычи тралового флота «Севрыбы». А она состоит не только из гренландского тюленя, но и из кольчатой нерпы и хохлача, который на мировом рынке ценится на уровне котика. В Прибалтике есть некий Зет, тесно связанный с Иксом. У него и остается лучшая часть сырья. Часть выделанных шкур, возвратившихся в Мурманск, могла идти опять-таки налево. Все было отлажено, сбыт проблемы не представлял, поскольку каналов много, как, например, магазин общества охотников, прилавок на рынке и даже рассылка по почте, что стало практиковаться после Подскочего. Но главным оставался колхоз. С одной стороны, он давал легализацию всего процесса, с другой — позволял снабжать «нужных людей» изделиями по себестоимости.

«Дела» председателей колхозов, Гитермана можно представить как попытку Данкова создать групповое дело и одновременно, как мощную контратаку со стороны меховых бизнесменов. «Черные начинают и выигрывают», как говорят шахматисты. Чтобы бизнес существовал, ему нужна густая и просторная «тень», которую мог дать только колхоз. Но захватить колхоз мешал Подскочий. Сменить Подскочего не давал Гитерман. Вот почему он должен был пасть под их ударом первым. Когда разрабатывалось «дело Гитермана», председателю МРКС была уготована роль главы отделения подпольного синдиката, хотя Гитерман не имел, конечно, никакого отношения к меховому бизнесу.

Знал ли Данков о меховом цехе? Похоже, он догадывался о «ниточках», которые тянулись в Москву и в «Севрыбу», недаром он так настойчиво допрашивал Гитермана, пытаясь выйти через него на людей из той и другой организаций. Отсюда — его самоуверенность, бесцеремонность в обращении с фактами и с подследственными, обещание «громкого процесса». А следствие повалилось в пустоту! Следователи были ошеломлены порядочностью и стойкостью арестованных: они не могли предположить, что люди, которым отведена роль преступников, окажутся честны и стойки.

Почему я не хочу назвать всех своими именами, прячу их за «Иксы» и «Игреки»? Почему не сказать прямо, что «дело Гитермана» оказалось возможным лишь потому, что объединились люди из Мурманского рыбакколхозсоюза и ОБХСС, одержав победу над честными коммунистами при попустительстве органов власти, прокуратуры и правосудия?

Но я не следователь и не прокурор, не могу по одному подозрению, до суда наклеивать на человека ярлык преступника и объявлять его принародно таковым. Слишком много у нас самодеятельности — самодеятельных судей, следователей, расхитителей, свидетелей...

Любая «охота на ведьм» аморальна. Она несет растление обществу, потому что подрывает веру в законность и справедливость, извращает основные идеи, на которых строятся и отношения людей, и основы государственного устройства. Опасность эта тем страшнее, что, попирая закон, выступает под маской его строжайшего соблюдения; уничтожая человека как личность, заставляя клеветать на честных людей — провозглашает своим принципом гуманизм; глумясь над обществом — размахивает лозунгами демократии. Больше всего, пожалуй, меня потряс отмеченный в приговоре Гитерману факт, что в процессе следствия «под воздействием следователя и оперативных работников» подследственный возвел на себя самооговор. И это не вызвало протеста, частного определения в адрес работников ОБХСС, как если бы то было не экстраординарным случаем, ставящим под сомнение результаты всего следствия, требующим немедленного отстранения его работников, а обычным, нормальным делом.

На протяжении всего расследования я задавался вопросом: как это все могло произойти? Как могло случиться, что по крайней мере в двух случаях — Стрелкова и Коваленко — народный суд отказался принимать во внимание мнение народа, коллектива! Получалось, что все эти «дела» действительно были направлены против тех демократических преобразований, против той перестройки общества и экономики, которая началась в 1985 году. Это был поход всего отжившего, консервативного, против живых и здоровых сил общества.

С того момента, как я поставил последнюю точку в своем расследовании, прошло два года. За это время, преодолев сопротивление местных властей и областного аппарата УВД и юстиции, были полностью реабилитированы Ю. Е. Гитерман, А. П. Стрелков, Г. К. Подскочий и Н. В. Коваленко. Но справедливость «восторжествовала» только частично — никто не вступился за Е. В. Трощенкова, и «суд над судьями» так и не состоялся. Все та же лапландская Фемида сумела благополучно затянуть расследование об истязателях Гитермана и прекратить его... «за давностью времени», хотя речь шла о преступлениях против личности и общества, у которых не может быть срока давности.

Ну, что ж, Фемиде виднее...

Вл. НОВИКОВ

Дефицит дерзости

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЗАСТОЙ

И все-таки чего-то очень важного по-прежнему недостает. Чего же? Попробуем разобраться.

Солнечный свет, кажущийся нам предельно простым и вызывающий в нашем глазу ощущение в цветовом отношении нейтральное, на самом деле являет собою сложное по спектральному составу излучение. Иногда мы наблюдаем его в виде радуги, каждый из цветов которой естествен и необходим. Будем считать светом искусство, литературу, а цветами радуги — образующие спектр литературы и искусства направления, творческие тенденции, индивидуальные стили. Представим, что один из цветов — скажем, самый крайний, фиолетовый, нас раздражает. Попробуем его устранить. Не знаю, можно ли это сделать с точки зрения физики и во что тогда превратится радуга. Но знаю, что в литературе и искусстве это иногда сделать удавалось. Такая операция приводила в конечном счете к смазыванию всего спектра и торжеству одного цвета — серого.

Что же я разумею под фиолетовым цветом?

Новое, по-настоящему новое слово в искусстве. Новое настолько, что оно не может не вызвать недопонимание или просто непонимание, раздражение или протест. Готовность художника в своих поисках вступить в спор со здравым житейским смыслом во имя обретения новых ценностей более высокого и сложного порядка. Способность художника обогатить искусство не только ценным материалом, не только сверхзлободневными или запрещенными прежде темами, фактами и проблемами, но и принципиально новыми способами их образного, композиционного и словесного претворения. Преобладание эстетической энергии произведения над его непосредственно-информационной насыщенностью. Отчетливая, порою демонстративная непохожесть авторского языка и стиля на поэтику текущего потока, на среднестатистические нормативы... Вот всего этого в современной литературе очень мало, досадно мало.

Как же это все называется? Я бы с удовольствием предпочел неотчетливой метафоре строгий термин. Однако все терминологические эквиваленты для милого моему сердцу фиолетового цвета столь угрожающи, что напоминают статьи уголовного кодекса. «Авангардизм», «модернизм», «формализм» (иначе именуемый «формальным поиском»), «эксперимент» — все эти понятия у нас трактуются исключительно негативно. Заглянем в наш энциклопедический словарь: «Авангардизм — движение в художественной культуре 20 в., порывающее с существующими нормами и традициями, превращающее новизну выразительных средств в самоцель. Авангардизм, тесно связанный с модернизмом, отражает анархически-субъективистское индивидуалистическое мировоззрение». Ну, и так далее. Как, скажем, быть в нашей ситуации критику очень дерзкой книги или рецензенту сверхнеобычной рукописи? Ведь обозвать автора авангардистом — это медвежья услуга на грани доноса. «Авангардист» — один из синонимов к популярному у нас в застойные годы словечку «диссидент». С такой характеристикой если и не дадут срок, то не напечатают уж точно. У нас пока самый отчаянный искатель новых путей нуждается в справке о благонадежности, то бишь реалистичности,— иначе никакого ходу.

Если ж всерьез — досадно, что термины у нас превращены в ярлыки и клейма. Недаром академик Д. С. Лихачев в ответ на постоянное поношение авангардизма запальчиво воскликнул в одной журнальной беседе, что самым характерным авангардистом он считает протопопа Аввакума! По такой логике «авангардистами» предстают и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой. Ведь каждый из этих великих шел впереди своего времени, ломал привычные эстетические и языковые нормы. Но боюсь, что логика Д. С. Лихачева, как и моя стопроцентная готовность к ней присоединиться, слишком наивны и беззащитны перед идеологически изощренной «новоречью» (термин Дж. Оруэлла) тех «кругов», где из безопасной и односторонней борьбы со всяческими «измами» изготовляются надежные диссертации и делаются прочные карьеры.

В этих кругах жонглирование терминами и словесами ведется на уровне, недоступном для непосвященных. Здесь невиннейшим по исходной сути словам придается тревожно-криминальный смысл. Почему плохи авангардизм, модернизм (ср. modernus — «современный»), формализм и прочее? Разве зазорно идти в авангарде, быть современным, заботиться о совершенстве формы (особенно служителям муз)? «Там» ответят: в авангарде идти можно, но строем и ни в коем случае не опережая начальство. Современность хороша, но в соответствии с имеющимися установками. Форма, конечно, неотделима от содержания, но содержание все-таки важнее. Ведь совсем же как в оруэлловском «Скотном дворе»: все животные равны, но некоторые «равнее» других. Однако это циничное двоемыслие в художественной сфере мы раскусываем медленнее, чем в политической. И застой эстетический оказывается наименее выявленным из всех видов застоя.

Впрочем, спорить с бюрократическим сознанием не берусь: бесполезно переубеждать тех, кто ни в чем никогда убежден не был. Нашим чиновникам, сидящим «на искусстве», «на литературе», «на науке», и искусство, и литература, и наука глубоко безразличны. В этом их непобедимая сила. Ибо тот, кому что-то дорого, всегда проиграет в поединке с тем, для кого это «что-то» служит лишь средством. Они всегда согласны — вспомните библейский сюжет — разрубить младенца, и, чтобы спасти хрупкое тельце культуры, мы им опять уступим. А они, вооруженные непробиваемым двоемыслием, будут действовать по погоде. Пока на дворе солнышко, они делают приветливые лица и готовы «отчитаться», что у нас наряду с реализмом процветает и авангардизм (особенно если такую сценку надо будет разыграть перед Западом). Но как только вновь похолодает и надо будет на ком-то отыграться за неладьі с хозрасчетом и перебои с продовольствием, не станут ли наши функционеры взваливать всю вину на разгул демократии и козни плюрализма? И не придется ли один из первейших ударов на непонятные картины и замысловатые стихи? Было ведь уже такое, было.

Нет, не с ними разговор. И не с теми, на чье бескультурье и невежество бюрократы умело опираются. И тут мне видится некоторый обобщенный образ собеседника, того культурного Оппонента, к которому я обращаюсь.

«Знаете ли, голубчик,— доверительно и мягко говорит мне Оппонент,— я вообще не люблю всякого рода новаторства, авангардизма, словом — всякий выпендреж в искусстве. В этом отношении я, уж извините, консерватор». Отчего же не извинить мне моего симпатичного собеседника — тем более что он человек вполне достойный и порядочный. Литературу любит без притворства, умеет разговор украсить «вкусной» и нетривиальной цитатой. Уж он-то не припишет Баратынскому хрестоматийных тютчевских строк, как это могут сделать сегодня иные рьяные защитники национальных святынь. И новаторское искусство осуждает не «заочно», как многие, а зная его, так сказать, в лицо. Малевича не спутает с Кандинским и Шагалом и не зачислит в эмигранты. Будучи человеком культурным и терпимым, не назовет «Черный квадрат» Малевича дорожным знаком, как это недавно сделал И. Глазунов. Да и про самого Глазунова хорошо помнит, как тот вышел на орбиту именно в качестве авангардиста, а потом уже избрал своим идеалом похожесть и узнаваемость.

И главное — «консерватором» себя он называет с лукавой иронией, поскольку он настоящий либерал и прогрессист. Не лез в начальники, не клеймил позором — наоборот, еще и подписывал письма в защиту. Какие-то неприятности у него были точно, и со своей позиции он не сошел. Попробуй в споре с ним претендовать на позицию более прогрессивную — ты же в дураках и окажешься. Правда, Набоков где-то говорил, что российские политические прогрессисты ужасно консервативны в плане эстетическом. Но это сложное умственное построение он **там** придумал, **здесь** же позиция каждого литератора измеряется только по шкале социального радикализма, остальное — от лукавого.

В общем, остается допить кофе и разойтись восвояси. Но мне все-таки хочется как-то выйти на диалог. Я нервно ищу какое-то заветное общее слово, достаточно веское для Оппонента. Да, вот оно: культура. Сегодня наш пароль — культура. Теперь-то он не уйдет от принципиального разговора. Я начинаю говорить о том, что **экология культуры** предполагает уважение к разным художественным языкам, в том числе и заумным, невнятным, иррациональным, что профессионал, труженик культуры (а мой Оппонент — это чаще всего критик, литературовед) просто обязан вникать в самые непривычные художественные системы и понимать их, видеть их место в общей картине. Консерватизм, чрезмерная приверженность к золотой середине и апробированной традиционности — это в какой-то степени недостаток культуры.

— Культуры? Но не ваши ли любимые авангардисты как раз культуре себя и противопоставляли? Не они ли тужились сбросить классику с корабля современности? Разве не кричал Маяковский в 1918 году: «А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям по стенке музеев тенькать. Стодюймовками глоток старье расстреливай!» Или еще:

«А почему ие атакован Пушкин? А прочие генералы классики?» И не авангард ли так упорно выступал против искусства как такового, пытаясь подменить его то дизайном, то «литературой факта», то «социальным заказом»?

— На это я вам отвечу, что любого художника, любое художественное направление все же надлежит оценивать не по декларациям и манифестам, а по реальному вкладу в искусство, в сокровищницу его ценностей. Ведь не раз бывало так, что отрицание поэзии высказывалось в замечательных по выразительности, в подлинно поэтических строках. Культура должна быть терпимой и всепонимающей, умеющей без обиды сносить даже полемическое отрицание искусства, если такое отрицание сопровождается созиданием нового, приумножением ценностей.

— Не знаю, как насчет приумножения. Все-таки вы не станете отрицать, что авангардистское искусство тесно смыкалось с ультрареволюционными тенденциями, охотно сотрудничало с официозом. В общем, вашн новаторы довольно удачно устроились в той социальной ситуации — в то время, как традиционалисты либо оказались в эмиграции, либо были обречены на молчание и забвение.

— Сложнее все обстояло. Такой матерый реалист, как Алексей Толстой, например, в 1937 году зарабатывал на хлеб, воспевая Сталина в «Хлебе», да и «Хождение по мукам» сегодня мы не назовем образцом социальной правдивости. А модернист Мандельштам... В общем, что там говорить. Думаю, ни вам, ни мне не нужна схема, изображающая традиционалистов гордыми и независимыми рыцарями, а новаторов приспособленцами — точно так же, как наоборот. Тут к каждому случаю надо подходить индивидуально.

Что же касается взаимоотношений авангарда с революцией и последовавшими за ней социальными преобразоваииями... Понимаете, тут тоже зависимость не элементарная. Тут прежде всего созвучие бури социальной и творческого, мятежного духа. Художественному новаторству бывает присуща некоторая утопичиость, желание — порою наивное — найти в политической истории аналогию своим стилевым открытиям. Бывает, что в своих художествеиных искаииях новатор уходит далеко вперед, заходит дальше любых социальных революций — таков путь Хлебникова. В других случаях художественная утопия сама перерастает в трагическую антиутопию — как у Филонова, Заболоцкого, Платонова. А бывает, мечтательное конструирование оборачивается романтическим одиночеством, безысходностью — «точкой пули» Маяковского. Так что едва ли стоит поддерживать новейший миф о засилье авангардистов в официальных культурных инстанциях послереволюционных лет. Достаточно быстро их оттуда выкорчевали. И уж совсем нечестно приписывать таким художникам, сгоревшим в костре сталинизма, как Мейерхольд, участие в разжигании этого костра.

Пути искусства и политики, конечно, пересекаются и переплетаются, но все-таки это два пути, а не один. Блок говорил в предисловии к «Возмездию» о «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики». Про нераздельность мы все хорошо помним, а вот о «неслиянности» забыли начисто. Отсюда взгляд на наше искусство начала века как иа «кризис», «крушение» и прочее. Но на исходе столетия пора, наконец, понять, что новаторский художественный поиск первой четверти XX века, смелые эксперименты предреволюционных и первых послереволюционных лет — это расцвет нашей культуры. «Испепеляющие годы» ознаменовались созданием грандиозных ценностей — и национального, и общечеловеческого масштаба. Символизм, акмеизм, футуризм, утверждавшиеся в полемике с классикой XIX века, в общекультурном итоге слились с нею. Выработанной ими новаторской энергии надолго хватило.

И главное свойство литературы и искусства этого времени — многообразие течений и направлений, прелесть творческого плюрализма. А авангард в этой культуриой системе выполнял необходимую роль закваски, роль дразнящую и стимулирующую. Бунин мог сколько угодно ругать Блока, но именно в такой атмосфере борьбы, острой конкуренции со стороны «декадентов» он сам сформировался не как эпигон прошлого века, а как виртуоз пластичиого слова — и в поэзии, и в прозе. У нас ведь чуть что — начинают «оправдывать» художника: дескать, отошел от своей школы, преодолел ее. Возьмем хотя бы такую отнюдь не самую могучую авангардистскую школу, как имажинизм. «Есениноведы» наши только и делают, что «смывают» с имени и репутации Есенина имажинистскую печать. А зачем? Ведь Есенин немыслим без своих замечательных «имажей», без месяца, роняющего весла по озерам, без «розы белой с черною жабой». И как грустно смотреть на нынешних подражателей Есенина, молодых и немолодых, которые имитируют его почерк, «избегая выкрутасов». Нет, без розового коня на есенинскую дорогу не выехать. И сколько раз ни выступят на ежегодных однообразных праздниках в Константинове наши стихотворцы-«традиционалисты», к Есенину они не приблизятся ни на вот столько.

Ультрафиолетовое излучение авангарда помогало прорасти самым разнообразным художественным цветам. Вспомним замечательный творческий ансамбль «Серапионовых братьев», где в радуге талантов каждый обладал своим цветом, где мужественная романтика Тихонова уживалась с иронически-раздвоенным зощенковским сказом, фабульная фантастика Каверина — с психологическим

рисунком Федина (не надо забывать, что и Тихонов, и Федин были настоящими мастерами слова, пока их ие сгубили чины и знатность), где, наконец, творческий клич Льва Луица «На Запад!» ничуть не мешал Всеволоду Иванову упрямо двигаться на Восток. Своею разиостью «серапионы» были друг другу интересны, а объединял их дух новаторства, понимание того, что в карете прошлого далеко не уедешь.

Яркий образец творческого плюрализма внутри литературного течения являло ОБЭРИУ. Называя себя «новым отрядом левого революционного искусства» (без всякого, конечно, политического смысла), обэриуты вместе с тем и самих себя подразделяли на «левых» и «правых». В статье «Поэзия обэриутов», написанной от имени всей группы Н. Заболоцким, сказано: «...Полагают, что литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров — а не подмастерьев, художников — а ие маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает, чем связан с остальными». И далее Заболоцкий обрисовывает спектр индивидуальных особенностей своих товарищей, начиная с Александра Введенского и говоря о ием: «крайняя левая нашего объедииения». Понимаете? Мы-то сегодня о «левом» и «праном» иачалах только в политическом смысле говорим, а у них речь шла о направлениях творческого поиска. Введенский из всех обэриутов был наиболее иррационален, последователен в высвобождении от пут житейской логики. Более логичный и склонный к мотивированности образов, Заболоцкий себя ощущал «правым». Но обэриутской школе в равной мере нужны были и тот и другой векторы. Они и «чужих» не желали по себе кроить, и «своих» дифференцировали, близнецами быть не хотели.

Для авангарда все-таки главная единица творческого процесса даже не течение, не группа, а — творческая личность, единственный в своем роде талант. Поэтому и не спутаешь Кандинского с Малевичем, но так легко спутать Лактионова с Шиловым (только в мебели да в ширине пиджачных лацканов перемена). При всей своей любви к технике, конструированию и дизайну авангард — решительный враг стандарта и унификации. Независимо от конкретных политических позиций отдельных художников-авангардистов русский авангард был мощной духовной антитезой набиравшему силу тоталитаризму.

Поэтому он и был ликвидирован в ходе сплошной коллективизации литературы и искусства, покончившей с творческим плюрализмом. Историкам литературы еще предстоит честно разобраться в этой хитрой сталинской акции. Но уже сегодня ясно: нельзя больше держаться за старый миф о том, что торжество принудительно-усредненного «реализма» было большим благом, что наша литература развивалась, «несмотря» на групповые споры и «благодаря» партийно-государственному руководству. Как раз иесмотря на такое руководство, несмотря на сталинско-ждановский террор, она выстояла и во миогом благодаря тому культурно-творческому опыту, который был накоплен разными литературными группами. РАПП формально прикрыли (слишком уж прямолинейны были его ножди в утверждении административных методов), ио кончилось все еще более глухим РАППом: разве Жданов намного лучше Авербаха? Согнать всех писателей (и художников, и композиторов) в одиу казарму — это был ход тонкий и коварный, сущиость и последствия его еще ие осознаны нами. Ведь последствия-то до сих пор дают о себе знать. И прежде всего — в отсутствии у многих современных профессиональных литераторов каких-либо творческих убеждений. Я имею в виду не позицию иасчет поворота рек или повышения цен, а художественную программу, творческое отношение к слову, самоопределение в жанровом, стилевом отношениях. Здесь преобладающей позицией является бесхребетность и расслабленность.

Мы с вами хорошо знаем, кто у нас левый, кто правый, кто «центрист» в литературно-политических схватках. А если посмотреть так, как это делали в двадцатые годы, где левая, где правая сторона в художественных исканиях иаших дней? Да большинство нынешних профессиональных литераторов по этой модели просто не могут быть квалифицированны, они просто не дотягивают до такой эстетической характеристики, оставаясь ни слева, ии справа, а в одиообразно-непроходимом болоте.

И, заметьте, в нашем мире искусств набыченное недоверие к новаторству особенно культивируется в среде литературной. Боюсь, что при всей своей любви к архитектуре, к музыке, к киио Иосиф Виссарионович с Андреем Александровичем наибольших успехов достигли все же в руководстве искусством слова, в командовании инженерамн человеческих душ. Скажем, ведь кинематографисты своего Тарковского и в чернейшие времена считали вершиной кииоискусства, а не только киноавангарда. Да и теперь малопонятный большинству Сокуров, самый «ультрафиолетовый» режиссер наших дней, занял свое неоспоримое место в радуге киностилей. А в музыке? Все-таки обозвать «выпендрежем» творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной уважающий себя профессионал уже не рискнет. Конечно, их отнюдь ие все понимают и любят, но активная нелюбовь к композиторам-авангардистам со стороны музыкального критика уже будет признана свидетельством недостаточно развитого вкуса. И только в мире словесиости безыскусность, иезатейливость почитается главной, если не единственной мерой поло-

жительной эстетической оценки. Большая часть наших критиков до сих пор числит в иррациональных «заумниках» Вознесенского, недолюбливает за якобы «оригинальничанье» Ахмадулину и Мориц — при всем том, что стихи этих трех поэтов в общем-то свободны от логической «запутанности» и «авангардистами» их можно считать не в большей степени, чем «традиционалистами». Если ж взять творчество наиболее последовательного максималиста словесного поиска — Виктора Сосноры (именно его стихи типологически сходны с киноязыком Тарковского), то нашей критике оно оказалось решительно не по зубам, и критика отделывается от него либо молчанием, либо претензиями, весьма напоминающими незабвенную формулу «сумбур вместо музыки». А как встретили наши литераторы своих Сокуровых, то есть Жданова, Парщикова, Еременко? Вам не приходило в голову, что это просто некультурно — не понимать стихи Сосноры, отвергать с порога Парщикова и Жданова? Ведь культура — от латинского — «возделывание». Почему же вы так бережете свое эстетическое восприятие от острого плуга необычного поэтического слова?

Оппонент морщится:

— Знаете, когда я читаю подобные вещи, я всегда думаю, что все это уже было в двадцатые годы. И было гораздо лучше. Так что я уж скорее готов принять тогдашних авангардистов, хотя они мне и не очень симпатичны.

— Что значит «уже было»? Ямб «уже был» задолго до Пушкина, но вы его этим корить не станете. В искусстве существуют какие-то неизбежные переклички, исторически повторяющиеся закономерности. В конце концов авангард двадцатых годов заложил основы новой традиции, которая продолжает жить, несмотря на все гонения и препоны. Если уж на то пошло, мы сейчас и в политике, и в экономике, и в науке пытаемся возродить многое из того, что «уже было» в начале века и «еще было» в первые послереволюционные годы. А считать, что тогдашний авангард был «лучше» — это, извините, слишком легкодоступная модель мышления, для этого никакой самостоятельности не требуется. Сегодняшнее новаторство оценить и принять куда труднее, поскольку рядом с талантами непременно топчутся какие-нибудь псевдоавангардисты. Но вот что особенно меня удивляет. Появился Жданов — «это уже было у Мандельштама», появился Еременко — «это уже было у обэриутов». Но ведь, чтобы выйти на связь с Мандельштамом или обэриутами, нужны и талант, и смелость, и нетривиальность личности. В то же время про абсолютное большинство молодых стихотворцев можно сказать с полным основанием: это уже было у сегодняшних посредственных поэтов. И такое сходство не считается криминалом.

Даже удивительно, что в условиях такой железной эстетической цензуры на всех уровнях у нас уцелели Жданов и Парщиков, Еременко и Кутик, Кривулин и Е. Шварц, что появляются новые рыцари слова, не спрашивающие у старших товарищей, как писать, а сами выбирающие форму и вместе с нею содержание. Называют их по-разному, и сами ярлыки показательны. До какой же всеобщей неграмотности надо было дойти нашему литературному люду, чтобы обозвать нестандартную молодежь «метафористами»! Со времен Аристотеля умение создавать метафоры считалось непременным свойством поэтического таланта. «Метафористами» были Данте и Шекспир, Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Фет. Понимают ли «антиметафористы», что они тем самым себя самих выводят за пределы поэзии?

А ведь и то сказать: за пределами того круга «условно молодых» поэтов, о которых мы говорим, как-то не удается обнаружить мало-мальски значительный голос. Я внимательно слежу за всеми попытками критиков-«традиционалистов» найти убедительную альтернативу авангардистам (они же «нонконформисты»), но все выдвигаемые кандидатуры — такая уж бледная немочь, что со стороны «охранительных» литературных кругов, что из лагеря «прогрессистов»! Вот ведь к чему приводит аллергия на новаторство! Между тем в стане авангардистов и свои весьма недурные традиционалисты есть — О. Седакова, например. Иначе говоря, ультрафиолетовый цвет за собою всю радугу тянет.

И хватит демагогии на темы «формального поиска»! Молодые авангардисты именно содержание новое принесли. На фоне бесчисленных элегий о детстве (городском ли, деревенском — все равно), на фоне фальшивых од армейским будням, на фоне жутко «однаробразных» пейзажей — появилась поэзия, которая заговорила о самом главном и самом страшном — об угрозе уничтожения мира. А. Адамович призывал к созданию «сверхлитературы», такой литературы, внутри которой уже разорвалась бомба. И она разорвалась — но там, где этого (как всегда!) меньше всего ждали,— в «элитарной» с виду поэзии. Взорвалась на уровне стиля, на уровне образной структуры. Жданов, Парщиков, Еременко пишут нам письма с третьей мировой войны (как, кстати, и Сокуров, раскрывший в «Скорбном бесчувствии» ту же самую тему):

Можно сделать парик из волос Артемиды,
после смерти отросших в эфесском
пожаре,
чтобы им увенчать безголовое тело,
тиражировать шок, распечатать обиды
или лучше надежду представить в товаре,
но нельзя, потому что... И в этом все дело.

(И. Жданов)

Не желая, подобно конформистам стиля представлять «надежду в товаре»,

осмеянные авангардисты отважно берутся творить космос из самого страшного хаоса, из грядущего «шока» и вселенского пожара. Понятно, что привычно-готовым языком такую задачу не решить.

А критике надо — хочет она этого или не хочет — этот новый язык постигать, переводить его на другие культурные языки. Ведь, по совести говоря, квалификация критика предполагает большую умственную и эмоциональную мобильность, чем у «рядового» читателя. А вышло так, что с «нонконформистами» наша критика в целом профессионально не справилась, они утвердились в читательском мире, несмотря на позицию строгих судей, которые в данном случае показали себя образцовыми эстетическими конформистами. И только ли эстетическими?

Двадцать с лишним лет нельзя было у нас писать об Иосифе Бродском и даже упоминать его имя. Но учитывать его поиски и открытия при анализе современной русской поэзии — это кто ж запрещал? Читали же — что там притворяться — и «Остановку в пустыне», и «Конец прекрасной эпохи»... Но о том, чтобы перестроить, расширить свои эстетические представления и новым, обогащенным зрением окинуть поэзию подцензурную,— такой роскоши себе критика почему-то не позволяла. Кстати, таким способом и «нонконформистов» прочесть было бы сподручнее: они-то все формировались в присутствии Бродского, так или иначе на него ориентируясь. Понимаете, критика не всегда имела возможность высказываться на социально-политические темы, но творчески мыслить, быть движущейся эстетикой — этой «тайной свободы» у критики никто не отнимал и отнять не мог.

В поэтическом мире Бродского — множество традиционно-культурных пластов, избыток реминисценций. И все это не становится музеем, поскольку одушевлено стихией самодовлеющего, не ведающего никаких ограничений слова, внутренне близкого «самовитому» слову русского поэтического авангарда десятых — двадцатых годов. Вот строки из стихотворения «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»:

У всего есть предел:
горизонт — у зрачка, у отчаянья —
память, для роста —
расширение плеч.
Только звук отделяться способен от тел,
вроде призрака, Томас. Сиротство
звука, Томас, есть речь!

И еще:

Вот чем дышит вселенная. Вот
что петух кукарекал
упреждая гортани великую сушь!
Воздух — вещь языка.
Небосвод —
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии — душ.

Нет пророка в своем отечестве, и мы, как не раз показал опыт, признаем пророками только тех, кого уже вытолкали из Отечества: в эмиграцию или в могилу. Пока же, как говорится, волшебники живут среди нас, мы творимых ими чудес в упор не видим. Я возвращаюсь к разговору о Викторе Сосноре. Именно его творчество, по моему убеждению, являет для современной русской поэзии крайний предел словесного эксперимента, самое ультрафиолетовое излучение, по отношению к которому даже поэтический язык Бродского предстает, так сказать, сопредельным «синим» цветом. Надеюсь, меня поймут правильно: цвета здесь не имеют оценочного значения, это чисто аналитические характеристики. Речь идет исключительно об интенсивности языковых трансформаций, о степени «лингвистического неповиновения» (прибегая к формуле самого И. Бродского), а уж кому больше по вкусу синий цвет, кому фиолетовый — это совсем другой вопрос.

Произведения Сосноры опубликованы в нашей стране процентов на десять. И причиной тому не только политическая цензура, но и цензура эстетическая. Поэтому я для наглядности процитирую кусок одного из программных стихотворений поэта «Мой монгол» (1976) по его книге «Избранное» (Ардис, Анн Арбор, 1987). Это широкое и свободное раздумье о судьбе России в парадоксальной форме диалога с Чингисханом, посетившим автора в его маленькой комнате на улице Зодчего Росси. И вот — заключительная часть:

Уже обсуждая абсурды тринадцатого века
да царства двадцатого — театры
террора,—
я, телепатически что ли, а может,
взаправду — желтел.
Я, за решеткой вскормленный
(темница, клоповник!)
Ох и орел в неволе, юный, как Ной!
В иго играли вы, вурдалак,
теперь я — ваше иго.
С миской кумыса смотрим в окно
(онанизм!)
А за окном — ваокеанье, зов!
Улей наш утренний, не умоляй —
«улетим!»
Или — давай! Но куда? Тюрьмы
фруктового яда.
Пчелам с орлами не быть в небесах
(жало и клюв?!).
Не улыбаться нам на балах,
не для нас глобус любви,
если душа — пропасть предательств,
лицо — ненависти клеймо.
Да! Ну давай! С этих утренних улиц,
толп лилипутов, тритонов труда,
пусть им — невроз ноября, месса мая,
бедный товарищ! — кровавую пищу илюем.

Правда же,— пропадом!
Воздух взнуздаем и, как говорится,—
день занимался!..
В каплях притворствовал Петербург...
Замахаем крылами волос! —
Вот венец, Ванька Каин! Я — автор
комических книг,
вор, поэт, полицейский,— в общем,
отрок Отчизны.
О, великий, могучий, правдивый,
свободный... занк!..
Отучили.
Музицирует время. Я — Маленький
с буквы большой.
Что мои зайцезвуки — на цезарь-
скрижали!
Фраза: «Гости съезжались на дачу».
Кивкю башкой:
— Ну, съезжались.

Простаков, Хлестаков, Смердяков да
Обломов т. п.—
«татарва да пся крев, жидовня да
чухонцы»?
Слава Вам, кино-Конь! Пульт Петра,
сталь столица — теперь!
Что ж ты хочешь?
Ремонтируя души,
как овчарню храня от волчат,
Суздаль от Чингисхана, Плесков —
от венчанья,
как от веча — Новград,
как от чуда — Москву... Отвечай!
Отвечаю:
— Это самопародия. Ах, извините, люблю
эволюцию литер: «О» — «ЧА».
Как бикфордов-свеча нагораю...
Пальцы в клавиши, как окурки,
вдавлю.
Не играю.

Здесь — очень индивидуальное ощущение трагизма российской жизни. Трагизма рокового — и вместе с тем высокого. Здесь и боль за человека, за «бедного товарища», равно униженного жизнью и в тринадцатом, и в двадцатом веке. И тема эта развивается не декларативно, а музыкально, симфонически. Чтобы передать, как «музицирует время», поэт извлекает энергию из самых глубин русского языка, продолжая хлебниковскую работу осмысления корневых созвучий, создавая свободный от обыденной логики синтаксис. И свободный стих, свободный настолько, что верлибр здесь то и дело чередуется с метрически регулярным, безрифменные строки — с рифмованными. Этим Соснора резко отличается от тех нынешних «верлибристов», которые боятся сделать шаг в сторону от верлибра. Для Сосноры ритм — не «художественное средство», а само содержание, непосредственное выражение чувств. Потому-то он так решительно завершает стихотворение словами: «Не играю».

Перед нами не ребус, подлежащий расшифровке, а эмоциональный ток, который нужно вобрать в себя, пропустить через свою читательскую душу. Тут надо не по словечку и не по строчке мусолить, почему так сказано, а не сяк, почему, допустим, фальконетовский монумент назван «кино-Конь» и «пульт Петра»,— тут надо уловить строй всего авторского языка. Стих, как говорил Тынянов,— это «человеческая речь, переросшая сама себя». Ни к кому из ныне работающих русских поэтов это определение неприложимо в такой степени, как к Сосноре. Вот оно, последнее слово современного языкотворчества. Понимаю, что многие — особенно профессиональные критики, пишущие о проблемах поэзии,— таких нестандартных стихов не любят. Соснора — космонавт слова и стиха, а у большинства на таких высотах сразу кружится голова, и им милее летать пониже к земле — скажем, вместе с В. Соколовым, О. Чухонцевым, В. Корниловым, пишущими просто, не выходящими за пределы «нормальной» речи и добропорядочного набора привычных, проверенных ритмических конструкций. Но не грех ведь хотя бы поинтересоваться, какие в нашей поэзии крайности существуют. Отсюда, может быть, отчетливее увидятся и какие-то черты поэтики «середины», столь любезной нынешним критическим сердцам.

К тому же современные критики почему-то присваивают «середине» монополию на преемственную связь с классикой, отождествляя понятие «традиционности» с творческой умеренностью и аккуратностью. В итоге же они находят Пушкину, Тютчеву и Некрасову таких худосочных «продолжателей», что как-то обидно становится за великих (великих, добавим, новаторов) XIX столетия. Серьезно же говоря, на прямую связь с классикой прошлого века современному поэту не выйти без более близких по времени исторических посредников. Иными словами, традиционные переклички с «золотым» веком происходят непременно с участием века «серебряного»: с Пушкиным уже не поговорить «через голову» Блока, с Тютчевым — минуя опыт Мандельштама. А то иной раз возникают неоправданные претензии и наивные иллюзии. Иной обладатель традиционалистского почерка полагает, что он идет «пушкинским» или «некрасовским» путем, а на самом деле его личные традиционные корни тянутся не далее Рыленкова или Смелякова. В то же время в ультрасовременном стихе вдруг слышатся не только переклички с началом нашего века, но и сверхдальнее эхо.

...Впрочем, что это мы все о поэзии да о поэзии? Разве в нынешней литературной ситуации она на первом плане? Ведь все мысли, разговоры и споры теперь сосредоточены на прозе. Столько книг, журнальных публикаций, сколько воскрешенных имен... Откроешь, к примеру, номер «Знамени» с замятинским «Мы» — это точно о нас, ближе и точнее некуда. Но я, простите, все о своем, о материях эстетических, о доле поэзии в прозе, о качестве языка. Вот у Замятина: «Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как мне кажется, блестящую идею...» Жесткая, беспощадная речь, каждый синтаксический обрыв как удар током. И вот после этого электрошока открываешь прозаические вещи, написанные сегодня: аморфность, вялое многословие, бескрасочность... В нынешней литературной ситуации — в силу причин социально-цензурных — столкнулись несколько временных пластов. И наше литературное прошлое оказалось сильнее и крепче настоящего, ближе к тревожно-загадочному будущему страны и планеты. Кто сегодня самые современные прозаики? Замятин и Платонов. И не только потому, что они были умнее и честнее большинства наших писателей 20—30-х годов. Разве уже тогда не понимали многие и преступную сущность сталинизма, и антигуманный авантюризм коллективизации? Понимали, но не имели в руках никакого оружия.

А у Замятина и Платонова было современнейшее оружие Слова. Слова новаторского, в своем смысловом движении забегавшего вперед, способного к множеству аналитических операций, к проникновению в глубины, недоступные для психологического реализма.

Сейчас у нас проза (драматургическая в том числе) выполняет во многом роль и функции общественной информации. Так уж получается, что новые версии партийной истории обкатываются не на ученых советах и не на конференциях, а на сценах МХАТа и Театра имени Вахтангова, где ставятся пьесы М. Шатрова. Так уж получается, что из дудинцевского романа «Белые одежды» миллионы соотечественников черпают представление о лысенковщине: ведь фактографические книги Жореса Медведева на эту тему им до сих пор недоступны. Так уж получается, что романный цикл А. Рыбакова «Дети Арбата» — «Тридцать пятый и другие годы» воспринят в первую очередь как биография Сталина. Литературе пришлось вытягивать тяжелейший воз фактов и проблем, подлежащих исследованию исторической наукой, которой у нас долгое время просто не было. Прибавьте к этому тот печальный факт, что на протяжении почти семи десятилетий в наших официальных источниках дезинформация преобладала над информацией. Как тут не понять читателя, позиция которого ныне напоминает название детского киножурнала «Хочу все знать» и которому пока не до художественных оттенков! Боюсь, что новый Замятин или Платонов, еще не «расшифрованный» и не прославленный, просто оказался бы не понят и даже не прочитан как следует, получив «отлуп» у первого же редактора или рецензента (как, впрочем, и новый поэт, принесший в журнал «Стихи о неизвестном солдате»,— не принадлежи они Мандельштаму: семантическая сложность позволена только покойникам).

И писателям, и критикам, размышляющим о прозе, не до эстетических проблем. «Архаисты» с «новаторами» не спорят — спорят традиционалисты с традиционалистами на социальные, исторические, экономические темы. Поскольку публичные политические дискуссии между профессиональными политиками у нас пока еще не практикуются, почему бы прозаикам и критикам не восполнить этот существенный пробел? Допускаю, что политические споры важнее творческих. Допускаю даже, что потребность человека в информации важнее и насущнее, чем его потребность в искусстве. Но утолит ли наша проза и драматургия всеобщую жажду правды, действуя старыми художественными средствами?

Тут я хотел бы сказать что-нибудь запальчивое в духе чеховского Треплева: новые формы нужны и т. п., если бы в «Книжном обозрении» не прочитал недавно такие слова В. Розова: «О чем и как надо сейчас писать?.. Знаю, что надо совсем по-новому, потому что старый стиль устарел. Но жду этого не от себя, а от других — от молодых писателей, которые вдруг появятся». «Старый стиль изжил себя»,— как это верно по отношению к стилю нашей прозы и драматургии в целом! И, заметьте, говорит это не какой-нибудь джинсово-бородатый модернист, а крепкий реалист, мастер психологической драмы. Пожалуй, главный противник новаторства не традиционность (в высоком, подлинном смысле слова), а творческая бесхарактерность, нежелание и неспособность искать.

Прозаики, условно говоря, среднего поколения сегодня явно не выдерживают конкуренции с архивными публикациями, с «задержанными» произведениями. Понятно поэтому, что они бешено ревнуют читателя, скажем, к Рыбакову, стремясь сказать о «Детях Арбата» как можно больше нелестного. Но подобно тому, как Розов не мешает утверждаться в драматургии «новой волне», так и Рыбаков никого не сталкивает с прозаического Парнаса (достаточно, заметим, просторного). Другое дело, что Рыбаков, оставив неизгладимый след в художественной «сталиниане», исчерпал, по-видимому, возможности психологически мотивированного изображения «вождя»: созданный писателем образ энергичной и властолюбивой посредственности достаточно убедителен, пластичен, внятно «озвучен» в речевом плане — второй такой Сталин в прозе уже невозможен и ненужен. Но возможность лепить своего Сталина открыта для всякого пишущего — только здесь уже понадобятся новые формы, вероятно, более условные. Так и только так, в порядке свободной творческой конкуренции, стоит спорить с Рыбаковым. Впрочем, в новом стилевом освещении нуждается и наша непростая, тревожно-подвижная современность.

«Старый стиль изжил себя...» И чисто информационной остротой уже не прикрыть разваливающуюся архаическую структуру. Читая, к примеру, «Интердевочку» В. Кунина, мы уже не можем не видеть, как старомодная сюжетная конструкция на корню губит злободневный и колоритный материал. Тут нужен был какой-то новый угол зрения на социальную жизнь, новый язык. Мы знаем, что проза вкупе со средствами информации долгие годы не говорила ни словечка о проституции, о наркомании, об организованной преступности, о чудовищном унижении человека в армии. Это сейчас многим кажется главным упущением. А стиль, опять полагаем, дело наживное. Хотя не так уж много мы вспомним конкретных примеров того, чтобы безликий писатель «нажил» себе приличный стиль. Так или иначе, стилевое изобретательство сейчас в нашей прозе настолько непопулярно, что его единичные проявления могут оказаться просто незамеченными.

Характерный пример — судьба ленинградского прозаика Валерия Попова. Эксцентричные сюжеты и характеры, неистощимое остроумие, ни на кого не по-

хожий язык, напомнивший, по точному наблюдению Л. Аннинского, «юмор обэриутов и серьезность Зощенко»,— всем этим, казалось бы, наша теперешняя проза не балует. Но в моде у нас — которое уже десятилетие подряд — умеренные тона, и «ультрафиолетовая» избыточность Попова остается как бы невостребованной литературным сознанием. С читателем вроде бы у Попова нет проблем: книги регулярно выходят и раскупаются моментально, а вот в сплоченных рядах похожих друг на друга коллег-прозаиков он смотрится совершенно лишним.

Метод Попова — фантастический реализм. Он подает свои гиперболы с такой обезоруживающе-естественной интонацией, в такой непринужденной «мягкой манере» (его собственная формула), что они порой даже гиперболами не кажутся: «В последний день перед отлетом на конференцию вдруг решено было взять вместо меня уборщицу. Ну что ж, это можно понять: от меня — какой толк? Ну — отбубню я свое сообщение, и все; — а та и уберет, и постирает, к тому же — молодая очаровательная женщина — это тоже немаловажно! Но, к счастью для меня, уборщица от поездки отказалась...»

Это начало рассказа «Третьи будут первыми». Мы читаем и поначалу подвоха не чувствуем: ну, послали уборщицу. Но ведь это же с точки зрения здравого смысла абсурд! А мы его как должное принимаем: слишком привыкли. Уборщица не уборщица, а притерпелись мы ко всему. И к тому, что вместо настоящих ученых за рубеж посылают полуграмотных конъюнктурщиков, над которыми хохочет вся Европа, и к тому, что почетные звания, академические лавры сначала распределяются среди чиновников, а уж из того, что останется, иной раз и ученого увенчают. Вот что стоит за иронической гиперболой, недурным средством социальной диагностики.

Гиперболизм пронизывает у Попова всю речевую ткань. Вот героя-рассказчика приятель предлагает ввести в «колбасные круги»: каламбур, казалось бы, но за ним — уродство нашей социальной структуры, где «круги», причастные к распределению колбасы, взаимодействуют с «кругами» самыми высокими. Или вот герою предлагают устроиться «редактором кладбища». Абсурд? Да нет, у нас ведь и места захоронения, и даты смерти — все подлежало «редактированию». А вот рассказ «В городе Ю.», где изображена зловещая и вместе с тем нелепая провинциальная мафия, кутящая в помещении детской больницы и распивающая «младенцовку». Ужас вызывает само словечко: что это — похищенный у детсадовской медицины спирт или (не дай бог!) настойка на младенцах? Но в том и смысл гиперболы, что с невиннейших с виду хищений начинается та самая детская смертность, по которой мы вышли на ведущие позиции в мире. А главарь мафии расхаживает в ушанке с прорезью, куда все его клевреты должны регулярно опускать пятаки, как в автобусную кассу. Смешно? Но и серьезно вместе с тем: разве в наших обер-жуликах жадность не сочетается с плюшкинской мелочностью и ничтожностью — вспомните, какая пустячная галантерея попадалась в завалах награбленного Щелоковым добра!

Вот в такой гиперболической заостренности, в сложной художественной игре большими и малыми величинами видятся мне богатые новаторские ресурсы прозы. С надеждой смотрю и на более молодых прозаиков, не чуждых стихии фантастического реализма: Татьяну Толстую, Евгения Попова, Вячеслава Пьецуха. Им бы еще набраться в несколько раз большей смелости, не держаться за уютно-каноничную новеллистическую форму с довольно предсказуемым «пуантиком» в финале — и тогда уныло-жизнеподобному реализму в нашей прозе выстроится убедительная альтернатива. Очень, очень ее не хватает пока.

...Пишу я эти строки и слышу, как телевизионный комментатор С. Бестужева извещает: на Кузнецком мосту, где только что прошла выставка авангардистов, теперь открылась выставка художников, продолжающих национальные традиции,— А. Грицая, Ю. Кугача и прочих. Хочется спросить С. Бестужеву: кто же стоит ближе к нашей иконе и к Андрею Рублеву — авангардистка И. Старженецкая с ее пронзительной русской тоской или гладенькие А. Грицай и Ю. Кугач, чьи благополучные полотна очень подходят для украшения начальственных кабинетов? И вообще — что это за нелепое противопоставление «национального» и «авангардистского»?

Вместе со мною недоумевает обитающий на моем письменном столе дымковский петух, сверкая всеми своими невозможными цветами и гордясь своими невероятно-авангардистскими пропорциями и формами. Говорят, в сталинские времена дымковских мастериц пытались принудить к реалистическому изображению домашней птицы, и тогда одна из художниц наивно спросила: «А зачем? Настоящий петух и так у меня по двору ходит».

Нет, национальное, народное искусство — один из главных родников, которыми новаторство питается. И подобно русскому авангарду (которым мы имеем полное право гордиться) свой неповторимый вариант авангардистского сознания есть у каждого народа. Историкам культуры еще предстоит выяснить и показать, сколько талантов авангардистского склада было погублено, сколько новаторских ценностей растеряно и разрушено в каждой из наших многострадальных республик. Ведь на всесоюзную арену ловко вылезали именно «реалисты», хорошо понимавшие конъюнктуру,— от «писателя» Рашидова до нынешних азербайджанских «аксакалов», пресмыкавшихся перед Алиевым.

С настоящим, полноценным реализмом авангардизм может плодотворно сотрудничать. Главный же враг авангардизма — бюрократический реализм, созданный сталинской тоталитарной системой, господствовавший в эстетическом сознании застойных лет и продолжающий жить сегодня. Поэтому пусть не обидятся на меня прогрессивные писатели и критики, твердые в своем эстетическом консерватизме и не переносящие авангардистских «заскоков», если я откровенно скажу, что присущий им склад эстетического сознания — одно из дальних последствий сталинизма.

Тут я вновь слышу голос Оппонента:

— Ну, вот вы все защищаете свой авангардизм, отводите от него всевозможные упреки. А в чем, собственно, ценность всех этих выкрутасов? За что все это можно любить?

— Что ж, я готов раскрыть карты и сказать прямо, в чем я вижу идеальную, созидательную суть художественного новаторства. Или, проще говоря, за что я люблю все это.

Чем, по-моему, отличается искусство как таковое от всего остального в мире, от социального бытия в особенности? Тем, что художнику доступна несоизмеримо большая свобода, чем кому бы то ни было. Конечно, диалектика свободы и необходимости на искусство тоже распространяется: здесь это выражается в диалектике новаторства и традиции. Но специфика, счастливая специфика искусства — это смещенность, сдвинутость его диалектической структуры к полюсу свободы. И новаторство, какими бы терминами его ни обзывать,— это чистое, без примесей, вещество свободы. Помните: «Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы...» В реальной, так сказать, жизни она недолго нагая проходила, Иосиф Виссарионович ее живо обмундировал в арестантскую робу. Но в искусстве-то она была, есть и будет всегда. И не видавшему этой наготы, не очарованному ею человеку едва ли удастся найти идеал свободы социальной, нравственной и прочее. У нас с вами, конечно, уйма конкретных проблем и вроде бы не до изысков. Но надо иной раз и в небо посмотреть и побеседовать с ним на «ты», как делал это Велимир. Он, кстати, в одном из последних своих стихотворений четко высказался от имени всех авангардистов — прошлых, настоящих, будущих:

Еще раз, еще раз,
Я для вас
Звезда
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

Здесь довольно точно определена конкретная роль авангарда в решении социальных, духовных и нравственных проблем общества. Авангард не претендует на утилитарную информативность, на сенсационную разоблачительность, на открытие каких-то нравственных панацей и спасительных социальных рецептов. Новаторское художественное слово дает лишь определенный и неповторимый эмоционально-духовный настрой, ощущение внутренней раскрепощенности. Возьмите верный «угол сердца» к этим стихам, почувствуйте себя такими же свободными, как эти строки — и тогда у вас, *может быть*, что-нибудь получится.

Мало? Но ведь искусство всегда лишь о том, что *может быть*. Гарантированное блаженство сулят только шарлатаны. А глоток внутренней свободы уже сегодня — это не менее важно, чем правдивая информация о нашем тяжелом прошлом и нелегком настоящем. В поисках выхода из создавшейся социальной ситуации мы сегодня дружно столпились у одной двери, возле информационно насыщенной литературы. А выход, может быть, найдется совсем в другом месте и обнаружен будет нетрадиционными средствами.

Разные чувства рождает наше время. Но в первую очередь мне почему-то хочется поделиться со всеми чувством беспокойства. Что особенно тревожит? Дефицит динамизма, замедленность позитивных процессов. Пробудилось у нас социальное мышление, но какое-то оно не очень ловкое и предприимчивое, недостаточно изобретательное, небогатое конструктивными предложениями. Это ощущается в разных сферах, но о делах экономических, промышленных, сельскохозяйственных я могу судить лишь с чужих слов, по чужому опыту. А вот о процессах эстетических берусь судить самостоятельно. И они для меня — индикатор общего положения дел, симптом общих болей. Потому считаю, что тоска по ультрафиолетовому излучению, по небывалому искусству — не эстетская блажь. Надо перестраивать общественное мнение, вырабатывать иное, доверительное и заинтересованное отношение к новому и непонятному.

По тому, как встречается обществом новое художественное слово, видна реальная степень социально-духовной свободы этого общества. И недостаток в радуге одной лишь полосы может обернуться столь знакомой, совсем еще не забытой промозглостью и пасмурностью, серым небосводом без единого лучика.

●

Сергей ЧУПРИНИН

Из твердого камня

СУДЬБА И СТИХИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

«Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник создает свою картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого камня высекают самые дивные статуи?»

Из письма Н. С. Гумилева к В. Е. Аренс от 1 июля 1908 г.

1

В жизни и смерти Николая Степановича Гумилева (1886—1921), в его стихах, взглядах, поступках, в его общественно-литературной деятельности и гражданском поведении нет ничего случайного.

И быть не могло. Он сам строил свою судьбу, как строят дом, сам ее складывал, как складывают книгу.

Он, говоря иными словами, сам сделал себя таким, каким остался и в легендах, и в истории отечественной литературы.

Роду Гумилев был отнюдь не знатного, хотя и дворянского,— но попробуйте-ка припомнить в русской поэзии XX века большего аристократа, большего «рыцаря» и «паладина», чем этот сын скромного корабельного врача из Кронштадта.

Смолоду, как рассказывают мемуаристы и как признавался сам Гумилев, он был очень некрасив, неуклюж, болезненно застенчив и скован — в это трудно поверить: настолько значительным, светящимся красотою и благородством стало лицо, глядящее на нас с поздних его фотографий, настолько единодушно изумление, с каким современники и в особенности современницы вспоминают и безупречную, «гвардейскую» выправку поэта, и его подчеркнутое «джентльменство» — весьма выразительное, иногда даже чуть-чуть смешное на фоне «пещерного» быта и «упрощенных» нравов времен военного коммунизма, террора, разрухи и голода.

В гимназиях — в том числе и в знаменитой Николаевской Царскосельской, директором которой был поэт Иннокентий Федорович Анненский,— Гумилев учился, говорят, плоховато, не закончил он курса ни Сорбонны, ни Петербургского университета — и в это тоже трудно поверить, настолько непохож на недоучку автор классических «Писем о русской поэзии», блистательный переводчик, историк и теоретик искусства, знаток не только европейской, но и африканской, но и восточной культур.

Для него словно бы не существовало несбыточное. Ему — так, во всяком случае, кажется — в принципе была неведома не преступаемая обычно простыми смертными грань между мечтой и ее претворением в жизнь, намерением и поступком, сладкой романтической грезой и явью.

Он увлекся поэзией — и еще гимназистом выпустил первый свой стихотворный сборник. Решил повидать мир — и не только прожил в юности два года в Париже, что было по тем временам делом сравнительно заурядным, но еще и тайком, в пароходном трюме совершил свое первое путешествие в куда более загадочную и куда более опасную, чем нынче, Африку. Полюбил — и, что было совсем не просто, добился руки Анны Андреевны Горенко, прославившейся вскоре под именем Анны Ахматовой. Включился в активную литературную жизнь — и на руинах символизма создал новое поэтическое направление, освятил его манифестами, назвал его акмеизмом, учредил Цех Поэтов, став его признанным руководителем — «синдиком». Откликнулся на начало первой мировой войны — отнюдь не только стихами: Гумилев, едва ли не единственный из русских писателей, тут же, 24 августа 1914 года, записался добровольцем в Действующую армию. Как воевал? Так,

что «святой Георгий тронул дважды Пулею нетронутую грудь», и эти два солдатских Георгиевских креста за первые пятнадцать месяцев войны говорят о многом...

Легко ли ему все это давалось? Да нет, конечно. За каждую удачу, за каждое очередное восхождение приходилось бороться, и победы, бывало, оказывались пирровыми.

Так, гимназическую книжку «Путь конквистадоров» (1905) Гумилев предпочитал не вспоминать, никогда не переиздавал и даже опускал ее при счете собственных сборников (поэтому «Чужое небо», например, он в 1912 году назвал «третьей книгой стихов», тогда как она на самом деле была четвертой). Семейная жизнь с А. А. Ахматовой, как и следовало ожидать, шла трудно, а спустя небольшой срок после рождения сына — Льва Николаевича (ныне выдающегося историка и этнографа-ориенталиста) вовсе разладилась. Что же касается акмеизма, Цеха Поэтов, затеянного Гумилевым журнала «Гиперборей» и одноименного издательства при нем, то прославленные метры (от Брюсова до Блока, от Вяч. Иванова до Андрея Белого) отнеслись к этим начинаниям с обидной снисходительностью, да и в товарищах новоявленного «синдика» — Ахматовой и Городецком, Мандельштаме и Зенкевиче — с самого начала не было полного согласья по принципиальным литературным вопросам.

Трудно считать однозначно успешной и армейскую карьеру Гумилева — экзамена на офицерский чин он, во всяком случае, почему-то не выдержал и, закончив военные действия в русском экспедиционном корпусе во Франции, вернулся на родину в 1918 году всего лишь прапорщиком...

Так что «материал», о котором шла речь в письме, вынесенном нами в эпиграф к статье, был действительно неподатлив, «камень» судьбы тверд. Но еще тверже, судя по всему, была воля Николая Гумилева, еще неподатливее, бескомпромисснее был органически свойственный ему инстинкт жизнестроительства, мужественного преодоления — и собственных слабостей, и внешних обстоятельств, и жизненной инерции.

Неудачи и горести никогда не влекли его к бездеятельной меланхолии, характер закалялся в испытаниях: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»,— силы прибывали вопреки, казалось бы, всему, и не случайно столь значимы для поэта образы путешественников, бросающих вызов стихиям, завоевателей, осваивающих новые земли («О, да, мы из расы завоевателей древних...»), а также зодчих («Я — угрюмый и упрямый зодчий Храма, восстающего во мгле...»), скульпторов, резчиков по камню — тех, словом, кто косную натуру превращает в перл создания.

Живущих иначе Гумилев либо жалел, либо презирал:

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет, я расскажу ему
Про девушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет! я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

И у Гумилева действительно были все основания для гордости. Его личная жизнь, его биография во всем, если позволительно так выразиться, рукотворна.

И стихи его тоже иной раз кажутся рукотворными.

Но тут, впрочем, нужно объясниться.

2

Есть художники, столь счастливо одаренные природой, что уже самые первые, начальные их создания дышат гением, пленяют чисто «моцартианской» легкостью и утренней свежестью. Поют, как птицы, звучат, как «богов орга́н живой»,— говорят в таких случаях, и сопротивление материала действительно почти не ощущается в их поэзии, труд, кровь и пот стихотворчества незаметны постороннему глазу, а слова о «периоде ученичества» или, допустим, об «овладении мастерством», «поисках самого себя» лишены сколько-нибудь существенного смысла.

И есть другие. Они и начинают трудно, и растут медленно, словно бы набирая очко к очку, обретая магическую энергию и духовную зрелость вместе с опытом — человеческим и профессиональным, а вдохновение поверяя мастерством, как алгеброй поверяют гармонию.

Гумилев, в творческом сознании которого и тенью не присутствовал какой бы то ни было «сальеризм», боготворил поэтов первого — моцартовского, пушкинского, блоковского — типа. Но сам был из других, и волнение охватывает, когда, ступая по живому следу, подряд читаешь его стихи — от самых первых, ученических, блеклых, риторичных и дребезжащих каждой строфою, до поздних, словно бы выкованных из гулкой меди или высеченных из благородного твердого камня. И не безотчетная щедрость природы вызывает тут восхищение, а крепость характера, сила воли и сила ищущего, творящего себя духа.

Его ранние поэтические опыты никуда не годятся, и нужно было обладать проницательностью Валерия Брюсова, этого «Ивана Калиты русского модернизма», чтобы уже в «Пути конквистадоров» найти «несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов», а главное, предположить, что эта книга «толь-

ко «путь» нового конквистадора и что его победы и завоевания впереди».

Гумилев сделал верные выводы и из педантично изложенных Брюсовым замечаний, и из его осторожного прогноза. Блажен, кто родился поэтом, кто, как Лермонтов, способен в пятнадцать лет выдохнуть дивную «Молитву», кто, как Рембо, в восемнадцать может без всякого сожаления оставить творчество и предаться иным занятиям. Но трижды, хочется верить, блажен тот, кто нашел в себе волю стать поэтом, кто научился — Гумилев любил и часто повторял эту формулу Кольриджа—располагать «лучшие слова в лучшем порядке».

И Гумилев учится. Его письма Брюсову, датированные 1907 и 1908 годами, кажутся отчетами самолюбивого, гордого, но терпеливого и на удивление работоспособного ученика в школе поэзии, прозы, вообще литературы. Вот, например, одно из самых первых писем мастеру: «Не забывайте, что мне теперь только двадцать лет и у меня отсутствует чисто техническое уменье писать прозаические вещи. Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них, все идет стройно и красиво, но когда я подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получаются только бессвязные, отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую инертность пера».

Или вот еще самоотчет, уже о стихах: «Благодаря моим работам по прозе, я пришел к заключению о необходимости переменить и стихотворный стиль по тем приемам, которые Вы мне советовали. И поэтому все мои теперешние стихи не более чем ученические работы».

И еще, и еще: «Одно меня мучает и сильно — это мое несовершенство в технике стиха»; «...мне кажется, что найденные мною по Вашим стихам законы мелодий очень помогут мне в моих собственных попытках»; «стараюсь по Вашему совету отыскивать новые размеры, пользоваться аллитерацией и внутренними рифмами»; «теперь, когда я опять задумываюсь над теорией стихосложения, мне было бы крайне полезно услышать Ваши ответы на следующие, смущающие меня вопросы: 1) достаточно ли самобытного построения моих фраз? 2) не нарушается ли гармония между фабулой и мыслью («угловатость образов»)? 3) заслуживают ли внимания мои темы и не является ли философская их разработка еще ребячеством?»...

Невозможно — правда ведь? — вообразить себе Блока или Пастернака сочиняющими такие письма, так работающими над стихом. Но Гумилев работал именно так — и цели своей, безусловно, достиг: в сборнике «Романтические стихи» (1908), по оценке того же Брюсова, «не осталось и следов прежней небрежности размеров, неряшливости рифм, неточности образов». Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и большей частью интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой продуманностью и изысканностью выбирает эпитеты. Часто рука ему еще изменяет, он «серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добивается».

Что же касается книги «Жемчуга», появившейся спустя два года (1910), то она была расценена как принципиальная удача не только Брюсовым, но и иначе во многом смотрящим на поэзию Вячеславом Ивановым. Причем, называя Гумилева учеником Брюсова и видя в его поэзии еще только «возможности» и «намеки», Иванов предсказал, что ученик может пойти и дальше, и по совсем другому пути, чем учитель.

Предсказание Иванова оправдалось: звезда Брюсова становилась с годами все тусклее, а звезда Гумилева все ярче, чтобы на исходе судьбы разрешиться ослепительной вспышкой: книгой «Огненный столп» (1921) и примыкающими к ней стихами, поэмами, пьесами, прозой.

Это еще только произойдет. Но уже и в 1910 году автор «Маркиза де Карабаса» — стихотворения, которое придирчиво-строгий Иванов назвал «бесподобной идиллией», автор «Капитанов», поразивших читающую Россию изысканной картинностью и пряным экзотизмом:

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков? —

автор чеканной, истинно классической по любым канонам «Молитвы»:

Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,
Лицо сумасшедшее,

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее! —

мог считать период ученичества завершенным, а уроки мастерства навсегда усвоенными. И мог — это тоже характерно для Гумилева — считать, что таким же путем: от ученика к подмастерью, от подмастерья к мастеру — способны пройти и другие, те, что мечтают стать поэтами, выработаться в поэтов.

Почувствовав себя мастером, он, как мало кто в русской поэзии, возился с этими другими — особенно в последние годы жизни. Вел кружки, семинары, студии, читал лекции, разрабатывал теорию стихотворной речи, составлял — немало, кстати, раздражая этим поэтов «моцартовского», «певчего» склада и, прежде всего А. А. Блока, — детальные методики обучения стихосложению, повсюду твердил о том, что по аналогии с консерваториями и Академией художеств и поэтов должно готовить в специализированных высших школах...

Идея «цеха» (на манер средневековых цехов и гильдий), профессиональной корпорации или, если угодно, рыцарского ордена поэтов, где старшие опекают младших и где младшие, начав с ремесла, постепенно восходят к искусству, владела Гумилевым, и это легко понять. Сделавший себя сам, он хотел, чтобы и другие получили свой шанс, обрели товарищескую либо, еще лучше, отеческую поддержку в борьбе с «роковой инертностью пера» и сопротивлением материала. Но вот вопрос: прекрасный в прошлом ученик, оказался ли он столь же прекрасным учителем?

Однозначный ответ здесь вряд ли возможен. Да, конечно, из тех, кого Гумилев числил своими воспитанниками, выросли в поэтов Н. Оцуп, Г. Иванов, И. Одоевцева, Г. Адамович, Вс. Рождественский, еще кое-кто. Небесследно, надо думать, общение с Гумилевым прошло и для А. Ахматовой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, М. Зенкевича... Все так. И тем не менее уместно предположить, что влиял Гумилев скорее своим нравственным примером, своим отношением к искусству и в особенности своим собственным творчеством, нежели курсом «эйдологии» или распоряжениями написать стихи на заданную тему и в заданном размере.

Благодаря «системе», в универсальность которой он, кажется, уверовал, Гумилев брался любого сделать поэтом, любого наделить даром речи. Но, как стало очевидно спустя годы, а иногда и десятилетия после гибели мастера, в поэтов выработались, научились говорить стихами лишь немногие из бессчетных его учеников и учениц — и только те, кому было или кому нашлось что сказать «городу и миру».

Воля и труд, сколь угодно титанические, не порождают и уж тем более не заменяют талант, а лишь проявляют, воспитывают и упрочивают его — если он есть, конечно. Так что, возвращаясь к пути самого Гумилева, можно смело утверждать, что в период ученичества — от стихотворения «Я в лес бежал из городов...», опубликованного 8 сентября 1902 года в газете «Тифлисский вестник», до прославившей поэта книги «Жемчуга» — и он обрел не дар речи, а только свободу владения этим даром, избавился от скованности, косноязычия, дефектов произношения, подобно тому, как Демосфен, набирая в рот камешки, избавился от таких же дефектов и проявил в себе дар великого оратора. Поэтами, что там ни говори, видимо, все-таки рождаются, и вся разница исключительно в том, что у одних, счастливо отмеченных богом, голос сызмладу хрустально чист и звонок, а другим требуется либо помощь наставника-«логопеда», либо усилия по самовоспитанию.

Гумилев не пожалел таких усилий. Но ему — и это, конечно, главное — было что воспитывать в себе. Перечитайте под этим углом зрения его ранние, даже наиболее слабые стихи — и за бутафорией, за неловкими оборотами речи, за набором амбициозных красивостей вы увидите начатки, завязь того, чему будет суждено с такой неповторимой пышностью процвести в «Чужом небе» (1912), в «Колчане» (1916), в «Костре» и «Фарфоровом павильоне» (обе книги — 1918), в «Шатре» и «Огненном столпе» (обе книги — 1921), в стихах, собранных и изданных уже после смерти поэта.

При всей несопоставимости, как сказали бы сейчас, уровней художественного качества, литературного исполнения круг идей один и тот же, одна и та же степень интенсивности переживаний, одно и то же понятие о поэзии, о жизни и о чести как о высшем достоинстве человека.

3

Общепринятый — после работ К. Чуковского и Ю. Тынянова о Блоке, Б. Эйхенбаума и В. Жирмунского об Ахматовой — подход к стихам как к личному дневнику поэта, как к своего рода духовной автобиографии его лирического героя мало что дает для представления о творчестве Гумилева. Лишь единожды (в позднем стихотворении «Память») предложивший сжатый очерк своего духовного развития, он никак не может быть назван и летописцем современной ему эпохи.

Стихов о России, о времени, в какое выпало жить, у Гумилева действительно так мало, что это способно озадачить. Да и те, что есть («Туркестанские генералы», «Старые усадьбы», «Старая дева», «Почтовый чиновник», «Городок», «Змей» и наособицу навеянный думой о Распутине и распутинщине, восхитивший Цветаеву «Мужик»), при всей точности в деталях и всей обычной для Гумилева картинности видятся скорее легендами, «снами» о России и русских людях, русской истории, нежели родом лирического исследования или свидетельством очевидца.

Реальность словно бы не заботила поэта. Или — выразимся точнее — была скучна, не интересна ему именно как поэту.

Почему?

Гумилев сам ответил на этот вопрос:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

И корень, видимо, на самом деле в этом. В роковой несоотносимости личных понятий поэта о правах, обязанностях, призвании человека и навязываемых, предписываемых современностью условий и требований. В том, что в ду-

ше Гумилева — и гимназиста, и путешественника, и воина, и литератора — действительно громче всех прочих, действительно заглушая и шум повседневности, и то, что Блок назвал «музыкой Революции», гремели «слова, затерянные ныне...».

Он чужаком пришел в этот мир. Но он — так, во всяком случае, кажется — еще и культивировал, пестовал свою чужеродность миру, свою несовместимость и с «толпою», ее интересами, нуждами, идеалами, и с «пошлой», по его оценке, реальностью — вне зависимости от того, шла речь о предреволюционной рутине или о пореволюционной смуте.

Эта несовместимость была такого рода, что исключала не только похвалы реальности, но и порицания ее. Вот почему стихи с самого начала стали для Гумилева не способом погружения в жизнь, а способом защиты, ухода от нее. Не средством познания действительности, а средством компенсации, восполнения того, что действительность не дает и в принципе дать не может. Совершенство стиха рано было осознано Гумилевым как единственно приемлемая альтернатива жизненным несовершенствам, величавость и спокойствие искусства противостояли в его глазах всяческой (политической, бытовой, окололитературной и прочей) суете, а пышная яркость и многоцветье поэтических образов контрастировали с грязновато-серенькой или кроваво-грязной обыденностью.

Гумилев не был бы Гумилевым, если бы и жизнь свою не попытался построить на контрасте с тем, чем удовлетворяется и что ищет большинство. Его путешествия в Африку, его интерес к китайской культуре, его заведомо обреченные на неудачу хлопоты о «цеховой» солидарности поэтов и даже его участие в боевых действиях на Восточном и Западном фронтах первой мировой войны тоже, если угодно, можно расценить как своего рода эскапизм, бегство от предписываемой обществом линии поведения и томящей скуки. Все это, конечно, обогатило его жизнь, обогатило и расцветило экзотическими красками его поэзию. Но вот, казалось бы, парадокс: исключительные по характеру и, надо думать, по силе жизненные впечатления и тут ложились в стих не непосредственно, а предварительно трансформировались, очищались от «сора», от резко индивидуализированных подробностей, претворялись в легенду, в «сон» и о войне, и об Африке.

Стихи, написанные Гумилевым в Действующей армии, дают, конечно, представление о патриотическом чувстве поэта, но — как, впрочем, и его прозаические «Записки кавалериста» — почти ничего не говорят о страшном «быте» войны, ее крови, гное и грязи. Во всяком случае, для того, чтобы патетически произнести:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.
. . . .
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны,—

не обязательно, право же, было гнить в окопах: такой война могла открыться и из петербургского кабинета. Равным образом не обязательно было и участвовать в научных экспедициях, в пеших переходах по Африке, чтобы рассказать о ней в стихах, мало с чем в русской поэзии сравнимых по звучности и яркой живописности, но на удивление лишенных эффекта личного присутствия:

Я на карте моей под ненужною сеткой
Сочиненных для скуки долгот и широт
Замечаю, как что-то чернеющей веткой,
Виноградной оброненной веткой ползет.

А вокруг города, точно горсть винограда,
Это — Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту,
Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден,
Точно бой барабанов, он будит мечту.

Похоже, что опыт — даже такой экзотический — и в самом деле не столько насыщал поэта, сколько будил его мечту. Похоже, что и в окопах, и под развесистой сикиморой, и на улочках Генуи, и на собраниях Цеха Поэтов, и в промороженных коридорах Дома Искусств он грезил наяву — совсем так, как грезил наяву «колдовской ребенок, словом останавливавший дождь» (первое, начальное «я» поэта, по его признанию, в стихотворении «Память»), как грезили наяву «бездомный, бродячий певец» в «Пути конквистадоров», «юный маг» в «Романтических цветах», «странный паладин с душой, измученной нездешним» в «Жемчугах», «паломник» в «Чужом небе» и так далее, и так далее — вплоть до пассажира «Заблудившегося трамвая», что мчится «через Неву, через Нил и Сену» прямиком «в зоологический сад планет»...

В критике, в литературоведении — со времен Брюсова и Вяч. Иванова — принято говорить об эпичности лирики Гумилева, о склонности поэта к объективированию лирического переживания, к театрализации, перекостюмированию даже того, что случилось с ним лично и лично его поразило. В истинности этих суждений нет оснований сомневаться. И все-таки я думаю, что особость Гумилева-поэта (и человека) вернее всего улавливают не термины эстетики, а метафора.

Он — и это, пожалуй, решает дело — единственный в своем роде «сновидец» и «снотворец» в русской поэзии XX века. Недаром же реальная жизнь так часто представляется ему дурным сном, а огонь поэзии высекается при столкновении «дневного» и «ночного» ликов бытия, «дневного» и «ночного» начала в человеке. И недаром самый обычный для Гумилева «жест» — это жест перенесения (себя и читателей) в забытье, перемещения в пространстве и времени, перевоплощения в кого угодно.

Стоит только дать волю грезе —
И кажется — в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга
. . . .
И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица...
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

Стоит только дать волю грезе — и начинается карнавальная смена то ли масок, то ли жребиев: «Я конквистадор в панцире железном...», «Однажды сидел я в порфире златой, Горел мой алмазный венец...», «...я забытый, покинутый бог, Созидающий, в груде развалин Старых храмов, грядущий чертог», «Я — попугай с Антильских островов...», «Древний я отрыл храм из-под песка, Именем моим названа река, И в стране озер пять больших племен Слушались меня, чтили мой закон»...

Так в ранних, юношеских стихах Гумилева. Но та же воля к преображению и реальности, и самого себя, то же искушение «многомасочностью», как сказали бы литературоведы, лирического героя — и в поздних творениях поэта. Разница лишь в том, что молодому Гумилеву эта череда перевоплощений, вживаний в незнакомый и часто экзотический душевный облик доставляла одно только, кажется, чистое наслаждение, лишь изредка для «романтической интересности» декорируемое в цвета и тона «мировой скорби». Но то, что в юности виделось — да в известной степени и было — пьянящей игрой, в зрелости стало основой истинно трагического мироощущения.

И трагизм этот, столь мощно покоряющий читателя последних книг Гумилева, вызван, думается, не только и не столько внутренней эволюцией поэта, сколько лавинным ходом событий в обступавшей его действительности. Или, иными словами, за эволюцией грозно угадывалась революция.

Гумилев — и уже в этом его исключительность — ни полусловом не откликнулся на революцию, гражданскую войну, пореволюционное переустройство жизни, ни полусловом не поддержал, не оспорил действия новой власти. У него нет стихов, ни озвученных «музыкой Революции» (хотя он активно работал в первых советских учреждениях культуры — в Союзе Поэтов, в издательстве «Всемирная литература» и т. п.), как у Блока, Брюсова, Маяковского или Пастернака, ни навеянных романтикой Белого движения (хотя убежденным монархистом он оставался, кажется, до конца), как у Цветаевой, ни даже вызванных тщетной надеждой остановить братоубийство примиряющим словом, как, допустим, у Волошина.

У Гумилева вообще нет политических стихов. Он уклонился от прямого диалога с современностью. Он отказался говорить на ее языке. Он — так, во всяком случае, кажется на первый взгляд — промолчал о том, что творилось со страной и народом в огненное пятилетие 1917—1921 годов. Но...

Действительность была такова, что и молчание осознавалось и истолковывалось (учениками, читателями и, конечно же, властью) как акт гражданского выбора, как недвусмысленная политическая позиция. У стремления быть всего лишь вежливым «с жизнью современною» —одна цена в 1912 году, когда писались эти строки. И совсем иная — в дни, одним представлявшиеся концом всемирной истории, а другим — только ее началом. В «Слове», в «Памяти», в «Заблудившемся трамвае», в «Шестом чувстве», в «Звездном ужасе», в других вершинных созданиях Гумилева с явственностью угадывалось то, что и было вложено, впрессовано в них поэтом,— мужество неприятия, энергия неповиновения, этика сопротивления.

В этом смысле Гумилев — и именно Гумилев, не написавший ни строки, которая могла бы быть названа «антисоветской», вернувшийся в Россию тогда, когда его единомышленники уже покидали ее, не участвовавший ни в Белом движении, ни в контрреволюционных заговорах,— был обречен. «Сновидцу» и «снотворцу», или, как говорили раньше, визионеру, не было места в советской действительности, и его гибель при всей ее кажущейся случайности и трагической нелепости[1] глубоко закономерна.

По-другому и не мог уйти из жизни поэт, сам себе напророчивший:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.

По-другому и не мог покинуть земную юдоль поэт, вознесший над нею «огненный столп» (как выразительно, как многозначно это название предсмертной книги Гумилева!), всем своим творчеством, всей своей жизнью доказавший собственную несовместимость с тем, какой стала и какой обещала стать жизнь в Советской России.

4

Но — перед тем как уйти — он написал стихи, его обессмертившие, выдержавшие испытание и клеветой, и затянувшимся едва ли не на семь десятилетий замалчиванием.

---

[1] «Гумилев Николай Степанович, 33 лет, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Изд-во Всемирная литература», беспартийный, б. офицер» (так сказано в постановлении Петроградской ГубЧК), был казнен в августе 1921 года по обвинению в принадлежности к т. н. «таганцевскому заговору». Недавно обнародованные материалы свидетельствуют о том, что это обвинение облыжно и к расстрелу поэт был приговорен лишь за то, что не сумел поступиться «предрассудками дворянской офицерской чести» и не донес органам Советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую организацию, от чего он, кстати, категорически отказался (см. «Новый мир», 1937, № 12).

В этих стихах — все то же, что и раиьше было присуще поэту. И все — другое, так как энергия неповиновения жизии — прежде оно казалось милым чудачеством, а теперь стало смертельно опасным, едва ли ие идеологическим вызовом — насытила строку, а иеобходимость сопротивляться обстоятельствам, их чугунному напору удесятерила творческие силы поэта, открыла в ием возможности, о которых он и сам, наверное, ие подозревал. Так что и Гумилев, ни полсловечка не проронивший в стихах о революции, исключивший политику из своего творчества, многим обязан именио как поэт общенациональиому потрясению.

«Взлет поэзии Гумилева в трн последних года его жизни нисколько не случаен: споря со своим временем и противопоставляя себя ему, он оставался его сыном — и верным сыном, как всякий большой художник». Так пишет Вяч. Вс. Иванов, автор статьи «Звездная вспышка», лучшей нз того, что появилось о Гумилеве в наши дни, и с этой оценкой нельзя не согласиться.

Былой индивидуализм и, может быть, даже эгоцентризм поэта предстал в новых стихах и новом времени как своего рода охранная грамота всем, кому честь дороже жизни, кто сам выбирает свою судьбу, не кивая на обстоятельства, не передоверяя решение внешним — пусть и необоримым — силам. То, что обособляло, выделяло Гумилева из круга современников, стало паролем незрнмого — и часто потаенного — братства, стало словом, вокруг которого можно объединяться. Ребяческая бравада сошла на нет, «маски», с такой охотой примерявшиеся Гумилевым, слились в единый образ поэта, который знает, зачем и к кому он обращается:

Миого их, сильиых, злых и веселых,
Убивавших слоиов и людей,
Умиравших от жажды в пустыие,
Замерзавших на кромке вечиого льда,
Верных нашей плаиете,
Сильиой, веселой и злой,
Возят мои киити в седельной сумие,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тоиущем корабле.

Я не оскорбляю их иеврастеиией,
Не уиижаю душевиой теплотой,
Не надоедаю миогозиачительиыми намеками
На содержание выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волиы ломают борта,
Я учу их, иак ие бояться,
Не бояться и делать что надо.

. . . .

А когда придет их последний час,
Ровиый, красный тумаи застелет взоры,
Я иаучу их сразу припомиить
Всю жестоиую, милую жизнь,
Всю родиую, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Всю свою жизнь прославлявший «упоение в бою и бездны мрачной на краю», Гумилев впервые, кажется, воочию ощутил, сколь близка эта «бездна», и его стихи последних лет, его поэмы «Звездный ужас», «Дракон» наполннлнсь жуткими эсхатологическими видениями, в красивых и красочных, как встарь, легендах и сказках поэта обнаружился глубинный философский подтекст, благодаря чему «снотворчество» возвысилось до мифотворчества, и с таким трудом добытая Гумилевым в период ученичества «прекрасная ясность» лирнческого высказывания уступила место «высокому косноязычию», грозным — при всей их смутности и «темности» — пророчествам.

Внутреннему взору поэта, устремлениому «сквозь бездну времен», открываются теперь не столько начальные страницы Книги Бытия, сколько главы Апокалипсиса, и неразъемная цепь связует в этом смысле фантасмагорию «Заблудившегося трамвая» с «антиутопией» нз «Шатра»:

И, быть может, немиого осталось веков,
Как иа мир наш, зеленый и старый,
Дико рииутся хищные стаи песков
Из пылающей юиой Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Мосиву, и Афины,
И мы будем в иебесиые верить огии,
Нв верблюдах своих бедуиины.

И когда, иакоиец, корабли марсиаи
У земиого окажутся шара,
То увидят сплошной волотой океаи
И дадут ему нмя: Сахара.

Но внутреннему взору поэта с особенной отчетливостью, как бриллианты и сапфиры на фоне черного бархата, как мерцающие звезды на ночном небе, открылось в эти дни, в эти годы и совсем иное — красота природы, счастье любви, достоинство искусства, благодать Слова — и поэтического, и Божьего.

Именно прощаясь с жизнью, написал Гумилев свои самые светлые, самые пронзнтельные стихи о любви. Именно провидя свой горестный конец, научился шутить, что никак не давалось ему раньше. Именно «у гробового входв» он с ласковой улыбкой оглянулся на собственное детство, и тенью не возникавшее в прежних его стнхах.

И нменно теперь Гумилев сложнл едва ли не самый величественный гимн Слову, его таинству и чудотворству нз всех, квкие только знает русская поэзня.

Он напомнил баснословные, давно ушедшие в предание времена, когда

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города

Он возвысил Слово над «низкой жизнью». Он преклонил пред ним колени — как мастер, всегда готовый к продолжению ученичества, к послушанию и подвигу, как ученик, свято верующий в возможность научиться волшебству, стать мастером в ряду мастеров.

Он все в себе подчинил Слову, всего себя отдал ему в бессрочное владенне.

И дальний отсвет этого Слова лег на стихи самого Николая Гумилева, на всю его счастливую, страдальческую, легендарную судьбу.

●

Такая любовь

•

Л. Петрушевская. Свой нруг. «Новый мир», 1988, № 1; **Али-Баба, Грипп.** «Аврора», 1988, № 9; **Такая девочка.** «Огонек», 1988, № 40.

•

Да полно, где это происходит, с кем? Мать, жестоко избивающая маленького сына с единственной целью — вызвать к нему острое сочувствие окружающих. Она одна знает, что скоро им предстоит отвечать за мальчика, потому что сама она обречена смертельной болезнью («Свой круг»). Женщина по прозвищу Алн-Баба, как говорится, сложной судьбы (пьяница, воровка...) знакомнтся в пивной с приятным молодым человеком, идет к нему домой, остается ночевать... «Али-Баба замолчала и с нежным материнским чувством в душе благодарно заснула, после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился». Затем она пытается отравиться, ее спасают... («Али-Баба»). А вот после ссоры жена уходит от мужа, он лежит несколько дней больной гриппом, а потом, когда жена прнходит забрать свои вещи и даже не смотрит на него, бросается с седьмого этажа («Грипп»). А что за странная «девочка», целыми днямн плачущая, курящая да еще провоцнрующая всех встречных мужчин немедленно завалить ее на постель? («Такая девочка»).

Ладно, газеты мы чнтаем, нравы наркоманов и простнтуток нас уже и не очень-то удивляют. Но здесь, у Петрушевской, более или менее нормальные люди, многне даже с признакамн интеллигентных профессий, без умственных и иных отклонений. Кто онн, откуда?

И постепенно, когда стараешься вживаться в их обстоятельства и судьбы, когда проникаешься их проблемамн, ставишь себя на их место, начинаешь понимать: действнтельно нормальные люди-то, обычные. В обстоятельствах жестоких, но не экстраордннарных; драматичных, но не уникальных. Онн плоть от плотн сегодняшней, вон там, за окном, улицы. Они выходят из малогабарнтных квартир, мннуют замусоренные лестнничные клетки, едут в лифтах, исписанных похабщиной, выходят на улнцу, падают, если гололед, мокнут, если дождь, давятся в автобусах и метро, толпятся в магазинах, утром волокут невыспавшихся детей в детскне сады и школы, потом томятся на службе, вечером, обвешанные хозяйственнымн сумками, торопятся забрать детей с продленкн, они говорят...

Боже мой, как онн говорят! Вот, напрнмер: «...и ведь никто не думал обвинять жену, что она осталась жнва, н не нужны былн никакие смягчающие обстоятельства типа наличия ребенка»... Чудовищная смесь канцеляризмов и обыденной речн, захлебывающийся, косноязычный поток слов с бесчисленными повторами. У Петрушевской обостренный слух, и она абсолютно, стенографически точна, она словно записывает на ходу (в автобусе, метро, магазине) звуки окружающего мира. Каждый ее рассказ — это словно разговор подругн с подругой или двух сослужнвиц («Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, что мне легче от этого, когда я рассказываю».)

Вот отсюда — проза Петрушевской, лишенная метафорнчности, изыска, элегантности, да и вообще красоты. Конечно, не стоит совсем просто понимать дело: эта проза лишь *кажется* магнитофонной запнсью уличного трепа, на самом деле такого впечатления автор добивается немалым мастерством. На скрещении современного упрощенного, даже опошленного языка и богатых литературных традиций выросла самобытная проза Петрушевской.

Но о чем она? В одном интервью Петрушевская обронила крылатую фразу: «Литература — не прокуратура». И в творчестве верна этому принципу. Вот уж чего у нее нет нн на гран, так это осуждения. Оно просто противоречнт природе ее прозы. Она пронизана состраданнем к людям, мучительным, душераздираюощим, буквально не дающим жить и сводящнм с ума состраданием. «Людям недодано!» — говорил Бахтин. Петрушевская трагически переживает эту «недоданность» добра н счастья, теплоты и заботы. И потому ее геронни полны жалости. Женщнна из рассказа «Такая девочка» говорнт о знакомой: «Она на меня с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатленне, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалнт в самое сердце».

Кому же более всего сострадает Петрушевская? Бесспорно, женщннам. Еслн попытаться определить главную тему Петрушевской, то это, пожалуй, — судьба женщины в жестоком мире. Жестоком н ожесточающем. Потому и не милы, не обаятельны женщины Петрушевской. Злы, циннчны... Волчицы. Но — н тут главное! — волчицы, спасающне детенышей. «Может быть, все, что пронзошло с мужем, могло пронзойти и с женой, не будь у нее дочерн, не будь ей необходнмо жнть во всех, любых обстоятельствах». Поэтому злоба н жестокость, оскаленные зубы н холкн дыбом. Но все-такн ради детей, а значит — рядом и жалость, и любовь, и страданне... Матернинство

для этих женщин — высшая ценность, мерило совести и морали. И спасение от окружающей тьмы. Петрушевская — с ними. Она сострадает им, переживает их драмы, проживает их жизни. Так она пишет.

В начале 80-х годов я подготовил очерк о Петрушевской, включив туда и ее интервью. (Правда, очерк в печать не пошел: главный редактор журнала посоветовался с кем-то из чиновников Министерства культуры и получил «добрый совет»: «Не надо вам этого». Но сейчас о другом.) В том интервью Петрушевская говорила, что импульсом к работе для нее служит чья-то проблема. Кто-то мучается, не находит выхода, и ты начинаешь думать, что же ему делать,— и неожиданно пишешь. Причем не об этом человеке и не о себе, а о ком-то третьем, а в итоге получается, что и о нем, и о себе... Поэтому сформулировать творческий метод Петрушевской нетрудно: слияние с героями. Просто сказать — сложно сделать. «Понимать чужую душу — это значит перевоплощаться» (Павел Флоренский). И только высокая самозабвенная любовь дает такое слияние. И такие прозрения: «Он не подозревал, будучи почти трезвым, что за каждыми большими глазами стоит личность со своим космосом, и каждый этот космос живет один раз и что ни день, то говорит себе: теперь или никогда». Петрушевская призывает (хотя это слово не из ее лексики) войти в каждый космос, и это касается всех. Точнее — всех, кто в беде.

И, наверное, именно мучительное ощущение «недоданности» обращает Петрушевскую к темам драматическим, жестоким, к «черным краскам», порой сгущенным предельно. Да, таков ее взгляд. Но почему в каждом произведении все должно быть взвешено на аптекарских весах, а черное и белое приведено в точнейшее соотношение? Да и кто знает это соотношение, кто вправе определять его? И кто-то скажет о рассказах Петрушевской: «Гадость, так не бывает!», а кто-то: «Это полуправда, жизнь пострашней!» Ну, и как тут спорить? Вот Елена Черняева («Литературная Россия», 1988, № 9) считает, что «в героине рассказа «Свой круг» невозможно узнать пусть плохонькую, но мать — и мысли ее, и чувства рождены привычкой к жизни холостяцкой...» Спешу согласиться, что в круге знакомых Е. Черняевой таких матерей нет. Ну, а в круге Л. Петрушевской — есть. И, стало быть, спор бесполезен. Но, может быть, дело не в том, что «невозможно узнать», а в том, что *не хочется* узнавать?

Как давно говорят на эту тему! В 1908 году Федор Сологуб в предисловии ко второму изданию своего романа «Мелкий бес» писал: «Люди любят, чтоб их любили. Им нравится, чтобы изображали возвышенные и благородные стороны души. Даже и в злодеях им хочется видеть проблески блага, «искру Божию», как выражались в старину. Поэтому им не верится, когда перед ними стоит изображение верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать: «Это он о себе». Нет, милые мои современники, это о вас я писал мой роман о Мелком Бесе и жуткой его Недотыкомке... О вас».

И тут мы приближаемся к теме, которую не обойти, говоря о творчестве Петрушевской. Несколько лет назад, представляя одну из ее пьес в журнале «Театр», Алексей Арбузов писал: «Думая о Петрушевской, желаешь одного — уберечь ее талант от непонимания». Арбузов оказался пророком. Посмотрите, сколько имен приняла литература в последние годы! Приняла В. Пьецуха — грустного насмешника, печальника в маске хохмача и ёрника; прямо-таки «на ура» приняла Т. Толстую — ироничную плакальщицу по нелепо уходящим в пустоту прошлого жизням; давно одобрила классически строгого интеллигентнейшего Л. Бежина; приоткрывает двери двум Ерофеевым: Виктору, возросшему на западном литературном менталитете, и Венедикту, изломанному злым идиотизмом «расейской» жизни... Формально некоторые из этих писателей принадлежат к поколению более молодому, чем поколение Петрушевской (впрочем, предвижу вскоре столпотворение литературных поколений: первые книги двадцатилетних и пятидесятилетних будут выходить одновременно, и поди разберись, кто начинающий и кто к какому поколению принадлежит!), Петрушевская дольше многих работает в прозе и драматургии. И все время вокруг нее ощущается настороженность... Опаска. И отражается это не только в критике, но и в делах издательских: публикации единичны и случайны (только упорная, верная давней любви «Аврора» печатает ее рассказы систематически), долгие годы ни одной книги прозы (хотя первая была собрана, насколько я знаю, лет пятнадцать назад)... В чем дело? На мой взгляд, дело в цензуре.

Нет, нет, читатель, речь не идет о привычной цензуре недавних лет, о некоем идеологическом вертухае с «трудами» Жданова и Суслова наперевес — сия фигура медленно (ох, медленно!), но безвозвратно уходит в сторону музея восковых фигур. Нет, речь о цензуре совсем иной, какую не отменить ни политическим, ни любым иным решением: о цензуре эстетической, то есть о той самой «любви к благородному», о которой Сологуб писал. И гнездятся эти тайные цензоры в умах грамотных профессионалов — литераторов, любящих и издающих Набокова и Гумилева, Ходасевича и Клюева...

В последнее время наша литература, стремясь к своему истинному объему, заметно расширилась, включила в себя новые или забытые старые стили, направления, взгляды. Диапазон стал шире,

но проза Петрушевской все равно «зашкаливает», возмущая и отталкивая. И вроде бы в таланте писательнице никто не отказывает, но вот творчество ее во многом не приемлют. Краткую формулу такого двойственного отношения дал Твардовский в резолюции на рассказе «Такая девочка»: «От печатания воздержаться, но связи с автором не терять». Мне кажется, тут дело не только в том, что в 1968 году «Новый мир» не мог напечатать этот рассказ по причинам, не зависящим от редакции. Непривычность вызывает опаску.

Призыв ко всем нам учиться демократии стал уже общим местом. Но не общим делом, увы. Перестройка (а значит, и демократизация) литературы состоит, очевидно, не столько в том, что широко открыты двери произведениям, известным всему читающему миру, кроме читателей самой читающей в мире страны, не столько в том, что позволено публиковать правду о преступлениях сталинщины и маразме брежневского режима. Для литературы, по-моему, это лишь некоторые (пусть важные!) слагаемые нового, широкого сознания, демократично включающего эстетически разнородные, очень непохожие друг на друга и не всеми приемлемые взгляды. Ни один из них не претендует на знание истины в последней инстанции, но все вместе они дают это знание или по крайней мере очень близко подходят к нему. Это полностью относится к Петрушевской, чьи работы многих шокируют откровенностью жестокой правды.

«Без меня народ не полный...» Мне кажется, что без творчества Петрушевской не полна была б наша литература. Не так зорок и бесстрашен взгляд на мир. Не так мучилась бы от неустройства жизни душа. Не так пронзительно было бы сострадание.

Георгий ВИРЕН

Горечь неслучившегося

•

А. Королев. Ожог линзы. Повесть, рассказы, роман. М., Советский писатель, 1988.

•

Анатолий Королев, молодой прозаик... Из выдающихся, классических уже образцов пошлости, которыми так не бедна наша славная литературная эпоха, словосочетание «молодой прозаик» (поэт, драматург) — одно из самых, ну, скажем, бездонных. Действительно, какие только грани, оттенки, обертоны не слышатся нам в этих сакраментальных словах — и снисходительное, выжидательное полупрезрение *профессионалов*, и видимость заботы о новой поросли со стороны «старых», и предельные (или уже запредельные?) напряжения, которые испытывает человек, входящий в литературу.

На самом же деле слова «молодой прозаик» — гениально найденный кем-то эвфемизм, скрывающий, скрадывающий непроходимую пропасть между молодым графоманом и новым писателем, который, как всякий настоящий художник (и как вообще все настоящее!), не имеет и не может иметь возраста.

Думаю, ясно, для чего начал я этим рассуждением. Да, именно чтобы подчеркнуть: Анатолий Королев — новый писатель, и в разговоре о нем нам не понадобятся, к счастью, никакие эвфемизмы.

«Впрочем, начнем все по порядку. То, что с нами не случается, это ведь тоже, увы, событие и горечь неприключившегося —...хмурое море, которое бьется о преграды и препоны нашей души...» Это — из романа «Вечная зелень», завершающего книгу. Но, надеюсь, автор не будет на нас в обиде, если мы нарушим его композицию-хронологию и начнем с конца: уж больно программны приведенные слова, уж слишком проглядывает в них философия. Что же это за философия?

В самый разгар «мертвого сезона» в Ялте собралась волею судеб группка людей (так и подмывает сказать «людишек» — ну, посудите сами, кого посылают профкомы на юг в январе!). Пляжный фотограф, местный ловелас да еще несколько отдыхающих им под стать — вот и все, собственно, что можно сказать об этих людях. Ну да, они волочатся друг за другом (как донжуан Струков сразу за Фаей и Мариной), они друг в друга влюбляются (как юный фотограф Лырчиков в Марину или пожилые Муза и Дегтярь), они ссорятся, ревнуют, режут себе вены, развлекаются в дешевых ресторанах, ездят на экскурсии, обманывают в важном и просто немного хитрят — словом, они живут. Живут так, как умеют, как их учили и научили — скудно, глупо, пошло, некрасиво, подловато. Но ведь это совсем неудивительно. Удивительно, что они же вдруг (пусть иногда, редко!) начинают жить так, как их не учили да и учить не могли — просто, честно, благородно, красиво...

«И Музе уже казалось, что она любит этого незадачливого и нескладного человека. А он счастливо не стыдился себя, даже в момент полного презрения к себе и стыда, вот ведь что странно... Он тоже приникал душой сейчас к ней, пускай вздорной и скучной, но зато верной и сострадательной женщине».

И еще одна «любовная» сцена:

«Фая встала, прошла в душевую — вода была еле-еле теплой. Она окончательно протрезвела, и мысли потекли по привычному руслу. Ей хотелось, чтобы Струков ушел. А он продолжал лежать и курить. Ночи любви не получилось, пора было сматывать удочки. Но он продолжал лежать, никак не мог наскрести желания встать. Почему эта Фая опротивела ему, как, впрочем, и все другие предыдущие? Почему ни в чем не было смысла? Ни в чем и ни в ком? Точка...»

Два отрывка, по смыслу вроде бы прямо противоположных. В одном нелюбовь трудно и постепенно дорастает до любви, в другом расхожая любовь легко и естественно оборачивается неприязнью к «партнеру». В сущности же, оба отрывка об одном — о прорыве (пусть даже неполном и ненавечном) в человеческое из дочеловеческого.

А вообще что же это за фигура загадочная — наш маленький человек? И что об этом думает автор? Давайте послушаем его.

«Зря Муза Львовна не мыслила себя фигурой, зря! Недаром было замечено еще одним нашим классиком о том, что все мы вышли из гоголевской «Шинели». Из шинели — заметим — маленького человека Акакия Акакиевича. Целая литература родилась из рукава той самой шинелишки чиновника XIV класса, сначала литература, а потом и историческая эпоха. В конце концов по меркам той обывательской шинели перекраивается уже целая действительность. Кроится и лепится из глины, камня и облицовочного лабрадора, дыбится под облака свинцовой волной, нависает над головами тортообразной лепниной, угрожает фронтонами и контрфорсами и, наконец, встает из-за горизонта такой исполинской махиной, такой грозной фигурой в шинели, что только диву даешься, как подрос на наших глазах маленький человек... Словом, Муза Гурова — фигура. Она похожа на эпоху, а та на нее — как две капли воды. Они живут общими страхами и надеждами, любят одно и презирают другое».

Приношу извинения за обширность цитаты, но что делать, если она такая говорящая? И не здесь ли приоткрывает автор свои самые сокровенные пристрастия и идеи, свои цели: показать этого самого маленького человека в его нерасторжимой и вечной связи с эпохой (какой бы грандиозной эта эпоха себе ни казалась!), приметить, что самые огромные события складываются в конце концов из маленьких и обязательно частных дел, подтолкнуть меня, читателя, пожалеть того, кого слишком долго обличали, гнали (не по безответности ли его?) и презирали.

И еще мысли, которые исподволь оформляются при чтении этой книги: так что же это за странный мир, в котором события не случаются? Именно не «ничего не случается», а не случается то, что по вековому человеческому разумению должно случаться! И как в таком небывалом, удивительном, подлинно потустороннем мире жить и дышать пусть маленькому, но живому, но — человеку? И если это и есть жизнь, то не будет ли тогда смерть избавлением и проломом в настоящее человеческое существование?

Все это — вопросы, достойные человека.

Ясно, что герои романа не победители (да они и не могут ими быть), и мы так и не увидим их в другом, вечном существовании. Но они, как это случилось с сознательной, идейной пессимисткой-атеисткой Мариной Копылковой, вплотную приближаются к тому последнему порогу, за которым — тайна.

«Ей казалось, что к ней обращается чей-то голос с высоты...

И голос этот проникал, как свет.

На душе Копылковой стало гадко и муторно. Ей померещилось, что где-то впереди по волнам, по улочкам, по крышам бродит раскаленное пятнышко наведенной небесной линзы и она вот-вот угодит под ожог».

Повесть «Ожог линзы» открывает книгу и дает ей название.

В повести совсем немного героев: знаменитая московская поэтесса, живущая прихотями и капризами, влюбленный в нее провинциальный юноша-поэт Андрей Рукавичников, его соперник и бывший одноклассник, в юности тоже писавший стихи «под Рембо», Марат Немцов, бывшая жена Марата, ныне пациентка психбольницы Ирина... Да, героев немного, но отношения их между собой и тонки, и сложны, и беспощадны. А потому повесть объемна и психологически, человечески полновесна. И опять сквозь тему творчества, поданную мягко и ненавязчиво, сквозь размышления о верности и изменах, о щедрости и скупости души проступает главный, на мой взгляд, вопрос всей книги: что такое живой человек и что такое человек мертвый? Человек, случившийся в жизни и — неслучившийся? И ответ на этот простой вопрос непрост.

Оскорбленная «счастливчиком» Маратом в пивной молодая гулящая девчонка, подружка местных бандитов, в конце концов спасает его от смерти, а главное — жалеет его.

«Она близко-близко приблизила к нему свои кошачьи глаза с черными искорками, грубовато убрала со лба его липкие волосы, тихонечко подула на ссадину, открывшуюся над переносицей.

— Видишь,— шепотом смеется она,— щелчок к тебе вернулся.

«Так она юродивая...» Марат почувствовал, как по его лицу бегут бессильные отчаянные слезы. Облик Лидухи плыл перед глазами, переливался как вода в полной чашке. Кажется, что слезы смывали все ссадинки и трещинки на лице, расколотом, как лобовое стекло.

— Сколько ты не даешь другим людям,— сказала она с неправильным ударением,— столько и они не дают тебе.

Лидухе не хватало слов. Но то, что она хотела сказать, Марат и так понял: «Оставьте его в покое. Видите, на его глазах слезы. Он хотел быть виноватым, но ему отказано даже в этом. И все же он стал виноватым передо мной. А виноват — значит жив, и это совсем не то, что жить ни при чем. Ему впервые стыдно. Он не вышвырнет моего котенка. Он снова может любить. Он совсем не напрасно глотает слезы, не напрасно!»

Итак, Марат, богатый и сытый «бог одного веселенького почтового ящика», снова после долгих лет сухости обретает слезы. Но пока человек может заплакать — он не безнадежен, говорит нам автор. А это значит, человек не безнадежен, пока он жив.

Тема жизни и не-жизни неожиданно и смело преломляется в рассказе «Перелет».

«Русский американец» Поляков, сделавший себе имя и состояние на искусстве России 20-х годов, летит в Москву, чтобы уточнить некоторые детали жизни и смерти легендарного художника Таткина, о котором его последняя монография. Каково же его изумление, когда он узнает, что «легендарный Таткин» жив, несмотря на свои почти девяносто лет.

Но после первого изумления приходят чувства более трезвые и суровые: ведь о живых, тем более о сумасшедших, книг не пишут.

«Башня! (Таткина трясло.) Живая параллель национальному сознанию! Пластический рефрен! (Шофер несколько раз беспокойно полуоглянулся.) Нам всегда была свойственна идея столпа. Святые-столпники — это высшая форма нашей аскезы».

Нет, тщетны попытки американца Полякова постигнуть этих сумасшедших Таткиных.

«Поляков ничего не понимал в этих людях... То ли глоток вина, то ли набег черно-белой тучи и близкий дождь подействовали на Полякова так, что развязка наступила мгновенно. Словом, он решился...

— Прощайте, Вениамин Аполлосович,— холодно сказал он, вытирая рот платком,— у меня много дел.

Он не собрался больше искать Таткина, добиваться взаимности. Он был тверд и холоден: тема закрыта, время — деньги.

Их глаза встретились, и Таткин мигом понял настрой этих чувств.

— Проваливайте,— паясничая, поклонился старик, не вставая со скамьи,— были рады не познакомиться».

Казалось бы, на этом можно и закончить. Встретились Запад и Восток, в очередной раз не поняли друг друга, не приняли, отринули, разошлись. Все так и все же не совсем так...

«Через полторы недели Поляков, исполнив все намеченное, улетел домой...

«Боинг» приземлился с опозданием на целых пятнадцать минут, но умелое пилотирование (по данным компьютера) сэкономило компании полторы тонны горючего, то есть 470 долларов. Правда, на рулежке к дальней стоянке было потеряно на холостом ходу 6 долларов 39 центов. А всего перелет к Далласу обошелся компании по 52 доллара 26 центов за минуту полета.

Пассажиры поднялись, только Поляков каменел в кресле с бескровным лицом. Оказывается, от того, что мир так прост и так объясним, можно было свихнуться».

И снова мы понимаем, что умный автор не бросает слов на ветер: «свихнуться» для Полякова означает взломать коросту, под которой десятилетиями уютно и глухо спала его душа, «свихнуться» означает стать живым человеком.

Из трех оставшихся рассказов, чтобы избежать беглых и однообразных пересказов-аннотаций, хочется остановиться на одном, может быть, самом своеобразном и спорном по отношению к нынешнему идейному контексту.

Рассказ этот — «Французская борьба — искусство лжи».

Рассказ не имеет жесткого событийного сюжета, а точнее — именно размышления, рассуждения, сомнения автора и составляют его сюжет. Повод для раздумий прост — в комнату в коммуналке поселяется новый жилец, бывший цирковой борец дядя Валя. Казалось бы, легко заклеймить его профессию: ведь французская борьба никакая и не борьба вовсе, а чистой воды обман, спектакль, где результат всегда известен заранее! Но... но автор снова, к счастью для читателя, не торопится никого клеймить и осуждать. Автор вспоминает. Да, французская борьба — спектакль, но чему этот спектакль учил? А учил он тому, что благородство, смелость, самоотречение всегда побеждают тупую силу и наглость, Давид всегда побеждает Голиафа.

«Я уходил с мокрыми от счастья глазами: добро всегда побеждает зло!.. Но разве это правда? разве «всегда»? разве это не был урок святой лжи? разве я не был обманут? пусть гуманно, но все-таки обманут?»

Казалось бы, еще легче заклеймить убеждения дяди Вали, ведь дядя Валя — можете себе представить — сталинист! (и бюст вождя всю жизнь возит с собой с квартиры на квартиру). Да, заклеймить его — особенно по нынешним временам — легко, но много ли это даст? А не лучше ли его, как и всякого маленького человека, оболганного и одновременно обманутого,— пожалеть? Не в глубине ли этой простой человеческой жалости друг к другу кроется выход в просторное и светлое царство Добра?

«Уходя, я накрыл старика еще одним одеялом и выключил свет...

...По дороге я вспомнил еще одну примету давнишнего счастья: послевоенное масло и яблоки отличались каким-то совершенно необъяснимым вкусом. Сколько потом я ни искал такого масла и таких яблок — не находил; и лишь недавно разгадал загадку... масло моего детства было чуточку прогорклым, а яблоки — битыми и немножко гнилыми.

С тех пор я равнодушен к гладким и спелым яблокам — на мой взгляд, им не хватает следов от ударов».

Так заканчивается рассказ.

Выводов нет, как нет их в повести, в романе, в книге. Нет указующего перста. Что же есть? Есть приглашающий жест, есть жест, приглашающий войти в умный, честный, человеколюбивый, действительный мир прозы нового писателя Анатолия Королева.

И еще один жест есть, как бы приветный знак нам из глубины великой русской литературы:

«Уходя, я накрыл старика еще одним одеялом...»

Честное слово, этот жест стоит книги.

Вл. МАЛЯГИН

Технический редактор И. П. Калачева.

Сдано в набор 07.02.89. Подписано к печати 24.02.89. А 07749. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.
Тираж 380 000 экз. Заказ № 177. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.